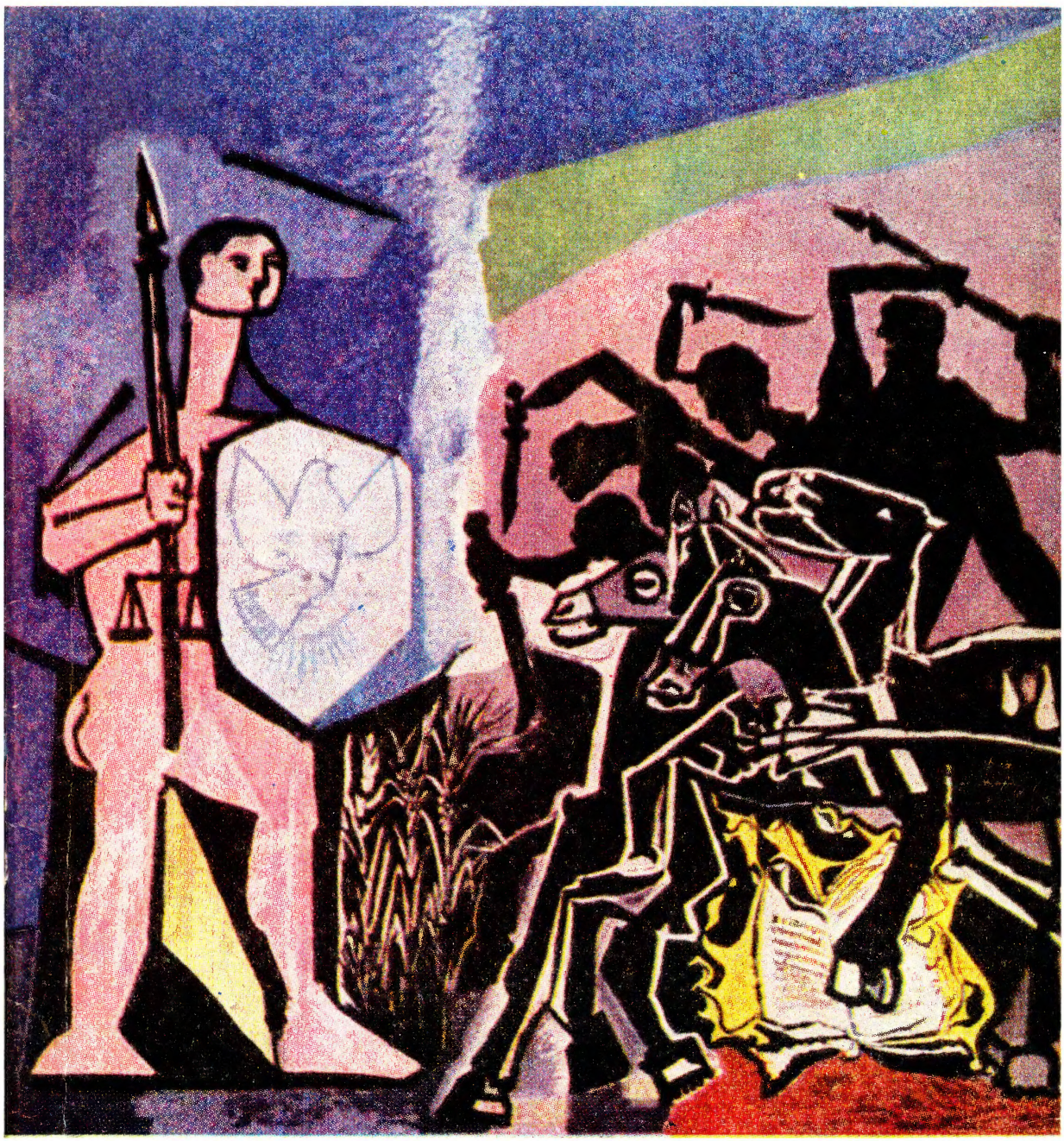
6 1969

Иностранная литература



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЭВИД ХАЛБЕРСТЭМ — Один очень жаркий день (Послесловие А. Тер-Григоряна) . . 9
ДЖОВАННИ АРПИНО — Тень от холмов . . 110

РАССКАЗЫ

ФЭН ЮНЬ — Мост шириной в бревно . . . 185

СТИХИ

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ Стихи (Вступление Юрия Дашкевича) 3
ЛЕОПОЛЬД ЛЕВИН — Стихи о Вьетнаме . . 183

КРИТИКА

Ц. КИН — Сорок пятая параллель 200
МАКСУЭЛЛ ГЕЙСМАР — Для своего времени и для всех времен (Марк Твен об империализме, расизме и других характерных чертах американской республики) . . 212

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

В. ШКЛОВСКИЙ — «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» 218

6

ИЮНЬ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

«ЭТОМУ МИРУ Я ОТДАЛ СЕРДЦЕ И РАЗУМ» (К 100-летию со дня рождения Мартина Андерсена-Нексе) 225

М. АНДЕРСЕН-НЕКСЕ — Из статьи «Пролетариат и искусство» 227

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР НОВОГРУДСКИЙ — Открытие боем 230

КАРЛОС БЕЙКЕР — Жизнь Эрнеста Хемингуэя (Главы из книги. Продолжение) . . 237

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

М. САЛГАНИК — Кто выбирает Африке героев? 245

А. ЗВЕРЕВ — Амфетамин — поэзия — «толпа» 248

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

«НЕТ!» ФАШИЗМУ (Из антологии «Искусство в сопротивлении») 253

ПАМЯТИ БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА РЮРИКОВА 260

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

А. Турков — Воспрянувшие слова. ◇ А. Елистратова — Цвет крови и надежды . . 263

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

М. С. — В ожидании. ◇ Е. Гальперина — Итак — африканский антимиф? ◇ М. Гордышевская — Трагический фарс . . . 266

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: ПАБЛО ПИКАССО «Война» (Деталь панно).

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ

Стихи

Перевод с испанского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ
Вступление ЮРИЯ ДАШКЕВИЧА

На одном из вулканических островков архипелага Солентинаме, рассыпавшегося в водах крупнейшего в Центральной Америке озера Никарагуа, ведет отшельническую жизнь еще молодой священник, которого зовут Эрнесто Карденаль. Впрочем, как священника — хотя и получившего в Соединенных Штатах, Мексике и Колумбии богословское, а также философское образование — его знают немногие. Зато вся Латинская Америка читает стихи талантливого никарагуанского поэта Эрнесто Карденаля.

Журнал «Уньон», орган Союза писателей Кубы, признает, что из поэтов, появившихся на континенте в последние годы, «первое место занимает Эрнесто Карденаль»; мексиканский журнал «Сьемпре», перечисляя представителей поэтической молодежи, прежде приводит имя Эрнесто Карденаля; венесуэльский журнал «Папэлес» отмечает, что у этого поэта «поэтический голос наибольшей силы среди молодых поэтов Америки»; чилийский журнал «Атенеа» сообщает: «поколение новейших поэтов сосредоточивается вокруг фигуры Эрнесто Карденаля...» Более того, «ныне своим творчеством Эрнесто Карденаль,— по суждению издаваемого в Гаване литературного латиноамериканского журнала «Каса де лас Америкас»,— оказывает направляющее влияние на поэзию испанского языка».

Поэзия Эрнесто Карденаля, рожденная на земле Рубена Дарио, великого преобразователя латиноамериканской литературы, не может не привлечь к себе внимание. Строфы поэта выделяются свежестью, своеобразием, выразительностью, эмоциональностью. Подкупают ясностью, простотой. «Я стремился создавать такую поэзию, чтобы ее понимали... Моя поэзия иной раз даже ближе к прозе»,— писал поэт, прерывающий ритмичный поэтический строй сугубо прозаическим стилем, даже документальной фразой, особо подчеркивая острую злободневность, непосредственное проникновение в насущные вопросы народной жизни.

Поэзия Эрнесто Карденаля, рожденная на земле Аугусто Сесара Сандино — «генерала свободных людей», как называл его Анри Барбюс,— насыщена гражданской страстью, политическим звучанием. Будущему поэту не исполнилось и десяти лет, когда наемник американского империализма Сомоса по приказу своих хозяев предательски убил легендарного вождя никарагуанских патриотов Сандино, который вместе с горсткой героев самоотверженно вступил в битву с американскими оккупантами, захватившими его родину. Годы спустя Эрнесто Карденаль создает знаменитую эпическую поэму «Час 0» — песнь о бессмертном подвиге Аугусто Сесара Сандино, о боли, о горе и гневе соотечественников, заключив ее пророчески:

...погибая, рождается вновь герой,
и вновь зеленеет трава среди пепла...

В черную ночь диктатуры Сомосы — точнее, основателя династии диктаторов, поскольку Сомосы поныне цепляются за власть в Никарагуа,— среди никарагуанцев завоевали популярность рукописные листки с беспощадными — короткими и резкими, как удар бича,— эпиграммами на тирана и его режим. Автором многих, тогда еще анонимных, эпиграмм был Эрнесто Карденаль, впоследствии опубликовавший их отдельной книжкой. Эпиграммы, лирические стихи, исторические поэмы, исследования в области фольклора латиноамериканских индейцев, переводы древних поэтов, писавших по-латыни, и современных, пишущих по-английски,— таков круг литературной деятельности поэта.

Мы впервые знакомим наших читателей с творчеством Эрнесто Карденаля — с его стихотворениями, написанными под впечатлением увиденного в Соединенных Штатах, где в Гефсиманском аббатстве, что в штате Кентукки, молодой богослов пытался найти путь к истине... Читаешь стихи Эрнесто Карденаля, и, признаться, не легко вообразить, что написаны они человеком в сутане, который, возвратившись из Соединенных Штатов, предпочел отшельничество, чтобы, по его словам, «вести диалог с богом».

«...Остаемся здесь одни, без какой-либо связи... Без общения с людьми ради того, чтобы обрести общение с миром... Наконец я почувствовал себя свободным — как цапля, которую привезли из зоологического сада и выпустили на диком берегу озера. Свободным от кошмара кондиционированного воздуха...» — исповедуется Эрнесто Карденаль в письме, опубликованном в латиноамериканской печати, и заодно извещает, что живет он вместе с двумя молодыми колумбийскими поэтами (и послушниками) на глухом островке, сплошь заросшем буйной тропической зеленью, «тут полным-полно змей, термитов, огромных пауков, необычайного вида скорпионов, гигантских муравьев, москитов, целые облака летучих мышей».

Озеро Никарагуа, говорят ученые,— единственное озеро в мире, где обитают акулы. И как бы ни уединялся отшельник, ему не забыть об этом — но ведь не только кровожадные акулы опасны для человека. Каковы бы ни были мотивы его решения, он не может уйти, отстраниться, изолироваться от тех проблем, что волнуют, тревожат человечество,— и он озабочен судьбами людей и народов, судьбами родины и всей Латинской Америки. Сколь спорными бы ни были его отдельные философские, гносеологические концепции — вспомним, однако, что и автор «Языческих псалмов» Рубен Дарио подразумевал под богом нечто, не ограничиваемое чертами канонического лика, да и Эрнесто Карденалю в одном из его стихотворений представляется: «Господь велик, ибо одет в энергию атома, как в плащ»,— творчество поэта-гуманиста реалистично, не отрывается от земли и земного. Его произведения подтверждают, что свой высший и священный долг он видит в выступлениях против империализма Соединенных Штатов и антинародных диктатур в Латинской Америке, против угрозы атомной войны, за мир между народами. И, бесспорно, то, что уже создано Эрнесто Карденалем, вливается в общий поток народного протеста, народных требований, бушующий над латиноамериканским континентом.

Кентукки

«Кентукки — это второй рай»,— сказал Даниэль Бун *.
Он шел в Кентукки пешком, все дальше на запад,
и увидел далёко с холма равнину Кентукки,
и мирно пасущихся буйволов, как в скотоводческих фермах,
и тихий Огайо, несущий волну по широким просторам,
обрамляя Кентукки...
(теперь-то он пахнет фенолом).

Forest Grove, Prairie Village, Park Forest, Deer Park —
Дикая Роща, Степное Селенье, Парковый Лес, Парк Олений —
ориентиры границы,
а теперь — лишь названья предместий!

И автобусы мчатся по бывшим лугам, где буйволы чинно ступали.

Где некогда лагерь разбил первопроходец границы,
плывший в челне куда-то, к водам Миссури,
со своим томагавком, ружьем, капканом для ловли бобров —
за бобрами...

Там теперь металлический лязг машин, корчующих землю,
звон бокалов — виски со льдом звенит о стекло,—
хрипы радио, смех,
стук крокетных шаров
и глухие удары бейсбольных мячей о перчатку.

* Даниэль Бун (1735—1820) — американский колонист, обследовал неизвестные районы нынешнего штата Кентукки (1769—1771), воевал с индейцами. *(Прим. ред.)*

Там из открытых окошек несутся звуки
стереофонической записи «high fidelity» — «высшая точность» —
и тонут в ночи́ вместе с запахом мяса на вертеле.

«Все было там безмятежно,—
писал Даниэль Бун,—
Я разжег костер у родника на равнине,
чтоб изжарить мясо убитой только что лани.
Волки выли всю ночь вдалеке...»

Ну, а теперь все клоаки впадают в Огайо
и несут яды химии, жирную копоть,
отбросы домов отравили последнюю рыбу,
и воды Огайо пахнут фенолом...

Murder INC*

Ты идешь из конторы домой, где тебя ожидает жена
и гудящий, набитый отменной едой холодильник,
виски в уютной гостиной, где в восемь ноль-ноль
ты по радио слушать привык «репортаж преступлений».
Но разве они происходят по радио только?
Уж не думаешь ли серьезно, что их не бывает в гостиных?
Понятно, тебе не случалось убить человека железным ломом,
ты человек честный,
ты джентльмен...
Но вдруг эта честность твоя — лишь «костюм на заказ»?
Ты безусловно не тот, что своею рукою вложил в самолет бомбу.
И не тот, конечно, кого радиопатрули ищут —
«низкий, толстый, любезный, в очках с золотой оправой»
(хоть ты и низкий и толстый, в очках — без оправы, впрочем).
Ты и не тот «неизвестный в сером костюме», всякому ясно.
Да и отпечатки твоих пальцев доказали бы это.
И все же...
А что, если гангстеров шеф произнес невзначай твое имя,
объявив, что ты тоже — из мафии? Как отречешься?
Или что ты прошел боевое крещение на краже бриллиантов
(если нет — на какие же средства купил ты свой холодильник!).
Или что деньги старухи, убитой в аллее парка,
после долгих перипетий попали в твои руки?
И деньги, что воры недавно украли из банка,
именно ты неизвестно зачем положил обратно,...
А может, ты поставлял в притоны невинных девчушек?
А вдруг за тобой детективы следили, когда вдоль по улице шел ты,
и видели, как ты садился в такси и слезал у дверей бара?
А если за всеми, с кем говорил ты, следили тоже
и за всеми, с кем те говорили, с кем говорил ты?
А что, если все твои речи записаны
на магнитофоне?
Ну, что ты тут сможешь сказать?
Чем докажешь?

---

* Корпорация «Убийство» *(англ.)*.

Ты регулярно бывал в баре, где задумывалось ограбленье,
и в отеле, где как-то девушку задушили.
Холодильник, приемник того бандита, которого ищут,—
той же фирмы, что и твои.
А полиция уж изучила
все привычки бандита: они совпадают с твоими.
А вдруг однажды случится, что пальцев твоих отпечатки
подойдут... и доказано будет, что ты — в той же шайке...
и что это тебя ищут радиопатрули —
«низкий, толстый, любезный, в очках без оправы» —
и что ты, наконец, и есть —
«НЕЗНАКОМЕЦ В СЕРОМ КОСТЮМЕ»,
и с «уголовной» страницы вечерних газет глядит твое фото,
и радио в твоей гостиной говорит о твоих преступленьях?

Звезда, найденная мертвой на Парк-авеню

Меня разбудили лучи,
словно шум переезда, когда в квартире над вами
двигают мебель,
словно тысячи радио в резком вопле,
или гул подземелий метро,
или шум самолетов, несущих бомбы...
Казалось, что все лучи со всего мира
били по лучевым костям небоскребов Нью-Йорка
и скользили с собора Святого Иоанна The Divine *
до здания «Таймс»,
...и чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть...
с башни Вульворт до зданья компании «Крайслер»,
а молнии вспышками фото светили в глаза небоскребов.
...И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать;
и чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть...
«Она умерла этой ночью, около трех или несколько позже»,—
писала впоследствии «Нью-Йорк таймс».
Я не спал в это время. Меня разбудили лучи.
Звездное небо окон, квартир и ванных,
свет законных и незаконных любовей,
огни молящихся или крадущих на чердаке железный ящик,
насилующих девушку под радио во весь голос,
страдающих просто бессонницей или же рукоблудьем,
сдергивающих платье и задергивающих занавески.
И скрип надземок по Третьей авеню,
и гул вагонов метро, что на Сто Двадцать Пятой выходят на землю,
чтоб уйти в нее снова.
И автобус, замедливший ход, чтобы снова рвануться
(под дождем), и крик — быть может, женщины в темном парке,
и визг санитарных машин по пустынным кварталам,
или красных, пожарных—как знать?—может, мчащихся к нашему дому.
«...Тело ее обнаружил Макс Хилтон, артист,
сказавший в полиции, что нашел на полу ее в ванной —
рисунок настила на мокрой щеке отпечатан,
и пальцы еще сжимают флакончик с пилюлями белого цвета,—
а приемник в квартире орал во весь голос —
все станции сразу...»

---

* Богослова *(англ.)*.

Молитва за Мэрилин Монро

Господь,
прими эту девушку, известную в целом мире
под именем Мэрилин Монро,
хоть это совсем не ее имя
(но Ты знаешь настоящее имя ее —
сироты,
обесчещенной в девять лет,
и маленькой продавщицы,
хотевшей покончить с собой в шестнадцать).
Она предстает пред Тобою сегодня без грима,
без рекламных агентов,
фотографов и автографов —
одна, как астронавт в межпланетной ночи.
Как-то девочка видела сон
(по свидетельству «Тайма»),
что стоит обнаженною в храме
перед павшею ниц толпой
и ступать надо так осторожно, на цыпочках, между голов преклоненных.
Ты ведь сны наши знаешь получше, чем все психиатры.
Храм, пещера и дом означают семейный очаг
и, наверное, что-то еще...
Ну а головы — это признанье толпы, сразу ясно
(а особенно если их много, в густой темноте, под потоком света).
Только храм — это вовсе не «20th Century Fox» —
киностудия «Фокс, Век Двадцатый».
Храм — из мрамора с золотом —
храм ее тела, где Сын человечий
изгоняет хлыстом торгашей киностудии «Fox»,
что из дома молитв Твоих
сделали грязный притон для бандитов.
Господь,
в радиоактивном,
в зараженном грехом мире
Ты ведь ее не осудишь —
маленькую продавщицу,
что мечтала, как множество ей подобных,
сделаться кинозвездою, всего лишь.
И мечта ее стала реальностью
(точно такой, как реальность цветной киноленты).
Она поступала по «скрипту», который ей дали,—
а это абсурдный сценарий наших собственных жизней.
Прости же ее, Господь,
и нас вместе с нею —
за нашу студию «Fox» двадцатого века,
за наши боевики, на которые мы убиваем
миллионы, миллионы, миллионы с таким усердьем.
У нее была жажда любви — мы кормили ее снотворным.
От тоски, что нет ничего святого,— посылали ее к психиатру.
Вспомни, как рос ее страх перед кинокамерой,
ненависть к гриму — а краситься ей приходилось
перед каждою сценой,—

как рос ее ужас,
а с ним — опозданья на съемки...

Маленькая продавщица
мечтала стать кинозвездой,
маленькая продавщица
видела сон земной...
Но был это сон нереальный,
но был это сон больной —
его психиатры чертили
в тетрадях черта за чертой...

Романтический сон ее был поцелуем с глазами закрытыми,
а откроет и...— Стоп! Кадр окончен! —
рефлекторы светом ударят
и погаснут!
И стены покоя ее разберут
(павильон, декорация...),
и режиссер, удаляясь, уносит сценарий,
ибо сцена уже отснята...
Вот поездка на яхте,
а вот поцелуй в Сингапуре,
танцы в Рио,
прием... перед нею сам герцог Виндзорский со своей герцогиней...
— Стоп! — И снова злосчастная студия... Снова темно...

Фильм окончился без поцелуя в финале.
Ее мертвой в постели нашли с телефонною трубкой в руке.
Тут уж сыщики были бессильны:
кому собиралась звонить — не узнали.
Это было... как будто
единственный дружеский голос
ее ожидал вдалеке.
Но едва только диск повернула,
раздался ответ автомата:
«ВЫ НАБРАЛИ НЕПРАВИЛЬНО НОМЕР»...

А может быть, было и так:
кто-то, тяжко израненный,
руку простер к аппарату...
а шнур был оторван —
ответил один только мрак.

Господь, кто бы ни был, кому она не дозвонилась
(может, это Никто
или Некто, чей номер не числят
абонентной книги листы),
теперь, когда все свершилось,
подойди к телефону Ты!

ДЭВИД ХАЛБЕРСТЭМ

Один очень жаркий день

РОМАН

Перевод с английского
К. ЧУГУНОВА

Глава первая

Духовная семинария находилась на окраине маленького городка. Но священников в ней уже не было; они все вернулись в Европу. Теперь семинария превратилась в настоящую крепость, которую не так-то просто было взять штурмом: мили и мили колючей проволоки и горы мешков с песком, а на крыше — вьетнамский пулеметчик, по временам даже бодрствующий.

У ворот стоял часовой, над ним висел огромный плакат:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.
Группа советников США при Восьмой пехотной дивизии. Лучшие в своем роде.

Под надписью ухмылялся карикатурный американский офицер, а ниже стояли буквы: МСПГЭД. На плакате эти буквы не расшифровывались, но тем, кто спрашивал, что они означают (спрашивали обычно штатские), давалось следующее устное объяснение: «Мы сыты по горло этим дерьмом».

■

Бопре спал чутким, беспокойным сном — он был весь в поту, а огромный вентилятор, крутившийся над ним, совсем не помогал и только гонял по комнате горячий воздух. Бопре чувствовал себя скверно, нервы его были настолько напряжены, что когда за ним прислали, он сразу проникся уверенностью: пора воевать, ночь уже прошла и надо отправляться на операцию. Волейбол, донеслось до него сквозь дремоту. Волейбол.

— Капитан Бопре! Хотите сыграть в волейбол?

За ним прислали какого-то молоденького капитана. Бопре даже не знал его фамилии.

— Нет,— хрипло ответил он,— какой еще волейбол, черт подери?

— Но меня прислали за вами. Не хватает одного игрока. Нас там девять. Они говорят, что вы должны играть.

— А ну-ка посмотрите на меня: я в самом деле должен играть?

Вопрос в точку: ему тридцать восемь лет, выглядит он старше своего возраста, плотный, можно сказать даже — толстый и потеет без всякого волейбола. Задыхается и потеет.

— Правительство Соединенных Штатов,— сказал он,— потратило тысячу шестьсот долларов, чтобы доставить меня сюда, и о волейболе не было сказано ни слова.

— Нам нужен игрок,— упрямо повторил капитан. Он был молод и в семинарию попал совсем недавно. Его появлению предшествовали слухи. Утверждалось, что он будет очень скоро произведен в майоры.

— Молодой игрок,— поправил Бопре.

— Полковник говорит, что волейбол — это физическое упражнение. Вам нужно упражняться. Так же, как и всем нам.

— Мне упражняться не нужно,— сказал Бопре.— Я ленив. А вы все и так без конца упражняетесь.

«Черт подери,— подумал Бопре,— волейбол. Пять часов вечера, а они уже играют в этот проклятый волейбол».

В семинарии в волейбол играли все, потому что других развлечений не было. Взрослые люди. Бопре теперь слышал возгласы и покряхтывание, доносившиеся с площадки. Единственное занятие. К тому же полковник любил волейбол и неплохо играл, хотя и преувеличивал свои достижения: маленький и жилистый, он казался самому себе отличным игроком с пушечной подачей. Сегодня его не было среди играющих: полковник, любитель и энтузиаст волейбола, уехал в Сайгон и должен был вернуться вечером. Когда им не хватало игрока, полковник входил в комнату Бопре и тащил его на площадку, превращая это в маленький и почти приятный спектакль: «Смотрите, кто хочет с нами играть!» Реквизированный Бопре играл, потому что в одной из команд не хватало игрока, неуклюже метался по площадке и громко крякал — все это было очень мило и унизительно.

Он возненавидел волейбол и злорадно почувствовал себя отомщенным, когда они как-то сыграли с вьетнамскими офицерами. Вьетнамцы тоже любили волейбол, и полковник, услышав об этом, предложил матч, потому что пользовался каждым случаем налаживать отношения. «Мы против Них». Вьетнамцы согласились охотно, даже чересчур охотно, и полковник был очень доволен. Американцы, уже видя себя в роли великодушных победителей, решили после матча устроить роскошный ужин.

Вьетнамцы пришли и стали играть — худые, даже тощие, выглядевшие довольно нелепо в своих слишком длинных шортах и старомодных рубашках (они были скромнее американцев и не раздевались до пояса). Увидев вьетнамцев рядом с рослыми, мускулистыми американцами, Бопре вдруг проникся к ним симпатией.

Игра началась, и американцы сразу же открыли счет. Когда вьетнамцы наконец тоже начали набирать очки, американцы вежливо аплодировали. Но аплодисменты прекратились, когда вьетнамцы в своих старых рубашках и шортах лихо разделались с противником. В пяти играх подряд победили вьетнамцы, с каждым разом все быстрее наращивая счет. В конце встречи вежливые аплодисменты раздавались в адрес американцев, когда им удавалось выиграть очко.

Это был неприятный день. Вьетнамцы вели себя корректно, но не проиграли последней игры. Ужин прошел в общем неплохо, хотя вопрос о новых встречах не поднимался. Более того: на время волейбольная лихорадка прекратилась, но через неделю неугомонный полковник воспрял духом и американцы снова начали играть в волейбол.

Бопре продолжал прислушиваться к тому, что происходило на площадке. Инструктивное совещание состоится поздно вечером после возвращения полковника. Сначала покажут кинофильм. До совещания оста-

валось не менее пяти часов, но если их проспать, потом будешь чувствовать себя еще хуже. Однако он так ненавидел волейбол, что, несмотря на мучительную духоту и скуку, не пошел смотреть, как они играют. Он решил все-таки вздремнуть до кино.

Офицеры кончили играть, а полковник еще не вернулся. Он должен был приехать позже на машине по единственному в стране шоссе — вопреки запрещению Сайгона, где относились к шоссе с неприязнью и опаской и считали, что полковнику следует летать на вертолете; будет очень неприятно, если полковник вдруг попадет в засаду и погибнет в сорока милях от столицы. Но полковнику не нравился Сайгон, и по мере возможности он старался не выполнять его приказов. Он любил, как он выражался, обозревать местность, стремясь установить, кто здесь командует. Поэтому в семинарии решили пока прокрутить фильм. Обычно в фильмах показывали либо Элвиса Пресли на Гавайских островах, либо Дорис Дэй в чьей-то постели — в свежевыглаженной пижаме, с аккуратной прической; самым интересным был тот момент, когда Дорис, почистив зубы, ложилась в постель, а по стене, служившей экраном, вдруг начинала карабкаться ящерица. Кто-нибудь — обычно Ролстон — сообщал, что именно намерена сделать ящерица, и все хором подбадривали ее («Валяй, валяй, старина!») или, если ящерица убегала, разочарованно стонали: «Слабак!» и «Поучи-ка его, Бопре!» (так как Бопре была присвоена репутация бабника). Иногда на экране появлялась вторая ящерица, предположительно самка, и тогда в разгар ковбойской погони или пребывания Дорис Дэй в чьей-то постели зрители смотрели только на двух ящериц, исполнявших свой любовный танец.

Но в этот вечер не было ни Элвиса, ни Дорис, ни ящериц, потому что брачный сезон у них кончился, а показывали «Пушки Наваррона» — фильм, который будто бы все еще шел на экранах Нью-Йорка. («Ну, конечно, в Уотертауне, штат Нью-Йорк»,— добавил кто-то). Но все равно по их нормам это был боевик, а их нормы определялись тем, что им присылало военное ведомство,— другими словами, фильмами, которые не желали смотреть офицеры в Сайгоне.

Это был прекрасный фильм, полный напряженного действия, красивых горных пейзажей и подвигов Грегори Пека и Энтони Куина, которые на этот раз сражались на одной стороне, хотя и не доверяли друг другу. Все шло хорошо, пока кто-то из зрителей не разгадал сущности Пека и не крикнул: «Да он же вьетконговец!» Эти слова всех как-то ошарашили, а потом до всех дошло, что так оно, пожалуй, и есть и что Пек вьетконговец, после чего фильм начал восприниматься совсем по-другому, все сразу перестали сочувствовать Пеку, сердца уже не бились тревожно при приближении немцев, а красавица, как будто верная Пеку, а на деле постоянно предававшая его — в фильме шпионка, а в глазах зрителей теперь доблестный агент правительства,— вызывала одобрительные возгласы. С этой минуты они стали громко подбадривать немецких часовых, а когда Пек и его товарищи принялись безнаказанно сновать мимо часовых, Ролстон послал сержанта проверить, стоят ли посты вокруг семинарии и не проник ли случайно в лагерь какой-нибудь вьетконговец. Когда сержант вернулся в столовую, где показывали фильм, и доложил, что застал одного вьетнамского часового спящим, раздался хохот, сразу разрядивший напряжение. На экране немцы, предупрежденные шпионкой, арестовали на рынке Пека и прочих. В зале закричали «ура», а кто-то, чувствуя, что Пеку не время умирать или исчезать в середине картины, скомандовал: «Пленных не брать!» И Пек действительно не погиб, а бежал и продолжал мужественно бороться, подавив недовольство среди штатских членов своей группы. Преодолевая одно препятствие за другим, они наконец добрались до батарей, специально охранявшихся от партизан, и — о, чудо из чудес! — заставили пушки замолчать.

— Хороший фильм! — сказал лейтенант Андерсон, когда они выходили из зала.

— Да,— сказал капитан Бопре, раздосадованный тем, что не получил почти никакого удовольствия от картины, тем, что Вьетнам лишил интереса даже к подвигам Грегори Пека, убивавшего немцев.

Бопре взглянул на часы и увидел, что до совещания у них еще есть время выпить.

— Угостите старика! — сказал он Андерсону.

Они пошли в бар и заказали по одной. Андерсону не хотелось пить, тем более перед инструктивным совещанием, но за шесть месяцев Бопре так редко приглашал его выпить, что отказаться было невозможно. Пока они пили, к ним подсел капеллан и сделал вид, что хочет выпить вместе с ними (Бопре давно подозревал, что капеллан пить не любит и весь вечер перед ним стоит одна-единственная жестянка пива). Капеллан вечно сидел в баре, но пьяным его никогда не видели, и первый смеялся соленым анекдотам, хотя сам их никогда не рассказывал. Бопре почти жалел беднягу (что было редким исключением, ибо вообще-то он не терпел армейских священников), который прилагал столько усилий, чтобы сойти за своего. Это была трудная война для священника: дело ему приходилось иметь либо с офицерами, либо с солдатами-ветеранами, а война пока еще носила такой характер, что они не искали у священника утешения. И капеллан с некоторой тоской вспоминал про Корею и про то, какая там была армия. Бопре предложил Андерсону угостить капеллана и увидел, как они оба смутились. Андерсон был еще настолько молод и наивен, что присутствие капеллана в баре его смущало. Эта сценка развлекла Бопре: простодушный молодой офицер не хочет угощать пивом человека, который сам не хочет, чтобы его угощали. Даже время словно потекло быстрее, и следующие полчаса Бопре старался быть особенно любезным со священником. Он нарочно завел речь о Корее и о том, как там было трудно, и капеллан разговорился. Прежде Бопре был довольно сух с капелланом и сейчас понимал, что тот не сразу почувствовал себя в своей тарелке. Это забавляло его, и так он развлекался, пока их не позвали на инструктивное совещание.

Инструктивное совещание представляло собой странное зрелище, так как большинство офицеров уже готовились ко сну и явились на него в японских купальных сандалиях, с полотенцами, обмотанными вокруг бедер. Их обнаженные торсы говорили о переменах в армии: молодые, стройные, подтянутые жаждали деятельности, тогда как более пожилые, уже побывавшие на двух войнах, за долгие годы мира и мирного армейского рациона успели обзавестись небольшим брюшком. Загар у большинства был профессиональный — кирпичные лица и предплечья, а дальше бледная кожа. Только немногие спортсмены-энтузиасты (почти все из нестроевой службы) загорели по-настоящему. Те же, кому приходилось жить и работать под солнцем дельты, не стремились загорать в свободные дни. Полковник был белее всех — даже шея у него была белая. Бопре иногда задавался вопросом, почему полковник не загорает,— казалось бы, во время операций он мог обгореть не хуже остальных, но он оставался белым. Как начальника они его любили и доверяли ему. В частности, потому, что он старался лгать им как можно меньше: был он человек открытый, прямой и вспыльчивый. И сейчас, едва взглянув на него, Бопре понял, что тот недоволен своей поездкой в Сайгон и недоволен планом операции.

Указкой он обвел на карте объект — базу вьетконговцев, расположенную, по полученным данным, на одной из дорог, пересекающих район.

— Мотель Хо Ши Мина,— повторил кто-то бородатую, но все еще популярную остроту.

— Насколько верны данные разведки, сэр? — спросил другой.

— Вьетнамцы, кажется, считают их достаточно верными,— ответил полковник, делая упор на слове «вьетнамцы».

Кто-то засмеялся. Вот за это они и любили полковника.

— Участвовали ли мы в разработке операции? — спросил кто-то.

— Участвовали ли мы в разработке операции? — повторил полковник, снова делая упор на каждом слове. Он состроил гримасу.— Отчасти. Наши друзья называли другие места, где, как мы полагаем, противника нет и никогда не было.— Он сделал паузу, давая им время улыбнуться.— Мы же высказались в пользу тех пунктов, где, по данным нашей аэрофоторазведки, противник возводит довольно сильные оборонительные укрепления. После чего был достигнут компромисс, и мы остановились на данном объекте, хотя капитан Донован из нашей разведки сообщил мне, что, как он подозревает, это именно то место, которое наши друзья с самого начала имели в виду. Я подозреваю, что подозрения капитана Донована вполне обоснованы.

Смех. Услышав его, полковник улыбнулся легкой, довольной улыбкой. Он был скромным человеком, похожим скорее на школьного учителя, чем на полковника, а его манера выражаться и ирония, по мнению Бопре, говорили о том, что полковник раз и навсегда понял: никогда ему не быть генералом, а жене его — женой генерала, ибо, насколько было известно Бопре, пять лет назад полковник не считался остряком.

Полковник стал медленно объяснять план операции. Три группы. Одна вылетит на вертолетах после того, как выступят две другие. Вот деревни, в районе которых они должны приземлиться.

— Кто полетит завтра? — спросил полковник.— Кто хочет прославить себя и быть заснятым в прыжке с вертолета?

Бопре сидел и ждал, стараясь придать своему лицу безучастное выражение. «А то еще вдруг решат, что я хочу»,— подумал он. На самом же деле он вовсе не хотел лететь на вертолете, но не хотел угодить и в резервную группу, которая сидит на КП, вступает в действие, только когда остальные силы входят в соприкосновение с противником, и чаще всего попадает во вторую, специально подготовленную засаду. Ему хотелось быть в наземной группе. Бопре обвел взглядом лица присутствующих — некоторые, молодые лица, горели желанием отличиться, на других было безразличие. Возможно, и эти, подумал он, предпочли бы вертолет, но они слишком горды, чтобы сказать открыто. Бопре был чуть старше и, пожалуй, чуть больше напуган, чем большинство. Он посмотрел на сидевшего рядом лейтенанта, его собственного лейтенанта, чье лицо было особенно напряжено. Лейтенанту хотелось попасть на вертолет, он любил десантные операции.

— Ну, так я сам выберу героев,— сказал полковник, скользнув взглядом по лицам присутствующих. Наступила короткая пауза. Полковнику был приятен ее драматизм.— Редферн. Капитан Редферн,— сказал он.

Капитана Уильяма Редферна все (и больше всех он сам) называли Большим Уильямом.

— Редферн, вы и ваши разведчики готовы?

— Большой Уильям и его разведчики всегда готовы,— ответил Редферн.— По правде говоря, господин полковник, сэр, они обиделись бы, если бы узнали, что вы задаете такой вопрос.

Редферн, великан-негр родом из Пиккенса, штат Алабама, был дипломированным специалистом-нефтяником, и в дипломе у него, по его словам, так и стояло: «Большой Уильям». Он говорил, что его собирались взять на пробу в профессиональную футбольную команду, но из

этого ничего не вышло: дядя Джим не захотел, чтоб он играл. «Какой дядя Джим?» — спрашивали его. «Дядя Джим Кроу,— отвечал он.— Какой еще может быть дядя Джим, если не Джим Кроу? Но дядя Джим не дурак и не помешал Большому Уильяму попробовать свои силы в армии — так он мне все и возместил». Большой Уильям не был ни вежливым, ни скромным и не обращал никакого внимания, слушает ли кто-нибудь его хвастовство. Был он чернее черного: его семья избежала «интеграции», говорил он. Походка у него была чуть раскачивающаяся, грациозно-чувственная, и он всегда ходил с тросточкой из слоновой кости, словно желая подчеркнуть свою грацию и цвет кожи. Не считаясь с чужим покоем и чужим вкусом, он всегда включал на полную мощность свой проигрыватель, из которого лилась будоражащая, чувственная музыка. И еще он без конца говорил о женщинах, хвастаясь своими успехами. Не все его качества были привлекательны, и в семинарии постоянно шли споры, действительно ли Большой Уильям так уж хорош. Некоторым молодым офицерам он нравился (как и его музыка), они благоговели перед его гигантской фигурой, и они воспринимали Большого Уильяма так, как он воспринимал себя. Он, говорили иногда самые молодые,— лучший офицер-негр, какого им приходилось видеть. Другие, постарше, в частности Ролстон, говорили, что он такое же трепло, как и все прочие, только треплется громче других. «Вы их просто не знаете,— говорил Ролстон.— А я навидался их, и он вовсе не самый лучший, потому что лучших среди них вообще нет; возможно даже, он худший, так как худшие среди них попадаются». (Полковник, которому однажды в жаркий вечер пришлось решать эту проблему, так как к нему явилась неофициальная делегация офицеров жаловаться на проигрыватель Большого Уильяма — только на его проигрыватель,— сказал следующее: «Конечно, он трепло, на этот счет никаких сомнений: я никогда не встречал офицера, который хвастал бы больше него. Хвастовство — не лучшее качество офицера, и мне не хотелось бы, чтобы и вы все начали хвастать. И тем не менее он дьявольски хороший офицер. Любопытно, что сам он этого еще не знает. Слишком занят, разыгрывая из себя хорошего офицера. Вероятно, так получилось случайно. Он не самый лучший из моих офицеров — отнюдь, но советник, пожалуй, лучший. Вьетнамцы на него прямо молятся. Им нравится в нем решительно все. Даже его музыка».)

Так оно и было: вьетнамцев поражал его рост, цвет кожи, могучий бас, а он в их присутствии расцветал, чувствуя себя в своей стихии. Каждое утро он здоровался с ними: «Доброе утро, вьетнамцы!» — а они нараспев, как он их учил, отвечали: «Доброе утро, Большой Уильям!» «Как дела?» — спрашивал он. «Дела идут хорошо!» — отвечали вьетнамцы тоненькими, как у школьников, голосами.

— Ко мне продолжают поступать сведения, что рейнджеры* теряют свою свирепость и цивилизуются прямо на глазах. Это правда, Большой Уильям? — спросил полковник.

Большой Уильям покачал головой, как человек, которого оклеветали.

— Извините, господин полковник, сэр, но это брехня. Большой Уильям не спускает глаз с рейнджеров и может гарантировать, что они злы, как прежде. Да если я замечу у них джентльменские замашки, я с них шкуру спущу в вашу честь. Но Большой Уильям передаст им ваши слова, сэр.

— Хорошо, капитан Редферн. Берите вертолеты и готовьте десант.

На лице Андерсона отразилось явное разочарование. Бопре пере-

---

* Рейнджеры — бойцы диверсионно-десантной группы.

вел взгляд на Большого Уильяма: по его лицу ясно было, что рейнджеры и их советник получили лишь то, что заслуживали.

— Взбодрите их, Большой Уильям. Пусть зададут жару,— сказал полковник.

Негр кивнул.

— Завтра они полетят, господин полковник. Нам и вертолеты не нужны, это нас только задержит. Вы хотите, чтобы мы задали жару,— хорошо. Зададим.

До приезда Большого Уильяма рейнджеры всегда озадачивали американцев. Предполагалось, что это отборные части вроде морской пехоты или авиадесантников. Но это было не так. Толку от них было мало, и они постоянно обманывали ожидания американцев. (Донован, начальник разведки, говорил, что слово «отборный» надо понимать в другом смысле: подчиняясь требованию высокопоставленных чинуш, офицеры передавали в эти части не самых лучших своих людей и не самых худших, а просто, как считал Донован, самых недисциплинированных и своевольных.)

— Капитан Бопре! — сказал полковник.— Вы будете подходить к этому пункту во главе колонны пехотинцев — с востока. Старайтесь сдерживать вашего тигра и не давайте ему слишком часто завязывать бой с противником по дороге.

Эти слова вызвали новый взрыв смеха, так как все были очень довольны, что Бопре — раздражительного и нередко злого на язык человека — прикрепили к Дангу, который считался худшим из вьетнамских офицеров.

После того, как полковник кончил отдавать распоряжения и изобразил в лицах свои беседы в Сайгоне — достаточно смешно, но в границах приличия («Ну, как там ваши войска в дельте, Гаррисон?» — «Отлично, сэр».— «Это хорошо, Гаррисон, продолжайте в том же духе».),— они начали расходиться.

Андерсон задержался, стал жаловаться: вот беда, завтра весь день придется шагать пешком. «Дурак,— подумал Бопре,— пешком же безопасней, чем по воздуху. До чего же ты еще молод, черт побери».

— Большому Уильяму повезло,— сказал Андерсон.

— Да,— сказал Бопре.— Завтра, видно, будет жарко.— И подумал: повезло везучему негру.

— Капитан Бопре! — позвал его полковник.

Бопре вернулся в комнату для совещаний. Кроме полковника, там уже никого не было.

— По моим расчетам вы завтра сбросите восемь фунтов.— Он внимательно оглядел Бопре.— А может быть, и девять. Нет, все-таки восемь. Пять из-за жары и три из-за Данга.

Бопре шагнул к двери.

— Вы, я вижу, хотите остаться при нем,— сказал полковник.— А ведь все от вас зависит. Перевод легко устроить.

— Я останусь при нем,— сказал Бопре.

Он ответил, почти не думая, машинально. Одним из самых заветных его желаний было расстаться с Дангом. Но он знал, как обрадовался бы Данг, если бы он перевелся в другую часть, уступив место какому-нибудь новичку.

Бопре вышел из комнаты для совещаний и побрел в бар — выпить перед сном. В баре никого не было. Андерсон уже ушел спать. Перед операциями Андерсон никогда не пил больше двух банок пива и обязательно высыпался.

Бопре вырвал из книжечки талоны на две рюмки коньяку и налил себе сам. Здесь офицерам доверяли, поскольку дело касалось спиртных напитков, предназначенных и для других офицеров. Он мысленно ругал

Вьетнам, Мито и вынужденное безбрачие тех, кто не давал обета безбрачия. Семинарии годятся для священников, которым ничего другого и не нужно. И более подходящего места для семинарии, чем Мито, не найти, ибо здесь нет соблазнов. Но беда в том, что оно не подходит для взрослых здоровых мужчин, особенно для тех, кто завтра будет рисковать жизнью.

Он вспомнил, как приехал в Мито: ему так хотелось, чтобы его чистая, накрахмаленная форма сохранила всю свою первозданную свежесть, но пришлось слишком долго ждать в Тан Сон Нхут на солнцепеке, и он приехал на место весь измятый. Его встретил молодой и очень красивый майор.

— Добро пожаловать в Мито, капитан Бупрат.

— Бопре. Спасибо. Рад, что наконец добрался.

— Прошу прощения. В любом случае — добро пожаловать. Здесь не так уж плохо.

— На первый взгляд этого не скажешь.

— Близко от Сайгона, в этом все дело.

— А как тут с развлечениями? Я имею в виду — в смысле злачных мест?

— Не имеется. Забыли изобрести.

— Местные дамы?

— Ни-ни! Ни мне, ни вам и вообще никому из длинноносых. Приказ полковника. Он принимает это близко к сердцу — говорит, что подобные вещи вредят нашим взаимоотношениям с друзьями. Если вам уж очень приспичит, поезжайте в Сайгон. Большой город. Два миллиона жителей. Множество дам. Там вы меньше рискуете наскочить на родственницу вашего вьетнамского коллеги. Полковнику это не понравилось бы. Как я уже сказал: добро пожаловать.

— Значит, полковник — ханжа?

— Здесь нет ханжей, капитан. Мы все делаем то, что должны делать, хотя нам не всегда это нравится, из чего следует, что делаем мы это лучше, чем намеревались. А полковник у нас лучше других. И не заставляет нас белить ящики из-под угля, как вы, по-видимому, предполагали.

Бопре выпил вторую рюмку коньяку, взвешивая, побриться ли ему сейчас, перед сном, или попытаться проделать это утром, или же вовсе не бриться. К такого рода решениям он относился весьма серьезно, потому что тут все зависело только от него одного, а возможность проявлять свою волю представлялась ему теперь очень редко. Если побриться сейчас, то утром он будет хоть и не чисто, но все же выбрит; правда, в тропиках борода растет быстро, но, когда они выступят, это уже будет извинительно. Правильнее всего было бы побриться утром, но можно не успеть. Если же вовсе не бриться, то утром, при встрече с Дангом, у него будет неряшливый вид, а за день щетина отрастет еще сильнее. Ему не хотелось бриться, но не хотелось и показываться Дангу заросшим. Бопре выругал армейские порядки, которые всегда одерживают верх, даже здесь, где война и смерть и где можно было бы не думать обо всей этой ерунде, а ты вдруг обнаруживаешь, что эта ерунда вошла в твою плоть и кровь и ты сам ей подчиняешься, хотя никто тебя не заставляет. Он пошел в спальню и достал бритву.

Была полночь. В половине третьего вставать. Те, кто полетит на вертолетах, обладают единственным, но завидным преимуществом: они могут спать до четырех, а вот пехоте приходится вставать раньше. Донован, начальник разведки, утверждал, что вьетконговцы держат в семинарии своих агентов только для того, чтобы знать, когда там встают. И если подъем будет раньше двух тридцати, то, утверждал Донован, об этом немедленно узнают в самых отдаленных уголках сектора. Это по-

казалось логичным (кто-то спросил Донована, знает ли он этих агентов, а он ответил, что не знает; тогда кто-то предложил уволить весь обслуживающий персонал и набрать новый, но Донован сказал, что это ничего не даст, так как и среди нового состава окажутся все те же, прежние), но потом кто-то из новичков-лейтенантов предложил перехитрить вьетконговцев и вставать в дни операций как можно раньше. Полковник сказал, что он обдумает это предложение, и, слава богу, про него забыли.

Значит, если повезет, подумал Бопре, он поспит два часа. Он поглядел на кровать Андерсона, увидел, что тот спит, и попробовал уснуть сам.

Глава вторая

Бопре не сразу очнулся от тревожного забытья; на мгновение он даже пожалел, что вообще лег. После вчерашнего виски и коньяка у него пересохло во рту. Он разозлился, заметив, сколько москитов проникло под сетку, и вспомнил, что ночью они его будили не то раз, не то два. Эта чертова сетка не пропускает воздуха, но нисколько не сдерживает москитов. Теперь они устроились в верхних углах сетки над его головой, он только слышал их жужжание. Облюбовав одного, он протянул руку и раздавил его. Брызнула кровь — его, Бопре, кровь. Москиты были крупные и высасывали много крови, но зато они отличались медлительностью, и их легко было убивать.

Бопре медленно поплелся в огромную ванную комнату (не будучи католиком, он, однако, уже много раз задумывался над тем, не смущала ли будущих молодых священников необходимость начинать день на глазах у всех остальных: почему-то он считал, что священники должны быть застенчивыми). Поборов отвращение, он заставил себя выпить стакан воды; над длинным рядом умывальных раковин тянулась огромная надпись: «Медицинская служба армии США приветствует вас в Мито. Нашими стараниями вы можете эту воду пить».

Стараниями специалиста по очистке вода приобрела отвратительный вкус. Армия хотела сберечь его, Бопре, почки и печень. Он выпил воды, и выругал вслух свои почки.

За завтраком он выпил два стакана томатного сока и с вожделением подумал о третьем, но сделал над собой усилие и воздержался. Вот если бы он не налакался этой проклятой воды, можно было бы выпить еще стакан томатного сока.

Яичница остыла и затвердела, кофе напоминал цветом шотландское виски, а вкусом — воду, в которой выкупался специалист по очистке. Бопре все же попытался есть и с трудом одолел половину яичницы. Тут в столовую вошел заместитель главного советника при командире дивизии — обходя столики, он тихо говорил: «Осталось пять минут. Чарли* ждет. Заканчивайте и выходите. Побыстрее, Чарли ждать не будет. Побыстрее». Когда Бопре разделался с яичницей, к нему подсел с чашкой кофе Андерсон. Пока они разговаривали, Бопре посмотрел на огромный кувшин с томатным соком и налил себе еще стакан — с вызывающим видом, на случай, если Андерсон скажет что-нибудь о жаре. Это была первая за сегодняшний день победа его настоящего врага — жары. Когда он выходил из столовой, рубашка его под мышками уже пропиталась потом. А долгий день еще впереди.

Сначала он презирал жару, но теперь научился бояться ее. Он завидовал молодым офицерам, которые, казалось, почти не потели, и завидовал своим сверстникам, которые, казалось, примирились с жарой и те-

*Прозвище южновьетнамских партизан.

перь спокойно выдерживали самые худшие часы трудного дня, а потом говорили: «Да, было жарко», как будто этим все и исчерпывалось.

Когда он впервые приехал во Вьетнам, он почувствовал, что жара — враг всех белых, но она скоро стала его личным врагом, потому что он не умел ей противостоять. Другим еще как-то удавалось держаться.

Первый день его пребывания в Мито совпал с пасхальным воскресеньем, на которое была назначена крупная операция. Термометр показывал 45 градусов (он запомнил, какая была температура в этот день,— редкий случай, так как, подобно остальным обитателям Мито, он скоро привык считать погоду просто жаркой, а точной температурой никто не интересовался: вчера было жарко, сегодня жарко, завтра будет жарко. Об этом вообще не думали). Тогда было сухо, а марш оказался очень долгим. Четверых американцев свалил тепловой удар. Он мучился на командном пункте, но не столько от жары, сколько от мыслей о жаре: в его воображении Вьетнам превращался в 365 таких вот дней. Когда привезли второго американца, молодого лейтенанта, он почувствовал головокружение и чуть не грохнулся в обморок. Это позабавило тогдашнего главного советника, который тут же предложил ему отправиться в часть на место лейтенанта. Потом, когда Бопре уже собирал свое снаряжение, полковник остановил его и сказал, чтобы он не принимал все так близко к сердцу: просто сегодня тяжелый день. Позже он узнал, что и вьетнамцы считали этот день тяжелым: к вечеру, помогая отвозить в часть питьевую воду, он увидел, что вьетнамцы лежат на земле без сознания, словно одурманенные. Шестерых он погрузил в вертолет и увез с собой. Перетаскивая почти безжизненные тела вьетнамцев, он почувствовал себя уверенней, однако теперь он знал, что в войне у него будут два врага.

Бопре и Андерсон вышли из семинарии к джипу, который должен был отвезти их на вьетнамскую базу на другом конце городка. За рулем сидел молодой капрал — из службы связи, решил Бопре. Едва они тронулись с места, как капрал повернулся к Андерсону и спросил:

— Знаете, какой сегодня день?

Андерсон ответил, что не знает.

— Двадцать первый,— сообщил капрал.— Всего-навсего три недели. Ровно двадцать один день осталось мне служить в этой стране. А там — домой!

Андерсон кивнул.

— А можно вас спросить, лейтенант? Сколько дней вам осталось?

Андерсон улыбнулся — почти смущенно, подумал Бопре.

— Сто восемьдесят два.

— Сто восемьдесят два? Это хорошо,— сказал капрал.— Теперь дело пойдет на убыль. Сто восемьдесят три уже позади, вот что важно, а теперь пошло на убыль, я помню мой сто восемьдесят третий день!..— Он повернулся к Бопре и спросил: — А сколько вам, капитан? Извините, что интересуюсь.

— Не знаю,— ответил Бопре.

— То есть как это не знаете? — удивился капрал.— Должны знать! Все знают. Даже полковник. Так сколько же?

— Сто одиннадцать,— сказал Бопре.

— А вы уверены, капитан? В таких делах надо быть точным. Свой-то срок я подсчитал. Пятьсот четыре часа. Тридцать две тысячи двести сорок минут. Здесь точность нужна.

Бопре сказал, что он уверен. Капрал спросил, когда он прибыл во Вьетнам. Бопре ответил.

— Нет, сэр,— сказал капрал.— Тогда это неверно. Не может быть сто одиннадцать. Какого числа вы прибыли, сэр?

Бопре назвал число.

— Нет, сэр,— сказал капрал,— вам куда меньше осталось. Ну, пятьдесят девять, самое большее шестьдесят.

— Верно, шестьдесят,— согласился Бопре.

— Вы бы точнее считали, капитан,— посоветовал капрал. — Тут нельзя ошибаться, не то вас могут оставить на второй срок. Разве им можно доверять? Надо считать самому. Уж они-то вам не помогут, особенно в таком деле. Хорошо еще, что я с вами сегодня еду, а то вы бы так и думали, что вам еще четыре месяца осталось. Шестьдесят дней. Одна тысяча четыреста сорок.

— Чего? — спросил Бопре.

— Часов,— ответил капрал.

— Спасибо,— сказал Бопре.

Наступило молчание. Небо еще не посветлело, поэтому фары были включены на ближний свет. Но в воздухе уже начинала чувствоваться духота. Бопре спросил Андерсона:

— Сколько у нас сегодня деревень?

— Три,— ответил лейтенант.— Ап-Винь Лонг, Ап-Тхань и Ап-Бинь Зыонг.

— Ап — что? — переспросил Бопре.

Андерсон повторил названия.

— Мы ведь там уже были?

— В которой? — спросил Андерсон.

— Во всех,— сказал Бопре.

— Нет,— ответил Андерсон. — Ни в одной из них мы еще не были. Это все новые объекты.

Помолчав, Бопре спросил:

— Знаете, в чем беда этой страны, Андерсон? Слишком много деревень. Слишком много этих проклятых деревень — сотни, даже тысячи, и все похожи друг на друга. И слишком много в них людей. Если бы здесь не было такого множества удаленных друг от друга деревень, не было бы и войны, и не надо нам было бы без конца ходить пешком. Вытащите-ка всех этих людей из деревень, сгоните их в один большой город — и не будет ни войны, ни маршей. А потом соберите-ка ребят, которые служат в нашем Управлении экономической помощи и огребают по пятнадцать тысяч в год плюс деньжата на служебные расходы, и заставьте их изобрести большую машину, чтобы она сажала рис, и поливала рис, и пинала буйволов в зад, а потом собирала рис и посылала его в единственный город — пусть люди там делят его и едят. Вот тогда не будет у нас войны и не будет американцев. И наша обязанность дать им эти машины.

Андерсон засмеялся.

— Чертова страна,— сказал Бопре.— Столько деревень, и все называются одинаково: Апвиньтханьбиньдиньлонгзыонг.

Они въехали в городок. Ранние прохожие уже шли на рынок — люди, чей мир, в какой бы стране они ни жили, был не похож на мир Бопре. Они ложились спать, когда он только входил в бар, и он всегда чувствовал себя неловко, если был еще на ногах, когда они просыпались,— но не здесь, не в этой стране.

— Знаете, что скажет этот сукин сын Данг, когда увидит нас? — спросил Бопре.

Андерсон засмеялся.

— Он скажет: «А-а, доброе утро, мои друзья, американские воины! С добрым утром!»

Андерсон расхохотался: он знал, что Бопре был прав.

Джип подъехал к длинной колонне грузовиков, в которых уже ждали вьетнамские солдаты. Солдат посадили спиной к движению — так что

в случае нападения из засады они не могли сразу открыть ответный огонь.

Данг радостно им улыбнулся. Похлопал Бопре по плечу и сказал:

— Мои самые любимые американские воины! А-а, доброе утро! А-а, доброе утро, мой друг капитан Бопре и мой молодой друг лейтенант Андерсон!

— Капитан Данг, мой самый любимый вьетнамский воин! — сказал Бопре, и ему послышалось, что Андерсон подавил смешок.

— Я вижу, у капитана Бопре сегодня хорошее настроение, как и у его друга капитана Данга. Сегодня мы отправляемся на охоту за коммунистами Вьетконга. Я думаю, все пойдет очень хорошо и мы убьем много коммунистов Вьетконга.

Бопре дипломатично кивнул и справился о здоровье миссис Данг и маленьких Дангов.

— Сегодня, капитан Данг, коммунисты Вьетконга получат хорошего пинка в задницу,— сказал Андерсон.

— А-а, американцы! — сказал Данг.— Энергичные люди. Воины.

Бопре, лениво переговариваясь с Дангом, подумал о том, что Данга он получил, можно сказать, в награду — словно выиграл его в лотерее на вторую неделю своего пребывания во Вьетнаме, когда у него еще был какой-то запас энергии и честолюбия. Его тогда временно назначили в другой батальон, предупредив, что батальонный командир слаб, но что Бопре должен вести себя сдержанно и тактично и не ставить союзника в глупое положение. Это была первая лекция, которую ему пришлось выслушать, и он машинально, почти не слушая, кивал головой, зная заранее, что́ ему скажут, зная, что ему придется к этому приспосабливаться,— он был старый служака.

Спустя десять дней этот батальон был послан на задание и опоздал на сорок минут к месту соединения с другими частями, одна из которых, действовавшая на восточном фланге, попала в засаду. В это время батальон Бопре делал очередной привал (эти бесчисленные привалы прерывали марш, как рекламные сообщения — радиопрограмму). Когда Бопре услышал по радио о засаде, солдаты все еще отдыхали. Он подождал немного, а затем сказал командиру, что следовало бы сняться с привала. Офицер кивнул, согласился, но никаких распоряжений не отдал. Через несколько минут эта сцена повторилась — голос Бопре звучал настойчивее: ведь там сражались свои (тогда он еще считал их своими), и офицер снова с ним согласился и снова не отдал никаких распоряжений. Наконец, отмерив по своим армейским часам ровно две минуты, он опять подошел к командиру, вне себя от злости (он ко многому был равнодушен, но не к тому, чтобы бросать своих без поддержки под обстрелом противника), и начал кричать: «Черт возьми, расшевелите же их! Что у них, зады приросли? Дайте им пинка! Если не можете сами, я это сделаю! Дьявол вас побери, люди гибнут где-то на проклятых рисовых полях, а вы даже не шевелитесь! Ваши же солдаты гибнут. Да что вы за люди, черт побери?»

Это была удивительная сцена, доставившая вьетнамским солдатам огромное удовольствие. Усмехаясь и хихикая, они быстро снялись с привала и скорым шагом двинулись вперед, но было уже поздно. Этот случай вызвал страшный скандал, и у Бопре могли быть большие неприятности, но его предшественники, к счастью для него, неоднократно подавали на этого офицера длинные рапорты с аналогичными жалобами, и полковник уперся, а вьетнамцы — само собой — уступили (командир дивизии относился к командиру попавшего в засаду батальона более благосклонно, чем к офицеру, с которым сцепился Бопре) и произвели соответствующие перемещения. Американцы были чрезвычайно довольны и говорили, что началась новая эра; а полковник отвел Бопре в сторону и

сказал, что это большая победа, но что ему следует переменить тактику и во что бы то ни стало наладить хорошие отношения со своим новым коллегой; второго перевода не будет, а потому он должен воздержаться от подобных выходок и не кричать о пинках в зад — даже шепотом не произносить таких слов (говоря это, полковник улыбнулся). Надо уживаться с людьми, проявлять гибкость, слушать, давать советы и вести себя корректно; он одержал большую победу, им гордятся, и в другую часть перевели не его, а вьетнамца, но второй раз этого не произойдет. Бопре слушал, кивал, удивлялся и немножко гордился собой. После этого он получил Данга. Неделю спустя его спросили: «Ну, как Данг?» Он ответил (это было единственное, что он сказал за целый месяц): «Что же, этот говорит по-английски лучше, чем большинство из них». Это была его первая и последняя похвала в адрес Данга.

Пока он беседовал с Дангом, к ним подошел молодой вьетнамский лейтенант (коллега Андерсона) и заговорил с Андерсоном. Оба держались непринужденно. Сначала они разговаривали по-английски, а потом, отойдя в сторону, перешли на вьетнамский. Бопре они показались удивительно нормальными и молодыми. И вдруг он позавидовал им — позавидовал тому, что они разговаривают по-вьетнамски, и тому, что они разговаривают по-английски, и тому, что они друзья, и тому, что они молоды.

Он повернулся к Дангу, и они продолжали разговор: каждый сообщил другому, что день будет жаркий, очень жаркий.

Потом они с Дангом сели в джип и подъехали к первому грузовику, и вот уже колонна выбралась на шоссе, с джипом и американцами во главе. Если шоссе заминировано, подорвутся на мине они.

По обеим сторонам шоссе пробуждалась жизнь, была цивилизация, создавались импровизированные рынки, и дети продавали ананасы, нарезанные на куски.

У моста колонна остановилась, и к машинам от одного маленького прилавка хлынули дети — прямо сотни детей,— протягивая ананасы. Солдаты начали торговаться, смеяться и что-то кричать детям — один предлагал мальчику пять пиастров за ананас и его сестру в придачу. Они накупили ананасов, и Бопре с жадностью поглядел на толстый и сочный кусок, прикидывая, сколько он стоит на американские деньги — цента два,— но сдержался, хотя ни на секунду не забывал о жаре.

Потом они миновали мост и поехали по проселку, но вскоре остановились и слезли с грузовиков: теперь даже эта узенькая полоска цивилизации — цивилизации голоштанных мальчишек, продающих ананасы,— и та осталась позади. Они были в сердце страны.

Дальше они двинулись гуськом — маленькие люди в больших касках, с большими автоматами. А странно: когда Бопре в первый раз увидел их в бою с вертолета, он был поражен, какими большими они казались. Он ожидал увидеть миниатюрных солдатиков, вооруженных бойскаутов, но сверху их до последней минуты было трудно отличить от американских советников — только походка была иная, так как вьетнамцы, конечно, не видели такого количества «вестернов», как американцы. Но на земле они снова выглядели маленькими человечками в касках, превращавших в карикатуру и их самих и войну — не солдаты и не бойскауты; из-за касок все казалось почему-то несерьезным. Недаром иногда полковник по рассеянности называл вьетнамцев «малышами».

Батальон Бопре был сформирован из солдат одиннадцатого полка — собственно говоря, это был не полный батальон, а штабная рота, которой придали еще одну роту, всего сто пятьдесят человек.

Бопре видел, как Данг разговаривал с вьетнамским лейтенантом, потом Данг что-то сказал солдатам, и они зашагали весело и бодро. Сначала Бопре шел позади Данга, полный обычной утренней решимо-

сти вести себя правильно и действовать в тесном контакте с ним,— к полудню эта решимость обычно без следа исчезала.

— Как вы думаете, капитан, войдем мы сегодня в соприкосновение с противником? — спросил он.

— А-а, с противником! — сказал Данг.— Да.

Несколько минут они шли рядом, и Бопре тщетно пытался начать какой-нибудь разговор; и прежде иногда Данг прекрасно говорил по-английски, а иногда все происходило так, как на этот раз,— Данг изолировал его от солдат. Обойтись же без посредничества Данга он не мог, потому что не знал языка. И он чувствовал, что Данга это устраивает, что Данг очень ревниво относится к возможности его непосредственного контакта с солдатами. В результате, разговаривая с одним Дангом и встречая только улыбки сотни маленьких людей, Бопре ощущал себя не столько советником, сколько туристом в чужой стране. Да, он турист, просто у него больше гидов, чем обычно полагается туристам. Он видел страну, но по-настоящему не понимал ее. Вначале это ощущение беспокоило Бопре, его тревожило опасение, не один ли он здесь посторонний. Но потом он заметил, что его американские коллеги почти все ходят с фотоаппаратами — простенькими японскими камерами — и с их помощью запечатлевают буддийские храмы, убитых вьетконговцев и вьетнамских друзей, а потом позируют приятелю рядом с какой-нибудь чернозубой старухой.

Бопре посмотрел на солдат — они делали все не так с самого утра, когда сели в грузовики таким образом, что не смогли бы стрелять, если бы попали в засаду, и он не сомневался, что оружие у них не чищено (Бопре гордился тем, что он не формалист, но считал, что в боевой обстановке оружие должно содержаться в порядке). И они шумят на марше — как всегда. Он не разделял нежности, которую многие его коллеги питали к вьетнамским солдатам. Американцы, по его мнению, для очистки совести вечно разглагольствуют о том, как хороши вьетнамцы и как прекрасно они ведут себя в бою, несмотря на посредственных офицеров. Но Бопре они не нравились — он считал, что они слишком шумят на марше, не заботятся об оружии и, хуже того, не заботятся о своих товарищах (впрочем, и товарищи их не стали бы заботиться о них. Это взаимно.)

Своим собственным поведением он был доволен: серьезных стычек с Дангом у него не возникало (так, небольшие споры), и он ни разу не сорвался в присутствии Данга. Он давно уже научился не требовать многого и, требуя мало, получал еще меньше. Он не давал лишних советов, избегая ставить Данга в неловкое положение, поскольку тот не догадался о чем-то раньше, и не желая сам попадать в неловкое положение из-за того, что его совету не последовали.

Они шли уже около получаса, когда Бопре решил все-таки дать совет. Он всегда был очень осторожен: когда у него возникала какая-нибудь мысль, он не торопился ее высказать, а сперва обдумывал, взвешивал и решал, стоит ли вмешаться. Солдаты шли скученно с самого начала, но он ничего не говорил, не желая начинать день с самого элементарного, самого обидного замечания, не желая растрачивать тот маленький авторитет, которым еще располагал. Бог знает, что еще может случиться в течение дня, не было смысла сразу же выскакивать со своим американским всезнайством. Но они шли скученно, а налогоплательщики Соединенных Штатов наняли его, Бопре, именно для того, чтобы он не давал им скучиваться,— за это ему платят жалованье, пусть даже довольно скромное. «Одной гранаты,— повторял в Корее его первый сержант, немолодой и флегматичный человек по фамилии Шаусс,— одной гранаты хватит, чтобы изрешетить пятьдесят задниц, если вы будете скучиваться, и эту паршивую гранату брошу я, сержант Шаусс».

Бопре остановился и повернул назад, чтобы поговорить с Дангом. Капитан улыбнулся — он всегда улыбался, даже когда Бопре был уверен, что он взбешен. Бопре поймал себя на том, что он и сам улыбается. Наверно, Данг думает, что американцы всегда улыбаются — даже когда им плюют в морду, даже когда они требуют невозможного.

— Даи ви,— начал он.

Вьетнамское слово, означающее «капитан» и одно из немногих вьетнамских слов, которые знал Бопре. Поэтому он пользовался им очень часто, словно заклятием. Это слово как бы означало, что он, Бопре, любит его, Данга, страну и народ. В этом слове воплощалась его неспособность постичь эту страну. Одной из причин неприязни Бопре к Андерсону, помимо его молодости, его рвения и уверенности, что через два года Андерсон станет капитаном, а вскоре и майором, было то обстоятельство, что лейтенант хорошо говорил по-вьетнамски, знал (во всяком случае, так он утверждал), что́ говорят и что́ думают вьетнамцы, проводил много времени в их обществе и был способен смеяться вместе с ними — даже с солдатами.

— Даи ви,— начал Бопре и перешел на свой родной язык, заплатив дань уважения международному братству. Теперь он говорил почти извиняющимся тоном, словно это по его, Бопре, вине солдаты шли скученно.— Солдаты идут слишком близко друг к другу.

Он улыбнулся. Капитан улыбнулся.

— Да,— сказал Данг.

— Может быть, им лучше немного рассредоточиться? — сказал Бопре.— Они просто напрашиваются на засаду.

Капитан кивнул и сказал что-то по-вьетнамски. Команду передали по колонне.

«На этом все и кончится»,— подумал Бопре.

Сначала как будто что-то началось и в колонне наметилось какое-то перемещение, но через несколько минут солдаты опять скучились — не хватало только первого сержанта Шаусса и его одной гранаты.

Бопре прошел в голову колонны. Ему не нравилось соседство Данга, тем более что тот шел за радистом, а вьетконговцы часто давали первый залп именно туда, рассчитывая покончить разом с офицером и с радистом. Какой смысл подставлять под этот залп еще и американца? Кроме того, ему нравилось идти в голове колонны.

К восьми часам стало жарко. Он правильно оценил своего врага. Когда он только-только приехал во Вьетнам, он решил придерживаться строгого режима. Одна фляга воды в сутки. Первый глоток после одиннадцати утра. К трем часам, то есть к середине дня, когда солнце в зените, во фляге должно оставаться больше половины. До полудня — никаких местных фруктов. Он очень боялся жары, и этот страх заставлял его быть решительным. Режим был очень строг. Но через две недели он начал мошенничать. Человек остается человеком, даже если он боится. Через две недели войны он воевал уже не столько с противником, сколько с солнцем,— шагая под палящими лучами по высохшим рисовым полям, он думал не о том, где сейчас противник, а о том, сумеет ли он пересилить жажду и когда можно будет еще попить. Сначала он обманывал себя тем, что дисциплина дается не сразу, что требуется время, надо пожить еще немного в этой стране, чтобы сладить с жарой, а когда он похудеет и закалится, дела у него пойдут лучше. Но чуда не произошло. Он был слишком стар для этой страны и не мог приспособиться. Он не переменился и не стал стройнее, а оставался таким же, иногда даже прибавлял в весе. В очень тяжелые дни, когда операции длились долго и сильно жгло солнце, его форма темнела от пота и он терял фунтов десять, но между операциями всегда бывало два-три дня перерыва, и он возвращал все потерянное, потому что пил — за завтраком, за обе-

дом, за ужином и в баре. (Полковник, который знал, что происходит, когда человек теряет выдержку, был тактичен, говорил, что всему виной апельсиновый и томатный соки, и не возражал против посещений бара, а только рекомендовал обходиться без завтрака.) Когда он понял, что проигрывает свою войну, то начал мошенничать: прикладывался к фляге сначала за несколько минут до положенного времени, а затем все раньше и раньше; рассчитывал, что отыщутся фрукты, что найдется какой-нибудь благодетель, поможет счастливый случай или у щедрого пилота на вертолете окажется полная фляга холодной воды. До сих пор ему везло. Только один раз он по-настоящему попал в трудное положение, но и тогда в последнюю минуту, когда он уже не мог больше терпеть и решил пойти к Андерсону попросить глоток воды, солдаты обнаружили кокосовую рощу. Потом он сидел под пальмой и пил сладкий сок, который тек у него по лицу, по шее и, главное, по рубашке, а Андерсон стоял и злился, потому что отряд не двигался,— Бопре же в тот день был снисходителен к вьетнамцам.

Вместе с Бопре во главе колонны шли двое вьетнамцев. Одного из них — широкоплечего коротышку с усами — он узнал; это был уроженец Нунга, которого Андерсон считал лучшим сержантом в роте. Второй, худенький вьетнамец, был просто одним из сотни ему подобных. Они шли втроем впереди колонны, постепенно сменяя друг друга; когда шедшему впереди что-нибудь казалось подозрительным, он тотчас занимал позицию, удобную для ведения огня, а другой сходил с главной тропы и шел вдоль фланга колонны. Они менялись, не говоря друг другу ни слова: вьетнамцы не знали английского, а Бопре — вьетнамского. Но здесь помогала простая военная выучка — разговаривать не было нужды, все делалось инстинктивно.

Некоторое время спустя их догнал молодой вьетнамский лейтенант; он кивнул Бопре и несколько минут принимал участие в их балете, а затем, словно по сигналу, они с Бопре убавили шаг.

— Капитан, кажется, обеспокоен тем, как идут наши солдаты,— сказал лейтенант.

— А вас это не беспокоит? — спросил Бопре.

— Они идут очень близко друг к другу, это верно.

— Что же вы ничего не предпримете? — сказал Бопре.

— Разве капитан видит на моей гимнастерке генеральские звезды? — спросил лейтенант.

— Это ваши люди,— сказал Бопре.— Письма их вдовам буду писать не я.

— У нас во Вьетнаме эта роскошь — письма — не принята. Это вы пишете письма.

— Это ваши люди,— повторил Бопре.

— Как и вьетконговцы,— сказал Тыонг.

Бопре хотел было ответить ему, что вьетконговцы не ходят кучно и не нуждаются в советниках, но сдержался. Лейтенант словно по сигналу отошел от него и занял свое место в колонне. Бопре с неудовольствием почувствовал, что хочет пить; он уже готов был приложиться к фляге, но потом решил перетерпеть и дождаться, пока отряд не выйдет из первой деревни. Они должны войти в первую деревню очень скоро, через полчаса или раньше, если будут продвигаться нормально и не слишком часто останавливаться для отдыха,— вот потом он попьет. Он надеялся, что к полудню, когда они выйдут из второй деревни, его фляга все еще будет наполовину полна.

Лейтенант Тыонг был зол на американского капитана и зол на себя. Возвращаясь на свое место, он попытался по возможности растянуть колонну.

— Держитесь подальше друг от друга,— говорил он.— Не идите

так скученно. Разве вы шли бы так, если бы вьетконговцы находились в двухстах ярдах отсюда? Сегодня они будут стрелять только в рядовых. Офицеров не тронут. Только рядовых.

Тыонг был в очень скверном настроении, его мучила сильная боль; он чувствовал, что скоро пойдет дождь, и тогда ему придется совсем тяжко — ступать на больную ступню будет еще труднее. Неудачный день: на десятой минуте марша он поскользнулся, нога провалилась в яму, и, еще не ощутив боли, он понял, что́ произошло. С ним уже был такой случай, но тогда он был моложе, подобная неуклюжесть казалась более извинительной. Колышек глубоко вонзился в мякоть ступни, и он почувствовал страшную боль. Он ничего не сказал. На мгновение он задержался, а шедший сзади солдат обошел его и пошел дальше, но следующий остановился, поглядел и понял, что произошло с лейтенантом. Солдат хотел было что-то сказать, помочь, но, взглянув в лицо Тыонга, встретил его каменный взгляд, приказывавший идти дальше, и, напуганный свирепостью этого взгляда, не просто пошел, а даже как-то рванулся вперед. Тыонг не хотел показать, что ему больно, не хотел, чтобы другие знали о случившемся. Наступить на колышек мог только новобранец или американец — новобранцев за такую ошибку бьют по лицу, а американцы за это награждают себя орденами. Он мог бы остановить колонну, хотя бы ненадолго, но не остановил. Он не хотел, чтобы солдаты и американцы узнали про его оплошность.

Он опустился на одно колено и быстро вытащил ногу. Он почувствовал, как колышек вышел из резиновой подошвы его ботинка, а вернее офицерской теннисной туфли, и боль стала сильнее, к ней прибавилась какая-то новая боль. На мгновение ему показалось, что острие колышка обломилось и осталось в ступне. Тыонг был почти уверен, что так оно и произошло, потому что пять лет назад, когда он был еще молодым и глупым кандидатом в офицеры, обломок действительно остался у него в ступне и был извлечен несколько недель спустя из распухшей позеленевшей ноги,— это была настоящая операция, и ее сделали только потому, что он готовился стать офицером. Врач-француз, оперировавший его и спасший ему жизнь, равнодушно сказал ему тогда, что, будь он простым солдатом, он умер бы «comme tous les autres» *. Потом врач угостил его сигаретой — в виде исключения, сказал он, потому что тем, кто оставался жить, он сигарет обычно не предлагал.

Тыонг не сомневался, что колышек был чем-то вымазан — скорее всего навозом буйвола, излюбленным средством вьетконговцев,— во всяком случае, оно дешево, да и всегда под рукой, в отличие от других, более совершенных средств химической войны. Но промывать ранку времени не было. Он наступил на поврежденную ногу и почувствовал резкую боль. К вечеру она станет сильнее, а на следующий день будет совсем скверно. Он сделал несколько осторожных шагов и убедился, что может идти, почти не прихрамывая. Он оглянулся и увидел, что даже не оставляет кровавых следов. Чтобы не хромать, он старался идти на цыпочках. Он не хотел, чтобы американцы увидели, что он хромает, и прислали за ним вертолет (они угощали офицеров вертолетами, как жевательной резинкой); он не хотел даже думать о вертолете, от эвакуации в тыл он всегда мог отказаться. Сегодня до конца дня он как-нибудь продержится, а если повезет, ночевать в поле они не будут: операция, по-видимому, рассчитана только на дневное время, так что вечером он вернется в Мито и пошлет своего ординарца Динга раздобыть за деньги чистого спирта или на худой конец местного коньяка, который, по сути, тот же спирт, только подкрашенный, и промоет рану, а дня через три обратится к врачу. Спирт, наверно, спасет ему ногу, хотя деньги за него, бесспорно, попадут в руки коммунистов.

* Как все прочие *(франц.)*.

Теперь, отходя в конец колонны, он слышал, как солдаты позади переговариваются и смеются. Один из них включил транзисторный приемник и подпевал певцу, исполнявшему песню о богатой девушке — девушка любила одного юношу, но юноша был бедный, а потому благородно отказался от нее, так что девушке пришлось покончить жизнь самоубийством. Тыонг подумал, что эта песня подозрительно смахивает на коммунистическую пропаганду.

— Бинь,— спросил он солдата.— А ты знаком с богатыми девушками?

— Да, лейтенант,— ответил солдат.— У солдата много богатых подружек.

— И они тебя любят?

— Конечно, лейтенант. Как же иначе?

— Но ты ни на одной не женился?

— Я не хотел на такой жениться, это было бы неправильно, потому что мой долг оставаться бедным. Ведь если б я стал богатым, мне трудно было бы защищать свою родину, не захотелось бы ей служить.

— И ты согласился бы на то, чтоб богатая девушка покончила жизнь самоубийством?

— Только для спасения родины, лейтенант,— ответил солдат.

— Так, может, ты для спасения родины не будешь так жаться к рядовому Тханю, который идет впереди тебя?

— Простите, лейтенант. Это я делал не для спасения родины, а для спасения Тханя.

Тыонг стоял и смотрел, как солдаты менялись местами и Бинь толкнул Тханя в спину, чтобы тот ушел подальше вперед. Этот разговор развлек его, но ненадолго: двинувшись дальше, к хвосту колонны, он почувствовал, как вернулась боль. Он не сомневался: теперь он заметно прихрамывал, и мысль о том, как будут пересмеиваться солдаты, привела его в ярость. Ему показалось, что один из солдат внимательно смотрит на него. Он обернулся, и взгляды их встретились. Тыонг подозвал солдата и велел открыть патронную сумку. Она оказалась полной. Тыонг испытал чувство, похожее на досаду. Если бы ему повезло, патронов не хватало бы, и у него был бы повод отчитать солдата и хотя бы на время забыть о боли и унижении.

— Где твой индивидуальный пакет? — резко спросил он.

Солдат, удивленный раздраженным тоном обычно спокойного офицера, простодушно посмотрел на Тыонга и ответил, что пакета у него нет. Вид у него был такой невинный, что Тыонг, намеревавшийся дать ему нагоняй, вдруг осекся и велел в следующий раз не забыть взять пакет — ведь в любой момент он может быть ранен или контужен (или провалиться в яму с колышком, мысленно добавил Тыонг). Солдат улыбнулся, и Тыонг невольно улыбнулся в ответ.

— Какой великой мудрости ты обязан тем, что взял сегодня полный комплект патронов? — спросил он.— Твоя жена смотрела свой гороскоп?

— Просто я удачливый,— ответил солдат.

— А свой гороскоп ты знаешь?

— Моя жена смотрела свой гороскоп и сказала, что на этой неделе большой человек будет добр ко мне.

— У твоей жены прекрасный гороскоп,— сказал Тыонг.— Но что с ним случилось, когда она выбрала в мужья тебя?

В восемь тридцать они вошли в первую деревню. И тут же поступило донесение, что на северном конце деревни замечены два убегающих старика. В погоню за ними было послано подразделение, но оно явно не то-

ропилось. Андерсон сказал себе, что это просто еще два старика, которые куда-то скрылись; однако даже это маленькое событие на какое-то время приятно взволновало его: может быть, все-таки сегодня будет бой?

На подступах к деревне он внимательно осмотрел стену леса и решил, что густая чаща деревьев и кустов справа от него — прекрасная позиция для вьетконговцев, так как оттуда открывался вид на все поле, через которое сейчас шел отряд. Андерсон приготовился открыть заградительный огонь; он сознавал, как сознавал всегда, что вьетконговцы, если они действительно прячутся там, прекрасно его видят, а из-за своего роста он является естественной мишенью. Сам он, будь положение обратным, несомненно целился бы во вьетконговца, который возвышался бы над остальными на полторы головы.

Но вьетконговцев там не оказалось, и они вошли в деревню без единого выстрела.

Бопре сделал несколько шагов в сторону, и Андерсон проследил за ним взглядом. Бопре как будто рассматривал вход в одну из хижин, но на самом деле глядел на огромную бочку с дождевой водой, стоявшую у этой хижины. Он думает: напиться этой воды или же налить ее себе во флягу, решил Андерсон. Но воду могли отравить, да и в любом случае в нее придется бросить галазоновую таблетку, а они оба терпеть не могли воду, обработанную таким способом. Нет, он сумасшедший, думал Андерсон,— пьет виски и прочую дрянь, а потом каждый день вот так приближает себя к смерти. Андерсон заметил колебания Бопре, заметил, что тот решил все-таки не пить, и на секунду почувствовал к нему симпатию и жалость, что случалось редко; в эту минуту Бопре был не озлобленным циником, а просто солдатом, которому хотелось пить. «Интересно,— подумал он,— сумеет ли он выдержать в следующий раз?»

— Жарко сегодня,— сказал Бопре, подходя к Андерсону, и указал на вьетнамцев.— Вот и женский корпус прибыл.

Солдаты собирали женщин на деревенской площади. Их оказалось шестеро, да еще четверо детей. Из этой деревни бежали даже дети. Все женщины выглядели старухами — каждой можно было дать не меньше пятидесяти-шестидесяти лет. Когда Андерсон только приехал во Вьетнам, он думал, что им действительно столько лет. Но от Тыонга он узнал, что многим из этих женщин на самом деле не больше тридцати пяти, однако жизнь, работа, постоянные роды — а дети нередко рождаются мертвыми — состарили их, лишили женственности. Прежде красные от бетелевой жвачки зубы почернели, как гнилые тыквы, груди высохли и исчезли, словно их никогда и не было, а кожа стала не желтой и не коричневой — он не мог подобрать подходящего слова: цвет чего-то сухого, обо что можно зажигать спички. Как-то, когда ему тут все было еще внове, он сказал Тыонгу, что хотел бы понять его страну. «Если вы хотите понять нашу страну,— ответил Тыонг,— поезжайте в Сайгон, зайдите в самый новый бар, выберите самую красивую вьетнамскую проститутку, но отвезите ее не в отель, а к ней домой — в Шолон или где там она еще живет,— лягте с ней в постель в ее лачужке и весь вечер слушайте, как ее мать и бабка кашляют до поздней ночи. Вот тогда вы поймете мою страну».

Одна из женщин стояла в стороне от остальных, и Андерсон подошел к ней и сказал по-вьетнамски, что он очень сожалеет, если они помешали их утренней работе.

Он видел ее зубы: они были крепко сжаты. Он попробовал ей улыбнуться, но она не ответила ему улыбкой.

Он спросил, не занималась ли она стряпней? И что она стряпала? Женщина даже не отвела от него взгляда. Он для нее не существовал.

Андерсон почувствовал на своем плече чью-то руку. Это был Тыонг.

Он безмолвно просил Андерсона предоставить все расспросы вьетнамцам. Андерсон отошел к хижине, у стены которой стоял, прислонясь, Бопре. Он как будто заметил на лице капитана легкую усмешку. И немного смутился, так как был очень горд своими познаниями во вьетнамском языке. Он сказал Бопре, что допрос лучше предоставить вьетнамцам.

Насмешливая улыбка исчезла с лица Бопре — оно стало абсолютно непроницаемым.

— Возможно, их пугают ваши зубы,— сказал он.

«Сукин ты сын,— подумал Андерсон.— Пусть-ка днем станет еще жарче, хоть мне и самому придется несладко». Вслух же он сказал:

— А вы становитесь все больше и больше похожи на них. Даже думаете уже, как они.

Тыонг начал допрос без всякой охоты. Для него это была самая неприятная часть службы, и это обстоятельство отразилось на изменениях в ходе его карьеры. Когда он был еще кандидатом в офицеры, он больше всего любил допрашивать, и у него это получалось лучше, чем у других,— возможно, потому, думал он, что его родители были беднее родителей других офицеров, а он старался быть образцовым офицером. Но с каждым годом эта обязанность нравилась ему все меньше и меньше, и в конце концов он проникся к ней отвращением. Это случилось два года назад, когда они вошли в деревню, которая, как они знали, была вьетконговской, и не нашли в ней ничего. Они уже собирались уходить, как вдруг мальчик лет трех посмотрел на него, расплакался, а потом побежал к дереву на берегу канала и вытащил из дупла своего отца, молодого вьетконговского офицера. Отец ни разу не взглянул на Тыонга, не сказал ему ни слова, а только подошел к мальчику и стал ласково гладить его, чтобы успокоить. А когда ребенок наконец утих, он повернулся к Тыонгу и сказал: «Ну, куда мне идти — на север или на юг? Давайте кончать». После этого случая война стала казаться ему бесконечно долгой и отвратительной. Обе воюющие стороны заставляли этих людей платить все более высокую цену, и люди замыкались в себе, и разговоры с ними все больше и больше превращались в разгадывание шарад, становились все более и более бесплодными — они говорили все больше слов, а люди все меньше, и в конце концов допросы сделались для него самой неприятной стороной войны. Он догадывался, что политические работники Вьетконга испытывают такое же чувство, но у них, думал он, есть по крайней мере какой-то лозунг, идея, какая-то революционная цель, которая их поддерживает, есть соответствующее изречение Хо, которое они заучили, и что еще важнее — которому верят. Они говорят народу, что война ведется в его же интересах, хотя народ, может быть, и не понимает этого,— и от усталости и отчаяния люди начинают верить. Быть может, в отчаянии люди говорят им: да, мы обещаем вам верить, если вы обещаете не возвращаться сюда.

Тыонг начал допрос, опасаясь, как бы не выдать всех этих мыслей и чувств. Он пытался одновременно и успокоить и запугать женщину, подозревая, что ни то, ни другое у него не получается. Сначала он поинтересовался видами на урожай и выразил надежду, что урожай будет хороший. Он услышал ее уклончивый ответ: у лейтенанта же есть глаза, и, наверно, он сам видит; он человек ученый, так пусть посмотрит и сам скажет, какой будет урожай, а она не отличит хорошего урожая от плохого — как они были бедняками, так и останутся. Он услышал собственные слова: здесь, в их части дельты, живется лучше, чем на Юге под У Минем, откуда родом он сам (он долго работал над тем, чтобы избавиться от северного акцента, и его уверяли, что это ему вполне удалось).

Там одни болота, и дети всегда болеют. Он посмотрел вниз на мальчика, стоявшего рядом с женщиной, и встретил взгляд, полный яростной ненависти: четырехлетний мальчик уже знал, что такое ненависть и гнев. Он услышал ее ответ: она рада, что военный господин считает, что им живется лучше. А им самим откуда знать? Только ученый человек, мудрый человек может разобраться в этом, сказала она.

Он смотрел на мальчика, удивленный его враждебностью. Сначала он чувствовал раздражение, а потом его восхитила подобная смелость. Он был бы рад, если бы его собственный сын вел себя так. Потом, заметив на бедре мальчика темный кровоподтек, он удивился и восхитился еще больше.

— Зачем вы сюда пришли? — услышал он ее слова.

— Не потому, что нам этого хотелось,— ответил он.— Даже у такого глупого человека, как я, нашлись бы другие дела.

— Это не ваша деревня,— сказала она.— Вам тут нечего взять. Тут нет денег, нет богатых людей. Если б люди были богаты, разве они остались бы здесь жить?

— Мы пришли не за деньгами,— ответил он.

— Когда вы уйдете, мы станем еще беднее. Так бывает всегда.

— А если придут вьетконговцы? После них вы тоже будете беднее?

— Им тут нечего взять. Ни вам, ни им. Мы бедны и без вас, без вашей помощи.

Он смотрел на нее, и почему-то ему казалось (может быть, можно внушить другому свои мысли? Может быть, он это делает слишком часто?), что она не говорит того, что думает. (Почему ты с ними? Какая тебе от этого польза? Однажды его отец, которого он любил, сказал ему: «А они уже подарили тебе американский автомобиль?» А он ответил, что у него, в отличие от его богатого отца, нет не только автомобиля, но и мопеда.)

— Есть у вас в деревне больные, нуждающиеся в лекарствах? — спросил он.— Маленькие дети?

— Они не примут ваших лекарств,— сказала она.— Здесь нет больных, которые нуждались бы в вашей помощи.

— У меня у самого трое детей,— солгал он.— И я многого лишил бы их во имя моей гордости. Но одного я не лишил бы их ни при каких обстоятельствах — лекарства. Если бы вьетконговцы оставили моей семье лекарства, я велел бы детям принять их.

Тыонг посмотрел женщине в глаза. Она сказала:

— Я уверена, что ваши дети будут здоровы.— С этими словами она повернулась и пошла прочь.

Конечно, он мог бы задержаться и попробовать сломить эту женщину, но он был реалистом. Какой смысл? В конце концов он был бы вынужден вступить в спор, рассердиться, арестовать ее, чтобы она весь день тащилась за отрядом, а на это у него не было сил. Поэтому победа осталась за ней, а он повернулся и пошел к Андерсону, сознавая, что не только вновь потерпел поражение, но, наверно, снова обидел молодого американца; американца он оттолкнул, а с женщиной потерпел неудачу — делаешь все как надо, а разницы никакой, подумал он.

Он подошел к Андерсону, что делал весьма не часто (обычно он обрывал разговор, а не начинал его), и покачал головой. Он сказал по-вьетнамски (это была его манера извиняться):

— С каждым разом все хуже.

— Вы уже бывали в этой деревне? — спросил Андерсон.

— Нет,— сказал Тыонг.— Но не все ли равно? Везде одно и то же. Всюду люди стали злее.

«Мы стали злее, противник стал злее, народ стал злее,— думал Тыонг.— С каждым днем все хуже. Крестьянка лжет мне, а в следующей деревне мне будет лгать другая крестьянка, и мы пойдем в третью деревню, и, когда там кто-нибудь начнет мне лгать, симпатичный лейтенант Тыонг, такой bien élevé*, в восемь часов вспылит и допустит ошибку — арестует, например, какого-нибудь крестьянина, а недели через две в эту же деревню в восемь часов утра придет еще кто-нибудь и удивится, почему люди там настолько озлоблены. А завтра, в восемь утра, я буду зол на свою первую деревню. Заколдованный круг!»

Андерсон был шестым американцем у Тыонга за три года. Шесть раз он учил одному и тому же и за это время повторялся по крайней мере шесть раз. При нормальных условиях советников должно было смениться не больше трех, но постоянно что-нибудь случалось; некоторых перевели в другие части, один не сработался с ним, а один не вынес нагрузки и немного свихнулся: начал жаловаться, будто в семинарии слишком часто кормят рисом, хотя рисом там вообще не кормили.

С каждым разом эти люди вызывали у Тыонга все меньше интереса и все больше разочаровывали его. Когда они только-только появились во Вьетнаме, а он был моложе, он верил, что от них будет толк, что именно они могут изменить то, чего никто другой изменить не мог. Как-никак они еще ни разу не проигрывали войн — об этом было написано во всех учебниках (даже французских); они были сильные и богатые (гораздо богаче французов — это он знал), и он надеялся, что с ними во Вьетнам придут сила и богатство, и терпеливо ждал, когда же они изменят его страну, но сначала все оставалось по-прежнему, а потом он вдруг понял, что́ происходит на самом деле: они не изменяли Вьетнама, а изменялись вместе с ним, становились его частью. В конце концов Тыонг стал воспринимать слабости американцев острее, чем слабости вьетнамцев (слабости вьетнамцев казались ему обычными, человеческими слабостями, но слабости американцев — чужих и непохожих на него людей — были именно американскими: пьяный вьетнамец в субботний вечер в Мито был просто пьяным, но пьяный американец был пьяным американцем; трус-вьетнамец был просто трус, но трус-американец был американцем). Первый его американец глубоко разочаровал Тыонга — он сразу проникся глубочайшей неприязнью к этому высокому грузному человеку по фамилии Рейнуотер. Он много пил, так что по утрам от него всегда разило виски, и постоянно ругал страну и жаловался на то, что войны, по его словам, вообще не было (он вечно спрашивал: «Черт побери, где же эта паршивая война, о которой вы тут болтаете, Тыонг?» И произносил он не Тыонг, а «Ту-унг», словно присвистывая, а потом добавлял: «Как же тут воевать, если я даже не знаю, где происходит эта паршивая война?»). Он часто ругал вьетнамских женщин, ставя им в пример японок — главным образом потому, что японские проститутки говорили по-английски, а вьетнамские все еще обходились французским, он же этому языку так и не сумел выучиться. Проститутки, говорил он, иногда называют его «beaucoup kilo»**, и долго хохотал, когда Тыонг по его просьбе перевел ему эти слова. Весь год он постоянно подсчитывал, сколько ему еще остается служить здесь, и за завтраком обычно сообщал, сколько дней и часов ему еще придется тут тянуть. Он делал вид, будто удивляется, что Тыонг не думает уезжать из Вьетнама, когда кончится война — если они все-таки ее разыщут, чтобы положить ей конец. А потом сам же объяснял: «Впрочем, вы ведь из здешних». Сначала Тыонг считал его дураком и пьяницей, но в последние месяцы (а также дни и минуты) против воли проникся к нему сим-

---

* Благовоспитанный *(франц.)*.

** Много кило *(искажен. франц.)*.

патией: ему стали нравиться честность Рейнуотера, его вспышки и даже его манера называть вьетнамцев «малышами» — он сообщил Тыонгу, что не видывал солдат хуже вьетнамцев, даже итальянцы и те лучше. («Если бы мне пришлось вам советовать, в какую страну вторгаться,— сказал он,— я бы назвал Италию. Но с тех пор, как я попал сюда, я уже не так в этом уверен».) Ко времени отъезда Рейнуотера они стали добрыми друзьями и, как ни удивительно, относились друг к другу с большим взаимным уважением. И тем не менее с Рейнуотером миф об американцах развеялся раз и навсегда, и теперь в глазах Тыонга они были в лучшем случае людьми, способными ошибаться. Тыонг уже не заблуждался насчет Рейнуотера и его уговоров дезертировать, потому что он, черт побери, «слишком хорош для этой войны и этой страны». Но и Рейнуотер не заблуждался насчет Тыонга и однажды, в один из своих последних дней в Мито, сказал: «Ту-унг, а ты здорово себе на уме. Ты же мог бы воевать на любой стороне. Тебе плевать и на ту, и на другую, верно?» Рейнуотер, ныне покинувший армию по настоянию командования, был единственным американцем, который поддерживал с Тыонгом переписку. На конвертах фамилия Тыонга была всегда написана правильно, но сами письма начинались неизменным: «Дорогой мистер Тунг!» В письмах говорилось о том, как трудно продавать подержанные автомобили в Арканзасе («Здешние жители давно уже уволились из армии, а потому разбогатели и покупают только новые автомобили, а не старые»); о недоразумениях Рейнуотера с женой («Эта женщина дрянь, что мне было всегда известно, но теперь она пьет больше виски, чем я, и это скверно»); об его опасениях в связи с активизацией военных действий («Кажется, теперь эта маленькая война отыскалась. Не будь дураком и постарайся, чтоб тебя не убили и даже не ранили, потому что ты еще не навестил Рейнуотера, как обещал»). Тыонг иногда был не в силах разобрать почерк Рейнуотера и обращался за помощью к преемникам своего первого американца, которые исполняли его просьбу, хотя явно не одобряли ни содержания писем, ни множества грамматических и орфографических ошибок.

Другие американцы больше походили на солдат, чем Рейнуотер; по мере того как война заметнее ощущалась в Америке, их становилось во Вьетнаме все больше — и они были моложе, образованней, стройнее и воздержаннее по части выпивки. Они не только не подсчитывали, сколько дней им осталось служить, но нередко высказывали намерение остаться на второй срок; они добросовестно относились к своим обязанностям, всегда старательно хвалили страну и ее народ и никогда не употребляли слова «малыш» применительно к вьетнамцам. И все же разочарование Тыонга не проходило. Это были храбрые, профессионально хорошо подготовленные, но удивительно бесстрастные люди. Тыонг видел в них скорее актеров, чем солдат: они приезжали, исполненные высоких побуждений, они старались, но долго не выдерживали и вскоре проникались тем же фатализмом и чувством обреченности, которое Тыонг замечал в молодых вьетнамцах,— тем же фатализмом и чувством обреченности, которое он замечал в себе.

Они ничему не могли его научить — что они знали о войне, о крушении надежд или о том, как люди ведут себя в бою и как выглядят, когда умирают? Когда они все-таки давали полезные советы, которыми можно было бы воспользоваться даже при таком командире, как капитан Данг, он выслушивал их с раздражением и знал (ведь вьетнамцам было прекрасно известно, как именно смотрят на них американцы), что американцы считают его заносчивым сукиным сыном, хотя и неплохим офицером — одно время его даже прозвали Принцем.

Андерсон несомненно был лучшим из всех американских офицеров, каких встречал Тыонг,— храбрым, умным, умеющим обращаться с вьет-

намскими солдатами, прилично говорящим по-вьетнамски; и точно так же Бопре, по мнению Тыонга, был самым худшим — неряшливым, беззаботным, равнодушным к своим солдатам; он презирал вьетнамцев, и — что было хуже всего — Тыонг чувствовал, что американец боится.

Отряд пробыл в деревне пятнадцать минут. В это время американцы по радио вызвали к аппарату Бопре. Капитан подошел к рации Андерсона.

— Как дела, старина? — спросил дежурный по КП.

— Здесь тихо,— ответил Бопре.— Если не считать шума, который поднимаем мы.

— На восточном фронте тоже без перемен,— сказал дежурный и засмеялся своей шутке.

— Пленные есть? — спросил Бопре.

— Нет. А у вас?

— Только Андерсон и я.

— Неплохо,— сказал дежурный.— Ну, я свяжусь с вами попозже. Будьте осторожны. Полковник говорит, что опасаться худшего следует тогда, когда особенно тихо.

— Скажите от меня полковнику спасибо,— сказал Бопре.

Отряд приготовился покинуть деревню. «Скоро я смогу попить»,— подумал Бопре.

Андерсон прошел вдоль колонны, оглядывая солдат. Он услышал смех и, оглянувшись, разобрал — так ему во всяком случае показалось,— будто кто-то из солдат сказал, что американец проверяет, не прихватил ли кто-нибудь из них курицу. В колонне снова раздался смех. Конечно, они правы — именно это он и проверял.

— Нет,— сказал Андерсон.— Я проверял, не прихватил ли кто-нибудь из вас с собой женщину и не остался ли кто-нибудь защищать деревню.

Когда они вышли из деревни, Андерсон заметил, что походка солдат изменилась — они двигались даже медленнее обычного. Он решил подстегнуть их, расшевелить немного.

Он направился к голове колонны, покрикивая:

— Быстрее! Чем быстрее мы пойдем, тем скорее получим рис.

Солдаты засмеялись, и Андерсон спросил, поделится ли кто-нибудь из них своим рисом с бедным американцем. Они снова засмеялись, и на несколько минут Андерсону снова понравились и страна, и его обязанности. Когда он только приехал во Вьетнам, он старался побольше разговаривать с солдатами; ободренный их смешливостью и готовностью отвечать на его шутки, он пробовал завязывать с ними серьезные разговоры, но они вдруг замыкались, смущались, отводили глаза; а если и отвечали, то виноватым тоном, словно чувствовали, что подводят его, объясняя, насколько скудной и бесхитростной была их жизнь. Кого может это интересовать? Они рождаются, вырастают, идут на военную службу, умирают. Они извинялись и отворачивались, смущенные тем, что отнимают у него столько времени, повторяя общеизвестные вещи, давая глупые ответы на глупые вопросы. К тому же он чувствовал, что Тыонга тревожат его беседы с солдатами, если они затягиваются. Поэтому теперь Андерсон ограничивался тем, что поддерживал с солдатами хорошие отношения, опиравшиеся на его обещания уступить им свою кока-колу в обмен на их рис (иногда они угощали его рисом, и он ел, хотя и насилуя себя, так как в рисе было множество каких-то непонятных черных крупинок, которые он храбро проглатывал, хотя и испытывал постоянное беспокойство, потому что не очень верил в их чистоплотность в полевых условиях).

— Живее, живее! — говорил он теперь.—Та́щитесь, точно американские солдаты. Живее, живее! Когда же мы при таком темпе доберемся до Ханоя? Мне эдак никогда не удастся познакомиться с тонкинскими девушками! Ну, давайте же, а то в ханойских гостиницах не останется ни одного свободного номера и рейнджеры опередят нас. Вы же не хотите, чтобы рейнджеры занялись женщинами раньше вас? Ну, так пошевеливайтесь!

Все это им очень нравилось, и Андерсон был почти уверен, что их смешат его шутки, а не его вьетнамский язык — он тщательно отрабатывал эти фразы с помощью переводчиков в семинарии, так что грамматических ошибок в них быть не могло.

— Живее! — повторял он.— Торопитесь, иначе мы не вернемся сегодня в Мито, и вам придется три дня обходиться этим рисом. Живее, не то я никогда не вернусь в Америку и никогда не увижу свою жену, и ей придется выйти замуж за какого-нибудь генерала.

Он раздумывал, не отпустить ли шутку-другую об их собственных женах: пусть-ка поторопятся, а не то в их постелях окажутся гарнизонные солдаты и штатские. Но опасался, что в устах западного человека такие слова, обращенные к вьетнамцам, могут быть истолкованы как расистские и оскорбительные, а потому ограничился только упоминанием об опасности, грозящей его собственной постели. Он испробовал свою шутку о вьетнамских женах на переводчиках в семинарии, и те смеялись и заверяли его, что солдаты будут довольны (переводчики относились к солдатам свысока и считали, что им понравится и обидная для них шутка). Тем не менее он решил не рисковать. Поэтому теперь он подгонял их, подбадривал и говорил только о рисе, а не об их женах.

Он продолжал обгонять колонну, пока не поравнялся с Бопре. Некоторое время они шли рядом.

— Андерсон,— сказал Бопре,— как по-вашему, мы сегодня встретим наших друзей вьетконговцев?

— Ваш друг капитан Данг сказал мне, что мы убьем beaucoup * вьетконговцев. Я верю вашему коллеге. Раз он так говорит, значит, так и будет.

— Мой друг капитан Данг — воин,— сказал Бопре.

— Вам же не понравится, если я подвергну сомнению слова вашего коллеги.

— Проклятые коммунисты слишком умны, чтобы лезть сегодня в драку. Они подождут, пока не спадет жара. Да, сэр, сегодня они будут посиживать и попивать свою рисовую водку вместе со своими коммунистическими дамами. У них есть радио, которое сообщает, сколько миль мы прошли и как мы потеем. Они слушают и посмеиваются, а их дамы подливают им рисовой водки. Когда в бутылке ничего не останется, дамы сбегают в лавочку и принесут новую бутылку. Они еще посмеются над нами и дождутся наступления прохлады, а затем устроят нам один из вьетконговских спектаклей. Вы думаете, я шучу, но вы когда-нибудь видели, чтобы вьетконговцы потели?

Андерсон засмеялся; он чувствовал симпатию к этому Бопре. Капитан терпел настоящую пытку; его форма потемнела от пота, по лицу тоже струился пот, но он все-таки продолжал шутить.

— Знаете, зачем мы здесь? — спросил Бопре.

— Чтобы убить beaucoup вьетконговцев, как положено хорошим американским воинам.

— Да нет же, это лишь предлог. Конечно, мы будем убивать и вьетконговцев, но на самом-то деле Данг хочет навестить своих родственников. Видите ли, его супруга родом из этих мест, и здешние жите-

---

* Много *(франц.)*.

ли повесили бы в ее честь мемориальную доску, увековечивающую тот факт, что она вышла замуж за капитана, да только они знают, что вьетконговцы эту доску все равно сорвут. Но у мадам Данг здесь полно родственников: его жена замужем за сестрой начальника полиции, племянник которой женат на двоюродной сестре начальника округа — вот этого самого округа, а дядя этой двоюродной сестры одно время был старостой деревни — какой-то деревни в этом округе, только капитан Данг забыл, какой именно деревни,— а потому мы побываем во всех трех деревнях, а может, и больше, в надежде найти эту самую деревню и этого самого старосту. Просто капитан Данг решил побывать в родных местах.

Бопре, видимо, намеревался продолжать эту болтовню, и Андерсон подумал, что так он заглушает жажду — возможно, он нервничает, нервничает потому, что его мучает жажда. Тут он краешком глаза заметил, что к ним приближается Тыонг — а Тыонг всегда реагировал очень болезненно, если американцы долго разговаривают между собой. Андерсон знал, что Бопре не скрывает от Тыонга своей неприязни к вьетнамцам, и ему не хотелось, чтобы его отождествляли с капитаном.

Андерсон был избранником судьбы. Он кончил Уэст-Пойнт, но не настолько блестяще, чтобы в дальнейшем постоянно пугать этим своих непосредственных начальников и портить себе карьеру, и был просто хорошо обученным офицером с правильным взглядом на вещи и честолюбием, которое он умел скрывать. Впоследствии он окончил школу воздушных десантников, служил в отборных частях в Западной Германии, женился на немке, записался добровольцем во Вьетнам и изучил вьетнамский язык. Во Вьетнам он ехал с большими надеждами, но сразу же разочаровался. Его разочаровали и война, и вьетнамцы, и полковник, и Бопре.

С самого начала он проникся легкой антипатией к Бопре — они познакомились в день его приезда в семинарию. Бопре только что вернулся с операции, совершенно мокрый от пота, и, раздеваясь, демонстрировал всем соседям по спальне свои промокшие носки. рубашку, трусы — ну, словом, все. Эта сцена шокировала Андерсона; он считал, что военные, тем более офицеры, не должны вести себя так.

На свою первую операцию Андерсон отправился вместе с Бопре. Полагая, что все американцы, служащие во Вьетнаме, приехали туда, как и он, добровольцами, он спросил Бопре, зачем тот приехал во Вьетнам, и Бопре сказал с большой искренностью: «Чтобы убраться подальше от жены». С тех пор отношения между ними так и не наладились. Теперь Андерсон иногда думал, что если бы он тогда оценил Бопре по-другому, выказывал бы ему больше уважения и задавал бы ему больше вопросов, они могли бы стать почти друзьями. Но он подсознательно избегал Бопре и не садился за его стол, руководствуясь инстинктом молодого человека, который делает карьеру и которому не по пути с теми, кто ее не делает, с теми, кто, как ему твердо известно, никогда не выдвинется, кто никогда не будет майором, кто постоянно жалуется на страну и на войну. Такие люди были ему чужды, и он не собирался делить с ними их поражение.

Позже, когда стало ясно, что большую часть времени во Вьетнаме им придется провести вместе («О такой участи,— сказал Бопре,— мечтают толпы девочек в Сеуле, Сайгоне, Париже и других местах, где мы сражались и умирали. Вам дано право проводить со мной ночи под открытым небом»), исправлять ошибку, допущенную в самом начале, было уже поздно. Вместо того, чтобы сесть за стол Бопре (а это все-таки был стол строевых командиров — Бопре, Ролстона и прочих), он предпочел стол таких же, как он, молодых офицеров, которых Ролстон называл

«кадетами». Ролстон любил говорить, что он ведь не из Аннаполиса *. А когда Андерсон понял, что по характеру службы ему полагалось бы сидеть за столом Бопре—Ролстона (остальные молодые офицеры были либо связистами, либо интендантами, либо еще чем-нибудь в этом роде), было уже поздно. С другой стороны, если его отталкивало отсутствие у них честолюбия, то они относились к нему с недоверием, потому что он был молод, честолюбив и не жаловался на страну, на армию, на войну и на питание. (Ролстон в основном жаловался на питание. Он утверждал, что вьетнамские креветки — лучшие в мире, но в офицерской столовой их не подавали, потому что они приготовлялись в антисанитарных условиях. «В этой паршивой стране все антисанитарно, черт побери,— говорил он,— но креветки — единственный антисанитарный продукт, который хорош на вкус. Пусть отменят копченую говядину — ведь всем известно, да и медициной доказано, что копченая говядина в жарком климате вредна для здоровья и антисанитарна,— а нам дают креветки. Уж если у меня будет гепатит, то пусть он будет от креветок, а не от интендантских рационов».)

Все же Андерсон стремился как-то наладить отношения с Бопре и время от времени заводил с ним разговор о Вьетнаме. Однажды он коснулся разницы между вьетнамцами южных и центральных областей, на что капитан заметил: «На острове все люди одинаковы». «На каком острове?» — недоуменно спросил Андерсон. «Известно на каком, на этом»,— ответил Бопре. Такой поворот смутил и встревожил Андерсона; он не понимал, говорит ли Бопре серьезно или шутит, но решил не заострять на этом внимания. Однако спустя неделю он завел разговор об островах и островитянах и наконец возвратился к замечанию Бопре, на что Бопре сказал: «Какой остров? Я никогда не бывал на островах. О чем вы говорите, черт побери? Чему вас учили там, в Уэст-Пойнте?» И так бывало всегда: если лейтенант утверждал, что вьетнамцы храбрые, Бопре начинал говорить об их трусости, рассказывал одну историю за другой о том, как они удирали с поля боя; если же Андерсон намекал (он был добропорядочным офицером и ограничивался только намеком), что вьетнамцы не так храбры, как ему хотелось бы, Бопре вдруг начинал превозносить героизм вьетнамцев и однажды рассказал, как вьетнамцы вынесли его, Бопре, с поля боя. (Когда недоверчивый Андерсон навел справки у Ролстона, тот не оставил от истории Бопре камня на камне, заявив: «Чтобы поднять эту жирную тушу, нужно не меньше пятнадцати вьетнамцев; к тому же, случись такое дело, Бопре не стал бы дожидаться и сам поторопился бы унести ноги, если, конечно, вьетконговцы не успели бы ампутировать их. Кроме того, он не привык скромно умалчивать о своих подвигах, а что-то он никому ничего подобного не говорил».)

Андерсон расхаживал вдоль колонны. Солдаты шли медленно, очень медленно. Ему хотелось закричать на них, толкнуть в спину, схватить за шиворот и потащить вперед. Но вместо этого он уговаривал и подзадоривал их. Он знал, что это бесполезно, и тем не менее продолжал — не потому, что надеялся изменить их (он знал, что этого не случится, во всяком случае сегодня), а потому, что уже давно понял: надо дать выход своей энергии, иначе от их медлительности (а они, казалось ему, нарочно семенили своими короткими ногами) он совсем изведется, поскольку сдерживаться всегда труднее, чем дать себе волю. Вот почему он ходил вдоль колонны и разговаривал с солдатами. Ему хотелось кри-

* Аннаполис — город, где находится военно-морская академия США.

чать, хватать их за шиворот, грозить военным судом, но он только повторял: «Ну, поживее! Если вы так будете ползти, я никогда не вернусь в Америку, никогда больше не увижу жену и до конца жизни останусь в Мито. Мне придется поступить во вьетнамскую армию и жениться на вьетнамке. Так идите же быстрее, выручите меня!» У него было такое ощущение, точно он тянет какую-то бесконечную песню. В частности, он именно поэтому предпочитал вертолеты: высадка, рев мотора, страх, что тебя заденут лопасти винта или подстрелят вьетконговцы, придавали человеку особую энергию, заставляли кидаться вперед. Ему казалось, что вьетнамцам тоже знакомо это чувство, что, участвуя в десантах, они становятся чуть-чуть подвижнее, чуть-чуть стремительней. Он считал, что вьетнамцам нравится летать на вертолетах, что они чувствуют себя похожими на американских солдат, когда взмывают в небо на машинах, пилотируемых американскими летчиками. Это вселяло, как полагал Андерсон, в сердца вьетнамцев гордость, ощущение того, что и они, в конце концов, стали настоящими солдатами.

Андерсон все еще злился, что его не послали с воздушным десантом. И страна, и ход военных действий, и многое другое, что он узнал во Вьетнаме,— все это настолько его разочаровало, что десантные операции начали казаться ему очень важными, они стали той частью войны, которая больше всего нравилась ему и приобрела для него особую ценность. За шесть месяцев, которые оставались ему до возвращения домой, он хотел приобрести опыт в вертолетных десантах, чтобы его зачислили во вновь сформированную авиадесантную дивизию, оснащенную исключительно вертолетами (она, по мнению Бопре, специально предназначалась для действий во Вьетнаме). Конечно, попасть в нее будет нелегко, но если он примет участие в достаточном количестве десантных операций, это найдет свое отражение в его послужном списке — в таком случае время, проведенное во Вьетнаме, не пропадет для него зря.

Первые его дни во Вьетнаме не оставляли желать ничего лучшего. Он хотел сюда приехать, вызвался добровольцем и, желая как следует подготовиться, не воспользовался возможностью отправиться с первой же партией советников, а задержался на некоторое время, чтобы изучить вьетнамский язык. Приехав же наконец во Вьетнам, он был готов влюбиться в эту страну и ее народ. Еще когда они летели над рисовыми полями, его поразил ярко-зеленый цвет страны, и, глубоко взволнованный, он подумал: это же как в цветном кинофильме! Он никогда не забывал этого зеленого цвета и того ощущения жизни, которое этот цвет, казалось, отражал. Вьетнам представлялся ему гигантским садом. В аэропорту ему очень понравились хрупкие вьетнамские девушки в национальной одежде, такие стройные и вежливые, такие восточные. Он пришел в восторг, когда они ответили, едва он заговорил с ними. Значит, люди тут не чрезмерно застенчивы, подумал он.

В свой первый вечер в Сайгоне он не остался ужинать в гостинице вместе с другими американцами, которые, расположившись на крыше, жарили на американском древесном угле толстые американские бифштексы и пили американское пиво, а отправился один в китайский ресторан Возвращаясь, он нарочно сел в велоколяску, а не в такси или в старенький автобус, в котором полагалось ездить американцам и которым было рекомендовано пользоваться офицерам (окна автобуса были зарешечены, чтобы в них не попадали гранаты террористов, которые, как говорили, предпочитают офицеров). Андерсон был полон приятного волнения, когда его коляска, пробиваясь сквозь пестрый поток транспорта, мчалась по сайгонским улицам, едва не наталкиваясь на велосипеды,

груженные фруктами, мужчин, несших корзины с живыми утками, на детей и даже коз. Был вечер, воздух немного остыл, и все вокруг словно ожило, наполнилось энергией,— Андерсону хотелось кричать, слиться с этими людьми, смешать свой пот с их потом, свою радость с их радостью (ему казалось, что все кругом тоже радуются); в конце концов он не сдержался и действительно крикнул — это был продолжительный торжествующий вопль, испугавший рикшу, который остановился, ожидая потока ругательств за то, что он не туда повернул. Но пассажир не бранился, и рикша решил, что это просто еще один пьяный американец. И когда Андерсон в следующий раз испустил свой вопль, рикша тоже закричал в ответ, и скоро у них началась игра: то кричал Андерсон и ему вторил рикша, то кричал рикша и ему вторил Андерсон. В конце концов рикша получил самые большие в своей жизни чаевые.

Второй день в Сайгоне оказался не таким приятным. Андерсон вознамерился совершить большую экскурсию по городу и вручил шоферу такси список достопримечательностей, которые хотел бы посмотреть. Все названия он тщательно выписал по-вьетнамски. Шофер взглянул на список, улыбнулся и тронулся с места, но скоро остановился, повернулся к Андерсону и, широко улыбаясь, сказал: «Джигиди-джиг-джиг». Андерсон не понял и, озадаченно взглянув на него, спросил по-вьетнамски, что это значит. Шофер снова обернулся и еще раз — более настойчиво и с легкой ухмылкой — повторил: «Джигиди-джиг-джиг». Андерсон не понял этих слов — он думал, что шофер говорит по-вьетнамски, а шофер полагал, что говорит по-английски,— но ухмылку он понял, такая ухмылка присуща не только Востоку, а вполне интернациональна. Но когда он наконец сообразил, что к чему, шофер категорическим тоном сказал: «Джигиди-джиг-джиг, девочка первая класс!» и блеснул тремя золотыми зубами — эти золотые зубы долго потом преследовали Андерсона. В конце концов, отчаявшись, он остановил машину и пошел в гостиницу пешком, всю дорогу испытывая к Сайгону глубокую неприязнь.

С тех пор Вьетнам не переставал доставлять ему огорчения. Когда его послали в Мито, Андерсон обрадовался: там, по крайней мере, ближе к войне. Если бы он легко смущался, то, наверно, со смущением вспоминал бы письма, которые посылал жене в первый месяц («Это застенчивые и щепетильные люди,— писал он,— с ними надо быть очень внимательным и тактичным. И они очень церемонны. Им нравится церемонность. Это — составная часть их истории и культурных традиций. Некоторые из наших ребят держатся со своими коллегами запанибрата, хлопают их по плечу, только я не думаю, что это умно. По-моему, людям Востока в лучшем смысле этого слова подобная фамильярность не может нравиться».)

Первое время ему казалось, что он способен принести реальную пользу: его вьетнамский коллега одобрил два его предложения, однако осуществление одного из них было сразу прекращено, когда первый же солдат, получивший, как он предлагал, двухдневный отпуск в Сайгон за содержание оружия в образцовом порядке, вернулся в часть только через три месяца.

Вначале Андерсону казалось, что ему удается установить контакт с вьетнамцами, и он с энтузиазмом сообщил об этом заместителю советника при командире дивизии, пожилому, всем недовольному человеку, собиравшемуся в отставку. Тот выслушал восторженные излияния лейтенанта, а потом сказал только: «Не очень-то полагайтесь на них. Скверный народишко». Но Андерсон не обратил тогда внимания на слова полковника — он даже хотел написать жене, что намерен остаться во Вьетнаме на второй срок. Но потом решил повременить с этим, хотя его письма были по-прежнему полны рассказов о кротости местного населе-

ния, о добродушной веселости солдат, об очаровательных ребятишках, босоногих, голозадых и озорных, которые выпрашивают сладости, смеются и потешно выкрикивают только что выученные американские ругательства. Короче говоря, он был околдован тем, что тогда считал чистотой души народа, сохранившейся, несмотря на смерть и страдания. Эта идея возникла у него как-то на втором месяце службы, когда они прошли — миля за милей — чуть не половину провинции Динь Тыонг и Бопре недовольно ворчал: «Черт побери, мы так долго идем, что, наверно, уже добрались до Камбоджи! Вы конечно говорите по-камбоджийски, Андерсон, так спросите-ка у первого встречного крестьянина, далеко ли до Пном-Пеня». Но Андерсон был в прекрасном настроении — он все еще не потерял интереса к стране, все еще радовался зеленому ландшафту и умилялся при виде крестьян, перегонявших тысячи утят от одного озерца к другому.

В тот жаркий день даже собственный пот казался ему приятным, чистым и здоровым. Они уже миновали три деревни и подходили к четвертой, когда Андерсон заметил впереди какое-то движение. Навстречу шла вереница людей, но он сразу решил, что это не вьетконговцы — так скученно вьетконговцы не ходят. Скорее это отряд местной милиции. И тут он увидел, что это вообще не солдаты и даже не мужчины, а молодые женщины, удивительно юные и хорошенькие, одетые в пестрые ао заи* таких ярких цветов, что казалось, будто на землю спустилась радуга. Теперь две колонны разделяло всего десять ярдов — солдаты, обремененные оружием, выглядели особенно неуклюжими по сравнению с изящными и грациозными девушками, которые, казалось, не шли, а плыли по воздуху. Это была уже не радуга, а балетная труппа. При их приближении Тыонг сердито прикрикнул на солдат, чтобы они молчали.

— Что это за процессия? — спросил Андерсон.

— Свадьба,— ответил Тыонг.— У нас пока еще есть время и для этого.

Когда девушки молча проходили мимо молчавших солдат, Андерсон подумал, что Тыонгу следовало бы остановить солдат, чтобы поздравить девушек, пожелать им всего наилучшего. Он был растроган и гордился своим чувством — во имя этого он и приехал в их страну. Тыонг, по-видимому, угадал мысли Андерсона, но только покачал головой и не остановился. Девушки не смотрели на солдат, они шли, потупив глаза. Но потом до Андерсона донеслось звонкое хихиканье. Андерсон был очень взволнован этой встречей, и некоторое время она символизировала для него страну и народ, а потому он вспоминал только свадебную процессию и забыл, как солдаты позади него говорили: «Вот идет последняя девственница Вьетнама».—«Нынче ночью она будет думать только о тебе, Тыонг. Погубил ты ее семейную жизнь».— «Так всегда бывает».

Первый месяц был для него самым счастливым — он смотрел, воспринимал, узнавал страну. Но к началу третьего месяца ему стало ясно, что никакого контакта установить не удалось. К этому времени между ним и Тыонгом уже сложились нынешние трудные, почти мучительные отношения — не дружба и не вражда, не отчужденность и не доверие. Иллюзия сближения рассеялась, и Андерсон примирился со скучными будничными обязанностями советника. Он уже не думал о военных победах и пытался только предотвратить полное поражение. С этим он примирился на удивление легко; подводя итоги дня, он научился замечать положительные результаты и игнорировать неудачи. И тем не менее он все чаще и чаще спрашивал себя: правильно ли он в свое время посту-

* Род вьетнамской одежды.

пил, не попытавшись перейти в войска специального назначения? Те не знают, что такое неприятности с вьетнамцами, получают бешеные деньги и вообще командуют всем парадом.

Когда он уезжал во Вьетнам, дома столько было разговоров о войсках специального назначения, что все его штатские знакомые автоматически считали, будто он служит именно в этих войсках. Судя по письмам жены, разуверить их было невозможно: когда по телевидению передавали программу, посвященную войскам специального назначения, друзья обязательно звонили ей, чтобы она скорее включала телевизор — а вдруг покажут ее мужа? Андерсона это так бесило, что он послал жене подробнейшее описание функций и круга обязанностей аппарата советников и войск специального назначения. Эти его письма напоминали руководство для военнослужащих — в них указывалось, в частности, что войска специального назначения разбиты на подразделения по двенадцать человек в каждом: «два офицера, девять солдат и один телеоператор». Жена, удивленная его раздраженным тоном, добросовестно сообщила все эти сведения своим друзьям, которые столь же добросовестно продолжали звонить ей, когда по телевизору показывали войска специального назначения. Андерсон даже повесил над своей койкой длинную статью, вырезанную из одного солидного журнала, об одном большом лагере войск специального назначения, который подвергся нападению противника, после чего лейтенант из этого лагеря сказал: «Мне теперь остается только получить боевой значок пехотинца». На полях Андерсон написал: «Ну, так приезжай сюда, в дельту, и заработай его».

В такие минуты, как сейчас, Андерсон, подгоняя солдат, с завистью думал об этих счастливчиках, которые живут себе в горах, где нет жары, нет вьетнамцев и где маленькие горцы выполняют все, что им приказывают. Пожалуй, именно им и повезло с войной. У них совсем не то, что здесь, в районе дельты,— уж они-то не жалуются на медленный ход военных действий.

Глава третья

Бопре обрадовался, когда они ушли из деревни. Он не сомневался, что эта деревня — на стороне противника, и злился на всю эту опасную бессмыслицу — на то, что приходится садиться за стол с врагами, распивать с ними чаи, раздавать им лекарства, вежливо выслушивать их ложь и улыбаться, получая плевки в лицо. Все эти деревни одинаковы, у всех жителей одинаковые худые, угрюмые, подлые лица, везде та же ложь и полуложь. «Они лгут и лгут, а мы улыбаемся,— думал он.— Они ненавидят нас и с удовольствием всех бы нас перебили. Если бы немцы смотрели на нас вот так в дни второй мировой войны, мы бы стерли их в порошок». Но немцы не осмеливались смотреть на них так, это он помнил хорошо. А потом ему вспомнился сержант-еврей, который, попав впервые в немецкую деревню, собрал десять местных жителей и стал отдавать на идиш приказания: улыбайтесь, не улыбайтесь, опять улыбайтесь, хмурьтесь, плачьте, улыбайтесь. А потом сержант отошел и сам заплакал, бормоча, что мы слишком мягки, слишком добры, слишком беззлобны.

Бопре шел теперь рядом с Андерсоном, раздраженный и встревоженный.

— Черт возьми, надоело мне это терпеть: на нас тут плюют, а мы только утираемся. Они плюют нам в глаза, а когда мы уходим, хохочут и радуются, как это у них ловко получилось.

— Не считайте себя исключением,— сказал Андерсон.— По-вашему, нам, остальным, это нравится? А вьетнамцам нравится?

— Ну, вьетнамцы с этим мирятся. Они терпят, а из-за них и нам приходится терпеть. И чем больше мы терпим, тем больше плевков получаем. А вьетконговцы это видят. Вот мы идем, и они видят, что мы только утираемся, и добавляют еще, а мы терпим. И завтра будем терпеть, и чем больше терпим, тем больше они нас ненавидят. Не удивительно, что они нас совсем не уважают, черт возьми.— А сам тем временем с горечью подумал: «Вот они опять идут. Этот вежливый отряд правительственных войск. В прошлый раз они получили полную меру, и это им так понравилось, что вот они опять явились за новой порцией. Бегика, сынок, в хижину и неси корзину с дерьмом, что мы припасли для них».

— А мы обязаны это делать,— сказал Андерсон,— утираться, терпеть и быть вежливыми. Мы здесь для этого, и за это нам платят. Такова моя работа. И ваша работа. Вы старше меня чином, и вам платят немного больше, а потому вы и плевков получаете немного больше, чем я.

— Вы все еще этому верите! — сказал Бопре.— Неужели вы не можете понять, что люди, которые учат вас этой ерунде, сами в нее не верят? Они же первые и не верят. Разве вы не знаете, что офицер, который прочитал вам лекцию о том, что спать с вьетнамскими женщинами в маленьких городках нельзя, потому что это плохо отражается на наших отношениях с населением, сам же первый подыскивает себе вьетнамскую мышку? Его потому и назначили на это место, что он знает жизнь, как она есть на самом деле, и только он один способен прочесть вам такую лекцию не моргнув глазом. Неужели даже этого я не сумел вам втолковать? Разве вы не знаете, что этим людям в Сайгоне плевать, приобретаем мы друзей или нет? Но их обязанность — внушить вам, что это важно, вот они и стараются.

— В этом вопросе вы должны разбираться лучше меня, капитан.

— Еще бы, черт побери! И в этом вопросе, и во многих других.

— Ну, конечно, и у вас твердая рука. Вы бы не допустили, чтобы вам плевали в лицо. Вы бы им показали, и если бы они не смирились, не проявили бы к вам должного уважения и не заулыбались бы, вы поволокли бы их в Мито и каждого превратили бы во вьетконговца. Зато вы показали бы свою твердость, капитан.

— Их нечего превращать во вьетконговцев — они и так вьетконговцы. И были вьетконговцами, когда вы еще учились в Уэст-Пойнте, лейтенант. Они стали вьетконговцами задолго до того, как вы стали тем, что вы есть.— А сам тем временем подумал: «Тоже мне война. Улыбайся каждому крестьянину, будь добр, будь вежлив. Что ты сделал на этой вьетнамской войне? Убил трех вьетконговцев и расцеловал триста сорок шесть крестьян».

Они разошлись, недовольные друг другом и собой. Этот взрыв раздражения был неожиданным для обоих. Друзьями они, конечно, не были — этому мешала слишком большая разница в характере и образе мышления,— но во всяком случае уважали друг друга, насколько возможно, подавляли в себе раздражение и неприязнь и остерегались вступать в философские споры. Правда, иногда что-то вырывалось наружу, но вспышки вроде этой были очень редки, и оба чувствовали теперь, что поступили неправильно, и оба были смущены. В этой стране и без того хватало настоящих врагов, и ссориться было ни к чему. Поэтому они инстинктивно разошлись в разные стороны, чтобы немного остыть.

Бопре шагал впереди, испытывая облегчение. Во всяком случае теперь можно было выпить воды; он понимал, что мысль о воде все время подспудно его мучила, но он выполнил данный себе зарок, и теперь каж-

дая выигранная минута была еще одной победой. Однако пить хотелось невыносимо, и жара совсем его вымотала. Правда, ноги пока еще слушались его и не подгибались. Но жара окутывала и сжимала Бопре со всех сторон. Он был заперт в ней. Пот струился по его лицу, и, высунув язык, он мог ощутить соленые капли, пот застилал ему глаза, он чувствовал, что волосы под шляпой слиплись от пота (он начинал лысеть и считал, что во Вьетнаме волосы у него стали выпадать гораздо быстрее, так как под шляпой образуется что-то вроде паровой бани, выгоняющей волосы из пор). Темные пятна под мышками исчезли — просто остальная форма сравнялась с ними по цвету и издали казалась лишь чуть темнее, чем у других. За утро к пятнам под мышками прибавилось пятно пониже спины, затем появилось пятно на коленях и темная полоска по ободку шляпы. Этот процесс продолжался до тех пор, пока вся форма не промокла насквозь, Бопре взглянул на часы и прикинул, сможет ли он выдержать еще десять минут. Он решил постараться и поглядел на вьетнамцев: только у очень немногих форма чуть потемнела под мышками. Он выдержал еще шесть минут, потом открыл флягу и поднес ее ко рту. Он сам удивился тому, как жадно он глотал воду, а потом пришел в ужас, обнаружив, сколько успел выпить. Когда он завинтил флягу, она стала заметно легче.

Бопре взглянул на часы и вспомнил, что следовало бы связаться с КП. Он подошел к Андерсону, который нес рацию, и велел ему связаться с КП. (Идея установления самостоятельной радиосвязи принадлежала полковнику; советники других частей, как правило, обходились вьетнамской радиосвязью, но полковник пожелал иметь свою; он знал, что вьетнамцам это не нравится, но считал, что это заставит их быть честнее, а также быстрее передвигаться, в результате чего можно будет избежать ненужных потерь.) Андерсон включил рацию. Голос дежурного по КП звучал очень явственно: ни на востоке, ни на севере противник не обнаружен.

— А как вертолеты? — спросил Андерсон.

— Тоже ничего,— ответил дежурный.— Отличное приземление. Просто отличное.

— Почему же отличное? — поинтересовался Андерсон.

— Потому что ничего не произошло. Большой Уильям говорит, что для пилотов это был настоящий отдых. Все три машины сели — и ни единого выстрела. Даром деньги получат.

— Если все идет так отлично, черт побери, то где же вьетконговцы? — проворчал Бопре.

— Долгая прогулка под жарким солнцем — и все, — сказал лейтенант. Это была одна из его излюбленных фраз.

Бопре кивнул. Значит, его опасения были напрасны. Он боялся вертолетов, так как изучал войну, изучал, когда она особенно грозит смертью, и пришел к выводу, что нет ничего опаснее вертолетных десантов, приземляющихся на открытой местности, где, возможно, противник уже ждет в засаде. Аппарат советников терял не так много людей, но если случались потери, то они в большинстве случаев (Бопре был в этом уверен) имели место именно в подобные моменты. Он считал, что идти с ротой или батальоном намного безопаснее — шансов погибнуть меньше, заметно меньше. И вот на этот раз он перехитрил самого себя. Его отряду предстоял более долгий переход, чем отряду, вылетевшему на вертолетах. А это означало не только более продолжительный бой со вторым противником — солнцем, но и гораздо больше шансов погибнуть, так как рейнджеры превосходили численностью его отряд и, следовательно, вероятность нападения на них была меньше.

Андерсон, насколько мог судить Бопре, обрадовался сообщению КП. Он, таким образом, ничего не потерял, не полетев с воздушным десантом. Он думал, что лишился чего-то захватывающего, но оказалось, что ровно ничего не произошло.

— Опять пустой номер, — сказал Андерсон. К возможности смерти он еще не относился с достаточным цинизмом, но уже оценивал здраво боевые операции. И Бопре иногда казалось, что со временем он, пожалуй, мог бы изменить свое отношение к Андерсону. Мог бы, если бы его жена не была такой белокурой, хорошенькой и загорелой, если бы у Андерсона была одна ее фотография, а не три, если бы она не писала лейтенанту по два раза в день и если бы перестала писать, что мечтает о его возвращении, чтобы — как доверительно сообщал ему лейтенант — забеременеть и родить двойню. А у Бопре не висело над письменным столиком никаких фотографий, и писем он почти не получал. И вообще все было не ясно. Его брак был не очень удачным, и он предпочитал не думать об этом. Когда ему предложили вернуться в войска, ведущие борьбу с партизанами, он согласился отчасти из-за своей семейной жизни: он смутно надеялся, что разлука с женой либо сблизит их, либо приведет к окончательному разрыву, хотя и не знал, чего ему больше хочется. Но теперь он пришел к выводу, что эта война, бесплодная во всех отношениях, окажется не слишком плодотворной и для его личных дел.— Вы ведь не очень любите вертолеты,— сказал Андерсон.

— Да, — сказал Бопре. — Не люблю.

— Отчего?

Бопре взвесил, может ли он сказать Андерсону все — что дело не только в вертолетах, а во всех новинках этой войны. Вертолеты. Собакинищейки, которые якобы способны без промаха обнаруживать вьетконговцев, но которые, взбесившись от жары, кусают самих же американцев. Специалисты по очистке воды. Специалисты по психологической войне. Штатские в военной форме. Военные в штатском. Слова, которые значат как будто одно и всегда подразумевают другое. Все это, а главное — вертолеты, в которых негде укрыться, негде притулиться, потому что, где ни сядешь, твой зад все равно виден и, что еще хуже, высоко поднят, и некуда бежать... Нет, все эти новшества не для него.

— Оттого, что на вертолете противник видит вас лучше, чем вы его, — так уж они устроены. Вот проверьте, и наверняка окажется, что вертолеты изобрели коммунисты.

Он снова направился к голове колонны, а Андерсона отослал назад. Жара уже начала оказывать на него свое действие; и дело было не столько в том, что у него устали ноги, сколько в том, что теперь его радовала медлительность вьетнамцев. Он спрашивал себя, зачем он здесь, для чего он принимает участие в этих операциях. Ведь предоставлял же ему полковник возможность не участвовать в них. Перспектив на повышение у него нет, так что все равно, пошел бы он на операцию или нет. Для его дальнейшей карьеры это не имеет значения, так же как не имеет значения для исхода войны. В этом отношении у него не было никаких иллюзий. И полковник предлагал ему удобный выход. Он считал, что лишен ложной гордости, — и все-таки идет туда, куда не хочет идти, и участвует в войне, в которой не хочет участвовать. Он ругал себя за глупость и за гордость, из-за которой очутился тут, — именно такую ложную гордость он приписывал людям вроде Андерсона. Он шел и думал о том, что полковник предлагал отозвать его; в эту минуту он мог бы сидеть на КП и по радио подбадривать рассерженных людей, шагающих где-то по полю,— спокойнее, не надрывайтесь, никто не ждет от вас невозможного! — или спорить с десантниками, доказывая им полную безопасность зоны приземления, и все время потягивать чай со льдом, который готовят по приказанию полковника (эту практику ввел еще предшественник полковни-

ка, убедившись, что сайгонские генералы, заезжая на КП, всегда просят пить, а чай со льдом все-таки лучше простой воды). Он знал, что из всех офицеров в Мито он, пожалуй, самый циничный, и все же он — из горстки тех, кто ходит на операции, хотя один только он не может рассчитывать на повышение и уже имеет боевой значок пехотинца. Он снова напился, и продолжал идти вперед, и продолжал потеть. Рука его опять было потянулась за флягой, но в этот момент они вошли в полосу дождя.

Впереди серебряная полоска горизонта вдруг потемнела. Через несколько минут изменилась вся местность: где уже шел дождь, а где еще светило солнце. Потом перед ними возникла сплошная стена дождя — это был настоящий тропический ливень, и они вошли в него. Но и дождь двигался им навстречу. Бопре ступил под струи дождя, словно под душ, а слева, шагах в пятидесяти от него, никакого дождя не было. За время пребывания во Вьетнаме он не раз входил в такие ливни и всегда испытывал благоговейный страх — в такие минуты ему хотелось снова стать ребенком, чтобы это ощущение благоговейного страха стало еще сильнее. Он знал, какие страдания последуют теперь: его форма насквозь промокнет и отяжелеет, как полотенце, упавшее в наполненную ванну, а потом солнце начнет палить еще беспощаднее и высушит форму, задав ему жуткую паровую баню. А потом снова пойдет дождь, снова выглянет солнце, снова пропарит его — и опять сначала. Возможно, эта форма пытки и в моде в салонах красоты, но здесь она ни к чему. Тем не менее он готов был ей подвергнуться и радостно выругал дождь. Не замедляя шага, он задрал голову, открыл рот, ловя струи дождя, и на мгновение подставил небу раскрытые ладони.

Из-за дождя Тыонгу стало труднее идти. Он должен был ступать на носки, а в мокрую землю надо упираться пятками. Нога по-прежнему болела, хотя меньше, чем он опасался. Однако он знал, что на следующий день она заболит сильнее, а на следующий — еще сильнее.

Позади него солдаты смеялись, вспоминая деревню, из которой они недавно ушли. Один сказал, что, если не считать беременных женщин, вьетконговцев там не было, а другой заметил, что он очень часто посещает эти места и уж наверняка произвел на свет не меньше пяти вьетконговцев. Несколько солдат засмеялись. И тогда первый солдат сообщил, что, когда они входили в деревню, женщины говорили: «Вот идет рота рядового Тханя — Козлиная рота». Раздался общий хохот.

Эта деревня чем-то тревожила Тыонга, пока он был там, однако теперь, когда они из нее ушли, тревога, как ни странно, только усилилась. Чего он не сумел уловить — это какого-то настроения, которое он осознал только после ухода. И не раньше. Они не просто держались с ними враждебно и даже презрительно, они были слишком спокойны, слишком уверены в себе, как будто знали что-то такое, чего не знал он. Они словно ожидали его прихода, ожидали допроса и даже отрепетировали ответы. Да, они встретили его и солдат чересчур уверенно и невозмутимо.

Ему с самого начала не нравилась эта операция — и не столько сама по себе, сколько из-за того, во что она могла превратиться. Ему надоело шататься по району, не обнаруживая противника и не желая его обнаруживать, и эта операция, он не сомневался, сводилась к уклонению от встречи с противником под видом его поисков.

Капитан Динь, офицер разведки и один из немногих людей в штабе, к которым Тыонг относился с доверием, сообщил о передвижении отряда противника к юго-западу от Мито. По его данным, отряд находился примерно в пятнадцати километрах к югу от Мито и его нетрудно было обнаружить. Динь был невысок ростом и застенчив, чем, по-видимому, и

объяснялось его зачисление в разведку: в то время никто не придавал разведывательной службе серьезного значения, и туда направляли заведомо малопригодных людей. Но сам Динь был доволен этим переводом; однажды он признался Тыонгу, что смертельно боялся, как бы его не назначили командиром строевой части: «Предположим, я отдам им какой-нибудь приказ, а они пропустят его мимо ушей и не двинутся с места. Я знаю, так все и произойдет: они посмотрят на меня и будут делать то, что им нравится. Ведь они же все старше меня».

Избавленный от страшной необходимости отдавать приказы сотням соотечественников, которые дружно не стали бы их выполнять, Динь усердно взялся за свои новые обязанности и оказался очень хорошим офицером разведки — настолько хорошим, что многих его начальников это даже раздражало. Тыонг не без интереса наблюдал, как вначале Динь, еще наивный, неопытный и действительно опасно добросовестный, с энтузиазмом сообщал свои данные, не понимая, что никто не желает их знать, не замечая, что чем больше он говорит, тем меньше его слушают и с каждой минутой молчание вокруг него становится все более подчеркнутым. В конце концов Динь научился быть хитрее и умерил свой пыл, но у него оставалась в деревнях горстка надежных осведомителей и он упорно сохранял им верность: если эти люди рисковали собой, живя, в сущности, среди врагов, то он, Динь, заставлял высокое начальство выслушивать то, что они сообщают. Тыонга эта ситуация очень забавляла. Из всех офицеров в Мито, не имевших шансов стать майорами, Динь был первым (помимо самого Тыонга). В последний раз Динь излагал полученные им сведения спокойно и уверенно, хотя и не так категорично и убежденно, как год назад. Когда он кончил, командир дивизии полковник Ко похвалил его, а затем изложил свой план операции с кодовым названием «Счастливый Зеленый Цветок». Диня этот план не слишком обрадовал. Это, сказал он Тыонгу в частной беседе, — политическая операция, задуманная уже довольно давно и утвержденная не менее десяти дней назад. Его тревожило, что разведывательные данные, на основе которых планировалась операция, могли уже устареть, да и вообще вызывали сомнения. Они были получены из источников, которым Динь не вполне доверял, и собраны начальником провинции, другом Ко. Диня тревожило и другое: за последние сутки поступили кое-какие новые сведения — в том числе и от агентов, которым он доверял, — говорившие о передвижении противника. Динь не знал точно, что это за передвижение и какова его цель, но счел своим долгом доложить о нем командованию. Полковник Ко сначала как будто растерялся и встревожился, но затем широко улыбнулся и заявил, что эти данные безусловно подтверждают правоту начальника провинции и что операция «Счастливый Зеленый Цветок» уничтожит много вьетконговцев.

— Мне не нравится ваш «Зеленый Цветок», — сказал Динь Тыонгу.

— Благодарю, но это ваш «Зеленый Цветок», — ответил Тыонг. — Я же просто иду туда, куда велит мой офицер разведки.

— О! — сказал Динь.— Вы самый высокомерный офицер в Мито, настолько высокомерный, что позволяете себе отличаться от остальных. По сравнению с вами все они — простаки.

— Я попрошу Ко, чтобы он послал вас с нами и поставил командовать отрядом, — сказал Тыонг.

Тыонг чуть ли не ликовал, представляя себе, как Ко, очень давно запланировавший операцию, вдруг в последнюю минуту узнал, что вьетконговцы, по всей вероятности, находятся именно в этом районе, — Ко, безусловно, взбесился, поскольку изменить план операции теперь значило бы поставить себя в глупое положение в глазах американцев, начальника провинции и большинства офицеров штаба. Но тут размышления Тыонга были прерваны. Солдаты из головной части колонны привели к

нему тощего старика, который, по их словам, шел на юг. Старик сразу упал на колени и что-то забормотал. Тыонг велел ему встать — он ведь не перед священником и не на исповеди. Но крестьянин только испугался еще больше и продолжал стоять на коленях. Тыонг повторил, чтобы он встал: никто его убивать не собирается, все они и без того устали.

Краем глаза Тыонг увидел приближавшегося американского лейтенанта и сделал ему знак отойти. Толстый американец, который был всегда сердит и открыто ругал вьетнамцев, не интересовался допросами, не понимал их и не любил. Тыонг улыбнулся Андерсону, чуть ли не подмигнул ему, а про себя подумал: «Ну почему ты не можешь быть таким, как твой толстый друг?» Повернувшись к крестьянину, он начал привычный разговор:

— Что-то ты слишком быстро ходишь для старика.

Старик сказал, что он человек старый и незначительный, и если он не будет ходить быстро, то станет еще беднее. Обменявшись с Тыонгом еще несколькими фразами, старик сказал, что он ушел из Ап Чунь Бе, оттуда уходят сегодня все жители. Нет, это не его деревня (он удивленно спросил Тыонга, разве он похож на кого-нибудь из жителей Ап Чунь Бе?), он живет в соседней; его деревня больше. Приходил в его деревню Вьетконг? Нет, он не Вьетконг. Тыонг сказал, что он в этом не сомневается, и снова спросил, приходил ли Вьетконг в его деревню. Нет, не приходил. Тогда почему жители Ап Чунь Бе ушли из своей деревни? Он не знает, это не его деревня, и ее жители с ним не разговаривают, они вообще очень странные. «Ты не доверяешь людям из этой деревни?» — спросил Тыонг.

Да, именно так (и улыбка, выражающая почтительное изумление по поводу того, что лейтенант столь осведомлен об обеих деревнях). А в его деревне нет Вьетконга? Нет, никакого Вьетконга там нет.

— А если мы велим тебе идти впереди и проверить дорогу?

— Ваша воля, вы начальник.

Тыонг прикинул, какой процент правды был в том, что сказал старик. Может, процентов двадцать, а может, и меньше. Но что теперь правда в этой стране, можно ли ее найти, а если и можно, какое это имеет значение? Скажешь правду — тебя убьют, скроешь ее, солжешь — и, быть может, останешься жив; правда — это смертоносная роскошь. Человек хочет жить — вот она правда; и ради этого он лжет. И все, что он говорит, диктуется не честностью, а желанием урвать еще один день жизни. «Вот она — великая правда,— подумал Тыонг.— Самое главное — жить». Так что старик говорил правду; он не видел вьетконговцев, он ничего не слышал про них и ничего не может сказать. Возможно, накануне, когда в его деревню приходили вьетконговцы, он говорил ту же правду: нет, он не видел чиновников правительства, никогда не платил им налогов и ничего не слышал о правительстве.

— Почему ты говоришь одну неправду? — спросил Тыонг старика.— Ты думаешь, что я глупый? Ты думаешь, что я глупее тебя?

Он не знал, что делать дальше. Он мог бы отправить старика в голову колонны, или связать и заставить идти в хвосте, или надеть ему на шею веревку и вести, как собаку — так поступали вьетконговцы со взятыми в плен офицерами правительства и американцами: связывали им руки за спиной и, накинув на шею веревку, водили напоказ по деревням. «Но уж если ты решишь проделать это,— с некоторой горечью подумал Тыонг,— так подбери какого-нибудь крестьянина посолиднее, а не этого; этот и весит-то не больше тридцати килограммов».

Он подозвал к себе солдата и велел отпустить старика. Он понимал, что действует неправильно (согласно инструкции ему полагалось задер-

жать этого человека) и что у него из-за этого могут быть неприятности, но он слишком устал и не чувствовал в себе силы поступить с этим крестьянином по правилам войны и выжимать из него правду до тех пор, пока он не превратится в бесформенное месиво да несколько капель этой прекрасной правды.

Старик опять встал на колени, что-то объясняя, молясь и благодаря Тыонга, и, рассердившись, лейтенант крикнул солдату:

— Убрать его! Убрать его отсюда! Немедленно!

Через пять минут после того, как пленного отпустили, к лейтенанту подошел Данг и выразил надежду, что крестьянин сообщил что-то хорошее — что-то хорошее о Вьетконге.

— Что вы подразумеваете под «хорошим»? — спросил Тыонг и подумал: «Да, я высокомерен».

— То, что они близко и мы разнесем их вдребезги, — ответил Данг.

Тыонг посмотрел на капитана и подумал, что тот уже не разбирает, когда разговаривает с вьетнамцами, а когда — с американцами. Даже с вьетнамцами они разговаривают так, словно произносят речи, подумал он. Они окружают себя себе подобными: полковник Ко окружил себя маленькими Ко, и Данг один из них, поэтому Ко произносит речи в поучение самому себе. А Данги, в свою очередь, окружают себя Дангами помоложе и пониже чином и произносят такие же речи, только, может быть, менее пышные.

— Что же он сказал? — Данг повторил свой вопрос.

— Он сказал, что никогда в жизни не встречал ни одного вьетконговца и не доверяет жителям соседней деревни.

— Он коммунист?

— Возможно. Он притворялся, что боится нас. Не знаю. Может быть, да, а может, и нет.

— Вы задержали его?

Тыонг покачал головой. Данг прекрасно знал, что пленного отпустили, но это все была игра. И Данг, конечно, сердито спросил, почему это было сделано. Отпущен коммунист, который сообщит, где они находятся, сколько у них оружия (а также где в колонне идет командир, с иронией подумал Тыонг).

— Мне не хочется таскать с собой стариков. Если бы мы его арестовали, нам пришлось бы идти медленней, а убивать такого старика не стоило. К тому же они, вероятно, и так знают, где мы находимся. Три наших отряда идут по направлению к одному пункту. Надо быть дураками, чтобы не догадаться, куда мы идем.

Данг пришел в ярость. Его голос стал резким и злобным, и Тыонг слушал, почти забавляясь бешенством Данга: он давно уже не боялся таких вспышек. Он слушал слова «нарушение субординации», «невнимание к моим солдатам» и смотрел на вспотевшее лицо Данга — оно блестело. Интересно, подумал он, изменит ли капитан свое место в колонне. Он слушал, как Данг заявил, что отныне будет вести все допросы сам. Без чая и без лекарств, кричал Данг.

Тыонг дал капитану кончить и хотел было сказать что-нибудь высокомерное, но сказал только:

— Я уверен, мой капитан, что у вас все пойдет хорошо, и я благодарю вас.

— Вы что-нибудь узнали у этого крестьянина, капитан Данг? — несколько минут спустя спросил Бопре.

— Нет, — ответил Данг. — Это был простой старик. Он шел на базар, и я его отпустил.

Немного погодя к Бопре подошел Андерсон и сообщил о том, что он наполовину понял, а наполовину угадал. Он наблюдал за разговором вьетнамских офицеров и заметил, какое спокойное, почти веселое было лицо у Тыонга и как явно взбешен был Данг.

— Данг устроил Тыонгу разнос за этого пленного, — сказал Андерсон.

— Кто такой Тыонг? — спросил Бопре.

— Вьетнамский лейтенант, — ответил Андерсон.

— А, этот, — сказал Бопре. — Нахальный. Ваш напарник. Когда-нибудь, — добавил Бопре, — если мы будем умными и храбрыми и нам повезет, мы захватим вьетконговский штаб и не обнаружим там ни одного молодого человека. Да, сэр, никого, кроме тощих стариков и старух. Никого моложе пятидесяти. И вот тогда-то мы узнаем, что ежедневно отпускали на свободу одних только вьетконговских полковников и генералов, что каждый старый оборванец, возившийся со сломанным велосипедом, был вьетконговским генералом.

— Вы думаете, Данг прав? — спросил Андерсон.

— Этот стервец никогда не бывает прав. Пусть он даже кончит войну завтра или, что еще лучше, отправит завтра меня домой, он все равно будет не прав. Ему нужна только статистика. Он, конечно, и бесился потому, что они не убили этого беднягу крестьянина. Ведь он бы тогда наверняка сообщил по начальству, что они захватили винтовку. А лейтенант что-нибудь ответил Дангу?

Андерсон покачал головой.

— Жаль. Этот лейтенант куда лучше стервеца Данга.

— Что вы думаете о нашем положении? — спросил Андерсон.

— А вы не забыли, что́ я вам говорил на прошлой неделе? Вот это я и думаю: надо бы вам, мой юный герой, приобрести дополнительную страховку.

Они продолжали идти под жарким, неумолимым солнцем, и утро заволакивалось тупой скукой, которая отнимала у них столько времени и сил. Солнце давило на них, и они не разговаривали друг с другом, потому что говорить было не о чем. Жалобы на жару не могли ни умерить ее, ни отвлечь их мысли — жара была слишком сильна, и они думали только о ней и шли, шли машинально, почти на грани безумия, а время текло медленно и давило их. Они переставляли ноги, не сознавая, что идут.

Жара оставалась жарой, и никто ничего не мог изменить. Когда Бопре еще только приехал, он вместе с другими советниками добивался согласия полковника на то, чтобы операции проводились не в дневное, а в ночное время. Однако добивался он этого совсем не из тех побуждений, что остальные, молодые горячие офицеры, которые доказывали, что противник предпочитает передвигаться и атаковать ночью и, следовательно, им следует делать то же. Бопре в принципе был с этим согласен, но сам он думал вовсе не о том, чтобы гоняться за маленькими вьетконговцами, которые ночью расхаживают без всяких опасений, — он думал о ночной прохладе и о том, что ночью на марше не придется раз за разом умирать от жары. И когда полковник спросил его мнение, он сказал: «Конечно, почему бы и нет?» Полковник, опытный офицер, продолжал сомневаться и все спрашивал, действительно ли они к этому подготовлены, потому что неудача может привести к самым тяжелым последствиям. Но молодые офицеры были уверены в своей правоте: они обсудили эту идею со своими вьетнамскими коллегами, и те единодушно поддержали ее. Словом, за

ночные операции были как будто все, кроме полковника (что отнюдь не объясняло, почему никто еще не испробовал этого раньше). В конце концов полковник сдался, уговорил Ко, и Бопре получил возможность наслаждаться на марше ночной прохладой. Но оказалось, что полковник был все-таки прав: они не были готовы к ночным операциям, и затея эта кончилась крахом. Ночная тьма только выявила все их слабости: батальоны отрывались от полков, роты — от батальонов, взводы — от рот. Потом в течение нескольких дней на базу в одиночку и группами возвращались заблудившиеся солдаты, и никогда — ни до, ни после — число дезертиров не было так велико. В кромешной тьме войска брели вслепую неизвестно куда, и один советник батальона, человек в этих местах новый, в ответ на запрос по радио, где они находятся, ответил: у деревни Ап Тиен Лыок — так написано на дощечке-указателе. Этот ответ передали полковнику, который до того сохранял спокойствие и выдержку, а тут вдруг почувствовал, что в глазах Сайгона виноват в случившемся будет он, а не молодые офицеры, и в бешенстве закричал радисту: «Скажите этому дураку, что как в Штатах надпись «Осторожно, пешеходы» вовсе не означает, что это название данного места, так и тут «Ап Тиен Лыок», который торчит перед каждой деревней, всего-навсего значит: «Стратегический пункт».

Полковнику ночная операция не доставила никакого удовольствия — как и Бопре. Отсутствие солнца не компенсировало всего прочего: он устал, его жрали москиты и мучил страх, что ему нечаянно выстрелит в спину кто-нибудь из его же отряда или уложит наповал, скажем, Ролстон, если они натолкнутся на другой батальон. Благодаря этой ночной операции терпеть дневные стало чуть легче.

От жары страдал не он один. Андерсону тоже приходилось нелегко, но для Бопре даже ходьба представляла проблему. Он то и дело прикладывался к фляге, потеряв всякую выдержку и забыв о собственных правилах. Жара начинала не на шутку тревожить его. Правда, головокружения еще не было, но он потерял уверенность в себе и боялся думать о том, как может кончиться этот день. Теперь они дошли до сложной сети каналов, тянувшихся между деревнями, и Бопре почувствовал особенную усталость, словно он вбирал в себя всю энергию солнца и потом ее излучал. Вместо мостов через узенькие каналы были переброшены скользкие жерди. Именно эту часть пути Бопре ненавидел больше всего. По этим ненадежным мосткам нужно было ступать быстро, ни на секунду не замедляя шага. Если канал был пошире, вьетнамцы втыкали сбоку от мостика шест и, переходя, хватались за него. Бопре терпеть не мог эти проклятые мостки — человек его сложения выглядел на них смешно. («Нужно только, капитан, — говорил ему полковник, не щадивший его в те первые дни, — вообразить себя балериной, и все сразу станет очень просто».) Бопре не раз уже срывался с этих мостков. С самого начала ему казалось обидным и унизительным, что человеку его возраста приходится, согнувшись, неуклюже балансируя, бежать по тоненькой жердочке, изображая грациозную походку, а потом со всего размаха плюхаться в воду на глазах у хихикающих солдат. (У этих коротышек, думал он, центр тяжести расположен ниже; не будь они такими плюгавыми, они бы так не смеялись.) Он считал, что нельзя ставить человека его возраста в столь дурацкое положение. Это уж его дело, когда, где и как строить из себя дурака.

Первый из трех каналов он перешел благополучно (идя по мостику, он взглянул на сложную сеть каналов и подумал, что это идеальное место для засады: отряд не мог бы продвинуться ни на шаг, пришлось бы подставлять под пули солдата за солдатом — одного мертвого солдата за другим). Но он устал и на втором мостике допустил ужасную ошибку — посмотрел себе под ноги и подумал, что может упасть. Внизу текла во-

да — мутная, грязная, теплая, отвратительная жидкость, полная нечистот. Он покачнулся и едва не упал.

Третий канал был немного шире первых двух, и Бопре начал нервничать еще до того, как ступил на мостик. Вьетнамцы двигались по жердям медленно, так что образовалась пробка, и Бопре пришлось остановиться; дожидаясь очереди, он посмотрел на шаткий мостик, скользкий от грязи с солдатских подошв. Он простоял так слишком долго и когда наконец сошел на мостик, то словно под воздействием самовнушения покачнулся, сорвался с жерди и упал в воду — это произошло как-то не сразу, и, прежде чем коснуться плечом воды, он успел протянуть одну руку вниз, а другую с пистолетом — поднять. Он ушел с головой в теплую грязную жижу и хотя попытался плотно сжать губы, все-таки хлебнул воды. Он вынырнул, отчаянно отплевываясь, откашливаясь и проклиная каналы, мостики, воду и всю эту страну (себя самого он проклинал очень редко). Он был взбешен, форма его пропиталась грязной теплой водой, которая не освежала, несмотря на жару. Он поглядел на вьетнамцев, все еще стоявших на мостике, но они молчали. Сердито хмурясь, он вылез на берег и пошел было дальше, как вдруг заметил, что потерял свой пистолет (собственно говоря, не свой, а Ролстона: они обменялись пистолетами, потому что Ролстону понравился его «люгер»; в обойме ролстоновского «кольта» было всего два патрона, Бопре потребовал еще четыре, но Ролстон сказал, что хватит ему и двух — один для вьетконговца и один для себя). Бопре с отвращением снова спустился в грязную воду — он никогда раньше не думал, что вода в канале может быть такой теплой — и, присев на корточки, начал шарить рукой по дну: окунаться с головой он ни за что не хотел. Но пальцы его хватали один ил. Тогда с мостика спрыгнул солдат и вопросительно посмотрел на Бопре. Тот жестами показал, что ищет пистолет, и вьетнамец, точно водолаз, ушел под воду. Через секунду он вынырнул, гордо держа пистолет. Бопре, еще острее почувствовав унизительность своего положения, неуклюже поблагодарил его и впервые сообразил, что не знает, как по-вьетнамски «спасибо». Он сунул было руку в карман за деньгами, но тут же решил, что это будет еще хуже. Он улыбнулся солдату, и тот ответил ему улыбкой. Бопре чувствовал себя старым и глупым. Он пошел дальше, но походка его уже не была такой самоуверенной. Солнце высасывало теплую воду из его одежды. Потом он подумал, что ему еще повезло: не хватись он тотчас, пришлось бы объяснять Ролстону, куда девался «кольт» и эти два патрона. Он так и не дозарядил обойму.

Бопре достал флягу и прополоскал рот, израсходовав часть драгоценной влаги. Он даже не был уверен, что во рту у него действительно дурной вкус, но так ему казалось. А остальное не имело значения. Он выплюнул воду. Уровень воды во фляге катастрофически уменьшался — он видел это по наклону, когда подносил флягу ко рту. Осталось, видимо, не более трети. Надо было бы взять запасную флягу. Мысль о двух флягах была не лишена логики: во время второй мировой войны на юге Тихого океана солдаты носили по две фляги — правда, они никогда не знали, сколько им придется ждать, пока подвезут воду. Однако в семинарии никто с двумя флягами не ходил, так что он вновь страдал из-за своей ложной гордости. А ведь как просто — взять две фляги.

Бопре попросил Андерсона связаться с КП. Дежурный сообщил, что все идет прекрасно, без сучка и задоринки. И пока никто ничего не напутал (Бопре уловил в этих словах намек на то, что все пройдет гладко, если Данг и Бопре ничего не напутают).

— Как там Ролстон? — спросил Бопре.

— Несколько старух, по обыкновению, обозлились на наших дружков и набросились на них, а Ролстон решил разыграть из себя мудрого судью и помирить их, да только эти бабы чуть не выцарапали ему глаза. Говорит, никогда еще не видел, чтобы женщины так злобствовали,— по сравнению с ними даже собственная супруга показалась ему настоящей леди. Тут он взбесился и трех из них арестовал. Говорит, что страху натерпелся, как никогда в жизни,— он им кричит: «Я ваш друг, я ваш друг, я добрый американец!» — а они все равно лезут на него. Да, кстати, он просил вам кое-что передать. Будете слушать?

Бопре сказал, что будет.

— Ролстон просил передать, что у него там чертовски жарко, и спрашивает, как дела у вас. Он договорился с полковником, что вернется на базу на вертолете, если будет дополнительный рейс, а вы пешком дойдете. Говорит, что вы его поймете, поскольку вы с ним приятели.

— Ладно,— сказал Бопре.— Так ему и передайте. Пусть пролетят над нами, чтобы мы могли их по-дружески приветствовать.

— Полковник тоже о вас справлялся,— сказал дежурный.— Спрашивал, как дела и все ли в порядке. Я сказал, что все хорошо и вы, как всегда, полны бодрости, но он, кажется, немного беспокоится. Просил сообщить ему, если жара вас совсем замучает.

— Скажите ему, чтоб не беспокоился. Жара — как жара,— сказал Бопре, но позже он усомнился в правильности такого ответа: пожалуй, лучше было бы вернуться санитарным вертолетом. У него возникло подозрение, не сказал ли чего-нибудь Андерсон полковнику.

Они продолжали идти, и Бопре смотрел на солдат с невольным уважением. Они словно не замечали жары. Она их не угнетала. «Как будто вышли на прогулку»,— подумал он. У солдат была с собой еда, и кое-кто уже начал пощипывать холодный, слипшийся в комья рис. Другие грызли стебли сахарного тростника. Тростник они предлагали и Бопре, но он отказывался, хотя и любил высасывать из тростинок сок. Он считал, что сок этот, как и кока-кола, только усиливает жажду. Слишком он сладок.

Обычно после первого часа марша, если, конечно, не появлялся противник, солдаты начинали держаться вольнее: шум шагов и разговоров становился громче, шли они медленнее, то и дело раздавались смешки. Иногда Бопре сравнивал их с американскими солдатами и ужасался их легкомыслию и беззаботности в боевой обстановке. Порой ему казалось, что схватки с противником являются лишь временным нарушением привычного течения их жизни — точно гроза. Они шли и шутили, потом натыкались на засаду, несколько человек падали убитыми, бой кончался, и они снова шли, смеясь и болтая, не усмиренные даже смертью. Американские солдаты, каковы бы ни были их недостатки (а недостатков этих было много), не относились к смерти с такой легкостью. После чего Бопре попытался представить себе, что было бы, если бы американцам пришлось воевать в одной и той же местности лет пять или больше. Намного ли отличались бы они тогда от вьетнамцев? Он и в себе находил перемену: когда он только приехал сюда, он был во всеоружии той внутренней подтянутости и дисциплинированности, которые выработались у него за время второй мировой войны и потом в Корее; он, как ему казалось, по-прежнему оставался профессиональным военным, но теперь это был более расслабленный, более акклиматизированный профессионализм. Он плыл по течению и уже не отдавал себя на все сто процентов войне, которая велась лишь на пять процентов мощности. Легче всего, конечно, считать — как им это советовали и даже приказывали во время политического инструктажа,— что вьеткон-

говцы в любую минуту могут выскочить из-за каждого куста, из каждого канала, из хижины. («Вьетконг всегда там, где ты его не ждешь. Вьетконг всегда хитрее тебя. Ты спишь, а Вьетконг думает, строит планы, чистит оружие»,— так было сказано на последнем инструктаже.) Но если руководствоваться этими наставлениями, то очень быстро измотаешься. Тут слишком много кустов, каналов и хижин, чтобы всех их бояться, а вьетконговцев слишком мало, чтобы они могли всюду прятаться. Только сумасшедший мог бы свои первые три операции провести, выискивая всюду вьетконговцев,— к началу четвертой он обессилел бы и физически и душевно, и вот тут-то вьетконговцы его бы и укокошили. Такой паршивой войны нарочно не придумаешь. Нет, лучше идти, как идешь, и не слишком усердствовать. На этой войне, если хочешь, чтобы тебя не застали врасплох, нужно вжиться в нее и почувствовать ее ритм. Лейтенант Андерсон — другое дело: Андерсон молод, честолюбив и еще не насытился войной, а потому не признает расслабленности. Для него каждая засада — это противник и исполнение долга, каждый вьетконговец — новый шаг к повышению, каждая успешная операция — победа во имя родины, во имя долга, и чести, и родины, и Уэст-Пойнта. Он уже встречал таких лейтенантов раньше, в Корее, например. В Корее казалось, что их просто штампуют — молодые, сильные, абсолютно бесстрашные, они точно сходили с бесконечного конвейера. Они вели солдат в бой, часто с излишней доблестью, и гибли. Их увозили назад очень-очень скоро. Они погибали красиво, и солдаты жалели о них (ему ни разу не доводилось слышать в Корее, чтобы солдаты, готовые ругаться по любому поводу, жаловались на молодых офицеров. И это относилось не только к выпускникам Уэст-Пойнта, но ко всем — казалось, курсанты СПОЗа * стремились доказать, что они ничуть не хуже самих уэст-пойнтцев). Веря всему, чему их учили, они приезжали в Корею слишком быстро, и гибли слишком быстро, и слишком быстро заменялись новыми, точно такими же лейтенантами, которые рвались заменить их. Иногда ему хотелось предостеречь их, сказать, что их плохо инструктировали, что все это — ложь, что только осторожные выживут, вернутся на родину и будут инструктировать других, что только осторожные сделают карьеру. Но тем из них, кто уцелел, предстояло либо узнать это самим, либо не узнать никогда,— не пожилым армейским капитанам читать наставления о том, как сделать карьеру. Молодые офицеры согласились бы учиться только у того, кто сам сумел ее сделать.

Впервые за весь день Бопре подумал, не бросает ли на него тень то, что его не послали с воздушным десантом. Как-никак, десант — ответственное дело, требующее самого лучшего личного состава, самой лучшей координации, самых лучших отношений между советниками и вьетнамцами и самых лучших офицеров — настоящих тигров. Бопре же тигром никак назвать было нельзя (когда полковник в разговоре с ним иронически назвал тигром Данга, не имел ли он в виду и самого Бопре и не намекал ли на то, что один стоит другого и что иного, лучшего советника Данг не заслуживает?).

Когда-то и он был тигром, умел убивать, и у него было тренированное, хотя и несколько неуклюжее тело. Но теперь он отяжелел и даже в свежевыглаженной форме ухитрялся иметь слегка неряшливый, помятый вид. Впрочем, не во всем следовало винить его самого — просто он был слишком стар и толст для этой войны, в которой совсем не хотел участвовать. Он спокойно — чтобы не сказать равнодушно — дослу-

* Служба подготовки офицеров запаса.

живал в Соединенных Штатах свой двадцатилетний срок, занимал должности, которые армия США когда-то (никто уже не помнил, по какой причине) включила в сферу своей компетенции, но на которые не считала нужным тратить свои лучшие молодые кадры — например, под конец Бопре преподавал на курсах СПОЗа. Конечно, он предпочел бы что-нибудь другое, но он не распоряжался собой. На оставшиеся четыре года службы право думать за него сохраняло правительство Соединенных Штатов. Впрочем, преподавание на курсах СПОЗа не было неприятной или обременительной обязанностью — наибольшая трудность для него заключалась в том, чтобы не ругаться, когда он беседовал с курсантами. За несдержанность в выражениях он получил выговор и два предупреждения — впрочем, подобным проступкам большого значения не придавалось, так как, по мнению начальства, этот недостаток органически присущ старым армейцам. Все Бопре до него (как и все Бопре после него) получали примерно столько же выговоров — как-то само собой разумелось, что человек, настолько не преуспевший в армии, что он в конце концов попал на такую должность, не способен следить за своим языком. Но Бопре эта должность в общем устраивала. Он уже давно потерял надежду на успех, выдвижение и прочие чудеса, и его вполне удовлетворяли занятия по строевой подготовке (курсанты СПОЗа, как правило, относились к этим занятиям более добросовестно, чем новобранцы регулярной армии) и мечты об интрижках с женами других преподавателей — ему и намекали и прямо показывали, что его ухаживание было бы принято благосклонно. Однако он опасался, что начальство окажется на стороне разгневанного мужа и предпочтет убрать его, Бопре. Да и жены, в общем, не стоили того, чтобы из-за них рисковать. Так он и служил, выполняя свои официальные функции и не беря на себя неофициальных, пока вновь не заговорили о Вьетнаме и не вошла в моду война против партизан. Кто-то (возможно, электронно-вычислительная машина) докопался, что в начале корейской войны он был разведчиком (ИБМ, конечно, беспощадно игнорировала то обстоятельство, что за время, истекшее после той войны, Бопре прибавил в весе и в годах и убавил в храбрости). Его действительно привлекали к службе в разведке, и он несколько раз переходил линию фронта с заданием захватить пленных, но произошло это только потому, что батальонный командир не любил Бопре, и когда ему предложили найти добровольцев, назвал Бопре, без которого мог прекрасно обойтись.

В 1961 году Бопре вызвали в военное ведомство и безапелляционно заявили, что считают его экспертом по партизанской войне; он стал спорить и уверять, что ничего не понимает в партизанской войне, что в разведке он служил недолго, выполнял лишь очень узкие задания, а в живых остался единственно потому, что ему повезло больше, чем другим. Ему ответили, что скромность, конечно, украшает его, но характер работы, которую он выполнял, как раз и позволяет отнести его к разряду специалистов по партизанской войне — ведь ему приходилось бывать в тылу врага. А то, что он уцелел, доказывает, что он настоящий эксперт. Теперь они обнаружили, что в свое время его очень хвалили — за закалку, за умение вынюхивать ловушки («Иногда мне кажется, что у Бопре корейский нос»,— было написано в старом рапорте); они рассказали ему, как он храбр и хитер, и были несколько смущены тем, что он оказался лишь в СПОЗе, но армия велика, и Бопре, конечно, понимает, что случаются отдельные ошибки, теперь, слава богу, эта ошибка будет исправлена. Бопре, хотя и был простодушно польщен отзывом в старом рапорте (совершенно справедливым, кстати сказать), тем не менее продолжал отказываться, ссылаясь на то, что тогда он был на девять лет моложе, менее грузен и более подвижен и энергичен, а к тому

же он уже свыкся со своей работой в СПОЗе. Ему растолковали, что он им нужен, а СПОЗу — нет. А кроме того, СПОЗу будет даже полезно, если он уйдет от них, так как там смогут говорить, что капитан Бопре с середины семестра был отозван во Вьетнам. Это повысит авторитет СПОЗа, и таким образом во Вьетнаме Бопре принесет ему больше славы, так сказать, держа там факел СПОЗа. Бопре опять попробовал возразить, но это был приказ, а ему надоела жена, надоела вся его жизнь, и в конце концов он согласился.

Сначала его направили в Форт Брэгг прочесть курс лекций о специальных методах ведения войны и способах проникновения в тыл противника. Когда он впервые пришел читать лекцию молодым подтянутым курсантам, он напоминал добродушного толстого дикобраза, а не бывалого разведчика. Он почувствовал, что они посмеиваются над ним (все остальные преподаватели были молоды и честолюбивы). На следующий день он явился на занятия при всех своих орденских ленточках, и курсанты перестали иронизировать, зато с этого момента иронизировать начал он, потому что не чувствовал себя с ними свободно. Их жадная любознательность была выше его возможностей, они ждали быстрых и точных ответов на свои вопросы, а он говорил неуверенно и туманно. Они смотрели на его орденские ленточки (два боевых значка пехотинца и «Серебряная звезда») и ждали скромности, прикрывающей подвиги,— ждали подвигов, описанных со скромностью, и скромности, обернувшейся подвигом, но видели только неуверенность и неопределенность. Он догадывался об их разочаровании, почти ощущал его. Он рассказывал им о том, как было холодно в Корее и как он мочился на свой карабин, а они хотели знать, как он убивал ножом; но он, выполняя свои задания, не убивал ножом и не убивал даже из карабина. Его великим подвигом, его высшим достижением разведчика было то, что он остался жив, а это в основном означало, что он вышел победителем из постоянной войны с холодом. ИБМ, по-видимому, почувствовала это, потому что Бопре попал не в особые отряды из двенадцати человек и не в специальные диверсионные части по борьбе с партизанами («Зеленые береты»), а стал обыкновенным американским советником и, к счастью, был послан не в горы, а в низины (иногда он спрашивал себя, узнали ли курсанты СПОЗа, что он не попал в «Зеленые береты», а стал всего лишь советником, и не пригасило ли это зажженный им факел). Его страшила даже мысль о том, что ему, в его возрасте, пришлось бы лазать по горам и тайком пробираться в Лаос (у него никогда не было желания побывать в Лаосе), и он благодарил судьбу за то, что его послали в дельту Меконга.

Он представил себе такой же вот жаркий день в горах, и его снова охватил страх. От этого идти по дельте стало как будто легче.

К нему подошел Андерсон, и Бопре спросил его о полковнике: не показалось ли ему, что сегодня полковник немного нервничает? Андерсон сказал, что с самим полковником он не разговаривал, но вопросы, которые его интересовали, были все те же. Не слишком ли скученно идут солдаты? Говорили ли Бопре и Андерсон что-нибудь насчет скученности? Как действует на солдат жара? Каково настроение в деревнях? Есть ли какие-нибудь хорошие признаки, какие-нибудь дурные признаки, вообще какие-нибудь признаки? Стал ли Данг лучше? Или хуже? Начеку ли солдаты? Как выглядят посевы? Нужно ли что-нибудь? Все те же вопросы, и полковник не придирчивее и не мягче обычного.

Бопре, выискивавший доказательства тайных переговоров с полковником, кивнул и сказал, что полковник достаточно умен, чтобы в такой жаркий день не нажимать на подчиненных.

Затем не спеша, как если бы стремление скрыть жажду было постыдным, Бопре, точно алкоголик, доказывающий, что он не алкоголик, достал флягу и отпил большой глоток воды под внимательным взглядом лейтенанта.

— Такой поганой воды, как в этой проклятой стране,— сказал Бопре,— нет нигде в мире. Вы, может, думаете, что это из-за наших армейских гениев, которые насовали в нее разных химикалий? Ошибаетесь. В чистом виде она такая же поганая. Химикалии даже чуть-чуть улучшают ее. Все дело в том, что здесь поклоняются предкам. Здешние жители всегда хоронят своих предков на лучших землях, а это значит — всегда недалеко от колодцев, так что когда они пьют воду, то приобщаются к предкам. Предки же не слишком приятны на вкус — только и всего. Ну, они, конечно, про это знают — они, может быть, и глупы, но не настолько же! Беда в том, что они вежливы. Они очень вежливы, вы это знаете. Ну, а как известно, человек не способен чувствовать ни собственного запаха, ни вкуса собственных предков, а потому он и не подозревает, насколько его предки противны на вкус. Но потом он навещает соседа и обнаруживает, что вода у того прескверная, а уж с предков и вовсе рвет, но вежливость не позволяет ему сказать об этом вслух. Вот вы, например, явившись к Дангу с визитом и выпив там воды, не станете же поносить его дедушку, верно?

Он молча прошел несколько шагов, потом сказал:

— Вся беда этой страны в том, что вода и люди тут пахнут одинаково.

— Воздержитесь от подобных высказываний в присутствии специалистов по психологической войне,— предупредил Андерсон.— Они ведь очень тесно связаны с местным крестьянством.

Теперь Андерсона забавляли такие разговоры. Он никогда не знал заранее, какой оборот они примут: говорит ли Бопре серьезно, со злостью или шутит или же и злится и шутит одновременно. В двух последних случаях Андерсон позволял себе расслабиться и получал удовольствие от неожиданных замечаний капитана; но когда Бопре давал выход своей желчи, Андерсон настораживался: он теперь несколько остерегался Бопре.

— Плевал я на специалистов по психологической войне. Все они работают на Вьетконг, черт их дери. Каждую неделю они приходят и объясняют нам, что мы должны быть вежливыми с местным населением: будьте вежливы, будьте дружелюбны, будьте кротки, не превращайте этих маленьких, дружелюбненьких крестьян в гадких вьетконговцев. Держитесь дружески с крестьянами, поймите их — у них тяжелая жизнь, а их матери недостаточно их любили. И прочая чушь. Вам не приходилось наблюдать, как эти специалисты работают? А мне вот пришлось, когда я только что сюда приехал. Мы отправились на операцию, и с нами произошла небольшая неприятность,— не то чтобы засада, а так, несколько вьетконговцев обстреляли нас из старых французских винтовок и рогаток. Ну, вьетнамцы стали отвечать: противник стрелял довольно слабо, так что они не слишком перепугались. А специалист по психологической войне палил больше всех. Только не знал — в кого. По-моему, он просто держал пистолет дулом вверх и нажимал на курок. Совсем поглупел от страха. Но в конце концов не то вьетконговцы сами отошли, не то мы их нечаянно перебили — всякое ведь случается; во всяком случае, он подошел ко мне и давай рассыпаться в благодарностях — и все твердил, какой я герой: мужественный, хладнокровный и прочее и прочее. Но потом этот сукин сын вернулся в Сайгон и написал рапорт, что район, дескать, очень неблагополучный, кругом вьетконговцы, а все потому, что мы с самого начала вели себя скверно, с крестьянами обращались хуже некуда и психологической войной их совсем не баловали. А психологическая война —

это главное. Он написал и обо мне, но не про то, что я герой, как я надеялся. Он указал, что я не сочувствую чаяниям народа, что я не способен завоевать их любовь и уважение и что я угрюм. Угрюм!

— Что, устали за воскресенье в Сайгоне?— спросил Андерсон.— Переборщили, наверно.

Сам Андерсон был верен жене и если ездил в Сайгон, так только за покупками или чтобы побывать в кино. Да и то по настоянию полковника, который любил его и беспокоился, что он слишком уж серьезно относится к своим обязанностям, а потому иногда просто заставлял его уезжать из семинарии.

— Да, воскресенье было тяжелым, это верно,— сказал Бопре.— Только мне все равно мало.

Это была одна из его официальных ролей в семинарии — роль завзятого бабника («Есть только два сорта — хорошие и лучше; я жалею лишь, что раньше за это не принялся» и т. д.). Полковник никогда не поощрял поездок Бопре в Сайгон и даже не без удовольствия иногда вспоминал об его супругах — о первой (или американской) жене, о сайгонской жене, о шолонской и о второй сайгонской жене. «Которая из них получает по вашему аттестату, Бопре?» — осведомлялся он. В последнее время Бопре уезжал в Сайгон почти каждое воскресенье, потому что по воскресеньям вьетнамцы обычно соблюдали перемирие. Но хотелось не столько съездить в Сайгон, сколько вырваться из Мито. («Единственный человек, который готов попасть хоть в пять засад ради одной индокитайской юбки»,— говорил полковник.) Беда была в том, что, приехав в Сайгон, он, несмотря на свою репутацию бабника, не мог бы сказать, зачем, собственно, он туда ехал, зачем так долго добивался отпуска и зачем мчался по дорогам, на которых шоферы автобусов представляли не меньшую опасность, чем вьетконговские мины. В конце концов он просто спускал все деньги, накачиваясь разбавленным виски и поддельным французским коньяком, а потом, мокрый от пота, бесцельно бродил по городу вместе с такими же, как он, мокрыми от пота американцами. И все-таки он продолжал ездить. Его последний отпуск длился целых три дня, так как был приурочен к одному из бесчисленных вьетнамских праздников («дню поминовения сдохшего козла», как выразился Ролстон). Отправившись вместе с тремя другими советниками, он, едва доехав до города, незаметно отстал от них и остановился в дешевой гостинице на окраине Шолона, подальше от того района, где обычно останавливались американцы и, в частности, офицеры. В гостинице жило несколько штатских вьетнамцев (по-видимому, провинциальных чиновников) и китайские торговцы из Сингапура. Иногда там останавливались солдаты войск специального назначения из горных районов — они приезжали группами по три человека, всю ночь пили, буянили и орали. Ему запомнился один случай. Из их номера донеслось: «Я позвать полицию! Я позвать вьетнамскую полицию! Вы нет хороший. Я не бояться вас, но я позвать полицию». Потом следовал визг, и другой голос кричал: «Вызывай, подлюга, а я скажу им, чтоб тебя вышибли из гостиницы, потому что у тебя пятьдесят семь болезней, черт побери!» Снова визг, смех и — тишина. Солдаты из войск специального назначения пьянствовали все три дня своего отпуска до самого утра, когда за ними прислали грузовик и отвезли их, пьяных, на аэродром специальных войск в Тан Шон Нят, откуда они, пьяные и небритые, были доставлены на свои маленькие базы у границы Лаоса. Именно в этом и заключались особые преимущества войск специального назначения. Начальство не требовало, чтобы последний день отпуска вы протрезвлялись — с него было довольно, чтобы ваше тело было доставлено в часть в срок.

В номерах этой гостиницы не водилось ни мыла, ни полотенец, а туалетная бумага была такой гладкой, что солдаты войск специального

назначения крали ее в больших количествах, чтобы в лагере чистить ботинки. Но в отличие от «Континенталя», «Мажестика» и «Каравеллы», здесь можно было привести к себе в номер девицу, а, кроме того, Бопре тут не приходилось общаться с теми же офицерами, с которыми он целую неделю жил в семинарии (он знал, как они выглядят голыми, знал, кто из них чистит зубы, а кто нет, а они, в свою очередь, знали о нем все и, может быть, даже больше, чем он о них, а потому ему вовсе не хотелось общаться с ними в Сайгоне — чтобы потом все подробности его отпуска стали известны в Мито). В гостинице он мог рассчитывать хоть на какое-то уединение. Несколько раз он действительно приводил к себе проституток — иногда даже довольно хорошеньких,— но он чувствовал себя неловко и смущался из-за предосторожностей, которые принимал, чтобы скрыть, сколько у него денег и кто он такой, словно одной неблаговидной профессии с них было мало и они, по его мнению, должны были обязательно иметь и вторую, столь же неблаговидную. Поэтому ни одна из них ему даже не запомнилась, хотя в своих ожиданиях он не был разочарован, и тем не менее — что в какой-то мере символично — ни с одной он не захотел встретиться снова. Ни разу во время этих своих отпусков он не испытал не то что любви, но хотя бы страсти, настолько сильной, чтобы у него могло появиться желание снова увидеть именно эту женщину. Они приходили, делали, что от них требовалось, и исчезали. Он не запомнил ни их имен, ни даже внешности — из восьми только одна сохранилась у него в памяти благодаря пышной груди, странно контрастировавшей с миниатюрной фигуркой, и еще потому, что она все время словно спала.

Последний же отпуск, начавшийся с вечера в пятницу, оказался хуже всех предыдущих. В Шолоне Бопре сразу пошел в ресторан, оглядел зал и вдруг увидел Большого Уильяма, который завопил:

— Поглядите-ка, кого Иисус Христос и его вьетнамский коллега Будда послали Большому Уильяму к ужину — капитана Бопэя, лучшего друга Большого Уильяма. Большой Уильям знает, что капитан — человек компанейский.

Бопре сел за его столик, не слишком радуясь обществу Большого Уильяма. Не то, чтобы негр вызывал у него антипатию, наоборот, он скорее нравился ему, чем не нравился (хотя Большой Уильям отождествлялся для него с Вьетнамом, все они тут носили это клеймо, и ни к кому невозможно было питать особой симпатии), но свои отпуска в Сайгоне Бопре предпочитал проводить в одиночестве. Они недурно поужинали, Бопре, сам того не замечая, поносил страну и войну больше обычного, а Большой Уильям старался его подбодрить:

— Не унывай, малыш. Конечно, здесь совсем не так, как ты ожидал или как хотел. Здесь совсем не то. Да ведь если бы здесь было уютно и красиво, так тебя бы сюда и не послали. Уж положись на Большого Уильяма. И ничего сделать нельзя — в этом я убедился давным-давно и в другой стране. Так было до твоего приезда, так есть сейчас и так будет после нас с тобой. А потому остается только не унывать и улыбаться: Большой Уильям всегда улыбается, даже когда унывает, так что все кругом думают: Большой Уильям не унывает. Большой Уильям молодец. Вот и ты не унывай и помни еще одно: если бы тут было хорошо, нас бы тут не было. Будь здесь красиво и уютно, так был бы и закон, запрещающий таким, как мы, приезжать сюда,— приезжали бы только те, кто делает политику, и в советниках у вьетнамцев ходили бы наши сенаторы и конгрессмены. Вот помни обо всем этом и не будешь унывать.

Но Бопре оставался угрюмым и даже злым, и это как будто огорчало Большого Уильяма.

— Не так уж все плохо, малыш, не так все плохо. Оно, правда, и не хорошо, но и не так уж плохо. Да и вообще, чего скверного может с тобой тут случиться? Только одно — что в один прекрасный день мы пой-

дем на операцию и нас увидит вьетконговец. Большого Уильяма он не тронет, потому что черные парни ему нравятся и он здорово сочувствует им, знает, как они бедствуют в Алабаме и ходят в одних черных пижамах, а вот ты — белый, и тебя он прихлопнет. Это будет самое скверное, а потом тебя обернут флагом и отправят домой, как героя, и устроят тебе пышные похороны с оркестром и печальной музыкой, а в газете на первой странице под крупным заголовком напечатают, что капитан Бопэй — великий герой, и совершил много великих подвигов, и убил много вьетконговцев, пока они не убили тебя, и в газете поместят твой портрет, где ты не смеешься, а смотришь настоящим героем. И все будут плакать по тебе — и девушки, которые тебя любили, и девушки, которые натянули тебе нос. Вот самое скверное, что может случиться. А теперь возьми Большого Уильяма — сидит в засаде тот же самый вьетконговец, но тебя он не прихлопнет, потому что ему нравятся белые парни, а прихлопнет Большого Уильяма, потому что он слыхал, будто в Америке все черные разъезжают на собственных «кадиллаках», а это ему не нравится. Ну, в ту же минуту война для Большого Уильяма кончится. А потом черную тушу Большого Уильяма положат в самый большой ящик, какой только можно найти, и тоже отправят, и все гробовщики взвоют, потому что он такой большой, что ему все их ящики малы. Ну, отправят его самой малой скоростью, и через год-другой, когда уже и эта война, может, кончится, прибудет ящик в Пиккенс, штат Алабама. Но с оркестром его в Пиккенсе не встретят. Нет, сэр. А сообщение об этом напечатают на пятьдесят седьмой странице, в разделе «Что затевают наши цветные друзья», и в самом низу страницы будет короткая заметка без фотографии — дескать, Большой Уильям, черный негр мужского пола, который, по утверждению военного ведомства, родился в нашем городе, умер где-то в азиатской стране. Насчет героя ничего сказано не будет, а просто: «Мы всегда говорили, что он так кончит, если это тот самый Большой Уильям, которого мы знали, так как с ним хлопот было не обобраться, и здесь он вел себя нагло, и никакой ценности для армии не представлял, и пусть это послужит вам всем уроком». Так что тебе жаловаться особенно не на что. Только оба мы что-то нарушаем первое правило Большого Уильяма и скулим. Поэтому лучше нам пойти в один веселый бар, который знает Большой Уильям.

Они вышли, и Большой Уильям продолжал рассказывать о своем баре, утверждая, что лучшего нет во всем городе («Туда ходят только те, кто не унывает»). Бопре не знал, удобно ли ему идти в этот бар. Негр заметил его нерешительность и сначала не понял ее причины, а потом замотал головой и сказал, чтобы он не беспокоился: в этом баре умеют веселиться и даже дежурят около него самые веселые полицейские в городе.

Пока они шли, Большой Уильям признался, что этот бар нравится ему из-за мамасан (хозяйки заведения), которая все еще лучше любой из ее девчонок,— женщина в самом соку, не чета этим чирикающим цветочкам, настоящая женщина, и денег с него не берет. Он иногда ночует у нее на квартире — такой, что только ахнешь: везде кондиционированный воздух, аппаратов там больше, чем в каком-нибудь генеральском доме, и слуг не меньше шести, хотя все они лилипуты даже для вьетнамцев, а постель вся из шелка, и одежда для него тоже шелковая, и всякие напитки, фрукты и коньяк. Веселое место — не то что в Пиккенсе, штат Алабама. Мамасан — редкостная женщина и хочет выйти за него замуж, но кому охота, черт побери, оставаться на всю жизнь в этой стране, даже если тебя одевают в шелковое белье и кладут на шелковую постель, а утром подают фрукты и коньяк? Мамасан даже готова принять его в свое дело: она обещает открыть для него несколько баров.

— Подумать только! Всякий раз, как американский солдат — белый

или черный — подцепит девочку, Большой Уильям получает свою долю. Он станет королем этого города. Его именем назовут бары, а один бар назовут и в честь Пиккенса, штат Алабама, где родился Большой Уильям. «Пиккенс-бар». Большой Уильям разбогатеет и станет помогать всем американским солдатам куда лучше Службы организации досуга войск.

Бопре думал, что Большой Уильям просто врет, но когда они поднялись по лестнице и постучали в дверь бара, к ним вышла сама мамасан и, воскликнув: «Мой Болесой Вилиям!» — расцеловала его, а потом вежливо пожала руку Бопре.

— Ты не изменял мне, Уильям?— спросила она.

— Ах, мамасан, Большой Уильям так же чист, как был, когда уходил от тебя,— ответил негр.— Хотя, может быть, и не по своей вине.

Войдя следом за мамасан в бар, Бопре остановился в изумлении: зал заполняли одни негры. Все посетители были негры — высокие и толстые, офицеры и рядовые. Ничего подобного он еще не видел. Точно он попал в совсем другой мир: Девушки все были вьетнамки — их обычная белоснежная одежда напоминала тут халаты медицинских сестер. Он заметил, что кожа у них гораздо светлее, чем обычно. Может быть, они кажутся светлее, потому что кожа посетителей так темна или же мамасан, женщина несомненно умная, нарочно подбирала девушек посветлее?

Бопре было очень не по себе: он не мог сделать шага вперед. Большой Уильям придвинулся к нему поближе. Бопре ясно ощущал возникшее напряжение и взгляды, обращенные на него со всех сторон.

Тишина накатилась двумя волнами: сначала замолчали негры, а немного позже — вьетнамские девушки, сообразившие, что происходит что-то необычное и надо молчать. Наконец высокий, стройный негр с лицом черного индейца (Бопре принял его за офицера, а потом узнал, что он какой-то специалист) повернулся вполоборота к вошедшим и сказал, ни на кого не глядя:

— Капитан Редферн, что же вы не познакомите нас с советником вашей дивизии? Назовите нам фамилию полковника.

— Эбен!— сказал другой.— Это вовсе не полковник. Это генерал. Генерал Харкинс. Большой Уильям привел к нам генерала Харкинса.

— Нет, это не генерал Харкинс,— возразил первый.— Генерал Харкинс — стройный и молодой.

В глубине зала какой-то негр спросил своего соседа так, чтобы услышал Бопре:

— Как по-твоему, кто это?

— Вьетконговец?

— На тех вьетконговцев, которых я видел, он что-то не похож.

— Да. Но вьетконговцы, когда идут в бар, выглядят иначе. Уходя в увольнение, они снимают черные пижамы.

— Разве?

Наступило короткое молчание, после чего еще один негр в дорогом спортивном пиджаке, широком в плечах и узком в талии, сказал:

— Джентльмены, как по-вашему, этот генерал заслуживает права посещать наш клуб? Капитан Редферн, вы, надеюсь, не забыли, что мы очень разборчивы, сэр. Очень.

Все, кроме Бопре и Большого Уильяма, засмеялись. Большой Уильям отошел от Бопре к стойке:

— Этот человек — друг Большого Уильяма. Он пришел сюда с Большим Уильямом. Он спросил Большого Уильяма: «Большой Уильям, ничего, если я пойду с тобой в этот самый лучший бар, о котором ты мне рассказывал?» И Большой Уильям ответил: «Конечно! Ты мой друг, а в этом баре собираются веселые ребята, но они все джентльмены». А потом Большой Уильям сказал, что в этой загаженной стране только это место еще не загажено. Еще не погублено. А что вы сделали? Выставили

Большого Уильяма обманщиком, и вот сейчас, в восемь часов сорок семь минут вечера Большой Уильям приносит извинения своему другу капитану Бопэю. Я приношу свои извинения.

Тут кто-то крикнул, чтобы Большой Уильям перестал корчить из себя белого баптистского проповедника, а другой протянул Бопре стакан, сказав: «Пожалуйста, генерал»,— и на время Бопре признали равноправным посетителем.

Потом появилась мамасан, взяла Большого Уильяма за локоть и повела с собой. Большой Уильям повернулся к Бопре, отдал честь и сказал:

— Она приготовила для Большого Уильяма совсем новенькие шелковые штучки, так что приходится сдаться! Пока, детка, и не вешай носа. А я иду на шелковую смерть!

Сначала Бопре чувствовал себя словно в приемной у зубного врача. Но негры держались очень любезно, подвели к нему девушку и познакомили с ним. Один что-то сказал ей по-вьетнамски, и она хихикнула. Другой перевел:

— Он говорит, что вы белый сенегалец. Они называют нас всех сенегальцами. Сперва они всех цветных считали сенегальцами, а это совсем не такая уж похвала, потому что сенегальцы, кажется, очень им насолили, когда воевали здесь за французов, но теперь это просто шутка.

Бопре заказал девушке три порции виски и улыбался ей, и держал ее за руку, но неприятный осадок не исчезал, и ему хотелось уйти. У него было такое ощущение, что негры разговаривают на каком-то иностранном языке и происходит все это в каком-то иностранном государстве (Вьетнам в конечном счете не был иностранным государством — это был Вьетнам, их Вьетнам); бар был окутан смутной неопределенностью, как будто время остановилось. Ему казалось, что вьетнамские девушки — американки, его соотечественницы, а негры — иностранцы. В глубине зала вьетнамский электроджаз играл рок-н-ролл, но музыка казалась иностранной: все эти блюзы и роки, такие бешено негритянские, казались тоже чужими — скорее африканскими, чем американскими, словно негры привезли этот оркестр с собой из Африки.

Она сказала, что ее зовут Тинь.

— Тан?— переспросил он.

— Нет,— сказала она.— Тинь.

— А! — сказал он.— Тин.

— Нет,— сказала она.— Тинь.

— Тин?— сказал он.

— Да,— сказала она.

И все их разговоры были такими же. Ему не очень хотелось назначать ей свидание: он был способен на многое, только не на это. Но они тут были с ним очень любезны, и он считал неудобным уйти, опасаясь, что негры истолкуют это как проявление расовой неприязни,— а так оно и было на самом деле,— и оскорбятся. Поэтому он принялся многословно и громко договариваться с нею о встрече. Но она не понимала его, и один из негров, говоривший по-вьетнамски, пришел ему на помощь, но это только еще больше смутило его, так как он вовсе не собирался на самом деле встречаться с нею на другой день возле «Мажестика». Наконец они договорились; Бопре выпил еще и собрался уходить, но негры к этому времени прониклись к нему такой симпатией, что один из них, высокий худой малый, его переводчик, взялся проводить его до гостиницы и, догадываясь о настроении Бопре, сказал:

— Послушай, не расстраивайся, не так уж это все плохо, и нам так нравится — если бы мы и могли, все равно ничего бы менять не стали. Мамасан здесь с нами считается и не разбавляет виски водой. Коньяк здесь настоящий, и девушкам подают такой же, как нам. А в заведении,

куда ходят белые? Не прими на свой счет, я ведь не в осуждение, но там платят по пятьсот пиастров за девочку! Пятьсот пиастров за такую крохуу! А здесь нам это обходится в сто пятьдесят — двести пиастров, и девушки такие же, если не лучше.

Бопре кивнул и сказал, что все было хорошо, все было прекрасно и он обязательно еще раз придет в этот бар.

— Непременно приходи, потому что ты понравился ребятам и они обидятся, если ты не придешь.

На Бопре этот вечер произвел самое тягостное впечатление, и в то же время он был растроган: его ужаснуло существование этого мира и то, что он нечаянно попал в него, и растрогало их стремление этот мир сберечь; он впервые задумался над тем, что чувствуют негры, попадая в его мир. А потом он прикинул, что происходит с шелковой пижамой, когда Большой Уильям возвращается в семинарию.

На следующий день он не пошел на свидание, не сомневаясь, что если девушка и придет (а в это он не верил, привыкнув считать, что эти люди никогда не держат слова и всегда опаздывают), то ее непременно кто-нибудь пригласит. Наверно, это будет белый офицер (в гостинице «Мажестик» останавливались только офицеры) — интересно, что бы он почувствовал, если бы узнал, что она из бара Большого Уильяма?

Весь следующий день он бесцельно слонялся по Сайгону. Два раза ел в китайских ресторанах и заглянул в несколько баров, где с грустью наблюдал, как крошечные семнадцатилетние девчонки хладнокровно обводят вокруг пальца офицеров, взрослых женатых мужчин, и ловко стравливают поклонников, так что атмосфера все больше накаляется, а офицеры наперебой угощают шлюх дешевым пойлом, по виду похожим на виски, а по вкусу — на чай, те же потихоньку выливают содержимое из стаканов и требуют еще.

Вечер Бопре провел в заведении под названием «Красивый чайный домик». Стойка напоминала гигантскую подкову, но свободно было только одно место. Бопре сел рядом с лысым американцем, который говорил по-вьетнамски,— специалист по психологической войне, решил Бопре. Специалисты по психологической войне обычно знали вьетнамский язык, купались в деньгах и подцепляли самых лучших девочек. Лысый разговаривал с хорошенькой вьетнамкой, явно себе на уме. Она начала поглядывать на Бопре, а потом заговорила с ним по-вьетнамски. Лысый, оказавшийся совсем не американцем, а австралийцем, извинился перед Бопре за то, что беспокоит его, и перевел:

— Она говорит, что вы очень красивый. Она говорит, что ей девятнадцать лет, что безусловно вранье, и что она с Севера, что, наверно, тоже вранье, и что ей хочется виски, а вот это уже святая правда, приятель!

Бопре заказал; австралиец продолжал переводить, по-видимому получая от этого злорадное удовольствие. («Она говорит, что такой храбрец, как вы, наверно, убил много-много вьетконговцев. Но, конечно, нам неизвестно, янки, что она рассказывает про вас вьетконговцам».) Наконец австралиец с виноватым видом повернулся к Бопре и сказал:

— Послушайте, приятель, я весь день только и делаю, что перехожу с одного языка на другой, так что уже не разбираю, где какой. Но дело в том, что сейчас-то я не на службе, так что с вашего разрешения и разрешения этой дамы я ограничусь далее одним.

И он опять принялся болтать с девицей по-вьетнамски. Через несколько минут к Бопре подошла девушка — вначале безликая, как все остальные, но в очках, которые делали ее единственной в своем роде — учительницей среди учениц.

— Она утверждает, что говорит по-нашему,— сообщил австралиец.— Но вы не очень-то этому доверяйте.

Но она действительно кое-как объяснялась по-английски. Очки заинтересовали Бопре, как и чопорный вид, который они ей придавали. Впервые за этот долгий день он ощутил желание.

Все девушки были в белых платьях, как предписывалось правилами, но платья эти были настолько короткими и так туго обтягивали фигуру, что впечатление создавалось самое непристойное (край трусиков вырисовывался до того четко, что пилоты вертолетов, питавшие болезненное пристрастие ко всяческим сокращениям, изобрели новый термин: ВЛТ — «Видимая линия трусиков»). Позже он смутно припомнил, что, разговаривая с девицей в очках, приуменьшил свой возраст на пять лет, объявил себя холостяком и, как ему казалось теперь, выставил себя круглым дураком. Потом он расспрашивал ее — она жила с родителями и четырьмя сестрами. Очевидно, на выяснение ее домашних обстоятельств ушло довольно много времени, потому что когда девушку позвали к новому гостю (Бопре вдруг взревновал, совсем как те офицеры, над которыми он прежде посмеивался), австралиец повернулся к нему и сказал:

— Конечно, это не мое дело, приятель, но я бы не советовал ехать ночью к ней домой. Не стоит. Не по правилам. В этой стране очень много всяких правил, и с проститутками они воюют успешнее, чем с коммунистами. Ночью сутенеру легко обуздать такую девчонку, особенно если он видел ее в компании янки: выбирай, детка: либо полиция, либо вступай в банду... ну, вы понимаете. Конечно, если вы захотите, она с вами поедет: все эти девочки добрые и смирные. Но не надо их подводить. Лучше всего — днем. Они тогда свободны — ну, вышла девушка из богатой семьи прогуляться с янки, только разве что одета получше. В эти часы им ничего не грозит.

Они продолжали разговаривать, и австралиец держался все более дружески, а Бопре чувствовал себя с ним гораздо непринужденнее, чем с американцами. В конце концов австралиец сказал, что завтра он уезжает в Кап Сен-Жак и Бопре может воспользоваться для свидания с девушкой его квартирой. Бопре согласился и сказал об этом своей знакомой, Лим Фун, которая как будто даже обрадовалась. Австралиец вручил Бопре ключ и дал ему необходимые инструкции.

В воскресенье Бопре нервничал, как подросток, не сомневаясь, что, конечно, она не придет... не сомневаясь, что она придет и полиция непременно схватит ее, как только она переступит порог квартиры. Она опоздала на пятнадцать минут, и когда он уже решил, что она и не собиралась приходить, а только посмеялась над ним, она вдруг явилась — в плотно облегающих прогулочных штанах, в плотно облегающей блузке и без очков.

Но он продолжал нервничать — против него было все: и непривычная обстановка чужой квартиры, и мысль о полиции за дверью, и резкая прохлада, которой веяло от огромного аппарата для кондиционирования воздуха (позже он вспоминал сначала прохладу и шум аппарата и только уже потом — девушку). При свете дня даже ее английский казался хуже, чем вчера. В баре, наполненном табачным дымом и парами виски, объясняться было почему-то проще, теперь же они как будто с трудом понимали друг друга. Несколько минут они пытались разговаривать, но он чувствовал, что она не воспринимает его слов. («Я рад, что вы здесь».— «Вы — что?» — «Я рад, счастлив, что вы здесь».— «Вы не счастлив — я здесь?» — «Нет, я счастлив, счастлив, что вы здесь».— «Извините».) Так что оставалось только лечь в постель. Но у него ничего не получалось.

— Вы не любить Лим Фун,— сказала она.

Нет, сказал он. Она ему очень нравится. Но снова, чем больше он говорил, тем меньше она его понимала. Он попробовал заснуть, наде-

ясь, что потом дело пойдет лучше, но не смог — мешали яркий солнечный свет и шум аппарата. Это привело его в еще большее уныние.

Лим Фун встала с кровати и, не одеваясь, принялась ходить по комнате, рассматривая валявшиеся повсюду журналы. Почти все это были старые номера «Плэйбоя». Ей особенно нравились цветные вклейки, и она спросила, нельзя ли взять одну себе. Он было не позволил, но увидев, как она огорчилась, разрешил. Она вырвала вклейку, быстро оделась и, довольная, ушла. Бопре начал медленно одеваться. Он не сомневался, что австралиец заметит пропажу вклейки и подумает на него (но не оставлять же записку с извинением, что вклейка очень понравилась вьетнамке и он не мог ей отказать!). Он знал, что ни в эту квартиру, ни в тот бар он уже никогда не вернется.

— Мне так и показалось, что вы устали больше обычного,— продолжал Андерсон.— Значит, отпуск выдался тяжелый? В Сайгоне вам от них проходу нет?

— Вот именно,— согласился Бопре.— От этого и устаешь.

— Говорят, одна была в очках и смахивала на учительницу?

— Кто вам сказал? — спросил Бопре, ухмылкой подтверждая свою победу.

— Ну, в этой стране ничто не остается тайной. И всем вашим прочим подружкам это тоже известно. Ну и как? Хороша?

— Вы же знаете, в очкастых всегда что-то есть.

— Значит, они и правда такие?

— Даже здесь. Здесь еще хуже.— Бопре снова ухмыльнулся.— Вернее, лучше.

— Черт побери, меня это всегда занимало. Но ведь за это надо платить.

— Вообще да. Но она, конечно, сказала, что денег ей не нужно. Хотя во второй раз они уже просят вас купить одеколон, потом одеколон и чулки, а там — одеколон, чулки, лак для ногтей, духи, кофточку, сигареты для отца, молоко для младенцев сестры. Поэтому я дал ей деньги. Проще. Так у них нет на тебя никаких прав.

— Видно, рассчитывают прибрать к рукам и выскочить замуж!

— Замуж — нет, об этом они не мечтают. Разве что когда имеют дело с каким-нибудь молодым солдатом. Нет, они просто хотят, чтоб ты был при них, чтоб и подружки, которые работают в том же баре, могли попользоваться. Они ведь нежно любят друг друга. Как и американские девицы.

Некоторое время они шли молча. Бопре шагал немного впереди.

— Бьюсь об заклад, что со времени второй мировой войны вам не приходилось столько ходить пешком,— сказал Андерсон.

— Тогда мы ходили меньше. Мы и не знали, как тогда было хорошо, и не ценили своего счастья. Конечно, мы ходили, но по прямой. Боновые заграждения, пляжи Нормандии, а там — Париж и Берлин. Вот и все. Ни отступлений, ни обходов — только вперед. Компас и здравый смысл — вот все, что было нужно. Здесь же надо кружить, черт побери, а потом возвращаться на базу; на следующий день опять выходить, снова тащиться по кругу, снова возвращаться на базу, чтобы на следующий день опять идти, только в обратном направлении. С каждым днем круги становятся шире и бессмысленнее. Так и мотаешься изо дня в день то взад, то вперед. Во Франции было другое, там мы всегда знали, где находимся, какое расстояние прошли и сколько осталось идти. А в этой проклятой стране... черт побери, да если бы я знал, сколько я тут прошел, то, наверно, умер бы от разрыва сердца. Уж конечно не меньше, чем от Нормандии до Берлина и обратно.

Бопре помолчал, а потом сказал с нежностью, будто только сейчас это понял (и действительно в свое время он этого не замечал):

— И как прекрасно пахла Франция!

Глава четвертая

В одиннадцать тридцать отряд в беспорядке шел по берегу канала — настала одна из тех спокойных минут, когда прежние страхи забылись и, одурманенные жарой и однообразием, солдаты словно впадали в забытье. И тут их обстреляли. Слева, с противоположного берега канала, раздались один за другим три выстрела — стреляли, по-видимому, с небольшого расстояния. Пули шлепнулись недалеко от центра колонны, рядом с тем местом, где шел Андерсон. Он повернулся в ту сторону, откуда стреляли, и быстро скомандовал по-вьетнамски: троим велел идти с ним, а четвертого послал в хвост колонны сообщить Тыонгу о своем решении и предупредить, чтобы тот не посылал никаких подкреплений, если не завяжется серьезный бой, а в таком случае он услышит стрельбу из автоматического оружия, так как его, Андерсона, группа автоматов с собой не берет.

Андерсон чувствовал, что это не засада. Засада выдает себя залпом из автоматов, а несколько выстрелов из обыкновенной винтовки — это только бессмысленное предупреждение противника, обесценивающее всю операцию. Эти же три выстрела подряд, по мнению Андерсона, означали, что стрелял один человек, который хотел создать впечатление, что он не один. Впрочем, черт побери, думал он, разве тут угадаешь? Стараешься рассуждать, как они, и попадаешь в беду: ждешь хитрости, а они выбирают простейший маневр; ждешь простейшего маневра, а они выбирают хитрость.

Андерсон подошел со своей группой к берегу канала, и еще две пули шлепнулись рядом. Он поставил одного вьетнамца выше по каналу, другого — ниже, а третьему приказал стоять на месте. Они должны были прикрывать его, пока он будет переходить канал, и ждать, пока он не доберется до противоположного берега. Он не хотел, чтобы они все четверо увязли в жидкой грязи, если обнаружится, что у противника все-таки есть автоматы. Солдаты кивнули. Он спросил по-вьетнамски, понимают ли они его, и велел одному из них повторить приказ. К его удивлению, вьетнамец повторил все правильно.

— Лейтенант поплывет? — спросил вьетнамец.

— Лейтенант думает, что поплывет,— ответил Андерсон.— А вы плавать умеете?

Солдат ответил:

— Там видно будет.

Андерсон подождал, пока снайпер даст третью очередь, и, когда пули упали еще ближе, быстро шагнул в воду и сразу погрузился выше пояса. Он осторожно двинулся вперед, вглядываясь в заросли и стараясь угадать, где прячется снайпер. Он все еще не мог сказать точно, откуда стреляли, хотя и установил примерное направление. Он был один в канале и шел медленно, с трудом преодолевая сопротивление воды и вытаскивая ноги из вязкой тины. Он знал, что представляет собой удобную мишень, и очень боялся; его движения были замедленными, как во сне. Он вспомнил, что им говорили на последнем инструктаже: «Вьетконговский пехотинец отличается упорством и скорее умрет, чем оставит позицию; он фанатически предан своей идеологии, потому что всю жизнь, с младенческого возраста, его подвергают идеологической обработке. Но он

плохо стреляет. Да, господа, стрелок он неважный. И снайперы у них обычно никуда не годятся, потому что стреляют без очков. У противника нет очков, потому что очки коммунистам не по карману. Наши врачи проверяли их и установили, что из-за плохого питания, из-за почти полного отсутствия в их диете мяса и белков зрение у них обычно слабое. А очков им не дают — вот почему они стреляют хуже нас. Они храбры, господа, но близоруки. Помните об этом».

Андерсон помнил об этом и надеялся, что это правда.

На противоположном берегу он видел только кусты и деревья. Помни, сказал он себе, что враг может сидеть на дереве,— как опять-таки предупреждали на инструктаже: «Вьетконговцы часто занимают позиции на верхушках деревьев, как это делали японцы, а потому ищите их там. Запомните, что я вам говорил,— это может спасти вам жизнь. Вот вы идете по джунглям, потные и грязные. Вдруг раздается выстрел, и, поскольку ваши толстые лапы ступают по земле, вы воображаете, будто и снайпер стоит на земле. Но вы ошибаетесь: он сидит в третьем ярусе, снимает мерку с вашей головы, считает ваших солдат и готовится попортить вам головной убор. Вьетконговцы любят джунгли, а что такое джунгли? Деревья. Множество деревьев. Помните об этом, господа, и ищите их на деревьях».

Андерсон ушел с этого инструктажа, чувствуя, что все вьетконговцы сидят на деревьях; и даже теперь он смотрел больше на деревья, чем на землю.

Вьетнамцы у него за спиной открыли огонь, но снайпер молчал. Андерсон добрался до середины канала, где глубина была наибольшей — над водой виднелись только его голова, часть шеи и вытянутые руки с винтовкой. Наконец он добрался до противоположного берега. Он махнул вьетнамцам, чтобы они перестали стрелять, и, не выпуская винтовки (он боялся положить ее на берег, опасаясь, как бы кто-нибудь не выскочил из-за кустов и не схватил ее), ползком вскарабкался по откосу, но снайпер по-прежнему молчал. Охваченный страхом, Андерсон проскочил первый ряд кустов, так как не знал, что́ там может оказаться (Ролстон однажды вот так же прошел сквозь кусты и увидел прямо перед собой вьетконговца; растерявшись от неожиданности, они молча смотрели друг на друга, а потом вьетконговец вдруг повернулся и побежал — правда, Бопре потом утверждал, что побежал-то Ролстон, а вьетконговец сплоховал, дал ему уйти и, испугавшись, наврал своему начальству, так что теперь Ролстон во вьетконговских списках числится убитым в бою и потому может ничего не опасаться — убивать его вторично вьетконговцы не посмеют).

Андерсон углубился в заросли и, выбрав удобную позицию, расстрелял обойму — несколько пуль он послал влево, несколько прямо и несколько вправо от себя, а последнюю — в древесную крону, как дань уважения своим инструкторам из Форта Бэннинга. Все было по-прежнему тихо — он перезарядил винтовку и пошел дальше. Впереди просвистели две пули, на этот раз с более дальнего расстояния (или, может, ему так показалось). Значит, враг не ушел, и Андерсон снова двинулся вперед: чувства подсказывали ему, что снайпер должен находиться где-то чуть правее. Он был один — солдаты остались на противоположном берегу канала. Здесь пользы от них не было никакой, потому что они пошли бы прямо за ним и подняли бы шум, не говоря уж о том, что он мог бы получить пулю в спину — обычная опасность при продвижении гуськом. И тем не менее он чувствовал себя страшно одиноким — ведь он находился в *их* джунглях, они, возможно, видят его, наблюдают за ним, замечают то, чего он заметить не может. Да и кто знает — один там снайпер или их несколько? Он сделал еще несколько шагов — двигался он медленно: и потому, что боялся, и потому, что кустарник был очень

густой. Если бы он шел по часовому циферблату и в том месте на берегу канала, где он углубился в джунгли, стояла бы цифра «шесть», то теперь он приближался бы к цифре «один». Он шел, стреляя непрерывно. Время от времени он внезапно начинал стрелять в другую сторону. Вдруг где-то совсем рядом просвистела пуля. Стрелявший был теперь ближе, только уже не справа, а слева, примерно на цифре «одиннадцать». Возбужденный, испуганный, Андерсон быстро пошел туда. Ветки царапали ему лицо и руки, но прикрыть лицо он не мог, так как руки были заняты винтовкой. Он расстрелял еще одну обойму: два выстрела подряд, три выстрела подряд и три через равные интервалы — настоящая музыкальная гамма.

Ответных выстрелов не раздалось, и он торопливо зашагал по джунглям, смыкавшимся и вокруг него и вокруг его противника. Потом последовал ответ — двойной посвист, два выстрела,— только у вьетконговца он прозвучал глуше, чем у него, но тут Андерсон рассердился, потому что на этот раз звук донесся справа, от цифры «один», где он только что был. Он тихо выругался и бросился вправо, сознавая, что делает глупость, что нарушает все правила, которым его обучали, что лезет в ловушку и дает им возможность взять в плен американского офицера. А в Бэннинге их специально предупреждали, чтобы они ни в коем случае не попадали в плен; нельзя давать вьетконговцам такое психологическое преимущество, чтобы они могли водить тебя, пленного, по деревням.

И все же он продолжал идти, злясь и недоумевая. Вьетконговец явно смеялся над ним, играл с ним в кошки-мышки. А так на войне себя не ведут, война — это не игра, и нечего устраивать глупые шутки с помощью винтовки. Он расстрелял еще одну обойму в сторону цифры «один» и пошел туда. Но там никого не оказалось. Вдруг он услышал выстрел, на этот раз слева, со стороны цифры «десять». Он свернул немного влево, но стрелять не стал. Только несколько минут спустя вьетконговец понял, что Андерсон не собирается стрелять, и выстрелил сам, на этот раз со стороны цифры «восемь», зайдя ему в тыл. Но в ту сторону Андерсон стрелять не мог — там были свои. Он долго выжидал, потом бросился к цифре «шесть», готовясь стрелять в упор. Но ничего не произошло.

Потом пуля вдруг просвистела со стороны цифры «одиннадцать». Андерсон резко повернулся, выстрелил и крикнул:

— А ну, выходи, чертов ублюдок! Выходи же, ну! Я здесь!

Он подождал, но ничего не произошло. Ему показалось, что кто-то хихикнул. Он выкрикнул те же слова по-вьетнамски, но это выглядело глупо. Смех прекратился. И никто не стрелял. Он взглянул на часы: с тех пор как он перешел канал, прошло десять минут. Он выждал еще две минуты, но все было тихо. Вне себя от злости он вернулся на берег канала и собрал своих солдат. Один из них сказал:

— Иногда вьетконговцы выкидывают такие штуки. Не принимайте близко к сердцу. Просто они развлекаются.

Андерсон угрюмо кивнул, и друг за другом они перешли канал. Андерсон был гораздо выше вьетнамцев, тем не менее голова его, так же как и их головы, едва возвышалась над водой. Это его удивило.

— Пиявкам в канале война идет на пользу,— сказал вьетнамец.— Сегодня они нажрутся до отвала.

Андерсон опять кивнул и вышел на тропу. Хорошо хоть то, что теперь они пойдут быстрее, догоняя отряд.

Андерсон догнал отряд скорее, чем предполагал. Солдаты столпились вокруг очень маленького вьетнамца. Он стоял с поднятыми руками, прислонившись спиной к дереву. Перед ним стоял Данг, выше его на голову, а позади Данга — Бопре, выше капитана на полторы головы.

«Они становятся все меньше и меньше»,— подумал Андерсон. Он услышал, как Данг сказал:

— Убийца! Мы поймали убийцу. Вьетконговская собака. Собака!

— Наверно, один из них,— сказал Бопре.— Весит не больше пятидесяти фунтов. Наши все весят больше.

Допрос вел Данг.

— Коммунист-вьетконговец. Готовил против нас засаду,— сообщил он Андерсону.

— Он подразумевает ту небольшую разведку, которую вы сейчас произвели,— шепнул Бопре.

— Продолжайте допрос взятого в плен коммуниста-вьетконговца,— приказал Данг Тыонгу.— Я окажу вам помощь в случае необходимости.

Допрашиваемый сказал, что его зовут Хун Ван Трунг.

— Конечно, его так и зовут,— сказал Бопре Андерсону.— У них у всех такие имена: Хун Ван Трунг, Трунг Ван Хун или Хун Ван Хун.

Пленный сказал, что ему пятьдесят восемь лет.

— Вероятно, коммунист солгал насчет своего возраста,— заявил Данг.— Эти люди по всякому поводу лгут.

Пленный сказал, что у него есть буйвол. Андерсон перевел эти слова Бопре. Тот сказал:

— Настоящий богач. Обычно к тому времени, когда они попадают к нам в руки, у них не остается и курицы.

Пленный сказал, что он живет в деревне Ап Суан Тхонг.

— Он коммунист? Спросите, коммунист он? — кричал Данг.

Пленный что-то бессвязно забормотал — казалось, он поет или читает молитвы.

— Скажите ему, что нас интересуют его отношения с Хо Ши Мином, а не с Буддой,— сказал Данг.

Капрал ударил пленного по лицу. Тот стал уверять, что он верен правительству и одно время даже служил агентом.

— Слишком костлявые у него ноги,— сказал Бопре Андерсону.— Не может он быть нашим.

Пленный сообщил далее, что ему, наоборот, грозит опасность от местных коммунистов и их главаря Тхуана Хан Тхуана («Не может быть, чтобы вьетконговский главарь носил то же имя, что и наш человек!» — заметил Бопре). Они заподозрили его в сотрудничестве с правительством и увели прошлой ночью его жену. Назвав главного коммуниста по имени, пленный умолк, словно считая, что других подтверждений от него не потребуют.

Данг потребовал у пленного удостоверение личности, а когда удостоверения у того не оказалось, ударил его по лицу. Пленный сказал, что документ у него отобрали коммунисты. Его опять ударили. А сколько у него детей? Он ответил, что у него было трое сыновей и еще дочери, но сколько, он точно не помнит. Один сын умер от болезни. Его спросили: от какой болезни? От желтой болезни. Все закивали головами: «Желтая болезнь! Ну, еще бы — желтая болезнь»,— хотя позднее выяснилось, что они не знают, какая именно это болезнь.

— Желтая болезнь? — переспросил Бопре, когда ему перевели.— В этой проклятой стране все ею болеют. Разве от нее умирают?

Два оставшихся сына служат в правительственных войсках — один, кажется, погиб, а другой, кажется, жив.

— В каких частях? — устало спросил Тыонг. Пленный ответил, что не знает, но уверен, что сыновья воевали против Вьетмина.

— Не Вьетмина, а Вьетконга,— сказал Данг.— Объясните ему.

Капрал снова ударил пленного по лицу.

— Теперь расскажи, как все произошло,— потребовал Тыонг.— Только постарайся быть честным. Докажи, что сердце у тебя чистое.

Пленный кивнул и начал рассказывать. Он в этот день долго работал и рано лег спать. Начался сезон дождей, и многое предстояло сделать, тем более что в прошлом году была засуха.

— Спросите, что он ел на завтрак,— сказал Бопре Андерсону.— Валяйте, спросите: так оно скорее пойдет.

Тыонг перебил пленного и велел ему говорить быстрее, если он хочет остаться в живых. Ну, вот: он лег спать рано, и тут его позвал Тхуан Ван Тхуан.

— Он твой сосед? — спросил Тыонг.

— Нет, он живет через три дома.

— Черт возьми,— заметил Бопре.— Пленный же сказал, что он сразу понял, какие ему грозят неприятности.

— Зачем он пошел? — спросил Данг.— Знал о приходе своих друзей-коммунистов? Знал, что идут эти собаки?

— Нет,— ответил пленный.— Просто Тхуан говорил громко и сердито...— Пленный запнулся, словно хотел сказать «как капитан», но удержался. Потом он сказал, что обычно-то Тхуан разговаривает тихим, просительным голосом, но он все равно не доверяет ему. Тхуан, например, говорил, что у него есть электрическая коробка — единственная в деревне, — с помощью которой он будто бы принимает специальные сообщения из Сайгона, Парижа и Ханоя, но пленный уверен, что это — не настоящая электрическая коробка. Тхуан держался надменно и потребовал, чтобы все шли на собрание. Он потребовал, чтобы и его жена шла на собрание, и это его расстроило, потому что жена болела. Она кашляла и только-только заснула. Но Тхуан не послушал. Он заставил их пойти на площадь — там были зажжены фонари, и там стояло человек двенадцать посторонних — все мужчины. Он сразу понял, что это солдаты.

— У них было оружие? — спросил Тыонг.

— Оружия я не видел, но знал, что оно есть.

— Откуда он знал? — спросил Данг.— Потому что он один из них?

— Потому что я видел, как они себя ведут,— ответил пленный.— Те, у кого есть оружие, ведут себя не так, как те, у кого его нет.

Пленный, видимо, удивился, что они не понимают разницы, и спросил Тыонга:

— Вам никогда не приходилось разговаривать с человеком, когда у него было оружие, а у вас его не было?

— Дельный вопрос,— заметил Бопре.— Сукин сын говорит правду.

Пленный замолчал, словно ожидая очередного удара, потом сказал, что эти люди говорили о политике и о том, что назавтра в деревню придут длинноносые (при этом он смущенно посмотрел на Андерсона и Бопре) и постараются всех перебить. Потом они угощали чаем. Сам он выпил две чашки. Он хотел сначала выпить только одну, но побоялся обидеть Вьетмин.

— Вьетконг,— поправил Данг, на этот раз не так сердито.

Некоторые же выпили по три чашки.

— Посмотрим, сколько чашек он выпьет у нас,— сказал Бопре, выслушав перевод Андерсона.

На следующий день ему велели идти из деревни на север, потому что американцы подходили с юга, востока и запада, но он не послушался и пошел на юг. Тыонг спросил, где его жена. Коммунисты взяли ее с собой как носильщицу и заложницу. Тыонг продолжал расспрашивать его о противнике, а Бопре отвел Андерсона в сторону и велел связаться по радио со штабом и передать полученную информацию. Он не доверял вьетнамцам; если полагаться только на них, то сведения попадут в КП не раньше следующего дня.

— Он ведь сказал правду? — спросил Андерсон.

Бопре помолчал.

— Да, правду,— ответил он наконец.— И это самое скверное. Я бы предпочел, чтобы он, как и все до него, никогда не видел вьетконговцев и ничего не слыхал о войне.— Он прошелся взад и вперед.— Молот и наковальня. Мы с вами между молотом и наковальней.

У него было сухо во рту и хотелось пить. Он немного нервничал. С самого начала он относился к этой операции иронически и окончательно перестал испытывать страх, едва выяснилось, что с вертолетами посылают не его, а Большого Уильяма. Но теперь страх вернулся. Он вдруг осознал, что уже не молод, осознал бессмысленность этой войны — бессмысленность не убийства, а бесконечных, изо дня в день повторяющихся походов и возвращений в Мито с гнетущим сознанием, что опять он ничего не сделал, ничего не увидел, ничего не достиг, ничего не изменил и только рисковал жизнью ради ничтожных результатов, гадая, не продали ли тебя уже, не зная, кому доверять. Во время второй мировой войны Бопре не испытывал такого недоверия к людям. Он воевал в пехотном полку, бок о бок с самыми разными людьми — среди них были солдаты хорошие и плохие, храбрые и трусливые, любившие войну и ненавидевшие ее, но как бы там ни было — недоверия к ним он не испытывал. Тогда было проще, даже когда они воевали в Германии, где ненавидели всех; зато, когда они вступали в деревню, их не обнимали и не целовали для того, чтобы заманить в засаду, обмануть или предать. Недоверие родилось в Корее, когда война вдруг перестала быть просто сражениями и смертью и превратилась в постоянную неизвестность: куда ты идешь, чья разведка это устроила, кто платит агенту и на кого еще он работает? Когда же он наконец встречал человека, то начинал вглядываться ему в лицо, подчас ища слишком многого, и видел то, чего не было, и искал того, чего быть не могло, а возможно, никогда и не существовало. «Не ждите от наших корейских агентов голубых глаз, русых волос и дружеских улыбок,— сказали ему.— Ничего этого вы не увидите. Они не похожи на морских пехотинцев, а похожи на корейцев, потому что они и есть корейцы. И пусть вас не тревожит, кто они и как выглядят. Это уж наша забота. Ваше же дело — не держать в карманах мелочи, потому что в холодные зимние ночи она позвякивает слишком громко, полагаться на компас и на свой здравый смысл. Мы не требуем, чтобы вы испытывали к корейцам симпатию. В ваши обязанности это не входит».

Но по сравнению с Вьетнамом Корея казалась очень простой. Здесь все начиналось с недоверия, и все уже казалось сомнительным, даже то, что ты как будто знал твердо. Даже американцы представлялись Бопре не такими, как раньше, он и им перестал вполне доверять: чтобы уцелеть в этом новом мире и в этой новой армии, они должны были измениться. «Да» было уже не совсем «да», «нет» было уже не совсем «нет», а «может быть» стало вдвойне «может быть».

— Возможно, нас продали или продают,— сказал он Андерсону и неожиданно добавил с заботливостью, которая редко звучала в его голосе (и в этот день и во все предыдущие): — А вы поберегите себя, слышите?

То, что Тыонг узнал от пленного, несло на себе страшную печать истины, и это ему не понравилось. Эта операция не нравилась ему с самого начала — он никогда не разделял мнения штаба об этом районе. В штабе этот район называли синим (американцы, по его наблюдениям, питали к военным картам даже большее пристрастие, чем французы, и учили вьетнамцев делить районы на красные, белые и синие; они любили менять цвета, перекрашивать красное в белое и белое в синее, вты-

кать красные булавки в белые кружки и синие — в красные), синий цвет должен был обозначать безопасность, но Тыонгу этот район не нравился. До этого он не часто здесь бывал и готов был принять мнение штаба относительно его надежности, но стоило ему оказаться там, и он начинал чувствовать, что район этот не такой, каким кажется на первый взгляд, и куда враждебнее, чем утверждает начальство. Он подозревал, что этот район — коммунистический, но партизаны тут воздерживаются от открытых действий и сохраняют видимость мирной обстановки, оберегая свои коммуникации. Тыонг помнил, что в этом районе Сайгону удалось завербовать очень мало солдат, причем процент дезертиров среди них оказался выше, чем можно было ожидать.

Тыонг шел рядом с пленным почти в конце колонны.

— По-моему, ты говорил нам правду,— сказал он. Пленный молчал, не поднимая головы.— Возможно, к концу дня тебя отпустят на свободу.

— Возможно, к концу дня мы все будем лежать убитые,— с некоторой горечью сказал пленный.

— Хочешь, я дам тебе воды из моей фляги? — спросил Тыонг.

От воды пленный отказался, но спросил, не окажет ли ему Тыонг одну услугу, раз поверил его показаниям. Тыонг ответил, что постарается, если только это можно будет сделать.

— Свяжите мне руки,— попросил пленный.— Ведь если они увидят, что я иду с вами...

— Понимаю,— сказал Тыонг и приказал связать ему руки. Он подумал: «Пусть бы американцы спросили у этого крестьянина, синий, по его мнению, этот район или красный? Может быть, они втолковали бы ему, что здесь безопасно ходить несвязанным, потому что это синий район».

— Вы не из этих мест, верно? — спросил пленный.

— Верно,— ответил Тыонг.— Я с Севера.

— Я вижу, но вы не такой, как другие северяне. Вы добрее.

— Только потому, что ты честнее других южан.

Этот человек внушал доверие, хотя вообще Тыонг южанам не доверял. Он считал их нечестными, ленивыми, слишком уж готовыми говорить именно то, что хотел бы услышать от них собеседник, работу они предпочитали предоставлять женщинам (и словно гордились этим, думал он,— ведь лучшим мужчиной считается у них тот, чья жена работает больше всех). Северян он считал более честными, хотя, приехав на Юг, они, как и он сам, быстро становились не особенно честными. Но что поделаешь: чтобы выжить, приходится приспосабливаться.

Тыонгу шел тридцать второй год, хотя иностранцам он, подобно большинству вьетнамцев, казался моложе своих лет. У него была стройная фигура и открытое, почти наивное лицо. Он прослужил в правительственных войсках восемь лет (сначала кандидатом в офицеры, потом лейтенантом) — срок, достаточный для того, чтобы перестать быть наивным. Тот факт, что он не продвинулся по службе, отнюдь не свидетельствовал об отсутствии у него способностей. Те немногие его командиры, которые брали на себя труд полистать его личное дело (где, кстати, больше документов отсутствовало, чем имелось в наличии), удивлялись его способностям, тому, сколько он, оказывается, сделал. Но, удивившись, они не испытывали никакого желания представить его к повышению. Наоборот, чем старше он становился и чем больше накапливалось в его деле хвалебных отзывов (в том числе и отзывов американцев, что было опасно), тем хуже было для него: он превратился в способного человека, не сделавшего карьеру. Значит, должна быть какая-то причина, какие-то секретные сведения о его политической неблагонадежности. В частности, начальство весьма смущали взгляды отца Тыон-

га на религию: живя на Севере и будучи связан с иностранцами, он отказывался принять их веру — он работал у иностранцев, брал от них жалованье, выполнял их распоряжения, но их веру принять не захотел. В то время такое поведение казалось необычным. Многие вьетнамцы одевались как французы, ели как французы и разговаривали как французы. Отец Тыонга называл таких людей «вьетнамскими усачами», потому что они, следуя французской моде, отращивали усы. Однажды Тыонг осторожно спросил отца, почему он не принял религию французов, и тот ответил, что берет их деньги за свой труд, а не за свою душу. Тем не менее он был тесно связан с иностранцами и, когда началась война с Францией, продолжал работать у них. Тут сыграли роль не только случайные обстоятельства, но и сознательное решение: он не особенно любил французов, однако считал, что раз все их покидают, то ему не пристало делать то же самое,— одной из причин его неприязни к французам было их презрение к вьетнамцам и откровенное убеждение, что все вьетнамцы трусы, и уйти в такой момент, по его мнению, значило бы подтвердить самое худшее, что говорили французы о его народе. Когда же иностранцы из-за своей глупости, которой отец Тыонга предвидеть не мог, проиграли войну, тем самым доказав, что вьетнамцы далеко не трусы, отцу Тыонга уже нечего было доказывать; семья решила перебраться на Юг и отправилась туда небольшими группами, чтобы не попасть в руки Вьетмина.

Путь на Юг был труден с самого начала, и бабушка Тыонга, которую ему поручили сопровождать, едва не умерла от истощения. (Впоследствии Тыонг помнил только, как он искал для нее воду, как отдавал ей всю свою воду, и еще он помнил страшную жажду, которая томила его изо дня в день. Поэтому мысль о разделе страны всегда ассоциировалась у него с ощущением жажды.) Когда они наконец оказались на Юге, выяснилось, что буддистов туда бежало немного и их всех поместили в лагерь для беженцев-католиков. В этом лагере семья Тыонга разделяла с католиками все трудности их положения нежеланных иммигрантов, но не разделяла с ними ни их веры, ни покровительства, которым они пользовались.

Благодаря связям отца Тыонгу удалось поступить в военное училище, после того как он полгода дожидался своей очереди. В училище Тыонг быстро понял, что он — северянин на Юге и буддист среди католиков, а потому всегда будет кому-то внушать недоверие и антипатию. Южане не доверяли ему потому, что он северянин, а католики — потому, что он буддист. В стране, лишенной идеалов и погрязшей в цинизме и погоне за личным благом, он не мог не внушать подозрений и, следовательно, оставался лейтенантом. Ему не доверяли, и он в свою очередь стал недоверчив и скептичен. С таким же фатализмом он принял все последствия того, что был сыном своего отца — главным образом потому, что другого выбора у него не было, но зато в известной степени это давало ему возможность чувствовать себя независимым. Он мирился с их порядками, но пытался остаться самим собой. Он завидовал коммунистам — их вере в себя, их идеалам, их уверенности в будущем, даже их жестокости; завидовал католикам — их вере, их солидарности; завидовал американцам — их энергии и идеализму; завидовал отцу — его душевной мягкости и неистребимой наивности (время от времени отец смущенно и растерянно его спрашивал, действительно ли ему необходимо быть военным — нельзя ли ему найти другое занятие. Конечно, отец знал, что военным хорошо платят...) Тыонг не верил в дело, которому служил, и подозревал, что война, вероятно, будет проиграна.

Нет, он не хотел переходить на сторону противника (хотя это было очень просто — стоило лишь во время операции отойти немного от своих) и не считал, что противник более прав: коммунисты ведь убили

его дядю, точно так же, как французы убили его двоюродного брата, по глупости стерев с лица земли деревню (до этого лояльную по отношению к ним), чего и добивался Вьетмин. Вьетминовцы были не менее жестоки, чем французы, и отличались от последних лишь тем, что не терпели коррупции. Впрочем, Тыонг полагал, что десять лет у власти должны были бы и у Вьетмина развить вкус к коррупции (в зависимости от степени успеха, которого добился бы их режим, думал Тыонг, чтобы стать продажным, режим должен добиться определенного успеха; если же успех не приходит, то и режим остается неподкупным). От перехода на сторону противника Тыонга удерживала не мысль о том, что все эти годы он воевал против них и убил много их солдат (в отличие от его начальства они вели учет образцово и сразу узнали бы, кто он и кого убил); не боялся он и лишиться относительного комфорта Мито — содовой воды и охлажденного пива. Просто он знал, что слишком скептичен и не способен разделить энтузиазма коммунистов и их преданности своему делу. Обрести веру во Вьетнаме, думал он, можно только в раннем детстве, а сохранить ее способен только тот, кому очень повезет.

А поэтому он старался, как мог, лучше выполнять свои обязанности. Андерсону, молодому американцу, он сказал, что ему двадцать пять лет, потому что не хотел ставить его в неловкое положение. Андерсон очень удивился: он думал, что Тыонг гораздо моложе. В какой-то мере Тыонг даже гордился тем, что он делал, но еще больше — тем, чего не делал: не выслуживался, не лебезил перед своим непосредственным начальником и не требовал длительного артиллерийского обстрела, перед тем как начать наступление на какую-нибудь деревню. Однако решающим мотивом его жизни был фатализм. В свое время его отец делал эти роковые ошибки, вдруг в самый неподходящий момент цепляясь за ложную принципиальность (ложную потому, думал Тыонг, что и его отец и он сам на протяжении жизни шли на многие другие унизительные компромиссы и примирялись со многими другими обманами). А теперь и он упрямо и безрассудно уходил все дальше по той же безлюдной дороге. Он мог, например, сменить веру — другие же сменили. Ему тоже предлагали перейти в католичество. В академии с ним училось немало новоиспеченных католиков, и некоторые из них были теперь капитанами, а один — даже майором. Но для него сменить веру значило бы сдаться — он восхищался католиками на Севере, где они составляли меньшинство, но, перебравшись на Юг, они стали другими То, что прежде казалось ему спокойным мужеством, здесь превратилось в надменность, и, конечно, надменнее всех были новообращенные.

И он продолжал идти своей дорогой — не дезертировал, потому что это навлекло бы неприятности на его родителей (а также и потому, что для него все равно ничего не изменилось бы), а в результате стал очень старым лейтенантом В настоящее время особой наградой за фатализм являлся капитан Данг. Капитан был на год моложе Тыонга, в армии служил меньше и скоро, по его собственным словам, должен был стать майором. У него были влиятельные родственники в Сайгоне, и он никогда об этом не забывал — постоянно уезжал в Сайгон и потом рассказывал о банкетах и званых вечерах, на которых присутствовал. Он часто хвалил Тыонга (хвалил в глаза, давая понять, что делал то же самое и в присутствии власть имущих) и говорил, что хлопочет о его повышении, хотя Тыонг был совершенно уверен, что если его и повысят когда-нибудь в чине, то лишь вопреки Дангу. Данг не помнил фамилии ни одного из своих солдат чином ниже капрала и сообщал заведомо неверные сведения о личном составе, систематически завышая фактические данные и скрывая цифры потерь (это было выгодно ему по двум причинам: он избегал таким образом выговоров за потери в живой силе и получал за убитых их жалованье. Таким образом, если по его данным роте не хва-

тало десяти человек, то фактически не хватало двадцати—двадцати пяти и соответственно увеличивалась нагрузка на остальных). Тыонг частично поправил положение тем, что взял у друга из соседней роты лишний ручной пулемет — они сначала потеряли этот пулемет, но потом, после длительного боя с вьетконговским батальоном, отбили его. Поскольку официально пулемет считался потерянным, то после возвращения он не попал в инвентарный список, а друг был в большом долгу перед Тыонгом, который в свое время одолжил им троих солдат перед ответственной инспекцией. Тыонг старался, насколько это было возможно, не замечать проделок Данга. Данг вполне его устраивал, так как полностью отвечал его представлению об офицерах и о порядках, царивших в армии, а это помогало ему с большей легкостью переносить то, что его никак не повышали в чине. Обида была бы острее, если бы Данг оказался настоящим солдатом. Но вот уже два с половиной года он презирал Данга после одного случая. Это произошло незадолго до появления в стране американских вертолетов, обеспечивавших теперь молниеносную доставку подкреплений,— тогда еще приходилось преодолевать чувство жуткой оторванности от всего мира: тебя ранило, но ты оставался один драться и умирать. В тот день их отряд попал в засаду и выдержал короткий, однако жестокий бой. Тыонг, как и все остальные, в первые секунды был парализован страхом, он не сомневался, что живым отсюда не уйдет; и вот тогда-то он увидел то, чего не мог ни простить, ни забыть (это, как ему казалось тогда, было последним, что он увидел перед смертью): Данг срывал со своих погон звездочки. Если ты хочешь носить звездочки в фешенебельных сайгонских салонах, думал Тыонг, то носи их и в лесах У Минь.

Глава пятая

«Дело не только в жаре,— думал Бопре, уже еле передвигая ноги.— Тут и жара и скука вместе». Скука была частью жары. Бопре совсем отупел от жары, у него кружилась голова, и он понимал, что проигрывает свою войну, которую ведет в одиночку. Он наблюдал за остальными: Андерсон пил, но его фляга, судя по наклону, была еще почти полна. Вьетнамский лейтенант Тыонг и вовсе не пил — Бопре даже не был уверен, что у него есть фляга. Наверно, есть, хотя он ни разу не видел, чтобы вьетнамец пил из нее. У Данга под мышками очень маленькие пятна, а часто их и вовсе не бывает — подходящий напарник, возможно, потому его и выбрали. Бопре старался выбросить из головы мысли о жаре, но они упорно возвращались. И в этом была вторая страшная особенность этой войны — восемь часов в походе (если повезет), а то и все четырнадцать (если не повезет) — и их нельзя скоротать разговорами. Можно, конечно, перекинуться несколькими словами с Дангом — до сотни слов: да, капитан Данг, нет, капитан Данг, прекрасно, капитан Данг; пожалуйста, капитан Данг; очень хорошо, капитан Данг, американцы полагают; вьетнамцы хотят; вы; мы; благодарю вас, капитан. Ну, максимум двести слов. Андерсон — да, с Андерсоном можно поговорить, но не восемь же часов кряду. Хорошо, если наберется минут тридцать. А больше нельзя — приказ по дивизии. Полковнику это не нравится: вы, друзья, ходите на операции не для того, чтобы интервьюировать друг друга и выяснять, откуда родом ваши жены,— вы здесь не для того, чтобы разговаривать с американцами, а для того, чтобы разговаривать с вьетнамцами. Конечно, полковник абсолютно прав. Там он, наверно, разговаривает с Ко в общем десять минут в день: да, полковник Ко; нет, полковник Ко; вы; мы; вьетнамцы полагают; американцы считают; Сайгон; Вашингтон; хорошо; плохо.

У Бопре кружилась голова.

Неожиданно отряд вышел на поляну, и вьетнамцы без объявления, без приказа, повинуясь лишь какому-то неуловимому знаку, вдруг сделали привал (Бопре не слышал никакой команды — он никогда не знал заранее, что будет привал, не знал, объявляют ли его вьетнамские офицеры или солдаты сами решают, когда хотят, а офицеры уже потом отдают приказ). Обычно Бопре ненавидел эти бесконечные привалы; он никак не мог приспособить свой ритм к ритму отряда: если он хотел идти, солдаты останавливались, если он хотел остановиться, они продолжали идти, да еще ускоренным маршем и даже бегом, и при этом смеялись и шумели. Но на этот раз он обрадовался: жара его совсем доконала, в голове мутилось, и он со страхом ждал, что его вот-вот стошнит. Его форма насквозь промокла, лицо, походившее на красную маску, лоснилось от пота, смешанного с пылью и грязью, и щетина на жарких тропиках его щек, казалось, росла с неимоверной быстротой, точно растение джунглей. Он выбрал самое прохладное, как ему казалось, место под деревом, ближе к воде, и достал флягу. Воды, теплой от горячей фляги, осталось совсем немного. Он допил остатки и слизнул с губ капли пота.

Подошел Андерсон, сел рядом и попросил сигарету.

— Вы же не курите. Что случилось? Обстановка вынуждает?

— Нет,— ответил Андерсон.— Пиявки. Слишком много каналов пришлось сегодня облазить. Особенно тот большой, последний. Теперь они обедают. На мне.

— Принимайте аварийный комплект системы Бопре в количестве одной сигареты,— сказал Бопре и достал из нагрудного кармана странный пакетик. Это была металлическая коробочка, обтянутая добротным, старомодным американским презервативом. Бопре хранил свои сигареты в коробочке, чтобы они не мялись, а коробочку обтягивал тонкой резиной, чтобы уберечь их от сырости. Он говорил, что вполне может есть сандвичи, напитавшиеся водой рисовых полей — так они становятся только вкуснее, словно их смазали кетчупом,— но сырых сигарет не выносит. Другие офицеры сначала посмеивались над ним, но теперь уже многие пользовались таким же приспособлением, утверждая, что подобная упаковка не только предохраняет сигареты от сырости, но и обезвреживает от бактерий.

Андерсон раскурил сигарету и начал снимать штаны. Он принимал против пиявок отчаянные меры — эластичные трусы, вторые эластичные трусы; чулки до колен; еще чулки. Но ничто не помогало, и пиявки всегда оказывались победителями. Они были гениальны, они преодолевали все преграды, они достигали цели, устраивались поудобней и приступали к трапезе. Однажды Андерсон обнаружил пиявку у самого паха и едва не потерял сознание. Теперь он внимательно осматривал свои ноги, их внутреннюю поверхность — мягкое белое мясо, которое так им нравится. Сначала он ничего не обнаружил, но потом увидел их по одной на каждой ляжке, огромных, разбухших от его крови.

Бопре тоже их увидел.

— Вы были правы: они действительно обедают. Значит, вы научились их чувствовать. Пусть это послужит вам утешением.

— Вы только взгляните,— сказал Андерсон.— Какая гадость!

— Прекрасные экземпляры. Самые большие, каких только мне доводилось видеть в этой стране.

— Я их не выношу,— сказал Андерсон.

— А вы поставьте себя на их место,— посоветовал Бопре.— Как рекомендуют специалисты по психологической войне. Вы должны понять их точку зрения. Они воображают себя медицинскими пиявками. Они усвоили все, что про них пишут в их рекламах и в учебниках их истории.

прониклись этим духом и теперь воображают, будто они не кровопийцы, а спасители. И занимаются спасением жизней. Улучшают взаимоотношения с вами. Оказывают вам первую помощь и бросают на вас лучшие свои силы — выделяют самых больших пиявок. Могу подтвердить, что это самые крупные экземпляры в стране, известной маленькими человечками и большими пиявками. Вам просто повезло, а вы всего только лейтенант.

— Не выношу этой гадости,— сказал Андерсон, лихорадочно затянулся и поднес сигарету к одной из пиявок, точно миниатюрный паяльник.

— Ну, зачем же так! Лучше взгляните на это дело с другой стороны. Считайте, что вам оказана честь. Возьмите, к примеру, Большого Уильяма: пиявки для него — проблема, потому что его они не хотят трогать и не трогают. Прикоснуться к нему не желают, а ведь он капитан, и ростом выше вас, и крови у него, наверно, куда больше. Он говорил мне, что к нему ни разу не присосалась ни одна пиявка, и он уже подумывает, не обратиться ли ему с жалобой в отдел защиты гражданских прав или куда-нибудь повыше. Говорит, что тут попахивает расизмом. А вас, хотя вы всего лишь лейтенант, они вниманием не обходят — и вы еще хотите жаловаться.

Он поглядел, как Андерсон тычет сигаретой в пиявку.

— Ну, раз уж вы ничего не хотите слушать, так задайте ей! Вот сюда тычьте. Не отнимайте. Не бойтесь. Не давайте ей загипнотизировать вас взглядом. Не позволяйте разжалобить вас. Не отступайте. Сильнее, сильнее. Ну, вот, зашевелилась. Теперь жмите, она отступает! Задали же вы ей перцу. Молодцом!

Андерсон совсем побелел: он действительно ненавидел пиявок и испытывал невероятное физическое отвращение при виде того, как они висят на нем, пьют его кровь. Он уже свыкся со многими ужасами, которые видел здесь,— с мертвецами, чьи лица напоминали раздавленные дыни, с больными, покрытыми паршой детьми (хотя он плакал, когда впервые увидел их), с женщинами, до такой степени изможденными, что казалось, будто они умирают у него на глазах. Ко всему этому он привык, но даже при мысли о пиявках ему становилось дурно, и если бы он мог заставить себя, то с какой радостью попросил бы кого-нибудь другого снять с него пиявок, лишь бы не смотреть на них. Но это было бы слишком большим унижением.

— Должен сказать, вы ловко с ней справились,— сказал Бопре.— Ведь она глубоко впилась. Очень была уверена, что спасает вас. И впилась на совесть. Так что вам, пожалуй, останется шрам на память о ней. Как после хирургической операции.

— А вас они не трогают? — спросил Андерсон.

— Меня они боятся. Я для них ядовит. Некоторые пробовали было, но все поотравлялись. Они меня не выносят. А может, хотят мне что-то доказать. Ну-ка, дружище, берите еще сигарету для второй. Пиявки такого размера заслуживают по сигарете на брата!

Андерсон раскурил сигарету и начал действовать, но пиявка не пошевельнулась. Андерсон вновь и вновь прикладывал к пиявке тлеющий кончик сигареты, но пиявка оставалась неподвижной.

— Мне не хотелось бы вмешиваться,— сказал Бопре,— но вы начали не с того конца. Вы ей хвост прижигаете, а надо голову. Иначе она не уйдет.

Андерсон посмотрел на Бопре, не сомневаясь, что тот его разыгрывает.

— Как вы различаете голову и хвост? Ведь вообще неизвестно, есть ли у нее какие-нибудь концы. Не сочиняйте! — И он приложил сигарету к прежнему месту.

— Конечно, у них есть два конца. Как у всех. А если вы не можете разобрать, где голова, так просто попробуйте с другого конца. И увидите. Конечно, вы не обязаны прислушиваться к моим советам. Кровь-то не моя.

Андерсон еще раз попробовал с того же конца. Пиявка не шелохнулась. Тогда он прижал сигарету к другому концу. Пиявка задвигалась.

— Ну, вот видите. На этот раз вы прижгли нужный конец, как я и говорил.

Андерсон посмотрел на Бопре с недоумением, не зная, верить ли тому, что у пиявки действительно есть два конца.

— Однако эта вторая оказалась зловредней,— сказал Бопре.— Она набрала больше крови, чем пункт первой медицинской помощи.

Потом, словно разговаривая сам с собой, Бопре пробормотал:

— Черт, до чего паршиво я себя чувствую.

Он закрыл глаза, и у него отчаянно закружилась голова.

— Только уж здесь, в Ап Тхань Тхой, вы меня не подводите,— сказал Андерсон.

— Вот, оказывается, где мы. Ну, я мог бы и сам догадаться. Голова кружится.— Бопре открыл глаза.

— Если судить по населенности, на Ап Тхань Тхой непохоже. Но мы проверили, и оказалось верно. Запах тот самый.

— Это как раз и важно. Запах — это верная примета. Все остальное они могут изменить: переодеться, вывесить другое название, сломать полицейский участок, насадить больше цветов, но запаха они изменить не могут.

Деревня Ап Тхань Тхой была пропавшей деревней. Шесть недель назад они не нашли ее во время операции, и с тех пор она превратилась в легенду. Это была операция поиска и уничтожения противника, и их предупреждали, что местное население, возможно, настроено не очень дружелюбно — при существовавшей системе смягчений это означало: «крайне враждебно». Первый этап операции был завершен согласно графику без особого успеха и трудностей, после чего они двинулись к следующему объекту — к расположенной в четырех километрах оттуда деревне Ап Тхань Тхой, которая была известна как весьма недружелюбная. Они прошли четыре километра и не обнаружили никакой деревни. Прошли еще километра полтора — и снова ничего. Тут их вызвал по радио полковник и потребовал доложить, добрались ли они до Ап Тхань Тхоя, и если нет, то почему, черт побери. Несколько минут спустя он поинтересовался, почему они выбились из графика, и сказал, что это наносит ущерб престижу штаба и всей армии, а главное — ему самому в глазах азиатских союзников. Бопре, сказал он сухим официальным голосом, ставит его в глупое положение перед полковником Ко, а он не любит выглядеть дураком ни перед кем и тем более перед своим азиатским коллегой. Бопре ответил, что им тоже неловко и Дангу не менее неловко, чем ему самому.

«Мне нет дела до Данга! — сказал полковник.— Я ничего не хочу слышать о ваших трудностях, ваше дело — заставить этих чертовых вьетнамцев шевелиться. Вам платят не за то, чтобы вам было неловко, а за то, чтобы вы двигались».

Через десять минут, все еще не получив сообщения о том, что отряд вошел в деревню Ап Тхань Тхой (к этому времени Бопре убедил Данга послать во все стороны разведчиков и поискать Ап Тхань Тхой — Данг согласился удивительно легко, из чего можно было заключить, что Ко, в свою очередь, устроил ему нагоняй, так как, не обнаружив деревни, он осрамил своего начальника перед КП), полковник снова раздраженно закричал, чтобы они тотчас отыскали деревню, не то он прилетит туда на вертолете, устроит им теплую встречу, сделает за них все сам.

а потом увезет на этом же вертолете обветренную задницу Бопре и чистенькую задницу из Уэст-Пойнта — то есть задницу Андерсона, добавил полковник через секунду, от бешенства забыв было фамилию лейтенанта. Тут Бопре вышел из себя: «Моя обветренная задница,— сказал он,— отдыхает...», он сообщил полковнику свои координаты и потребовал, чтобы ему назвали предполагаемые координаты деревни Ап Тхань Тхой. Полковник назвал те же самые координаты. Тогда Бопре совсем уже рассердился, принес свои извинения полковнику и заявил, что они-то, сэр, находятся на вышеуказанном месте, а вот деревня — нет. Следовательно, во всем виновата деревня... «Эта ваша Ап Тхань Тхой»,— сказал он.

Полковник, судя по голосу, отнесся к словам Бопре сравнительно миролюбиво. Он повторил координаты, еще раз уточнил, где находится отряд, откуда он пришел и куда направляется, а затем опять спросил, где же в таком случае деревня? «Прошу прощения, сэр,— ответил Бопре,— но именно это хотели бы узнать находящиеся здесь двое американцев и сто пятьдесят вьетнамцев».

«На том берегу канала,— объявил полковник.— Именно на том берегу канала. На карте допущена ошибка».

«Прошу прощения, сэр,— сказал Бопре.— Ошибка действительно допущена, но деревни нет и на том берегу канала. Мы осматриваем его вот уже двадцать минут, но ее и там нет».

«Но она должна быть там! — настаивал полковник.— В донесениях даже сказано, что ее жители настроены враждебно. Раз они враждебно настроены, значит, деревня существует. Посмотрите вокруг себя, капитан Бопре. Что вы видите?»

«Вьетнамцев, сэр, много вьетнамцев, много деревьев и несколько кустов».

«А что делают солдаты, Бопре?»

«Солдаты садятся, сэр. Некоторые уже загрязняют канал, а кое-кто достает рис».

«Минутку,— сказал полковник.— Подождите минутку, Бопре. Не двигайтесь с места. Оставайтесь там, где находитесь. Считайте, что это Ап Тхань Тхой».

Полковник послал разведывательный самолет, который несколько минут кружил над районом, не обнаружив деревни и не вызвав на себя огня противника. Тогда полковник по радио сказал Бопре: «Зачеркните на своей карте Ап Тхань Тхой, Бопре, и забудьте об этом. К вам, капитан, никаких претензий нет».

Бопре поблагодарил (полковник ему нравился) и высказал мнение, что следовало бы составить новые карты, поскольку пока они пользуются картами двадцатилетней давности, которые не всегда точны.

Вечером полковник не упомянул о случившемся, однако, по-видимому, вся группа советников была уже прекрасно осведомлена об этом происшествии и чуть ли не за ночь название Ап Тхань Тхой стало дежурным словечком. Если кто-нибудь ехал в Сайгон, он говорил, что едет в Ап Тхань Тхой; если кто-нибудь из офицеров, гуляя с девушкой в Сайгоне, встречал приятеля, он говорил, что эта девушка из Ап Тхань Тхоя; если что-то не ладилось в походе и создавалась тяжелая обстановка, то говорили, что это случилось в Ап Тхань Тхое; если планировалась операция и кого-то интересовала политическая обстановка в заданном районе, то ему говорили, что обстановка там не хуже, чем в Ап Тхань Тхое.

— Милая наша Ап Тхань Тхой,— сказал Андерсон.— Недавно я написал жене, что был в отпуску в Ап Тхань Тхое и истратил сто долларов, потому что там очень дорогие гостиницы: пятнадцать долларов в

день за номер и десять — за питание и еще всякие дополнительные расходы, поскольку все там очень дорого, но перечислить их я просто не могу. Она в ответ прислала мне вот такое длинное письмо и сообщила, что это ничего, что она понимает, какие это дополнительные расходы, но она знает, насколько они необходимы солдату, и надеется только, что я приятно провел время. Она спросила у жен других офицеров про Ап Тхань Тхой, потому что никогда не слышала про это место и не знала, где оно находится, и одна из них сказала, что это китайский публичный дом (то есть она-то написала «заведение») в Сайгоне, а другая сказала, что это островок, где французские солдаты заводили себе девушек. Тогда я написал ей, что такое Ап Тхань Тхой и что, по-моему, это очень смешно. А она прислала мне такое возмущенное письмо, каких я ни разу еще не получал, и просила, чтобы я не обманывал ее, что она ужасно расстроилась, что она не ожидала от меня такого, а теперь все другие жены смеются над ней, и на что же я все-таки истратил сто долларов?

Андерсон взглянул на Бопре и продолжал:

— Нет, вы только представьте себе: не может мне простить, что я ни с кем не переспал. Ну, я понял, что шутки плохи и обманывать ее не надо, а потому, когда Кроуфорд уезжал в Гонконг, я дал ему чек на сто долларов и попросил купить на все эти деньги новый стереофонический магнитофон, а потом написал ей, что хотел сделать ей сюрприз и эти сто долларов истратил на магнитофон. И она написала, что я замечательный и она меня очень любит.

Андерсон опять посмотрел на Бопре.

— Черт бы побрал этих женщин! Скажи я ей, что не тратил никаких ста долларов, она бы не поверила...— Он снова посмотрел на Бопре.— Знаете, капитан, хотя это и не мое дело, но вид у вас сегодня ужасный. Конечно, вы гораздо опытней меня в этих делах, но мне кажется, что в Сайгоне вы уж слишком даете себе волю. Вы злоупотребляете этим, не учитывая климат и жару.

Он ждал, что Бопре его выругает, а потом подумал, что старый хрен заснул. «Надрался вчера виски больше, чем мне казалось». Но присмотревшись, обнаружил что-то неладное: рот Бопре был приоткрыт, глаза смотрели невидящим взглядом. Андерсон понял, что это обморок.

Первым его побуждением было сообщить в КП, но он тут же понял, что ничего хуже не мог бы придумать. Нет, в КП сообщать нельзя, по крайней мере сейчас. Он посмотрел на Бопре и почувствовал отвращение к этому старику с грязным небритым лицом. Развратничает, пьянствует, блюет во время отпуска, а потом при исполнении служебных обязанностей, пройдя немного пешком, без конца пьет воду и падает в обморок, точно офицер военно-морского флота. И какой пример для вьетнамцев! Вьетнамцы никогда много не пили, и Андерсон считал, что им противно смотреть на пьющих американцев. «Что они могут думать про нас, когда видят таких вот людей? А ведь мы призваны служить им примером, как представители величайшей в мире армии — новой, современной, оснащенной вертолетами. А мы привозим им Бопре, который кричит и ругается, а пешком ходит хуже их женщин и не считает даже нужным следить за собой, хотя бы при посторонних». Именно нежелание Бопре скрывать свои слабости и коробило Андерсона. В частной жизни слабости тоже непохвальны, но все же допустимы; только вот если чувствуешь, что не можешь держать себя в руках, не показывайся на людях. И тем более в чужой стране. Пусть отводит душу в баре семинарии. Андерсон был уверен, что вьетнамцы не хуже его замечают, что от Бопре разит не только потом, но и виски.

Несколько минут назад лицо Бопре было багровым, теперь оно стало землисто-бледным. Андерсон встряхнул его флягу — она была прак-

тически пуста. Бопре выпил всю воду еще в первой половине дня, точно ребенок, который сразу съедает все конфеты. Андерсон достал свою почти полную флягу и перелил половину ее содержимого во флягу Бопре. Потом налил в пригоршню немного воды и побрызгал Бопре на лицо. Он смотрел, как стекают капли, промывая в грязи узенькие чистые полоски. Андерсон плеснул еще раз, потом еще и наконец увидел, что глаза Бопре становятся осмысленнее.

— Все в порядке. Все в порядке, дружище,— торопливо пробормотал он.— Не бойтесь, теперь все хорошо.

Рука Андерсона снова потянулась к лицу капитана, а голос стал неожиданно ласковым. Как ни странно, но он уже не испытывал отвращения к этому старому офицеру и, сам не понимая почему, сочувствовал Бопре. К черту вьетнамцев, если они видели и если им это не понравилось. Пусть Бопре и старый дурак, но он наш дурак, американский, и к тому же офицер, повидавший много войн и много стран,— если бы эту войну вели более организованно и умело и если бы она стала чуточку более похожа на настоящую войну, возможно, он и не пил бы так много. А в этом они виноваты не меньше нас. И Бопре заработал себе право пить столько.

— Ну, все в порядке. Просто вы немного перегрелись. Такая уж страна. Бог отдает вьетнамцам всю неизрасходованную энергию солнца. Жара на всех действует, в том числе и на меня. И на вьетнамцев. И вы должны встать, чтобы помочь вьетнамцам выбраться отсюда.

Ему показалось, что Бопре кивнул.

— Жуткая жара,— продолжал Андерсон.— Такого дня я здесь не припомню. Еще один чертовски жаркий день, но мы выдержим.

Бопре вроде бы приходил в себя, вроде бы даже кивнул, и Андерсон поднес ему флягу ко рту и, дав немного отпить, быстро отнял. Потом, выждав минуту, дал еще.

— Я ненавижу здешнюю жару и здешнее солнце,— сказал лейтенант.— Странно, я вырос в Миннесоте, а там всегда холодно, и я любил солнце. Мы всегда ждали, когда же оно начнет греть. Помню, даже поздней весной солнечные дни были событием, потому что после школы мы уже не мерзли в школьном автобусе. А потом мы ждали середины лета — только тогда солнце начинало греть по-настоящему, и я ходил купаться. Но я не сразу бросался в воду, а сперва лежал на берегу и наслаждался солнцем. Я подолгу жарился, пока весь не покрывался потом, и только тогда лез в воду. Я точно играл с солнцем. Я так его любил! Но теперь, побывав тут, я уже никогда не смогу относиться к солнцу по-прежнему, никогда не смогу подставить себя солнцу, не вспомнив про Вьетнам, про то, как я спрашивал себя: продержусь ли я еще день. Нет, больше я не буду греться на солнце.

— Я потерял сознание,— сказал Бопре.

Андерсон похлопал его по плечу.

— Вот черт! Надо же. Никогда со мной этого не бывало.

— В такую жару это может случиться с кем угодно. Потом вам, может, придется тащить меня.

— Мне очень неприятно, что я вас так подвел. Со мной никогда этого не бывало.— Бопре помолчал.— Данг видел?

— Нет,— ответил Андерсон, хотя был уверен, что Данг, конечно, ухитрился увидеть все — о таких вещах Данг всегда был осведомлен.— Он был слишком занят беседой с генералами.

— Послушайте,— сказал Бопре,— я буду вам очень обязан, если вы не сообщите на КП. Со мной же это впервые. А вы знаете этих людей. Они обожают такие случаи.

— Им сейчас не до нас, спят, наверно. Нам ведь они не сообщают, когда им вздумается всхрапнуть.

— Этот чертов Данг наверняка знает.

Андерсон достал несколько солевых таблеток и протянул две штуки Бопре.

— Терпеть не могу этой дряни. Не буду глотать.

— Если вы их не примете, мне придется проторчать здесь с Дангом до конца дня.

— Ладно, дайте одну.

Андерсон дал ему одну таблетку и немного воды. Потом заставил Бопре наклониться к земле.

— Теперь лучше?

— Лучше. С диснеевскими фильмами пока все. Я опять во Вьетнаме. Не знаю только, действительно ли это лучше?

— Может быть, все-таки вызвать вертолет? Наверно, это возможно. Пожалуй, это наилучший вариант.

— Не надо. К черту вертолеты. Сам дойду. Всегда ходил сам. В тот день, когда не дойду, мне подадут деревянный ящик с американским флагом. Осталось четыре-пять миль, и я дойду. А если вызовете вертолет, меня уже не пустят ни на какие операции. А они будут рады: уйдет еще один капитан. Им этого только и надо. Переведут меня в отдел психологической войны и пошлют инспектировать стратегические населенные пункты. Я уже восемнадцать лет хожу, дойду и сегодня. Я же принял вашу таблетку, верно? Вы думаете, стал бы я ее глотать, если бы не собирался идти пешком?

— Ладно, я только хотел убедиться.

— Ну, так теперь вы убедились.

Бопре поднялся и, еще нетвердо держась на ногах, несколько раз прошелся взад и вперед.

— Все в порядке,— сказал он.— Ну-ка, пошли поднимать вьетнамцев. Засиделись, черт их дери.

Бопре надвинул козырек фуражки почти на самые глаза. Андерсон предложил ему солнечные очки. Бопре не любил очков, считая, что их носят только богатые бездельники, но сейчас он их взял, надеясь, что с ними будет немного легче. Он любой ценой должен был избежать второго обморока — тогда Андерсону придется сообщить на КП. Он остановился и погрузил руки в воду канала. Вода была теплой, но все же казалась холоднее воздуха. Это был старый фокус, которому он научился в давние времена, еще в бытность свою строительным рабочим, когда воды было много и она была доступна. Потом он пошел дальше, не освеженный, но не испытывая и тошноты. Сначала он шел осторожно, и каждый шаг был достижением и залогом того, что он выживет, каждый шаг означал, что он еще не упал, не потерял сознание во второй раз. Затем он почувствовал, что может идти, что выдержит, и выругал себя за то, что сплоховал на глазах у мальчишки, за то, что наделал глупостей, за то, что вынужден был просить мальчишку не сообщать начальству о его обмороке. Он ругал себя за слабость, но уже не сомневался, что выдержит теперь до конца дня. Он осознал, что Андерсон идет за ним всего в нескольких шагах; Андерсон беспокоился и не верил в него. «Я покажу этим сосункам!» — подумал он, обретая уверенность в себе, и вновь вошел в обычную колею длинного, жаркого дня.

Но привычное однообразие длилось недолго. Через десять минут заговорило радио. Голос был пронзительным и взволнованным — настолько, что Бопре бросился к рации прежде, чем Андерсон успел позвать его.

— Большой Уильям! Только что обстреляли Большого Уильяма и его рейнджеров! — кричало радио.— Большой Уильям убит! Там тво-

рится бог знает что. Господи, Большого Уильяма убили, а я говорил с ним, когда он умирал,— вот как сейчас с вами. Это было ужасно. «Сшибли Большого Уильяма и его рейнджеров, как кегли, как кегли»,— повторял он все время. А потом умер. Я такое слышал в первый раз. Ужасно. Там все идет к чертям. Две трети состава ведущей роты погибли на месте. Без единого выстрела. А вьетнамцы просто свихнулись и плачут. Кроуфорд сказал, что ничего подобного никогда не видел: человек двадцать вьетнамцев несут тело Большого Уильяма и плачут, как черт знает кто. Он говорит, что никогда еще не видел, чтобы они плакали. А некоторые еще и повторяют: «Как дела, Большой Уильям? Дела идут хорошо». Точно так же, как он сам говорил. Черт знает, что такое там делается!

Бопре взял у Андерсона рацию и стал успокаивать дежурного по КП:

— Говорите медленно. Начните сначала, только медленней. Меня не интересует, кто плачет, скажите лучше, кто убит и кто жив. Пожалуйста, говорите проще, прошу вас.

В конце концов ему удалось восстановить картину происшедшего: рота только что покинула деревню, где ее встретили очень дружелюбно («Смотрите, как на них действует обаяние Большого Уильяма, они даже хотят назвать его именем свою деревню — «Деревня Большого Уильяма»), и настроение у них было очень хорошим. Большой Уильям утверждал, что в его честь назовут крестьяне не только эту деревню, но и все графство, и дежурный по КП сказал, что это невозможно, потому что во Вьетнаме нет графств. Ну и прекрасно, ответил Большой Уильям, пусть будет провинция, это звучит даже солиднее, почти как целая страна. А столице этой провинции он даст название Пиккенс, со смехом добавил он. И в этот момент вьетконговцы открыли огонь — застигли их врасплох на открытом месте,— и Большой Уильям сказал: «Я ранен, тяжело ранен, и ни одного выстрела — мы не выстрелили ни разу. Нас сшибли, как кегли»,— и умер. Убиты и некоторые вьетнамские офицеры. «Раз-два — и готово,— сказал дежурный (он уже взял себя в руки).— Когда прибыли истребители, вьетконговцы уже ушли. А вертолеты за ранеными никак не вылетали. Пилот, которому надо было вылететь первым, уперся, потому что ему осталось дослужить одну неделю и ситуация ему не нравилась. Ну, в конце концов его послали вторым, и вертолеты никто не обстрелял, но там творилось черт знает что: вьетнамцы чуть не все кричали, что они ранены, и лезли в вертолет. Там черт знает что делалось».

Но теперь как будто все улеглось. Случилось это так быстро, что уже и кончилось, сообщил дежурный. Новых инструкций он не дал. Бопре было предложено следовать, как обычно. Возможно, потом придется замедлить марш, но это выяснится позднее. Полковник просит ему передать, чтобы он не менял своего положения в колонне: дурная примета.

— А преследование ведется? — спросил Бопре.

— По сути дела нет. Все были заняты тем, чтобы поднять в воздух вертолеты, да и некоторое время нельзя было разобрать, кто там теперь за командира. Страшная была неразбериха.

— Почему не ведется? — спросил Бопре.

— Не знаю,— ответил дежурный.— Но, наверно, они боялись, что вьетконговцы тогда всыплют им еще больше.

Разговор с КП закончился. Бопре и Андерсон вернулись к собственным проблемам.

— Ну вот, кончились для Большого Уильяма шелковые пижамы,— сказал Бопре.

— Какие шелковые пижамы?

— Те, что он так любил.

— Он вам нравился?

— Он был лучше большинства,— ответил Бопре, предоставляя Андерсону решать, подразумевает ли он большинство негров или большинство офицеров.

«Большой Уильям,— думал Бопре.— Я даже тут все испортил». После того трехдневного отпуска он старался избегать Большого Уильяма, но утром, когда он выходил из столовой, они вдруг встретились. Большой Уильям шел навстречу, напевая какую-то песенку — себе под нос, а также и для всех, находившихся в радиусе десяти шагов: «Бум, бум, бум де дум бум. Ах, какая крошка! Дум, дум, дум. Но она такая крошка!» «Негритянская музыка»,— подумал Бопре.

«Вот это был отпуск. Большой Уильям едва ноги волочит. А мамасан сильна. Вот сильна! Этой женщине памятник надо поставить. Совсем вымотался. А на постаменте написать: «Чемпионка». И больше ничего. «Чемпионка». В конце концов мне пришлось ей сказать: «Мамасан, ты вьетконговка. Ты хочешь убить Большого Уильяма». А она начала рассказывать про какого-то неутомимого француза — того самого, который поставил французский рекорд. Так что пришлось мне задержаться, пока она не забыла и про француза, и про всю Францию. Да-а, сильна женщина.— Большой Уильям улыбнулся.— Слушай, Бопэй, ты здоров? А ребята тебя полюбили. Просили, чтоб я снова тебя привел. Ну как, ничего? То-то, я же говорил. Большой Уильям друзей не подводит. Он для них все сделает».

«Да, конечно. Все было так, как ты говорил. Все было чудесно».

«Правда, понравилось, а?»

«Мой лучший отпуск в Сайгоне».

Но голос Бопре звучал фальшиво, и на лице Большого Уильяма появилась новая, совсем другая улыбка.

«Что это с тобой, Бопэй? — Большой Уильям смерил его долгим взглядом.— Так, значит, Большой Уильям как будто маху дал. Ну, впредь ему наука. Я думал, ты не такой. Приношу свои извинения. Нижайшие. И ты туда же! Здорово. Эх, ты...— И он пошел дальше, улыбаясь еще шире и снова напевая: — Бум, бум. Ах, какая крошка! Эх, бедняга Уильям!»

И вот Большой Уильям убит. Бопре прикинул, какую часть своего последнего дня на земле Большой Уильям потратил на то, чтобы смеяться над ним, Бопре. «А ты тратишь почти всю свою жизнь на то, чтобы подводить других»,— подумал он с горечью.

Форма на Бопре опять была мокрой, только теперь не от дождя, а от пота. Новая полоска соли под мышками опустилась ниже прежних — белый меловой полукруг, который становился тем шире, чем дольше он оставался в этой стране. В будущем, чтобы подтвердить, что он был во Вьетнаме, ему достаточно будет показать вместо медалей свою рубашку. Ему хотелось пить, но, как ни странно, жажда вроде бы уменьшилась, словно то, что его мысли сосредоточились сейчас на войне, способствовало ее утолению. Он не сомневался, что им грозит очень серьезная опасность, и в нем заговорило чувство самосохранения. И фляга была ему уже не нужна—во всяком случае, в настоящую минуту,—и силы его теперь поддерживал инстинкт самосохранения. Солдаты, как ему показалось, держались по-прежнему, хотя перед вступлением в первую деревню они на некоторое время подтянулись, сделались похожи на настоящих солдат и перестали лопотать — даже радист перестал. Когда Бопре впервые приехал в страну и услышал это лопотание, он очень возмущался, и кто-то — кто именно, он не помнил, но во всяком случае

такое объяснение мог дать только человек, чей срок был на исходе,— стал терпеливо втолковывать ему, что вьетнамский язык тональный, а это создает значительные затруднения при переговорах по радио, так как тон легко искажается, что приводит к изменению смысла фразы,— вот и приходится несколько раз повторять одно и то же. Очень хорошо, ответил Бопре (он тогда еще не утратил честолюбия и энергии), а теперь скажите, чтобы они поменьше шумели и прекратили это дурацкое лопотание! Он был уверен, что противник перехватывает все это лопотание — ведь противник-то научился понимать его с пеленок, едва залопотал сам. В семинарии, когда он стал ругаться по этому поводу, его попробовали убедить, что противник не располагает техникой перехвата, но Бопре не верил ни противнику, ни обитателям семинарии.

Бопре хотел, чтобы солдаты шли быстрее, хотел быть настоящим командиром, который отдает приказания и видит, как они тут же выполняются, который может выслать разведку, может заставить солдат идти быстро или медленно, быть мужественными, быть стойкими, хотел, чтобы его ненавидели, боялись, даже любили — лишь бы быть настоящим командиром. Он хотел идти быстрее, но не мог же он толкать их перед собой. Он было ускорил шаг, но тут же начал натыкаться на идущего впереди солдата, так что в конце концов вынужден был направиться к голове колонны. Толкать их перед собой он не может, но вдруг ему удастся потянуть их за собой. Да и вообще он предпочитал ходить в голове колонны, полагая, что ставить там вьетнамца не следует. Когда он выбрался вперед, то увидел там молодого приземистого вьетнамца, который с готовностью уступил ему свое место и, широко улыбнувшись, поблагодарил американца.

Бопре удалось ускорить темп марша, но он все время оглядывался, опасаясь, не отстала ли колонна.

Узнав о засаде, Тыонг начал ждать, когда к нему подойдет Андерсон. Это было неизбежно. Это был ритуал. Если б только была возможность, если бы на той стороне канала сейчас находился патруль, он ушел бы туда, лишь бы избежать предстоящего разговора. Он прекрасно знал, как именно пойдет этот разговор — один из тех, которые он мысленно называл заупокойной службой. Андерсон выразит сожаление о погибших, и Тыонг выразит сожаление; затем Андерсон заговорит о погибших вьетнамцах, отдельно упомянет вьетнамского офицера (Он его знал? И будет его хвалить. Он его не знал? И выразит сожаление, что не знал его лучше), а потом скажет несколько слов о том, какая печальная вещь война. Тыонг знал все это наизусть. Когда Андерсон хвалил вьетнамских офицеров, Тыонг был вынужден соглашаться и нередко хвалить людей, которых он презирал. Конечно, ему и до Андерсона приходилось выслушивать то же самое от других американцев (за исключением, разумеется, Рейнуотера, который свято веровал в закон больших чисел и почти не скрывал радости, когда во время засады убивали кого-то другого), но у Андерсона это получалось лучше всех. Андерсон был самым искренним и поэтому самым худшим из них, с точки зрения Тыонга. Сам он не хотел, чтобы такую панихиду отслужили бы по нему в других отрядах: «Как фамилия этого погибшего вьетнамского офицера?» — «Тыонг».— «Тыонг?» — «Тыонг».— «Тот, который с усиками?»— «Нет, не тот. Кажется, другой, маленький».— «Который маленький?» — «Тот, гордый».— «Ах, этот Тыонг! Высокомерный сукин сын, но хороший офицер».— «Да».

Андерсон пришел во время привала — какого по счету, Тыонг уже не знал. Он мог отмерять их только по боли в ступне, которая во время отдыха усиливалась. Сейчас нога совсем разболелась, и Тыонг предпо-

читал бы идти дальше, но, конечно, привал затянулся. Ему отчаянно хотелось снять ботинок и посмотреть, какой стала ступня — белой, распухшей, а может быть и зеленоватой. Но он не решился разуться, боясь, что подойдет Данг и поднимет шум. Да и американцам ни к чему это видеть. Он старался представить себе, какого цвета сейчас у него ступня, и тут явился Андерсон.

Разговор шел как по нотам. Это была скверная засада. Они все скверные. Столько гибнет ваших соотечественников. Вьетнамский народ уже привык к этому — как к солнцу или дождю; возможно, если бы это прекратилось, возникло бы ощущение, что чего-то не хватает. Потом опять заговорил Андерсон — он был так вежлив, деликатен, тактичен. Когда Тыонг только познакомился с ним, он подумал: наконец-то настоящий Американец с большой буквы — высокий, сильный и чистый, с такими светлыми волосами на руках. И Тыонг сразу же подумал, что такой гигант должен выпивать очень много молока. (Одним из первых вопросов, который он почти застенчиво задал Андерсону на третий день их знакомства, был: правда ли, что в Америке можно пить сколько угодно молока? Они почти час обсуждали американские завтраки и молоко, и это был один из самых приятных их разговоров.) Теперь Андерсон продолжал говорить о засаде и о погибших, не делая различия между убитыми вьетнамцами и убитыми американцами, и это сердило Тыонга, который считал это лицемерием — не может же он и в самом деле скорбеть о смерти вьетнамцев. Андерсон выразил сожаление о гибели капитана Хо Ван Вьена; капитан, как выяснилось, относился к категории вьетнамских офицеров, которых Андерсон почти не знал и хотел бы узнать поближе.

— Если бы вы познакомились с капитаном Хо Ван Вьеном поближе, то узнали бы, как это знал я, его солдаты и ваш высокий негритянский друг, что капитан Вьен был merde*. Это французское слово тут подходит больше всего. Его не интересовали ни люди, которые с ним служили, ни сама война, и он не заботился о своих солдатах. Если вьетконговцы и убили его, то, наверно, случайно. Мне очень жаль, что я вынужден так отозваться в беседе с американцем о моем соотечественнике, и тем более умершем. Надеюсь, вы меня извините.

Тыонг увидел на лице Андерсона спокойное удивление и понял, что напряженность между ними возникла по его вине.

Андерсон, относившийся теперь к Тыонгу более жестко, чем месяц назад, пристально посмотрел на него и сказал:

— Вам виднее, лейтенант Тыонг.

Он считал Тыонга странным. Когда он приехал во Вьетнам, его прикрепили к Тыонгу, предупредив, что «Тыонг хороший офицер, возможно, даже лучший из молодых офицеров, но трудный и не любит длинноносых». Андерсон обрадовался: именно о таком партнере он и мечтал — о хорошем офицере, но трудном. А познакомившись с Тыонгом, он обрадовался еще больше: Тыонг был явно умным и, как вскоре выяснилось, храбрым человеком. Он решил, что нашел именно то, ради чего ехал во Вьетнам, и уже представлял их дружбу, их будущие встречи: Тыонг приедет погостить к нему в Бэннинг, и они, может быть, назовут своих сыновей в честь друг друга.

Через десять дней после их знакомства Андерсон решил пригласить Тыонга пообедать с ним, но и тогда он не стал торопиться и выждал еще месяц, так как не хотел слишком навязываться Тыонгу и торопить его. Пригласил же он его непринужденно и по-дружески, давая возможность Тыонгу отказаться. Однако приглашение было принято сразу же и без колебаний, хотя и с некоторой церемонностью, которая, впрочем, только

* Дерьмо *(франц.)*.

понравилась Андерсону. Эта церемонность придавала Тыонгу что-то истинно азиатское. Обед прошел странно. Андерсон решил не устраивать его в семинарской столовой, опасаясь, как бы еда не показалась слишком тяжелой и жирной вьетнамцу, и еще он опасался, как бы кто-нибудь не сказал чего-нибудь обидного в адрес азиатов (Бопре мог заговорить о «косоглазых»). Так что они пошли в местный вьетнамо-китайский ресторан, именовавшийся на семинарском жаргоне «Лиловой чумой» не то из-за цвета стен его уборной, не то из-за результатов, к которым приводило его посещение,— никто точно не знал почему. Когда они уже подошли к его дверям, Андерсон вдруг усомнился, правильно ли он сделал — а вдруг вьетнамцы избегают посещать этот ресторан (как оно и было на самом деле). Однако Тыонг искусно не дал ему отступить (он уже бывал в этом ресторане с другими американцами и сомневался в политической благонадежности его владельца, который был чрезвычайно любезен с американцами и хорошо говорил по-английски).

Андерсон затеял этот обед, рассчитывая, что Тыонг разговорится и он узнает многое о стране, о войне и о собственной жизни Тыонга. Но Тыонг, беспощадно вежливый и учтивый, не говорил ни о собственной жизни, ни о своей стране. И вообще говорил только Андерсон. Правда, это был не совсем монолог: Тыонг задавал розно столько вопросов, сколько требовалось, чтобы поддержать разговор — об Америке, Уэст-Пойнте, даже о Германии. («Скажите, немецкие солдаты действительно носят каски, которые мы всегда видим на них в кино?») Вопросы задавались очень вежливо, но у Андерсона иногда возникало ощущение, что он разговаривает с человеком гораздо старше себя, может быть, с чьим-то дедом, который совсем не интересуется темой беседы, но умеет быть любезным собеседником.

Андерсон был совершенно сбит с толку и не понимал, то ли Тыонгу невыносимо скучно, то ли он старается получить как можно больше всяческих сведений. (Иногда сам Андерсон задавал вопросы вроде: «Как по-вашему, помогают вертолеты в ведении войны?» — и получал ответ вроде: «О, лейтенант Андерсон, вы знаете это лучше меня! Вертолеты ведь из вашей страны».)

Разумеется, Тыонг, как человек вежливый, в свою очередь, пригласил его пообедать вместе, выждав несколько дней. Андерсон был доволен и горд: возможно, их первая встреча прошла лучше, чем ему показалось. Возможно, для сближения с людьми вроде Тыонга нужно лишь время. Он просто застенчив, в этом все дело. И нужно время, чтобы убедить Тыонга, что ты не такой, как другие, что ты искренен и не считаешь его косоглазым.

За день до обеда их отряду пришлось неожиданно выдержать один из редких крупных боев. Это была наступательная операция, в которой они сначала проявили нерешительность, а потом позорно провалились. День, ночь и еще один день прошли в страшном истерическом ожесточении среди страха и смерти — страх передавался от одного к другому, как моровая язва, люди стонали, умирали, кричали на обоих языках. Американцы требовали, чтобы этих сукиных детей заставили шевелиться, вьетнамцы снова и снова отвечали, что сейчас не время, что надо дождаться благоприятного момента; американцы говорили: «Нет, сейчас, черт побери, или мы все погибнем в этом вонючем болоте!» — а вьетнамцы говорили: «Нет, не сейчас, надо выждать, надо пока укрыться». «Здесь же нет никакого укрытия!» — кричали американцы. И все это — на фоне стонов и ужаса. Прошло только сорок восемь часов, и озлобление, горечь этого боя еще были очень остры (даже полковник, этот образец корректности, сказал полковнику Ко — и его слова повторялись вновь и вновь с облегчением и злорадством, ибо наконец у кого-

то хватило духа проявить твердость: «Если вам понадобится вертолет, полковник Ко, сообщите мне. Только сообщите мне!»). Тыонг пришел точно, минута в минуту. Андерсон был почти уверен, что Тыонг отложит обед, но Тыонг как будто был даже доволен — словно он нарочно приурочил обед к сражению. Андерсон сначала провел его по семинарии и пригласил в бар, где познакомил с другими офицерами,— казалось, можно было видеть, как слова, которые произносили американцы, замерзают на лету. Но чем холоднее были слова, тем учтивее становился Тыонг — он не торопился уходить, нарочно мешкая. Наконец по настоянию Андерсона они все же ушли, и Тыонг повел его в совсем незнакомую часть Мито в стороне от торговых кварталов. Они вошли в крошечный ресторанчик, где было всего четыре столика и шесть стульев.

В ресторанчике не было ни меню, ни холодильника, и поэтому в течение вечера хозяин несколько раз посылал своего сына на велосипеде в соседний бар за холодным пивом. Тыонг сказал несколько слов хозяину, который, казалось, был очень горд, что его посетили американский лейтенант и Тыонг. Он был очень опечален: специальность его заведения — креветки, а свежих креветок у него нет. Он, правда, ходил на рынок, но вид креветок, которые там продавали, ему что-то не понравился. Поэтому они ели рыбу под жирным соусом, свинину, нарезанную тонкими ломтиками, и пасту из сушеных креветок, намазанную на стебли сахарного тростника. В общем, обед получился внушительный, хотя хозяин иногда отвлекался, чтобы дать подзатыльник сыну, обнаружив, что пиво на исходе.

Но разговор не клеился еще больше, чем в прошлый раз. Андерсон целых полчаса говорил обо всем, кроме Вьетнама. В конце концов он упомянул Вьетнам и опять говорил обо всем, кроме недавнего боя. Но Тыонг прервал его:

— А что вы скажете о бое, лейтенант Андерсон?

И Андерсон, бедный, вежливый Андерсон, начал подыскивать всякие оправдания и намекать на превосходящую численность противника. Тыонг опять прервал его и сказал:

— Лейтенант Андерсон, вы самый вежливый американец из всех, кого мне доводилось видеть. Вы даже вежливей, чем положено быть вьетнамцам. Когда мы вежливы, мы неискренни и, вероятно, вы тоже. Вам, кажется, не дан талант убедительно лгать, и даже ваше лицо краснеет. Это был страшный бой. Его не назовешь даже снабу.

— Чем, чем? — переспросил Андерсон.

— Снабу. По-вашему это, кажется, называют бардак.

— Снабу,— повторил Андерсон.

Оба неуверенно рассмеялись.

— К сожалению,— сказал Тыонг.— Это было даже не снабу. Так что на этот раз я буду с вами совершенно откровенен и скажу то, что вы знаете сами: это был позор, и если бы не ваши американские самолеты и не ваши американские вертолеты, позор был бы еще больше и погибло бы еще несколько сот вьетнамских солдат.

Андерсон сделал робкую попытку возразить.

— Нет, нет, вы учились в Уэст-Пойнте, а я не учился в Сен-Сире — даже во вьетнамском Сен-Сире,— но я знаю, что это был позор, причем, лейтенант, не первый и не последний; я был бы рад объяснить вам, почему это происходит, и заверить вас, что этого больше не произойдет, но ни то, ни другое не в моих силах.

Андерсон перебил его и сказал, что теперь положение меняется к лучшему, укрепляется дисциплина, появились вертолеты, но Тыонг только посмотрел на него и улыбнулся — доброй, дружеской улыбкой, какая редко бывала на его лице.

— Вы, американцы, пришли спасать нас.

— Не спасать, а помогать,— сказал Андерсон.

— Нет, спасать. Это более точное слово. Только я боюсь, лейтенант, что таких людей, как мы, спасать нелегко.

На этот раз Андерсон промолчал, и Тыонг продолжал, понизив голос и полузакрыв глаза, точно разговаривая сам с собой:

— Мы даже сами не можем себя спасти. И это — самое скверное. Мы не можем себя спасти. Я очень сожалею.

Несколько минут они ели молча, потом Тыонг, словно вдруг спохватившись, что заговорил о себе, стал хвалить Андерсона: он хороший солдат, отличный офицер, и если бы он, Тыонг, был полковником, он гордился бы таким молодым офицером, и, конечно, его еще ждут другие задания и другие страны, где люди лучше оценят его помощь; ведь и Вьетнам его многому учит, больше, чем он думает, и то, что он здесь испытает — даже трудности и разочарования,— пойдет ему на пользу. Когда-нибудь в другой стране его спросят, где он служил раньше, и он ответит, что во Вьетнаме. «В таком случае,— скажут ему,— вы не только храбрый, но и терпеливый человек».

В тот вечер они впервые за время знакомства расстались друзьями. Тыонг очень жалел, что им не удалось поесть свежих креветок, и обещал прийти с ним сюда в другой раз, когда будут хорошие креветки.

Но это обещание так и не было выполнено. Два дня спустя, когда они снова отправились на операцию, Тыонг держался с ним мягче и предупредительней прежнего, но снова замкнулся в себе. От возникшей было непринужденности не осталось и следа, а с ней и от всего, что, казалось, она принесла с собой. Тыонг словно устыдился своей слабости и снова отступил за стену гордости. Именно то, что Андерсон был прекрасным офицером, как раз и вызывало в нем холодность и отчужденность. Он понимал это яснее, чем Андерсон, понимал, что будь Андерсон посредственным офицером, будь он похож на Рейнуотера, и то, может быть, Тыонг относился бы к нему лучше. И если бы Андерсон не был так любезен, так неизменно вежлив, Тыонг относился бы к нему более дружелюбно. Поэтому они по-прежнему оставались просто коллегами, союзниками, которые стесняются друг друга, и Андерсон упорно пытался улучшить их отношения. Но чем больше он старался, тем отчужденнее казался Тыонг, и в конце концов Андерсон не выдерживал: отходил от него, бывал холоден и даже груб. Когда это случалось, Тыонг вдруг на какое-то время смягчался. Лишь на этой, поздней стадии их отношений Андерсон начал понимать, что происходит, но он был не способен вести себя иначе. Его с раннего детства учили держаться с людьми именно так — особенно с теми, кто устроен в жизни хуже его. Даже для пользы дела, даже во имя профессионализма, которого он так добивался и так сильно желал, Андерсон не мог изменить принципам, ставшим за двадцать пять лет частью его натуры. Цена была слишком высокой. Он был готов отдать свою жизнь, воюя тут, но он не мог преодолеть эту свою слабость. Он не мог обращаться, как сволочь, с желтокожим человеком в бедной стране. А поэтому время от времени, главным образом из-за того, что он ничего не мог тут поделать, Андерсон начинал сердиться, и Тыонг становился мягче, но в основном он ограничивался тем, что действовал добротой и, когда проигрывал, не утрачивал этой доброты.

Так они и остались чужими друг другу, несмотря на кажущееся сближение. У них не было расхождений относительно войны, они достаточно уважали храбрость друг друга, и за все время у них произошла только одна серьезная стычка. Это случилось на четвертом месяце пребывания Андерсона в стране, в убийственно жаркий день, когда солдаты падали без сознания. Они прошли через две деревни, до того опаленные и опустелые, что казалось, будто солнце выжгло из них всю жизнь. Третья деревня выглядела такой же; в ней оставалось лишь несколько

женщин, но и тех словно сожгла жара. Андерсон, не в силах двигаться дальше, растянулся в тени дерева и погрузился в оцепенение, граничившее со сном. Его разбудил шум, доносившийся откуда-то из глубины деревни, но шум тут же стих. Но вскоре этот шум уже опять отдавался в его ушах, как назойливый звон будильника, который нет сил остановить. В конце концов Андерсон не выдержал и начал прислушиваться. Сначала он различил пронзительный, хихикающий голос мужчины, а потом — более тонкий и резкий визг женщины; потом — явно мужской, не такой резкий, но с еще более заметным прихихикиванием; потом — пронзительный женский визг, становившийся все более громким и сердитым; потом — опять мужской голос, теперь уже не пронзительный, и сменивший хихиканье смех; потом другой смех — еще и еще; и наконец опять женский голос, разразившийся истеричными воплями, которые нарастали, как вой сирены.

Он был до того заинтригован, что поднялся на ноги, несмотря на жару, и поплелся в направлении голосов. Он увидел пятерых женщин и человек пятнадцать солдат, которые громко спорили и кричали. Солдаты держали в руках уток, а женщины наскакивали на них. Одна ухватилась за шею утки и тянула к себе, то и дело пиная солдата ногой, но с близкого расстояния, так как отойти подальше не позволяла короткая шея птицы, а солдат после каждого пинка разражался хохотом. Андерсон несколько минут наблюдал эту сцену, как завороженный, и все ее подробности одна за другой (в руках солдат были не только утки, но и куры) запечатлевались в его сознании, и это было не что-то случайное — не просто одна женщина, одна утка, один солдат. Казалось, вся его рота грабила эту деревню, эту маленькую деревушку (ну, сколько там у них уток?). Массовое мародерство, не более и не менее, и Андерсон пришел в ярость, не зная, что ничего, возможно, не случилось бы, если бы женщины не отказали солдатам в воде; это была ошибка, которую они никогда больше не повторят, даже в самый жаркий день. Андерсон с возрастающим гневом смотрел, как солдаты смеются и дразнят женщин. «Давайте бросим уток и заберем этих молоденьких девочек»,— сказал один из них. Другой, заметив Андерсона и не желая обделить его (в общем солдаты неплохо относились к американским советникам), подошел и протянул ему одну из двух своих уток с заговорщицкой улыбкой, говорившей, что они в этом заодно, а уток хватит на всех. Андерсон сердито отказался от утки и пошел искать Тыонга.

Тыонг находился в дальнем конце деревни — случай необычный, так как при нормальных обстоятельствах он выбирал такое место, откуда было легче наблюдать за всем отрядом. Только на следующий день Андерсону пришло в голову, что это было не случайно: Тыонг почувствовал приближение чего-то и не захотел оказаться причастным к тому, что должно было произойти. Тыонг встретил его приветливо и подвинулся, освобождая для него место. Он вспомнил, как Андерсон еще рано утром предсказывал такую жару, а вот он, Тыонг, ее не предвидел. Он вспомнил, как в детстве в такую жару ему иногда удавалось прокатиться на буйволе. Тогда он любил буйволов и совсем не боялся кататься на них; а вот теперь, когда он стал старше и сильнее, он их боится. Тыонг все говорил, и Андерсон попытался было вставить слово, но обычная вежливость не позволила ему перебить собеседника, так что Тыонг продолжал. Ах, буйволы, буйволы! Когда он был малышом, они казались такими большими! Маленькому человечку и в голову не приходило, что такие великаны могут быть глупыми. Но теперь он знает, что дело не в величине, и знает, как глупы эти животные. Андерсон, сбитый с толку этой разговорчивостью Тыонга, обычно такого сдержанного, наконец выпалил, что между солдатами и жителями деревни началась драка. Тыонг удивился. Его солдаты? Его солдаты никогда не воруют. Но

Андерсон стоял на своем со всем добротным американским упорством: он видел сам — не меньше двадцати уток и кур. Тыонг улыбнулся, на этот раз с легкой снисходительностью. Это невозможно, в такой деревушке вообще не наберется столько уток. Но, сказал Андерсон, он же видел это своими глазами.

— О, вы разыгрываете меня,— сказал Тыонг.— Не надо разыгрывать вьетнамского офицера в жаркий день.

Но Андерсон не отступал — они держали уток за шеи, он сам это видел.

Наконец Тыонг, раздраженный, досадливо хмурясь, после небольшой паузы спросил у Андерсона, сколько раз в месяц ему выдают жалованье. Один раз, сказал Андерсон. По каким числам? — все с тем же наивным видом осведомился Тыонг. По первым числам каждого месяца. Как интересно, сказал Тыонг. Все армии одинаковы, не так ли? Представьте, во Вьетнаме то же самое, только чеков здесь, конечно, не выдают. Даже офицерам. Пусть лейтенант извинит его, но случаи, подобные сегодняшнему, бывали и прежде. Конечно, это непорядок, так в армии быть не должно. Тыонг и сам это понимает, но что поделаешь? Вьетнам — бедная страна, и в этом вся беда: солдатам ничего не заплатили, а сегодня уже пятое число. Разумеется, они могут жаловаться президенту, но это неразумно. Вот они и промышляют — платят себе жалованье сами. Следовательно, кур они не воруют, сказал Тыонг. Я, право, ничего не могу сделать, сказал он. Хотя мне очень жаль жителей этой деревни.

При иных обстоятельствах Андерсон смирился бы, как мирился со всем остальным. Но он был зол, ожесточен, а жара действовала и на его нервы.

— Конечно,— сказал он.— Конечно, это так. И я очень тронут тем, как вы мне все объяснили. Теперь я понимаю. Но почему вы не боретесь? Боритесь с Сайгоном. Боритесь с Дангом. Боритесь с Ко. Но оставьте в покое этих бедняков, черт побери. Почему вы не призовете к порядку своих солдат, лейтенант?

— Я рад, что вы заботитесь о моем народе больше меня, лейтенант.

— А мне жаль!

На этом они разошлись, но след остался — очень глубокий.

Тыонг чувствовал, что операцию выдали врагу. Тут у него было больше опыта, чем у американцев. Это уже случалось с ним в этой войне, и в первый раз он возмущался и негодовал, но теперь он испытывал больше усталости, чем злости. Такова цена войны вьетнамцев против вьетнамцев. Ведь тут люди, сражающиеся друг с другом, совсем одинаковы — даже вьетнамцы не способны их различать. А по выражению глаз человека невозможно угадать, на чьей он стороне,— и, что еще хуже, он, Тыонг, утратил нравственное чутье; к тому же невозможно сказать, чья цель выше и чей долг благороднее. Все это как-то стерлось и смешалось. Когда он был моложе и это случилось впервые, его охватил гнев: ведь выдали противнику не только его, но и его товарищей и его солдат. Он вернулся и пошел в штаб, заряженный возмущением, как обвинитель, входящий в зал суда. У него были факты, доводы, подозрения и не было сомнений. Он подозревал заместителя начальника отдела планирования. Ведь именно он указал на этот район и первым предложил провести там операцию. Ведь он угрюм и относится к войне без энтузиазма. Ведь его обошли с повышением, и, значит, он обижен. И вот Тыонг в конфиденциальном порядке высказал свои предположения, забыв, что качества, которые он считал подозрительными, были присущи ему самому и именно они вредили его собственной карьере.

Гнев превратил его в такого же, как все эти. А потом произошел просчет, и по намеку одного из агентов правительства был случайно обнаружен настоящий предатель — молодой офицер службы тыла, образцовый офицер, отпрыск влиятельной католической семьи, усердный, но без назойливости, в меру вежливый со всеми и даже с Тыонгом, в котором было что-то от бунтовщика. Идеальный агент — внешне совсем такой, как надо, безупречный внешне и не похожий только внутри, непохожий ненавистью ко всему, что он видел и знал с детства. Его разоблачили и убрали, а офицер, с которым Тыонг поделился своими подозрениями, спросил его, по-прежнему ли он считает себя прирожденным контрразведчиком, а потом некоторое время называл его не иначе, как «monsieur Deuxieme Bureau»*.

Этот случай потряс Тыонга; с тех пор он уже не высказывал своих подозрений, не имея доказательств, и, главное, научился не доверять никому. Наибольшее недоверие вызывали у него операции вроде этой — операции, которые планировались совместно с властями провинций. Он считал, что начальники провинций ленивы и не интересуются своими подчиненными. Немного лести — и молодой офицер до конца жизни обеспечивает себе теплое местечко. Далее, если операция кончалась скверно, как, возможно, например, окончится она сегодня, то командованию дивизии бывало очень трудно оказывать давление на начальника провинции. Что бы ни случилось сегодня, начальник провинции будет защищать и выгораживать своих. Он смотрит на дивизию как на врага и, конечно, не позволит, чтобы на его репутацию упала тень. А потому он позвонит в канцелярию президента (уж что-что, а связь между провинцией и канцелярией президента действовала всегда безотказно), доложит о случившемся и еще до вечера Ко вызовут к телефону и ему в резкой форме будет предложено не вмешиваться в дела провинции — его дело вести войну, а не заниматься политикой.

Глава шестая

В полдень они остановились на обед под второй деревней, которая называлась Ап Тхань. То, что Бопре и Андерсону удалось убедить Данга устраивать привалы на обед вне населенных пунктов, они считали одной из своих скромных побед; иначе обеспечение обеденного меню неизбежно ложилось на плечи деревенских жителей.

Бопре достал два сандвича с ветчиной, нарезанной толстыми ломтями, которые приготовил для него сержант-буфетчик (первое время хлеб всегда к началу обеда успевал сильно отсыреть, поэтому Бопре старался хранить его в самых верхних карманах; но поскольку это тоже не помогало, он стал заворачивать его в целлофан). Сандвичи были сухие, но казались тяжелыми и неаппетитными, а из-за жары сама мысль о еде вызывала у Бопре отвращение и он отложил их. Данг стал угощать его рисом. Бопре хотел отказаться, но Данг настаивал: в такую погоду нельзя есть американскую пищу, надо есть только вьетнамскую. Он, Данг, не стал бы есть рис на севере Америки. Тогда Бопре из вежливости съел немного риса и потом взял еще. Затем Данг предложил ему бульона — он выпил чашку и слегка ожил.

— До своего отъезда наш американский воин Бопре успеет стать хорошим вьетнамским солдатом,— сказал Данг, и Бопре улыбнулся и пообещал отправиться с Дангом в Вермонт кататься на лыжах, когда Данг приедет в Америку и они будут есть ветчину, а не рис.

---

* Господин Второй отдел *(франц.)*.

— Капитан Бопре лыжник? — спросил Данг.

— Нет,— ответил Бопре.— Он родом из той части страны, где жарко и где не бывает снега. И ходить на лыжах он не умеет.

— Не умеете? Значит, вы такой же, как вьетнамский капитан. Он тоже не умеет,— сказал Данг.— И вы подшучиваете над капитаном Дангом, ха-ха!

Поев, Бопре встал и обошел место привала; тяжелое оружие лежало в беспорядке, охраны почти не было. Конечно, так не воюют, но, с другой стороны, правда и то, что днем вьетконговцы вряд ли нападут на правительственные войска, хотя бы и в обеденное время. Скорее всего они сидят где-нибудь в укрытии, на тщательно подготовленных позициях и ждут, пока правительственные войска не подойдут к ним сами и не выйдут на открытое место.

Бопре боялся присесть отдохнуть, боялся снова потерять сознание — тогда Андерсон вынужден был бы сообщить об этом на КП. Пришлось просто прислониться к дереву и закурить, забавляясь мыслью о том, как они с Дангом поедут в Вермонт кататься на лыжах и как он скажет, вытаскивая его из сугроба: «О, это мой добрый друг вьетнамский лыжник капитан Данг! Капитан, вы делаете успехи больше меня, я теряю престиж!»

Тут его прервал подошедший с рацией Андерсон.

— Сегодня они знают про нас всю подноготную, черт подери,— сказал он.— Только что обстреляли Ролстона и тринадцатый батальон. Всего несколько минут назад. Плохо. Чертовски плохо. Большие потери. Очень большие. Сначала думали, что Ролстон убит, но потом его нашли. Он ранен в ногу. Видимо, вьетконговцы не обратили на него внимания, думая, что он мертв. Теперь он не переставая бормочет: «Все убиты, все убиты!» Убитых очень много. Больше, чем в первый раз. Та же чертова история. Они шли через рисовое поле. Уже дошли до середины, когда вьетконговцы открыли огонь. Уложили чуть не половину батальона. Перекрестный огонь. Наши засекут один пулемет, и тут же начинает стрелять другой. Проклятые вьетконговцы все знали заранее. Командир батальона Чин убит. Хороший офицер. Он шел в голове колонны и, когда началась стрельба, не растерялся и пошел с группой солдат в обход — и снова впереди, а вьетконговцы и это предвидели — встретили их шквальным огнем. Уложили почти всех. Буквально изрешетили. Атаковали колонну сразу спереди и сзади. Тело Чина разорвало в клочья. Как раз когда его несли, полковник стал кричать, чтобы они послали кого-нибудь в обход, а ему ответили, что уже послали и эта группа уже уничтожена. Он спросил, кто ее вел, а ему сказали, что Чин, и это произвело на него сильное впечатление. Дежурный по КП говорит, что положение скверное. Один санитарный вертолет сел там, а второй обстреляли. Три члена экипажа погибли, а ребята во втором злы, как черти. Кричат, что все было подстроено заранее. Дежурный говорит, что еще ни разу не слышал, чтобы вертолетчики так бушевали. Дежурный говорит, что туда перебрасывают резерв, хотя Ко этого не хотел, и вьетнамцы до того нервничают, что высадили резерв подальше от опушки, где их обстрелять не могут, и теперь им добираться до джунглей не меньше часа. Говорит, что полковник в бешенстве и к тому же напуган. Говорит, первый раз видит, чтобы полковник испугался. Скверный день. По его мнению, даже полковник примирился с тем, что послали подкрепление.

— Что полковник думает обо всем этом? — спросил Бопре дежурного.

— Обстановка ему очень не нравится. Они сейчас решают, не прекратить ли операцию, чтобы просто забрать нас отсюда — и дело с кон-

цом. Но мне кажется, он боится предложить это нашим друзьям, потому что друзья подумают, что мы струсили. Так что, скорее всего, вам придется топать дальше. Он сожалеет и просит передать привет нашим друзьям.

То, что произошло с группой, двинутой в обход, рассеяло последние сомнения Бопре. Слишком уж хорошо, слишком профессионально все было организовано. У него возникло жуткое ощущение, что вьетконговцы играют с ним, как кошка с мышью. Он увидел себя пятнышком на экране чьего-то радиолокатора: они наблюдали за каждым его движением и поджидали его в удобном для себя месте, в удобное для себя время. Он твердо знал, что они идут навстречу засаде. Возможно, вьетконговцы как раз теперь выбирают, стрелять ли ему в голову, грудь или живот,— и спорят, что будет лучше. Вьетконговцам план операции известен во всех подробностях. Да и вообще, подумал он, скорее всего, они его и разработали.

Он развернул карту и прикинул, где и когда попали в засаду две другие колонны — в одиннадцать сорок пять и в двенадцать тридцать. Если идти вдоль канала, как указано в маршруте, то в час пятнадцать они войдут в деревню Ап Тхань по пути к месту соединения, которое теперь вряд ли может состояться. Он еще раз взглянул на карту и решил, что засада ждет их где-то за деревней. Вьетконговцы не будут спешить, они дадут правительственному отряду войти в деревню и не станут атаковать, пока солдаты насторожены, подтянуты и находятся в боевой готовности; но когда окажется, что вьетконговцев в деревне нет, наступит расслабление, солдаты опять станут беспечными, и тогда за деревней Вьетконг ударит. Бопре протянул Андерсону карту, показывая место, где это может произойти.

— Засада будет здесь — у первого же открытого места.

Он показал Андерсону на канал поменьше, проходивший параллельно главному, на расстоянии немногим более четверти мили от него. Необходимо отойти в сторону от главного канала, так как противник — в этом он уверен — ждет их именно там. Конечно, это тоже не выход; в любой другой войне, если знаешь, где тебя ждет засада, можно обойти противника с фланга и застать его врасплох, но здесь такой маневр невозможен — не тот личный состав. Так что единственно реальный выход — избежать соприкосновения с основными силами противника. Надо отходить от основного канала.

Бопре включил рацию и очень медленно, с расстановкой, тщательно выговаривая каждое слово, сказал:

— Передайте полковнику, что мы следуем дальше, как он хотел. Идем, как шли. Передайте, что мне не нравится идея возвращения или обхода.— Помолчав, Бопре повторил медленно и ясно: — Мы не хотим сворачивать в сторону или прекращать выполнение задачи. Считаем, что для беспокойства нет оснований.

Дежурный офицер, немного растерявшись, сказал, что, конечно, он передаст полковнику, если Бопре действительно этого хочет.

Бопре сказал Андерсону:

— Идите к вашему другу; пусть передаст то же самое по своему радио — слово в слово — и повторит это несколько раз. Добиться того, чтобы он повторил, наверно, не будет так уж трудно. Скажите, что ему не надо говорить с Дангом. Скажите, что Данга я беру на себя.

— Воина Данга?

— Его самого.

Андерсон повернулся, и Бопре сказал ему вслед:

— И посоветуйте вашему вьетнамскому другу проверить их штабных и выяснить, кого они любят на самом деле.

Бопре отправился искать Данга. Отряд уже снова шел, и ему пришлось пробираться сквозь колонну. Солдаты шли скученно и беззаботно болтали, а он думал об открытом поле впереди, где ждет Вьетконг, и о том, как глупо умирать здесь, среди таких вояк, которые со смехом шагают прямо на засаду, как будто это не война, а какая-нибудь увеселительная прогулка. Ему стало страшно. До сих пор эта война слишком часто располагала его к расхлябанности, лени, даже к высокомерию. Он с презрением относился к своим коллегам, к союзникам, к народу, иногда даже к противнику. Это он сказал священнику, что они тут недостаточно напуганы, чтобы молиться. И вот теперь он почувствовал, что это серьезно. Он не хочет умирать, не хочет быть одним из этих смеющихся кеглей.

После первой засады Тыонг не испытывал гнева, а только раздражение и, пожалуй, даже скуку из-за Андерсона. В конце концов, ведь когда убивали кого-то из американцев, он, Тыонг, не бежал к Андерсону выражать соболезнование по поводу гибели какого-нибудь сержанта — грузного, дюжего сержанта, который приехал во Вьетнам спать с проститутками. Но после второй засады его охватили гнев и возмущение. Командуя группой, выполнявшей обходной маневр, погиб Чин — один из немногих офицеров дивизии, вызывавших у Тыонга восхищение и доверие, худой мускулистый маленький северянин, который, казалось, надел форму своего старшего брата, настолько меньше остальных офицеров он был, но волосы он нарочно (Тыонг был в этом уверен) носил очень длинные, потому что остальные стриглись коротко, подражая американцам.

Тыонг шел вместе с солдатами и уговаривал их не дремать; они отоспятся во время следующей операции, а на этот раз он тайно договорился с Вьетконгом о том, что стрелять из засады будут только в лентяев, в тех, кто спит на ходу. Когда отряд приблизился к деревне Ап Тхань, он приказал передним произвести разведку огнем и развернуться веером, потому что ему надоело таскать на себе с поля по пять человек вместо одного,— если они не поостерегутся, он, того и гляди, вывихнет себе спину. Бопре услышал, как приказ Тыонга передавался по колонне, и обрадовался: хотя он и считал, что противника в деревне нет, но вьетконговцы так или иначе услышат выстрелы и решат, что правительственные войска вот-вот попадут в приготовленную для них ловушку.

К деревне отряд подходил с оглушительным шумом: стреляли легкие пулеметы, а иногда даже миномет. Андерсон, находившийся в это время в хвосте колонны и вместе с ней свернувший вправо, на открытое поле перед деревней, не понимал, что происходит впереди и почему стреляют. Он не слышал приказа, переданного в голову колонны, и мысленно выругал вьетнамцев за то, что они ничего ему не сообщили. Он был уверен, что они знают что-то, чего не знает он. Он увидел, что солдат перед ним стреляет из автомата, и быстро расстрелял половину обоймы в ближайший куст. Он услышал позади себя стоны и пошел вперед. Чертовски глупо со стороны вьетнамцев не информировать его о происходящем — и чертовски типично, думал он. Стрельба была очень интенсивной, но он не мог разобрать, откуда ведут огонь. Обычно он умел угадывать расположение огневых точек противника по вспышкам,

но на этот раз он, как ни вглядывался в стену леса, ничего обнаружить не мог и пришел в уныние. Все это напоминало ужасающую грозу — казалось, грохот никогда не прекратится, а будет возрастать и нарастать, но вдруг сразу стало заметно тише, а потом, прежде чем Андерсон осознал, что́ произошло, наступила полная тишина.

Когда Андерсон добрался до деревни, голова колонны вступила в нее. Солдаты смеялись и шутили, и сначала Андерсон терялся в догадках, но потом понял, что это была рекогносцировка, и рассердился на вьетнамцев, поставивших его в глупое положение. В этой стране ни от кого нельзя добиться толку. Он поглядел на солдат, ожидая увидеть насмешливые улыбки, но затем сообразил, что они и не подозревали о его раздражении и растерянности и если даже смотрели на него тогда, то думали, что он, как и они, стрелял, а не вел боя, не прятался от пуль. Андерсон почувствовал, что его раздражение проходит, и вспомнил, что вьетнамцы ему нравятся. Он улыбнулся им.

— Сколько людей мы потеряли при взятии этой деревни? — спросил он.— Это была великая битва! — И они засмеялись вместе с ним.

Ап Тхань была крохотной деревушкой — одна из тех, про которые полковник говорил, что найти их можно только на картах Вьетконга. Бопре еще не приходилось видеть здесь таких маленьких деревень: всего несколько хижин, причем как будто давно покинутых. В ней царила полная тишина — и не по контрасту с недавней пальбой, а настоящая, нерушимая тишина. И Бопре, которому нравилось считать, что все вьетнамцы и все вьетнамские деревни одинаковы, был охвачен непривычным чувством. Он видел в этой стране почти все — но не это.

Он спросил Данга, где же депутация от ликующих жителей, но Данг не уловил шутки и сказал, что в этом виноваты коммунисты Вьетконга.

— Вы считаете, что тут была резня, капитан Данг? — спросил Бопре ему в тон.

— Да,— сказал Данг.— «Резня» — это точное слово. Из ваших фильмов об индейцах.— Он казался весьма довольным собой.

Бопре увидел, что Андерсон заговорил с молодым вьетнамским лейтенантом,— наверно, спрашивает, куда девались жители деревни, подумал он и проникся симпатией к вьетнамцам, что случалось с ним редко.

Теперь он чувствовал себя немного лучше и рискнул сесть в тени хижины. Однако и тень не спасала от жары. Наоборот, после того, как он остановился, пот полил с него даже еще сильнее. Бопре решил, что, вернувшись с этой операции (если он вернется), он попробует пить меньше. Какой смысл? Он сумеет воздержаться, и пусть кто-нибудь другой уходит последним из бара. Он сидел, перекатывая во рту воду, и очень гордился тем, что не глотает ее.

И тут они обнаружили старика. Много худых и изможденных стариков перевидал Бопре во Вьетнаме, но таких, как этот, еще не встречал. Его белая одежда была очень чистой. Кем бы ни был этот старый хрыч, но кто-то стирает его одежду, подумал Бопре. Старика случайно обнаружили в одной из хижин. Эту хижину уже один раз обыскивали, но он был такой худой и неподвижный, что его сначала не заметили. Бопре, услышав это объяснение, счел его правдоподобным.

Старика обступили со всех сторон, но обыскивать не стали. Данг решил допросить его сам. Андерсон стоял рядом. Бопре тоже заинтересовался и, подойдя ближе, знаком попросил Андерсона переводить. Данг сказал что-то.

— Данг спрашивает, где все остальные,— шепнул Андерсон.

Взглянув на Данга, старик посмотрел сначала в один конец деревни, потом в другой.

— Все ушли,— ответил он.

Это была констатация факта. С этим нельзя было спорить. И Данг молчал. Потом он начал быстро задавать один вопрос за другим: куда ушли, не спрятал ли он их, где противник, помогает ли он противнику?

Старик помолчал. А потом медленно, с гордостью сказал что-то. Бопре заметил удивление на лицах вьетнамцев. Андерсон перевел:

— Он говорит, что никогда не помогал французам, никогда ничего им не говорил.

Все опешили, даже Бопре.

— Вот черт! — пробормотал он.— Что теперь скажет Данг?

Он заметил, что на лице молодого вьетнамского лейтенанта промелькнула улыбка, но солдаты, если им и было смешно, сумели сохранить серьезность, точно старик произнес клятву в верности правительству. Старик опять что-то сказал, и Андерсон перевел:

— Французы заставляли его говорить, но он молчал. Он не дал французам одурачить себя. Данг говорит, что это хорошо, но та война кончилась, французы ушли.

Старик опять заговорил:

— Он говорит, что никогда не помогал им. Есть свидетели, которые могут подтвердить. О его верности знают. Он рад, что французы ушли. Но он спрашивает, зачем мы здесь, если французы ушли. Сейчас Данг говорит, что есть новый враг, даже хуже французов. Старик спрашивает, говорят ли эти враги на чужом языке, как французы. Данг злится. Он заявил, что они говорят на непонятных чужих языках. Старик говорит, что в таком случае он им тоже не станет помогать, что он никогда не помогал французам: они приходили и задавали ему много вопросов, а он им все врал («Вот этому я верю,— вставил Бопре.— В первый раз за весь день я чему-то поверил»). Когда французы пришли опять, он послал их в такое место, где находились солдаты, похожие на нас, и эти солдаты убили несколько французов. На следующий день французы снова пришли и убили много людей, в том числе его жену и сына. Сам он спрятался, иначе его бы тоже убили. После всего этого он, конечно, не станет им помогать, он очень рад, что они ушли, ему никогда не нравился их язык. Судя по всему, старику не очень-то нравится Данг. Он только что спросил Данга, воевал ли он с французами. Данг ответил, что конечно. Все воевали.

Внезапно, может быть из-за последнего вопроса, Данг оборвал разговор. Но теперь уже хотел говорить старик: он рад приветствовать таких людей, как Данг, и Данг должен выпить с ним чаю; человек, убивший столько французов, должен оказать ему честь и выпить с ним чаю. Данг досадливо отказался, заявив, что его еще ждут дела.

— А,— сказал старик,— надо убивать новых врагов, которые говорят на чужом языке.

Он как будто подмигнул Дангу, а Данг сказал: да, именно так, а чаю они выпьют, когда придут в следующий раз.

Бопре этот диалог сначала забавлял, но теперь он встревожился, опасаясь, что Данг будет испытывать неловкость и предпочтет не отклоняться от намеченного маршрута.

Глава седьмая

Отряд уже собрался оставить деревню, когда Данг подошел к Бопре и сказал:

— Я решил поиграть с коммунистами Вьетконга в их игры. Мы устроим им ловушку.

Бопре молча слушал; он догадывался, что означают эти слова: Данг решил воспользоваться его советом, в последнюю минуту свернуть с заданного маршрута к вспомогательному каналу, а вдоль главного канала послать только разведывательную группу.

— Я решил идти вот здесь.— Данг указал на вспомогательный канал, тянущийся параллельно главному менее чем в полумиле от него.— Если коммунисты Вьетконга на канале Донг Тьен, то они атакуют разведывательную группу. Мы же повернем вот сюда и...— Данг сделал паузу,— я их уничтожу.— Он стукнул кулаком по ладони.— Если же противник на маленьком канале, то я его и там уничтожу.

«Сукин ты сын!» — подумал Бопре и, улыбнувшись от облегчения, похлопал Данга по плечу. Он похвалил план — типичный для всего того, чему капитан Данг учил его в ходе этой войны. Благодаря капитану Дангу противник будет застигнут врасплох, и это ему дорого обойдется. «Сукин ты сын!» — думал он.

Они начали обсуждать подробности. В ложной разведгруппе пойдут восемь человек, минимум с одним автоматом. Им будет дан приказ производить как можно больше шума — они пойдут с транзисторами и будут разговаривать во весь голос. Из деревни они выйдут все вместе, но там отряд потихоньку свернет в сторону, а разведгруппа пойдет дальше вдоль главного канала. План был неплохой, и они быстро обо всем договорились. Но позже, когда они выходили из деревни, Бопре проверил оружие разведгруппы. Оказалось, что она вооружена только карабинами и винтовками «М-1».

— По-моему, здесь какая-то ошибка, капитан Данг,— сказал Бопре.— У разведчиков нет ни одного автомата.

— Тут нет никакой ошибки, капитан Бопре,— сказал Данг.— Я не думаю, что возникнут какие-либо трудности.

— Но им может понадобиться автомат. Если они наткнутся на засаду, им нужно будет продержаться, пока вы обойдете противника и атакуете его, капитан Данг. Я знаю, что вы пойдете быстро, но некоторое время они все равно будут одни.

— Я не думаю, что коммунисты Вьетконга нападут на них,— сказал Данг.— Я не думаю, что была сделана ошибка. Может быть, вы не совсем поняли.

«Нет, я-то все понимаю,— подумал Бопре.— Я уже достаточно давно здесь и как раз это научился понимать. Сайгону не нравится терять автоматы — даже одну штуку, и скрыть такую потерю офицер не может. Про потери в живой силе он может врать, сколько душе угодно, но не про автоматическое оружие».

Он пристально посмотрел на Данга, и ему стало тошно. Он на мгновение пожалел, что ему пришла мысль изменить маршрут и послать разведгруппу.

Каждая война, в которой Бопре приходилось участвовать, всегда ассоциировалась в его сознании с определенным видом смерти. Во вторую мировую войну она представлялась ему снарядом — огромным орудийным снарядом, который поразит его, прежде чем он услышит его вой, а потому нечего и прислушиваться: только в самую последнюю долю секунды раздастся взрыв и, подтвердив все его страхи, разнесет его тело в клочья, оторвет руки и ноги, оставит от него кровавое месиво.

В Корее видение смерти изменилось. Оно стало более эффектным — он переходит линию фронта, его предает агент-двойник, и, взятый в плен в какой-нибудь промерзшей лачуге, он двое суток подвергается допросам; есть ему не дают вовсе, от голода и холода он с каждой минутой теряет силы, пока в конце концов ему не становится все равно, жив он, или нет; а потом пуля в лоб, и никто не придет на выручку, потому что

никто даже не знает, что его нужно выручать. Во Вьетнаме опять все стало по-другому — видение смерти не было таким четким, потому что мысль о смерти не преследовала его так, как в Корее. И оставалась более умозрительной. Картина складывалась постепенно: снайперская пуля — одна-единственная и, в сущности, случайная, потому что стреляют здесь плохо; потом медленное умирание на жаре в течение часа, потому что никто не доставит тебя на медпункт; процесс, мучительный именно из-за медленности, из-за того, что ему предоставлена возможность сознавать, наблюдать и изучать собственную смерть. А потом все это будет расценено как недоразумение, и все будут очень сожалеть, что снайпер не промахнулся и что врач не прибыл,— ведь потом окажется, что рана вовсе не была смертельной; и все это будет названо недоразумением, и его смерть послужит лишним поводом обругать бездарность этой страны. Но ругать ее будут другие.

Бопре включил рацию и, тщательно закодировав свою просьбу, попросил поддержки авиацией. Дежурный по КП явно улыбнулся, и его удивление прозвучало в приемнике. Ведь в баре Бопре был первым, кто издевался над военно-воздушными силами, осыпал летчиков насмешками, называл их чистоплюями, сравнивал с кинозвездами; у них, заявлял он ироническим голосом, самые красивые полковники и генералы (даже красивее, чем в морской пехоте); их генералы смахивают на лейтенантов с посеребренными висками — так свежа и молода их кожа. И теперь радио донесло до него удивление и улыбку дежурного по КП: «Вам понадобилась помощь чистоплюев!» Мысленно расшифровывая закодированные фразы, Бопре понял, что «Т-28» не готовы к вылету.

— Завтра будет уже поздно,— сказал он.

— Вы у нас не единственный,— сказал дежурный.— И вас еще даже не обстреляли.

— Ну, этот недосмотр скоро будет исправлен,— сказал Бопре.

— Я ничего не могу обещать.

— Попытайтесь сделать что-нибудь до наступления ночи. Ради старой дружбы.

— Послушайте,— сказал дежурный.— Не надо со мной так разговаривать. Это не от меня зависит. Не я здесь распоряжаюсь. Будь они у меня, вы бы их получили. Но у меня их нет. Я и так делаю все, что могу. Когда получу, вам первому скажу. А дать то, чего у меня нет, я не могу. Здесь тоже не так легко. По-вашему, хуже, чем у вас там, и быть не может.

— Вот именно,— сказал Бопре.— Хуже, чем у меня тут, и быть не может.

Бопре оглянулся на солдат: они шли хорошо и соблюдали тишину, как им было приказано. Против обыкновения, он был ими почти доволен. Против обыкновения, они казались серьезными. Может быть, они не меньше его думают о смерти; может быть, им не хочется умирать, как и ему. Бопре шел почти в голове колонны, и его охватила тревога, когда отряд вышел на относительно открытое место.

Первая очередь ударила позади Бопре и скосила пятнадцать человек. Первой мыслью Бопре было: это случилось; а потом он осознал, что все еще жив. Он услышал сзади себя стоны и новую очередь, на этот раз очень длинную, точно палец стрелка прилип к спуску и никак не мог от него оторваться. Бопре лежал, но не отстреливался — он просто лежал живой, пытаясь разобраться в том, что происходило, пытаясь перевести дух и пытаясь остаться в живых. Все произошло так быстро

(хотя он и знал, что это может случиться, он почти ждал этого), что он не помнил даже, как выглядела местность до того, как это началось. Они шли вдоль канала и еще не добрались до места слияния. Справа были густые заросли, а канал был слева. Бопре оглянулся, и по разбросанным телам увидел, что убитых много. Уцелевшие солдаты, казалось, совсем растерялись, и он не мог понять, почему возникла такая неразбериха, почему никто не командует. Должен же кто-то командовать. Он еще раз посмотрел, как лежат солдаты, и решил, что удар был нанесен в середину колонны, а не в голову; они рассчитывали снять офицеров, офицеры правительственных войск редко ходят в голове колонн. Вот почему он остался жив.

Главная огневая точка — то есть он считал ее главной — снова ожила. Она находилась слева, на другом берегу канала, ярдах в пятидесяти от них, а может быть и ближе. Ответного огня все не было. Бопре поглядел туда, где должен был находиться хвост колонны, и понял, что были даны одновременно две очереди: несколько поодаль лежала еще одна группа мертвых тел; и потрясенному Бопре показалось, что среди них как будто лежит и тело американца.

Сначала следовало понять, каким оружием пользуется противник. Во-первых, легкий пулемет, в этом можно было не сомневаться. Он прислушался, бьет ли и второй пулемет, но пришел к заключению, что стрельба где-то впереди ведется из автомата. Пулеметчик стрелял длинными очередями, и Бопре сразу подумал, что вьетконговцы очень уверены в себе, если так неэкономно расходуют патроны. Обычно они ведут себя как инструкторы на полигоне — стреляют короткими очередями и не бросаются патронами зря.

Позади него лежали вьетнамцы. Они смотрели на него, словно ожидая, что он скажет им, где и когда они умрут — там, где лежат, или на несколько ярдов дальше; сейчас или через десять минут. Он почувствовал, что они видят в нем своего неофициального командира. Он не знал, жив Данг или убит, но это, видимо, уже не имело значения. Командовать Данг во всяком случае не мог.

Бопре прополз несколько ярдов до более укрытого места, достал гранату и, выдернув чеку, метнул ее. Граната упала на другом берегу канала, далеко не долетев до цели, но все же это был ответный огонь. Он взял свой автомат, прицелился примерно туда, где находился пулемет, и, дав короткую очередь, отполз в сторону. Немедленно раздалась новая пулеметная очередь, гораздо длиннее и увереннее, чем его. Он почувствовал, что вьетнамцы еще смотрят на него и чего-то ждут. Он хотел им крикнуть, чтобы они открыли огонь, но не знал, как отдать эту команду по-вьетнамски. Но, может быть, если он будет стрелять, то и они в конце концов последуют его примеру. Позади себя он все еще слышал стоны и хрипы умирающих вьетнамцев; однако они с каждой минутой становились тише. Когда он только приехал сюда, его уверяли, что вьетнамцы не похожи на американцев, что они умирают молча, но это было неверно: они умирали, как все. Он не увидел Данга и молодого вьетнамского лейтенанта и не знал, что с ними, но тишина вокруг подтверждала смерть Андерсона. Андерсон в первую очередь был бесстрашен и агрессивен: он уже расстрелял бы несколько обойм, он ободрял бы солдат, и его голос, остававшийся голосом выпускника Уэст-Пойнта, даже когда он говорил по-вьетнамски, гремел бы над тропой.

Бопре дал еще очередь и, обернувшись, жестом приказал вьетнамцу с автоматом подползти ближе. Он снова убедился, что хотя они и не стреляли, а лежали, прижавшись к земле, тем не менее они внимательно следили за ним. «Они хотят жить, мы все хотим жить,— подумал он.— И они будут делать то, что я им велю». Вьетнамец действительно пополз. Снова раздалась длинная пулеметная очередь — недолет.

Бопре не знал языка и полагался только на жесты. Он сделал солдату знак, что хочет поговорить с капитаном Дангом, а потом вернется (это и было самое главное), а они пока должны стрелять. Он поймал взгляд другого солдата и знаками объяснил, что ему надо отползти на несколько ярдов к дереву и оттуда вести огонь; когда вьетнамец занял нужную позицию, Бопре утвердительно закивал, и вьетнамец широко улыбнулся. «О господи! — подумал Бопре.— Они даже здесь улыбаются». Оба вьетнамца открыли огонь. Бопре пополз назад, а они (о, чудо!) начали прикрывать его. Он полз, испытывая страх и, как ни странно, трезвое спокойствие. Только сейчас он сообразил, что вьетконговцы слишком надежно укрылись на том берегу канала и их огню не хватает настильности — вот почему оказалось возможным передвигаться ползком. Это их просчет. Слава богу, враг тоже не безупречен, он, как и мы, тоже не хочет умирать.

Прислушиваясь к неутихающей перестрелке, он добрался до того места, куда ударила первая пулеметная очередь. Там лежали трупы вьетнамцев. Они валялись как попало, словно чья-то гигантская рука бросила их, как игральные кости. Бопре вдруг понял, что не помнит никого из них в лицо и не знает их имен. Ближайший к нему сосал сахарный тростник, и стебель все еще торчал у него изо рта. У лежащего рядом оторвало часть лица — очередь прошила его через шею и подбородок. Бопре подумал, что прицел был слишком высок. Иначе вышло бы еще хуже. Один солдат лежал на боку, протянув руку ладонью вверх, точно молясь; другой лежал ничком, в безмолвии закрыв глаза, но из его транзистора лилась их тягучая музыка — либо он включил его, умирая, либо держал включенным все время, несмотря на приказ о звукомаскировке.

Бопре пополз дальше. Теперь он увидел Андерсона. Когда в него попали пули, он повернулся и упал навзничь. Его рот был полуоткрыт. Пули попали ему в шею и грудь. Бопре поискал глазами капитана Данга, но не увидел его. Черт его дери, он же должен был идти здесь, недалеко от середины колонны. Бопре снова огляделся и тут заметил в нескольких шагах от себя Данга. Данг сидел совершенно неподвижно — по-видимому, он был ранен в ноги и оцепенел от шока, хотя раны вряд ли были серьезными. Бопре вдруг почувствовал, что ему очень нужен молодой вьетнамский лейтенант. Тыонг его зовут. Он огляделся и обругал лейтенанта. Конечно, тоже очумел от страха — все они такие. Он решил подождать одну-две минуты, а потом, если понадобится, отправиться на поиски лейтенанта. И тут он увидел Тыонга, который медленно полз к нему.

Бопре сказал Тыонгу, что Андерсон убит, и добавил:

— А от капитана Данга толку ровно столько же.

Лейтенант мягко сказал, что капитан Данг воюет в этой войне очень долго. Этот тихий, спокойный ответ в момент, когда они прижимались к земле, спасаясь от пуль, тронул Бопре. Лейтенант добавил:

— Простите, капитан, но я не думаю, что нам будет оказана помощь.

Бопре снял с Андерсона рацию и связался к КП. Дежурный уже получил от вьетнамцев сообщение о засаде и считал, что Бопре и Андерсон оба убиты.

— Я пока жив,— сказал Бопре.

— Мы чертовски этому рады,— сказал дежурный.— Оставайтесь там, слышите. Мы скоро пришлем помощь.

— Помощь нужна немедленно. Что вы можете прислать?

— Вертолеты вылетели полчаса назад обратно в Сок Транг и вряд ли вернутся. Бо́льшая часть резерва уже введена в бой, причем Ко опа-

сается еще более крупной засады. Он очень нервничает,— сказал дежурный.

— Соврите ему что-нибудь.

— Потери тяжелые?

— Не знаю. Впрочем, тяжелые. У меня тяжелые. Неужели вы ничего не можете прислать? А «Т-28»?

Дежурный объяснил, что у одного из самолетов забарахлил мотор и они оба улетели в Бьен Хоа.

— Пришлите один,— сказал Бопре.

— Они любят летать попарно,— сказал дежурный.— Они не любят одиночных полетов. Военно-воздушные силы относятся к этому очень болезненно.

— И я к этому отношусь болезненно,— сказал Бопре.

Наступила пауза, а потом дежурный спросил:

— Продержитесь?

— Сообщу вам позднее,— сказал Бопре.

— Послушайте,— сказал дежурный,— если я был резок, то извините. Это вышло случайно. Я знаю, каково вам сейчас. Договорились?

— Договорились,— сказал Бопре.— Я понимаю.

«Черт подери,— подумал он.— Они и вправду поставили на мне крест. Ему хочется очистить совесть».

Бопре прислушался и услышал только очереди коммунистов.

— Прикажите им открыть огонь! — взвизгнул он, обращаясь к лейтенанту.— Неужели вы не можете заставить их сделать даже это? Что они за люди, черт их дери!

Возможно, Бопре ошибся, но ему показалось, что он уловил на лице лейтенанта сочувствие. Возможно, он слишком явно выдал свой собственный страх.

— Я тоже не хочу умереть здесь, капитан,— сказал лейтенант.

Когда началась стрельба, Тыонг шел в хвосте колонны. Он упал на землю и перекатился за деревья, еще не зная, могут ли они послужить укрытием, но ему не удавалось определить, откуда стреляют, и он хотел только одного: распластаться на земле. Сообразив, что нападению подверглась голова колонны, он начал медленно ползти туда. Так он добрался до радиста. Рация все еще работала, но радист не двигался. Тыонг подполз, взял рацию и повернул налево за деревья, потому что где-то рядом просвистели пули.

— Мы попали в засаду, мы попали в засаду,— сказал он.

— Вы уверены? — спросили из штаба.

— Да,— сказал он бесстрастно.— Я уверен. Мы попали в засаду. Потери тяжелые.

Его голос был слишком спокоен, почти равнодушен. Дежурный его не узнал — Тыонг редко разговаривал по радио.

— А где Нгуен? — спросил дежурный про радиста.

— Нгуен убит,— ответил Тыонг, не зная, насколько его слова соответствовали истине. Он ведь даже не пощупал пульс.

По радио назвали пароль, и Тыонг растерялся. Он редко пользовался рацией и забыл отзыв. В конце концов он все-таки его припомнил, а затем сказал:

— Мы не вьетконговцы. Мы не вьетконговцы. Но мы попали в засаду.

— Мы хотели удостовериться,— сказал дежурный, а потом попросил подождать.

Вскоре он передал от имени Ко и начальника провинции, что они ничем не могут им помочь,— пусть остаются на месте, поскольку амe-

риканцы сделали глупость, отправив вертолеты на базу, а их истребители, по обыкновению, бездействуют. Надо оставаться на месте и ждать развития событий. Может быть, нужна артиллерийская поддержка? Начальник провинции проверил — они находятся в радиусе действия батарей.

— Нет,— ответил Тыонг, испугавшись.— Не надо артиллерии. Поблагодарите начальника провинции.

Начальник провинции, подумал он, любит обстреливать из своих орудий всю местность, но мы не окопались, а вьетконговцы окопались.

— Хорошо,— сказал дежурный и опять попросил подождать. Вернувшись, он сказал, что начальник провинции просил лейтенанта передать капитану Дангу, что он питает к капитану Дангу самое горячее уважение и восхищение, и напомнить ему, что орудий у них очень много.

— Отлично,— сказал Тыонг и, передав рацию солдату, вернулся в хвост колонны.

Стрельба все еще была очень интенсивной, но доносилась она не с тыла, и это его тревожило. Он отобрал двух человек, которые ничего не делали (это было просто, так как они все ничего не делали),— одного с автоматом и другого с карабином — и, отведя их в самый конец колонны, приказал им смотреть в оба. Что бы ни происходило в голове колонны, они не должны оборачиваться. Это приказ, а если их заколют в спину, он, Тыонг, берет ответственность на себя, а они будут Героями Республики, если кто-нибудь останется в живых, чтобы представить их к награде. Оба солдата кивнули. Тыонг был уверен, что, защищаясь, они будут драться хорошо. Во всяком случае, если им зайдут в тыл, отряд теперь будет предупрежден за несколько минут. Обеспечив таким образом тыл, он пополз обратно к центру колонны.

Его удивляло, что он больше не испытывал страха. Он словно предвидел именно эту засаду, и то, что солдаты не будут отвечать на огонь противника, и то, что отряд останется без командира. Он давно ожидал чего-то подобного — собственно говоря, до сих пор ему просто отчаянно везло, слишком часто им удавалось избежать опасности, слишком много других подразделений попадало в засады и гибло в то время, как его собственная рота отделывалась легкими потерями. Казалось, он смотрит на войну со стороны, как зритель, а не участвует в ней. Честно говоря, когда началась стрельба, его второй мыслью было переправиться через канал и дезертировать. Он же с самого начала наблюдал, как удивительно глупо развертывалась эта операция — этап за этапом, глупость за глупостью. Они шли прямо в приготовленную для них ловушку, и теперь ловушка захлопнулась.

Он полз к середине колонны, все больше углубляясь в зону обстрела и двигаясь все медленней. Он различил очереди из пулемета и из автомата и предположил, что они должны подкреплять винтовочные залпы. Его удивляло, почему засада ограничилась только этим и не открыла сразу огонь из автоматов; и он с беспокойством думал: когда же вьетконговцы ударят в полную силу? Наконец Тыонг добрался до того места, по которому били пулемет и автомат противника, заставляя его солдат прижиматься к земле. Он полз вперед дюйм за дюймом, каждую секунду ожидая пулю. Он уже понял, что хвост колонны пострадал не очень сильно, но теперь он увидел перед собой лежавшие вповалку трупы, и к горлу у него подступила тошнота. Он увидел тех, кто был жив,— они пытались укрыться за еле заметными неровностями почвы, на их лицах были написаны страх и растерянность, и они старательно избегали взгляда лейтенанта. В эту минуту впереди раздались ответные выстрелы, и он решил, что, скорее всего, это толстый американец. Он прополз мимо двух солдат, скорчившихся за деревом. Он крикнул, чтобы

они стреляли, но они не пошевелились. Тогда он повторил свое распоряжение тоном приказа, и один из солдат спросил, где капитан Данг.

— Я капитан Данг,— ответил Тыонг.

Он поднял карабин, дважды выстрелил у них над головами и предупредил, что, если они не начнут стрелять сейчас же, остальную обойму он выпустит в них. Подкрепляя слово делом, он выстрелил еще раз — в землю у их лиц. И они начали стрелять так злобно, как будто, стреляя через канал, на самом деле стреляют в него, но постепенно они вошли в ритм. Тыонг обнаружил, что он уже больше не зритель, а участник; он принимал решения, он хотел жить и убивать.

Он почти достиг центра колонны, где было больше всего потерь. Тут все еще слышались тихие приглушенные стоны, точно музыкальный фон для очередей вьетконговцев и отдельных ответных выстрелов. Он увидел перед собой тела шестерых молодых солдат. Одних он знал, других — нет. Среди них оказался солдат, у которого он утром проверял медицинскую сумку. И тут же он осознал, что нынешний вечер, если только они вернутся в Мито, будет одним из тех ужасных вечеров, когда их опередит весть, сообщенная по живому телеграфу, и у госпиталя соберется огромная толпа жен, которые придут, чтобы стать вдовами, придут причитать и просить тела погибших и будут причитать, даже если их мужья остались живы. Почти все будут стоять с детьми — по пятеро-шестеро детей у каждой,— будут стоять шумной, но терпеливой толпой. Они прождут всю ночь, и когда наступит утро, они все еще будут стоять у входа в приемную батальонного командира, стоять и ждать, чтобы им объяснили их будущее: что с ними будет теперь, куда им идти, как жить. Вот эту обязанность Данг всегда очень охотно передает ему, и он будет объяснять, то и дело умолкая, чтобы дать утихнуть их слезам и воплям, что будущее их, собственно говоря, не предусмотрено, что им следует разойтись по домам и что им причитаются кое-какие деньги, однако, если уж быть совсем честным, деньги эти иногда запаздывали, и он знал, что маленькое пособие, когда наконец оно будет получено, все уйдет на оплату долгов. Торговцы сразу поймут, кто — жена, а кто — вдова и кому какой предоставить кредит. Торговцы сталкиваются со всем этим часто, и глаз у них наметанный.

Продолжая ползти, Тыонг увидел сбоку трех солдат, которые были живы, хотя, возможно, и ранены,— они сидели неподвижно, парализованные шоком.

— Стреляйте! — крикнул он.— Стреляйте, а то придется вам лежать вместе вот с этими. Они были вашими товарищами. Разве вам это безразлично? Безразлично? Что вы за люди?

Впереди толстый американский капитан стоял на коленях возле трупа — по-видимому, молодого американца. Тыонг немного было успокоился, когда впереди раздались выстрелы: во всяком случае, американец заставил их стрелять. Но теперь, когда он увидел лицо капитана, уверенность пропала. По лицу капитана струился пот, его глаза остекленели, голос был визгливым и сиплым. И он кричал на Тыонга. Тыонг не мешал капитану кричать несколько минут, как ему показалось («Эти сукины дети не хотят отстреливаться, неужели вы не можете с ними сладить, не можете заставить их драться; проклятый Данг сбежал; проклятая армия, проклятая страна!»), а потом попробовал успокоить человека, который теперь заменял командира. Он старался внушить Бопре веру в солдат и заставить его забыть о Данге.

— Простите, капитан, — сказал он. — Но я не думаю, что нам будет оказана помощь. По-видимому, мы предоставлены самим себе.

Разведывательная группа с шумом шла вдоль главного канала. Впереди показалась небольшая поляна. И они вышли на поляну — один,

другой и, наконец, все восемь. Они пересекли поляну, весело переговариваясь, и уже почти достигли зарослей, когда вьетконговцы, терпеливо выжидавшие появления остальных, наконец открыли огонь. Огонь был убийственный, рассчитанный на большой отряд, — по разведчикам били три пулемета и еще автоматы, предназначенные для уничтожения всей роты, вместо которой на поляну вышло восемь человек. Пятеро из них были убиты наповал, одного ранило, а остальные двое, потеряв голову от страха, присели на корточки, даже не попытавшись как следует укрыться, и сидели так, пока из кустов не появились вьетконговцы. (Это произошло только через несколько минут, так как командир отряда не сразу отдал приказ взять пленных и трофеи, опасаясь ловушки и ответного удара.) Наконец приказ был отдан, и вьетконговцы вылезли из канала — они находились так близко от тропы, что были бы сами уничтожены, если бы допустили малейший просчет.

Бопре показалось, что стрельба вьетконговцев на малом канале как будто стихает, но тут же раздалась бешеная пальба, которая могла означать только атаку и конец всего. Он заметил, как вздрогнул Тыонг. Затем оба они поняли, что стреляют не здесь, а где-то на главном канале — что стреляют по разведывательной группе. Огонь был очень интенсивный, но ответных выстрелов не было слышно. Потом вдруг все стихло, и они оба решили, что все восемь убиты, — иначе быть не могло.

Бопре снова взял рацию, и дежурный по КП ответил, полный дружелюбного участия:

— Будьте спокойны, мы что-нибудь придумаем. Оставайтесь на месте, старина, мы что-нибудь придумаем. Мы только что разговаривали с Бьен Хоа и добьемся этого для вас, будьте спокойны.

Бопре начал торопить его и выслушал выговор:

— Мы не можем выслать их быстрее, чем получим сами. Они за вами, и ваша очередь первая. Это уже точно, так что ждите. И захватите нам пару пленных.

Противник продолжал вести огонь, но теперь отвечали и их солдаты. Лейтенант, который как будто успокоился, вернулся и сообщил, что минометный расчет был убит первой же очередью.

— От минометов тут все равно толку никакого,— сказал Бопре.

Он прополз обратно к центру смерти, разыскивая оружие. Наткнувшись на новый гранатомет, он решил взять его. Бопре ненавидел всякие новинки, ненавидел вертолеты, но гранатомет он взял, прикинув, что эта штука может пригодиться. Ему не сразу удалось высвободить гранатомет из-под тела убитого вьетнамца. Он собрал снаряды — сколько мог унести,— взял еще карабин и пополз назад к лейтенанту. Он отдал Тыонгу карабин и автомат и попросил подыскать ему хорошего солдата. Слово «хороший» он произнес с ударением.

Тыонг сделал знак коренастому усатому капралу — наверно, из местных, подумал Бопре. Он объяснил свой план. Им известны две огневые точки противника: пулемет на том берегу канала и автомат где-то впереди, на их берегу. Лейтенант с группой солдат будет вести интенсивный огонь, а он проберется в голову колонны. После этого лейтенант возьмет одного-двух человек, незаметно переправится через канал и проверит тот берег — он, черт побери, не хочет попадать под огонь какого-нибудь снайпера, еще не обнаружившего себя.

— С вашего разрешения,— сказал лейтенант,— мы перед переправой бросим в канал несколько гранат — иногда они прячутся под берегом — и перебьем их, как рыб.

Бопре кивнул. Он был доволен.

Махнув усатому вьетнамцу, Бопре медленно, очень медленно пополз к голове колонны. Когда он прополз примерно половину пути (между трупами по крови и грязи), снова ударил пулемет — так близко, что Бопре решил: конец. Но пули легли сзади, и он оглянулся как раз в ту секунду, когда ранило капрала. Вьетнамец дернулся всем телом и замер, а потом снова пополз. «Прекрасный солдат»,— подумал Бопре. Они оба продолжали ползти к голове колонны. Бопре знаками спросил капрала, целы ли у него ноги, и тот засмеялся. Когда Бопре наконец добрался до цели, он вдруг понял, что ничем не прикрыт,— и замер. Улыбка на лице капрала сменилась растерянностью, и это заставило Бопре очнуться: солдат не знал, зачем они сюда пробирались, они все полагались на него, и Бопре вспомнил, что его дело — не замирать от страха, а командовать. Он взялся за гранатомет.

Тыонг отполз от Бопре и двинулся дальше в поисках укрытия, где бы он мог собрать свою группу. Он прополз мимо Андерсона, но потом медленно повернулся и, хотя это место было более открытое, возвратился к мертвому американцу. Среди других мертвецов Андерсон выглядел точно взрослый среди детей. Тыонг несколько секунд смотрел на американца, не испытывая ни малейшей грусти: это справедливо — пусть и они расплачиваются, пусть и их люди погибают. Но он тотчас опомнился, и ему стало стыдно. Протянув руку, он закрыл американцу глаза, а потом, неожиданно для себя, прочел старую буддийскую заупокойную молитву: американец так хотел стать своим в этой стране, приобщиться к ней — и это было последнее приобщение. Потом Тыонг отполз в более укрытое место и начал снова стрелять во вьетконговцев.

Страх Бопре еще не прошел, но тут прогремела новая очередь. Бопре опять остался цел, и к нему вернулось спокойствие. Где-то сзади стреляли их солдаты — Бопре даже удивился, насколько ровно и непрерывно. Он взял гранатомет и пожалел, что так ругал все эти новшества: чем болтать, куда полезнее было бы научиться стрелять из них. Ролстону гранатометы нравились, и он говорил, что они похожи на дробовики. Бопре откинул вниз приклад, как у дробовика. Пока все шло хорошо. Он запомнил один совет Ролстона: «Не стреляйте прямо в цель — лучше стрелять с небольшим недолетом, тогда осколки делают свое дело наиболее эффективно». Бопре разложил перед собой восемь гранат, похожих на длинные пули. Он решил, что в такой обстановке фактор неожиданности может сыграть значительную роль: значит, надо постараться создать у противника впечатление, будто огонь ведется из полуавтоматического оружия. Он не сомневался, что вьетконговцы еще не видели гранатомета в действии. Гранатометы появились в этой стране совсем недавно, и можно было рассчитывать на психологический эффект. Он пришел к выводу, что вьетконговцев тут мало, иначе от них уже давно ничего не осталось бы. Несомненно, они наткнулись на фланговое охранение основной засады, выставленное на случай обходного маневра.

Бопре навел гранатомет на группу деревьев немного сбоку и впереди от того места, где, по его расчетам, находилась пулеметная точка. Он мысленно представил себе цель, чтобы затем стрелять по интуиции, не тратя лишнего времени. Он встал, держа гранатомет, и выстрелил чуть ближе цели; затем несколько томительных секунд спустя пальцами, непослушными от страха, он снова нажал на спуск и услышал, как рвутся одна за другой гранаты. Почувствовав себя уверенней, он выстрелил опять, на этот раз прицелившись чуть правее. Позади себя он услышал усилившийся шум (или просто теперь он слышал лучше?) и почувствовал, что вьетнамцы берутся за дело. Страх его стал спадать, паль-

цы задвигались увереннее, и он выпустил по цели еще две гранаты. Страх почти совсем прошел, и он мысленно сказал «спасибо» технике и Макнамаре.

Он знал, что ему повезло: гранаты взорвались примерно там, где он хотел. Он был уверен, что противник понес потери, но не сомневался, что в живых еще остались люди, способные стрелять. Он выпустил новую гранату, на случай, если бы кто-то попробовал подняться на ноги. Он был уверен, что вьетконговцы не собирались вести открытый бой. Они хотели устроить здесь засаду и убивать, убивать безнаказанно. Они тоже, как все прочие, хотели получать, ничего не давая взамен, но, столкнувшись с новым опасным оружием, будут теперь очень осторожны.

Позади него солдаты стреляли регулярно и безбоязненно. Не было уже никакой паники.

Пулемет противника замолчал. Когда Бопре стрелял из гранатомета, пулемет еще действовал, но теперь он молчал. Автомат впереди еще стрелял, однако Бопре был спокоен: там услышат, что пулемет прекратил огонь, и изменят тактику.

Он все еще не знал, где находится эта точка. Канал впереди сворачивал немного вправо. Следовательно, они не могут быть у самого берега: канал — плохой путь для отступления, так как в воде их легко забросать гранатами. Нет, вьетконговцы попробуют отойти по суше, решил он. В сопровождении усатого вьетнамца Бопре пополз дальше, стараясь определить, в каком месте могли засесть вьетконговцы. Примерно в пятидесяти ярдах впереди виднелись густые кусты. Местность мало подходила для контрзасады; будь у него в распоряжении американские солдаты, еще можно было бы попробовать, но с вьетнамцами ничего не выйдет. Он выпустил по гранате в левый и правый край кустов и прислушался к взрывам. Ему показалось, что второй взрыв прозвучал глуше, чем первый, и до него как будто донесся сдавленный стон, словно чей-то проглоченный вопль, только чуть-чуть вырвавшийся наружу. Он снова выстрелил в правый край кустов. Потом, отложив гранатомет, взял автомат и связку ручных гранат. Махнул усатому вьетнамцу, и они поползли к кустарнику. Вьетнамец полз слева и немного впереди, а Бопре прикрывал огнем его и себя. Это отнимало много времени и сил, и Бопре устал от невероятного напряжения. Во рту было сухо, но не так, как прежде — не от жары (о жаре он забыл), а от страха. Он устал, и ему все опротивело. Ему хотелось встать во весь рост и пойти прямо на кусты. Но это было бы глупо — так воюют только в кино. И Бопре продолжал ползти. Из кустов никто не стрелял. Когда до них оставалось только двадцать ярдов, Бопре сделал вьетнамцу знак остановиться и бросил гранату. Немного подождал, а затем — потому что был стар и боялся — бросил еще одну. После этого они с вьетнамцем медленно поднялись и пошли к кустам. Ни людей, ни оружия они там не нашли — только небольшое кровавое пятно. Бопре оставил капрала на месте, а сам прошел еще шагов десять вперед и, раздвинув ветки, вдруг увидел перед собой противника — солдата в черных шортах, без рубашки. Они уставились друг на друга в полном изумлении. Их разделяло не более пятнадцати ярдов, и в это мгновение Бопре увидел карабин возле солдата, увидел огромную рваную рану на ноге, увидел, как он жалок и изможден («Вот такие сволочи и делают все это,— подумал он,— вот такие проклятые заморыши»), увидел страх, появившийся на лице врага, поднял автомат и расстрелял в солдата всю обойму.

Бопре решил, что война на сегодня окончена. Он разогнул спину и тяжело перевел дух. У него пересохло в горле, сердце бешено колотилось. Оставив капрала в кустах, он вернулся к отряду и жестами по-

слал еще трех солдат, велев им обыскать кусты. Он стоял, смотрел через канал и ждал. Наконец он увидел молодого вьетнамского лейтенанта и крикнул, чтобы он еще пошарил на том берегу. Лейтенант поднял вверх оба больших пальца. Бопре сначала не понял, но потом широко улыбнулся и сделал то же. «Валяй, старик, задай им перцу»,— подумал он.

Он вернулся к рации и вызвал КП. Дежурный заговорил таким бодрым тоном, что Бопре подумал, не нарвался ли он по ошибке на радиоконференс. Бопре сообщил, что вьетконговцы, по его мнению, ушли и сегодня больше не вернутся. Дежурный спросил, сколько вьетконговцев он уничтожил, пояснив почти виноватым тоном, что Сайгон торопит с цифрами: Бопре, конечно, понимает, день был тяжелый и им важен итог. Бопре подумал и сказал, что убил одного-двух человек. Дежурный спросил: двух или не двух?

— Передайте им: одного-двух,— упрямо повторил Бопре.— Пусть заведут новую графу.

— Да-да,— сказал дежурный.— Я понимаю.

Он попросил Бопре подождать минуту и вскоре объявил прежним бодрым тоном, что они только что разговаривали с Бьен Хоа и самолеты отправлены. Они уже в пути. Ему ведь нужны самолеты. В Бьен Хоа сожалеют, что не могли отправить их раньше, но теперь они в его распоряжении.

— Мне они не нужны,— ответил Бопре,— но я знаю, куда их нужно послать.

— Куда?

Он сообщил координаты того места на главном канале, где погибла разведывательная группа.

— У вас там есть наблюдатели?

— Нет. Теперь уже нет.

— Куда же вы хотите, чтоб мы их послали? — спросил дежурный.

— Я хочу, чтобы они пролетели над всей этой проклятой местностью. Там, где нас хотели подкараулить, и севернее. Они, наверное, уходят на север. Скажите летчикам, чтобы они уничтожили все, что движется — в белых пижамах, в черных пижамах, совсем без пижам. Пусть убивают без разбора. Я отвечаю.

— Хорошо,— сказал дежурный.— Раз вам так хочется.

Позади него суетились вьетнамцы. Он подошел к телу Андерсона, снял с него флягу и отхлебнул большой глоток воды. Потом просмотрел его документы. Оказывается, ему было двадцать пять лет, хотя он всегда говорил, что ему двадцать семь. Членский билет какого-то клуба выпускников Уэст-Пойнта. Фотография жены — молоденькой миловидной женщины, так раздражавшей Бопре. Письмо жены, оканчивающееся словами: «...Целую тебя крепко-крепко. Я так счастлива, что я твоя жена, хоть ты и не со мной сейчас. Я чувствую себя счастливей всех остальных женщин, хотя их мужья с ними». Бопре сложил письмо и сунул себе в карман. Ему было немного стыдно, потому что он завидовал только порядочности Андерсона, его несчастной порядочности. Он сел и прислонился спиной к дереву. Кора под его лопатками была изжевана пулеметными пулями. Повернув голову, он увидел, что к нему идет молодой вьетнамский лейтенант. Его лицо как-то странно морщилось — Бопре вдруг сообразил, что морщится он от боли, и впервые заметил его прихрамывающую походку. Тыонг подошел и сел рядом — никогда прежде он этого не делал.

— Ранены? — спросил Бопре.— Дайте-ка, я погляжу.

— Нет,— сказал Тыонг.— Я наступил на ловушку с колышком. По глупости.

— В следующий раз будьте осторожней,— сказал Бопре.

— Да, в следующий раз нам всем следует быть осторожнее.

Они просидели рядом несколько минут. После боя, как и в разгар боя, время трудно определять: пять минут словно пять часов, пять часов — как пять дней. Наконец, Тыонг, уже не думая о том, кто на него смотрит, начал осторожно стаскивать с ноги ботинок. Бопре следил за ним, понимая, какую он испытывает боль. Наконец ботинок был снят. На ступне запеклась кровь. Нога была белая, как у статуи мадонны. Бопре видел, как лейтенант, сжав зубы, надавил на пятку.

— Нам повезло,— сказал Тыонг.— Мы ведь наткнулись только на форпост засады.

— Да,— сказал Бопре.— Нам повезло.

Он продолжал смотреть, как Тыонг очистил рану и снова надел ботинок, потом отошел к солдатам и начал что-то говорить, указывая на трупы.

Сначала живые только смотрели на него — им не хотелось прикасаться к мертвым.

— Сделайте это для них! Это последнее и самое малое, что вы можете для них сделать!

Тыонг кричал, и в конце концов живые начали подбирать мертвых. Они укладывали в ряд тела своих убитых товарищей. И там же положили Андерсона.

В небе появились два «Т-28» и бреющим полетом прошли над главным каналом. Бопре услышал взрывы и зажег лиловую дымовую шашку, чтобы показать свое местонахождение. Самолеты покачали крыльями, давая знать, что сигнал замечен. «Чистоплюи,— подумал Бопре.— Теперь вернутся на базу и станут хвастать, как здорово они воюют».

Тело Андерсона, собственно говоря, должны были нести вьетнамцы, но Бопре, злясь на себя, подошел и взвалил тело на плечо. Форма его покрылась пятнами от крови лейтенанта. Тыонг продолжал кричать на солдат, и они один за другим подобрали мертвых.

Вскоре Тыонг подошел к Бопре и сказал, что солдаты очень озабочены и обеспокоены и просили его поговорить с американцем. Они хотят знать, поедут ли они на грузовиках или им придется добираться домой пешком. Они очень обеспокоены.

— Мы поедем,— сказал Бопре.— Скажите им, чтобы не волновались.

Тело лейтенанта казалось очень тяжелым, и Бопре начал отставать: пусть впереди идет кто-нибудь другой. Вьетнамцы уже снова пошли кое-как — смеялись и болтали. Даже те, кто нес убитых. Одна надежная граната сержанта Шаусса, подумал он, уложит их всех. Он взглянул на часы: скоро два. К трем часам — при удаче — они соединятся с другими отрядами и поедут обратно в Мито. Как все это бессмысленно, думал он. Ни преследования, ни погони. В эту же ночь вьетконговцы перегруппируются и опять будут делать все, что им заблагорассудится. Конечно, он знал, что по уставу противника полагалось преследовать, но ведь вьетнамцев не заставишь. Хорошо хоть, что ему удастся доставить на базу не только мертвых, но и живых. Да и вообще он устал и был рад, что остался в живых, что преследовать противника бессмысленно и что некому принудить его принудить вьетнамцев преследовать врага. Все равно они не найдут вьетконговцев. И ему тоже вовсе не хочется охотиться за ними и ночевать в какой-нибудь деревушке, где без защитной сетки его заживо съедят москиты. Он хочет ночевать в семинарии, и лечь в чистую постель, и ругать себя за то, что они не преследовали противника, и думать о тех восемнадцати месяцах, которые еще осталось ему прослужить до двадцатилетнего срока.

На сегодня война для него кончилась, и он был рад. Ему пришло в голову, что вьетнамский лейтенант Тыонг вел себя очень хорошо, а вот Данга он не видел с начала боя. Сегодня — впервые за все время — он

увидел врага. После всех этих месяцев он наконец увидел одного вражеского солдата. Маленькие люди, а сколько от них шума, подумал он.

Бопре теперь шел медленно — невысокий толстяк, обремененный почти непосильной ношей, но походка у него стала чуть ли не грациозной от того, что приходилось осторожно ступать. Большой Уильям и Андерсон — в один день. Да, вьетконговцы наседают. Он вспомнил, что ему предстоит написать жене лейтенанта, и прикинул, что он ей скажет. Что ее муж был хорошим офицером и беззаветно любил ее, что он умер во время марша в жару... Нет, не так: он погиб в бою, да, именно в бою. Но где? Бопре прикинул. Под Ап Тхань Тхой, сразу за Ап Тхань Тхой, но тут же сообразил, что придумал неудачно: ей было известно, где находится Ап Тхань Тхой.

ПРОПАСТЬ, ПРОПАСТЬ...

Они идут «в восточном направлении». Рота марионеточных солдат и два американских советника — Бопре и Андерсон. Они чертыхаются — про себя и вслух, ищут неуловимого противника, скрывают друг от друга свои слабости, вспоминают подробности иного бытия — сайгонские бары и семьи в Штатах. Лучик писательского фонаря попеременно выхватывает из тьмы четыре лица — вялого, потеющего Бопре, неподкупного Андерсона, труса и жулика Данга и замкнутого, попавшего в сайгонскую армию благодаря странному стечению обстоятельств лейтенанта Тыонга.

Они идут бессмысленно и долго, толком не понимая, куда и зачем, потеют, страдают от жажды и москитов, натыкаются на засаду Вьетконга и теряют половину людей, в том числе и стандартного и образцово-показательного «идеалиста» Андерсона. Вот вкратце все, о чем повествует Дэвид Халберстэм в своем романе «Один очень жаркий день».

Однако с каждой страницей мы все явственнее и четче видим и то, чего как будто нет в романе, все острее чувствуем пропасть между тем, что говорится в стеклянных кабинетах Вашингтона и затем ежедневно повторяется в газетных аншлагах и звучит в динамиках — с одной стороны, и тем, что происходит в душных джунглях — с другой. Еще более чудовищная пропасть — между замыслами людей в кабинетах, их мерками и критериями, их политическим покером и чувствами тех, кто выполняет эти замыслы, кто волею обстоятельств втиснут в засаленную карточную колоду беспринципного политиканства. Кажется, не существует никакого родства между людьми в кабинетах, твердящими о своей «великой миссии», «защите идеалов свободного мира», о необходимости «сдерживания агрессора», о «престиже великой державы», о «свободе», которую их отечество несет на штыках другим народам,— и людьми, потеющими в джунглях. Кажется невероятным, что речи «наверху» все же делают свое дело: замыслы капитанов внешнеполитического бизнеса все-таки — плохо ли, хорошо ли — кто-то осуществляет, неважно, кто он — Бопре, который бежит в джунгли от сложностей в отношениях с женой, или Тыонг, спасающийся от укоров собственной совести и от соблазна действовать в соответствии с ее голосом; Данг, которого привела сюда погоня за наживой и чинами, или Андерсон с его идеей «помочь страдающим вьетнамцам» (благо, он не задумывается над тем, что является источником их страданий!).

Нет, люди в кабинетах занимаются не только демагогией, не только плетут кружева из словесных штампов. Они плетут нечто более серьезное — заговор, в котором волей-неволей будут участвовать и Бопре, и Андерсон, и Тыонг, и Данг. Они делают соучастниками своего преступления всех — от циничного невежды Данга до «идеалиста» Андерсона. В том-то и весь фокус. Трудно сказать, на кого делается основная ставка — на откровенных подонков, на морально сломленных неудачников или на людей, которых пропаганда приучила смотреть лишь в одном направлении, на кото-

рых — непроницаемо черные шоры. Но это и не столь существенно, ибо главная и безошибочная ставка — на то, что и «идеалисты» в шорах, и отъявленные мерзавцы, и неудачники с погашенными сердцами образуют единый и естественный фронт против отдельных «выскочек», «отщепенцев», с донкихотским упрямством тянущихся к истине, если таковые и появятся на сцене. У Дэвида Халберстэма нет в романе носителей подобных «анормальностей». Тем более убедительной оказывается отчетливо нарастающая атмосфера обреченности вокруг его «нормальных» героев, так или иначе готовых выполнять приказы «сверху» и вместе с тем бесконечно далеких от всего, чем руководствуется этот «верх» в своих замыслах.

Мне не раз приходилось беседовать во Вьетнаме с пленными американскими офицерами. Были среди них и такие, которые сознательно выносили за скобки бытия собственные суждения и чувства: приказ есть приказ, можно думать о нем что угодно, но выполнять его — необходимо. Или: да, я думаю иначе, но нельзя же идти против ветра? В глубине души каждый из них сознавал, что делает во Вьетнаме грязное дело, но при этом умудрялся считать лично себя — чистым. Почему? Да потому, что невозможность для каждого «идти не в ногу» предопределена условиями: «хотел накопить денег, чтобы изучать право в Колумбийском университете», «хотел жениться — был без гроша», «хотел обеспечить своих детей».

Может быть, люди эти достойны лишь жалости, может быть, они и в самом деле не несут настоящей ответственности за преступления боссов в кабинетах? Едва ли. Ведь те, кто сознательно превращает себя в «механизм, артикулом предусмотренный», делают это отнюдь не из бескорыстных соображений. И все-таки людей, так или иначе понимающих происходящее, но убежденных в том, что обстоятельства всегда сильнее их, следует, на мой взгляд, отделять от тех, кто позволил надеть на себя шоры. Эти последние — наиболее опасны. Ведь раздвоение первых рано или поздно заставит их отойти от принципа «моя хата с краю», тогда как вторым предстоит еще долгий путь к прозрению.

Халберстэм впрямую не касается этих вопросов. Его герои, кроме, пожалуй, Андерсона, склонны рассматривать войну как плохую погоду, как крест, от которого никуда не уйдешь. Они лишь время от времени восклицают: «Боже, как все бессмысленно!» И все же именно их политическая инертность, их будни красноречивее всего свидетельствуют о пропасти между словом и делом в так называемом «свободном мире».

А что же Андерсон? Человек, которого привел во Вьетнам «зов родины», «гражданский долг», стремление участвовать в «защите братьев, попавших в беду», убежденный, что выполняет «благородную миссию», а не грязные замыслы Пентагона? В вопиющем несоответствии слов и действительности он видит лишь цепь случайных отклонений от правила, обидных недоразумений. «Вьетнамцы должны нас полюбить, понять, что мы их друзья»,— вот главная мысль «идеалиста». Но постоянные попытки улучшить на практике осуществление предписаний сверху, примирить надоевшую всем пропагандистскую схему с действительностью отталкивают от Андерсона его коллег — как сайгонских, так и вашингтонских, как склонных к пониманию происходящего циников, так и людей, видящих в войне лишь средство достижения карьеры и личного обогащения. Именно поэтому он постоянно натыкается в попытках сблизиться с Бопре и Тыонгом на стену отчуждения.

Андерсон — не «тихий американец» Пайл из знаменитого романа Грина. Эта фигура скорее трагическая, нежели зловещая. Нельзя сказать, чтобы автор относился к Андерсону с резким, ярко выраженным неодобрением. Но именно Андерсон погибает в первом же бою, так и не поняв причину отчуждения коллег, продемонстрировав нелепость своих представлений о Вьетнаме и «освободительной» миссии американцев и не оставив у читателей романа сомнений в своей принадлежности к категории тех нравственно искалеченных людей, с помощью которых, руками которых совершается одно из самых крупных международных преступлений времени.

О войне во Вьетнаме написано немало ярких страниц. Книга Халберстэма — еще одна, и хотя сам Вьетнам с его горем, с его страданиями, с его беспримерным муже-

ством отодвинут в книге на второй план, читатель ни на минуту не забывает о том, что он существует и борется.

Действие романа происходит еще до того, как США начали массовую переброску войск в Южный Вьетнам, приступили к варварским бомбардировкам ДРВ и в газетах замелькало ставшее будничным жуткое словечко «эскалация». Халберстэм рассказывает о периоде, когда американские солдаты и офицеры во Вьетнаме исчислялись десятками, а не сотнями тысяч и назывались «советниками». Не было еще крупных боевых операций, мощных ударов армии Освобождения по военным базам США в городах. Не было боев в Хьюэ, под Данангом, разгрома интервентов под Кхесанем. И не расписались еще в собственном бессилии одержать военную победу над вьетнамскими патриотами правящие круги США. Тем не менее обреченность авантюры Вашингтона была очевидной уже тогда. Она, эта обреченность, проступает чуть ли не в каждой реплике героев, чуть ли не в каждом их жесте.

А. ТЕР-ГРИГОРЯН

ДЖОВАННИ АРПИНО

Тень от холмов

РОМАН

Перевод с итальянского
Г. БРЕЙТБУРДА

Когда идешь, не зная, куда стремишься,
заходишь как никогда далеко.
Гёте. «Максимы»

И зло твое, и все твое добро —
Все породили те мечты, та ярость —
Оттуда все — все, что ты выгадал,
И все, что прогадал.
Умберто Саба. «Средиземноморье»

И повторяются удары и шаги,
И все еще не знаю, кем буду я на
празднике —
Колбасником или начинкой. Как долго
ждать,
И нет конца мечтаньям о тебе.
Эудженио Монтале. «Метель и другое»

Глава первая

Знал: мне все это снится.

Крутой подъем, едва заметная в прибитой траве тропа ведет в гору, то вдруг сворачивая в сторону, то исчезая в тени нависших акаций. Все вокруг излучает счастье, дышит довольством и покоем. Отсюда видно, как по тропе, группами и поодиночке, бредут крупнорогие волы. Грязь еще не обсохла на них; вдали мелькает едва различимая тень, не то лисицы, не то волка, а может, и собаки. Среди высокой сухой травы — легкие пористые конусы муравейников. Солнце еще высоко; в этот предзакатный час его лучи мягки, как шерсть кролика, но что-то тревожное скрыто в однообразной голубизне неба.

Я взбирался по тропе. Чувство полноты жизни, легкости, ясности владело мною. Я упивался своей молодостью и здоровьем, все кругом доставляло мне неизъяснимое наслаждение.

«Давай»,— махал мне рукой Франческо; он стоял на самом верху, у последнего поворота тропы. Франческо не улыбался, но я знал, что он весел. Знал, что все это мне снится, и все же отдавался могучему потоку, который уносил меня к тем далеким временам, к верной, испытанной доброте Франческо.

Я подымался в гору, пил чистый и сочный свет и был уверен: ничто не способно сломать или нарушить невидимую основу моего сна.

«Давай!» — звал меня Франческо.

Он был вооружен, три патронташа, за поясом — ручные гранаты, а из-под мышки высовывался ствол автомата. На боку плотно прижатый к бедру «кольт» — я сразу узнал манящий блеск темного металла,— а за спиной наверняка ручной пулемет, хотя, может, и просто двустволка. Под этим арсеналом едва виднелась выцветшая на солнце, как у заправского охотника, одежда: полосатая рубашка и брюки.

«Давай!» — все звал он меня.

Свет вспыхнувшего во мне счастья воскресил в памяти название этой тропы, этой волнистой гряды холмов — Миллемоске...

Франческо легко отступал, манил меня за собой, все время сохраняя разделявшее нас расстояние.

Я знал: где-то совсем недалеко лес, густая роща — каштаны, тополя, дубки, там мы должны остановиться.

Франческо и в самом деле не то пригнулся, не то присел на корточки в тени лесной опушки. Он наверняка обнаружил голубых зайцев, он всегда находил их в этой роще, и, застыв на месте, они долго разглядывали друг друга, Франческо и зайцы.

Сейчас подойду поближе и тоже увижу голубых зайцев, говорил я себе, и у меня перехватило горло от нахлынувшей вдруг радости: сейчас я подойду, растянусь на земле прямо перед зайцами, и они настороженно, подняв торчком уши, будут посматривать на меня из-за папоротников... Наконец-то! Столько лет ходим мы в Миллемоске по грибы или за каштанами, а я всего-то и видел что пару рыжих лисиц, да и те мигом кинулись наутек...

А Франческо, всецело поглощенный зайцами, уже не звал меня. Только когда я подошел к нему совсем близко и встал за спиной — а небо между тем после заката стало темно-зеленым, покрылось перьями облаков,— он поднялся и рукой указал мне на что-то по ту сторону леса, но это было не Миллемоске, и лес теперь казался лишь живой изгородью, она становилась все реже, реже... За ней стоял маленький, увитый плющом дом, покрытый старой, ржавой крышей,— на него и указывал Франческо.

«Идем!» — жестом позвал он меня.

И я не мог сказать ему: останемся здесь, где зайцы. Меня влекло вслед за ним легкое, тревожное чувство неизвестности, и возможно, в нем была причина переполнявшего меня ликования. Я был не в силах сказать ему: останься.

Теперь я шагал вслед за ним и видел, что на спине у него, поверх ремней портупеи, не двустволка, а настоящий русский автомат, а под мышкой торчит «стен». И все же он легко шагал по тропе в своих веревочных охотничьих туфлях; казалось, его худому телу нипочем весь этот груз железа и свинца.

Дом на самом деле оказался маленьким, приветливым, ярко-зеленый плющ чернел в сером свете холодных сумерек.

Мы подошли к дому. Но, оглянувшись, я не увидел ни тропы Миллемоске, ни знакомых волнистых очертаний холмов. Вокруг расстилалась туманная равнина, а перед домом возникли три огромных кипариса.

Франческо отступил к дому, встал у меня за спиной, неподвижно, точно охотник, подстерегающий шумный взлет куропатки, и я почувствовал, как защищает меня его дружба; он призывал меня взглянуть на уходящие в бесконечную даль вершины кипарисов, пристально вглядеться в их зеленые кроны. Вдруг сверху полились звуки...

И тогда я увидел — не зелень кипарисов, не кроны деревьев, а каскады соловьев, которые перемещались, копошились, множились у меня на глазах и пели, пели, ошалелые от собственного пения...

Я чуть не упал навзничь, оглушенный волной затопившего меня счастья. Я изо всех сил вытягивал шею в тщетной надежде разглядеть вершину этих чудесных деревьев...

Я обернулся, чтоб позвать Франческо, разделить с ним свою радость, но он стоял с автоматом наготове, стоял смертельно бледный; резким движением автомата велел он мне вновь посмотреть на кипарисы.

Нет, не зелень, не соловьи... Кровь бешено застучала в висках, на лбу выступил холодный пот, ужас объял меня: кроны деревьев обернулись мириадами маленьких, зеленоватых, разрушающихся черепов — им несть числа, они мрачно позвякивали, ударяясь друг о друга...

Я закричал, я чувствовал, как этот страшный крик раздирает мой рот,— кричал и Франческо. Я обернулся в надежде на помощь и увидел, что за спиной у Франческо разваливается маленький домик, плющ опадает, обнажая стену, нет, не стену — куски разлагающегося жира, гниющую плоть прокаженных, превратившуюся в зловонное месиво... Вокруг роем вились мухи...

Я знал, что бегу. Я бежал, и у меня под ногами снова была тропа Миллемоске. Кругом царили мрак и пустота, но я безошибочно находил эту тропу, она как будто сама ложилась мне под ноги.

Франческо тоже бежал за мной, я слышал хруст сухой травы под его ногами, слышал, как позвякивало оружие за его спиной... Мы бежали, глаза у нас налились кровью, рты зияли как открытые раны. Не переводя дыхания, мы промчались мимо заброшенной часовни Миллемоске — мы часто заходили туда взглянуть на старые, потускневшие, покрытые пылью фрески. Тени акаций неслись по обе стороны тропы, словно преследуя нас; листва кружилась в безумном черном вихре...

Я ощущал за своей спиной дыхание Франческо, оно подгоняло меня, как хлыст, он что-то кричал, но я не мог разобрать слов...

— Будь проклят, будь проклят...— услышал я наконец его хриплый, надрывный голос.

Напрасно надеялся я, что на бегу Франческо перебросит мне свой автомат и я смогу, прицелившись, пробуравить пулями мчавшийся за мной вдогонку воздух...

Настала ночь.

Я шел по дороге, разделенной посредине резкой границей света и тени. Это была городская улица, хотя свет, заливавший ее, холодный и неподвижный, напоминал свет прожектора, а стены походили на театральные кулисы.

Все было вполне реально, я шагал по городу, я знал этот город. Скоро я увижу огни знакомого перекрестка.

Я шагал, яркий свет широкими белыми полосами падал сверху и слева, слепил меня сбоку. Я шел, прижимаясь к стене, походившей на кулисы, и моя прямая тень шагала рядом со мной, быстрая, как я, четкая, как я.

Но я не мог повернуть голову и взглянуть на нее...

Тень на стене была моей тенью, но она же была и тенью льва. Если я оглянусь на нее, она набросится на меня.

Я старался изловчиться и взглянуть на нее, не поворачивая головы, но это мне не удавалось, тень тоже была настороже, мягко изгибала львиную спину и подрагивала мускулами, в любую минуту готовая к прыжку. Стоило мне вытянуть руку, как выдвигалась вперед и выпускала когти косматая львиная лапа тени. На стене четко вырисовывалась тень моей руки — тень врага.

Я знал: если выдам себя и покажу, что собираюсь бежать, тень льва тотчас же выгнет спину и я услышу дыхание — свое и врага...

Так продолжалось, пока я не дошел до перекрестка и свет не упал мне прямо в глаза...

Я проснулся в холодном поту и лишь после долгой, тревожной паузы стал различать шум дождя на террасе.

«Выйди, выйди наружу»...— убеждал я себя. Но прежде нужно было собраться с силами и прогнать кошмар.

Дождь, наверное, теплый, как обычно в конце грозы, вдали еще сверкали зигзаги молний, пересекая небо; в открытое окно врывалась струя свежего воздуха.

Скорее из комнаты! В горле пересохло, с трудом добравшись до террасы, я повалился в шезлонг.

С соседних террас ветер доносил сухой металлический шелест пальмовых листьев, дождь стучал по крышам. Четкую, волнистую, словно вычерченную линию домов прерывал высокий темный купол церкви. Взглядом вбираю в себя эту картину, она меня окончательно успокаивает. Вспышки молний освещают мокрые от дождя крыши, антенны, зелень по ту сторону стены.

Я вытянул ноги на мокром цементе, ловлю воздух открытым ртом и чувствую, как на меня падают редкие капли дождя. Мне лучше. Впрочем, в последние недели после этих кошмаров мне удавалось довольно быстро прийти в себя.

Хочу пить, но лучше еще немного посидеть неподвижно, полюбоваться очертаниями домов и купола храма Иисуса. Меня тянет к ним, словно пьяницу к вину. Мне нравится каждый раз обнаруживать в них что-то новое — необычный блеск стекла в окне, опрокинутый горшок на террасе напротив, приоткрытую ставню. Если приподняться, то можно даже разглядеть улицу Монтефьоре — ее желтые камни блестят от дождя.

В Риме поздняя, медленная весна. По ночам холодный ветер сменяется бурными дождями, из-за которых необычно малолюдно даже в этих, всегда шумных, переулках Трастевере.

Должно быть, уже очень поздно. В домах ни одного освещенного окна. Если перегнуться через перила, у самой стены видны залитые дождем столики и стулья из ближайшей траттории.

Теперь я могу пойти и выпить воды; света я не зажигаю — протянув вперед руку, на ощупь добираюсь до ванной. Лучше все делать в полумраке, чтобы не видеть в зеркале своей взъерошенной головы, опухшего лица.

Я снова ложусь в постель, зажигаю свет.

Это был просто сон, это не галлюцинация, говорю я себе, как всегда. Впрочем, порой эти переходы от одного страха к другому начинают даже нравиться. Да нет, это всего лишь старый отвратительный сон. Как пришел, так и уйдет! Нервы тут ни при чем. С нервами у меня все в порядке. Нельзя все объяснять нервами.

Я закуриваю в ожидании сна, который должен прийти, и гляжу на акварель Де Пизиса на стене против кровати — корабли, словно дрожащие на воде, церковь в зябких серых тонах над неспокойной бесцветной лагуной.

Рано или поздно сниму я эту картину. Какого дьявола она висит здесь, ей самое место в кабинете, думаю я лениво, неотрывно следя за пеплом сигареты.

С террасы доносится только перестук редких капель, вспышки молний ушли куда-то далеко за горизонт. Со скрежетом, сотрясая оконные стекла, отпираются тяжелые ворота.

Вытягиваюсь в постели и думаю, что все равно скоро не усну. Лучше улечься поудобней, поправить подушку и ждать.

— Ты что делаешь? Спишь? — слышу я голос Франческо.

Я сижу на корточках, как индеец, в укрытии, которое мы вырыли с Франческо среди густой зелени акаций. Мы внимательно разглядываем друг друга, солнце еще сильно светит в эти первые дни октября, над нами пыльная и неподвижная листва деревьев.

— Теперь мой черед,— предупреждаю я.

И он возвращает мне пистолет калибра 6,35. Пистолет я стащил у отца. Второй пистолет — калибра 9 *мм* — я не посмел вынуть из кожаной кобуры, и он вместе с двумя обоймами, биноклем, саблями, колодками для сапог и мундирами лежит на чердаке в старом сундуке.

Мы не можем оторвать глаз от темнеющего на ладони оружия.

Условились, что будем носить его в кармане по полдня. Мне выпала вторая половина дня.

— Ты насчет патронов сомневаешься? — снова спросил меня Франческо.

Я действительно не был уверен в патронах, они всегда казались мне чересчур маленькими, чересчур легко входили в ствол, выскакивая из обоймы с заржавевшей пружиной. Но я отбрасывал все сомненья: 6,35 — самый маленький калибр, да и к чему такому офицеру, как мой отец, держать патроны не того калибра?

Мы изучали пистолет со всей тщательностью, на какую только были способны, разглядывали его шагреневую рукоятку, предохранитель, который при нажиме сверкал красной точкой, и не думали ни о чем, кроме первого выстрела.

С прошлого лета у нас с этой норой связано немало тайн. Здесь мы жгли кукурузную листву, надеясь установить, чем пахнет дьявол; здесь ножом вырезали из тыквы подобие черепа с дырками вместо глаз и рта, в которые вставляли свечные огарки.

— Хорошо бы испытать его на кролике, в ухо ему выстрелить...— сказал Франческо.

— И погубить патрон — их у нас всего пять,— напомнил я.

— Тогда придется пробовать на немце,— согласился Франческо.

— Вот уже три недели, как он у меня, а мы еще ничего не сделали...— сказал я.

Франческо взглянул на меня своими колючими глазами.

— На словах ты всегда смел, а вот на деле посмотрим! — отрезал он.

— А ты доказал свою храбрость? — разозлился я.

— Я за два года ни разу не заплакал...— произнес он сквозь стиснутые зубы.— Пусть привяжут к столбу и огонь подо мной разведут — и тогда никого не порадую своим плачем.

— Я выстрелю прежде, чем ты!

Мы с ненавистью разглядывали друг друга; я был крупнее его, но когда мы боролись, меня спасал лишь мой вес: его сухие цепкие руки были тверды, как металл. Пистолет лежал на траве между нами, время от времени мы поглядывали сквозь листву в сад, чтобы не быть застигнутыми врасплох.

— Не хвались, не хвались...— сказал Франческо хриплым от злости голосом.— Кто лает — не укусит.

— Ты больно здорово кусаешься.

— Да! Да! — ответил он в ярости.— Я не полковничий сынок.

— При чем тут полковник...

— Он твой отец, значит, при том,— ответил он.— Все вы из одного теста... Сначала болтаете... а потом наутек, да кто побыстрей... Все фашисты такие...

— Полковник всегда был только за короля! — ответил я.

— Все вы из одного теста,— упорствовал Франческо.— И ты такой же, как они... Не верю я, что ты выстрелишь...

Окрик его матери заставил нас застыть на месте.

— Если не нарву травы для кроликов, вечером мне палки не миновать...— шепнул мне Франческо.

Он ползком выбирался из укрытия. На штанах — большие выцветшие заплаты, обуви он вообще не носил. Со двора все еще доносился голос матери Франческо, вовсю честившей сына.

— Я пошел,— сказал он.— Только не смей стрелять без меня.

— Сделаю как захочу, захочу — и в ногу себе выстрелю!

— Оставь пистолет здесь, пойдем вместе траву рвать, тогда вернемся скорей...

— Нет,— упрямился я,— буду здесь сторожить, как вчера... Если снова немцы пройдут, выстрелю, вот увидишь.

— А они ворвутся в дом и прикончат всех...— донимал меня Франческо.

— У меня пять патронов, а немцы всегда ходят только по двое,— возразил я.

— Хочешь подохнуть — подыхай! — сказал он.— Оставайся тут и подыхай. С места мне не сойти — не выстрелишь, ты — трус... Провалиться мне, если выстрелишь...

Теперь постель вызывает у меня чувство отвращения. Больше мне не уснуть, лучше закурю.

Я встаю, достаю из коробки легкую голландскую сигару, тщательно раскуриваю ее. Снова натягиваю простыню до самого подбородка, в полумраке стена передо мной приобретает цвет стоячей воды, на ней темные пятна картин, календаря, настольной лампы — их очертания совсем расплылись и потеряли четкость.

Надо всем царит освежающая тишина ночи, больше не слышен стук капель с террасы. Даже коты с улицы Монтефьоре и те, должно быть, куда-то укрылись от непогоды.

«Докурю сигару и усну»,— пытаюсь я утешить себя.

Немец поднимался по тропинке вдоль металлической изгороди, отделявшей нашу усадьбу от виноградника соседа-адвоката. Сквозь заросшую травой железную сетку виднелся домишко с отваливающимися ставнями и полуразрушенной крышей.

Немец тяжело взбирался в гору, задыхаясь от зноя. Он был один. Вот уже два дня по этой тропе проходили патрули и солдаты в одиночку. Они останавливались, зевали от скуки и шарили вокруг глазами, должно быть, в поисках фруктов. Но на персиковых деревьях и смоковницах уже не было плодов, а кислые еще гроздья винограда «барбера» только наливались синевой.

Мы с Франческо следили за ними, видели, как они обходят деревню — кто в касках, кто без них, в серых мундирах или в маскировочной одежде. Мы рассматривали их перекрещенные ремнями спины и не сводили глаз с винтовок или автоматов, которые болтались у них на груди. Потом они исчезали там, где тропа сворачивает к проезжей дороге, и, поднимая облака пыли, проходили мимо деревенских виноградников.

— Патрулируют, ищут партизан...— говорил я.

— Никого они не ищут, вон даже автоматы вниз дулом, смеются они над нами — разве не видишь? — утверждал Франческо.— Они нарочно всем мозолят глаза, чтобы запугать людей — дескать, мы и сюда можем забраться, в горы...

Он знал больше меня. Вечерами он на велосипеде спускался в деревню, отвозил молоко в аптеку и собирал слухи. Я же, по приказу отца, не смел выходить за пределы нашей усадьбы. Даже не знал, пойду ли осенью снова в школу.

От Франческо я слышал, что в казарме немцев всего человек десять или двенадцать вместе с фельдфебелем, но они стараются быть на виду, даже ночью расхаживают взад и вперед по улицам, палят в воздух или, напившись, стреляют кошек, лишь бы показать всем, кто здесь командует.

Немец приближался, он был без шлема, редкие волосы прилипли к потному лбу. Он выглядел старым и уставшим. Я нацелился в него из пистолета — калибр 6,35,— считая его шаги. Я видел его почти целиком, до колен.

Он мог без труда обнаружить меня — выход из нашего индейского укрытия был совсем рядом с изгородью. Но он, видно, совсем ослеп, одурел от солнца, как старый пес, и только отдувался на ходу, с трудом таща на себе тяжелую винтовку.

Я целился прямо в него, стараясь держать пистолет неподвижно. И вдруг всем своим существом почувствовал, что выстрелю. Я только хотел, чтоб он сначала увидел меня, а он был метрах в трех от металлической изгороди и ничего не замечал.

«У него даже нет автомата,— успел я подумать.— Он совсем старый; если теперь он повернется ко мне спиной и пойдет обратно, я не смогу выстрелить!»

Он увидел меня и остановился, хлопая бесцветными ресницами, похожий на глупую собаку,— берет за поясом, руки болтаются вдоль туловища. Он уставился на меня без малейшего выражения. Винтовка по-прежнему покачивалась у него на животе.

«Вот ты и нарвался на того, кто тебя уложит на месте, влепит тебе пулю в лоб, наконец успокоит тебя!» — вертелось у меня в голове. Я сжимал в потной руке пистолет, уперев его в левое предплечье, совсем как в ковбойском фильме с засадой.

Вот продвинулся еще на метр — нас теперь разделяло около метра, я это видел; сердце больше не колотилось, я был тверд и счастлив.

Я не знал, куда стрелять, в грудь или в лицо, не знал, прикрыто ли его сердце ремнем от винтовки,—мне все это казалось совсем неважным.

Он продолжал идти, словно движимый любопытством; когда грянул выстрел, немец стал медленно оседать, глотая ртом воздух, а потом мешком повалился в полуметре от разделявшей нас изгороди.

В голове у меня мелькнула мысль об отце. Он, наверное, спал в кресле, широко расставив ноги, в одной из комнат попрохладнее и даже не слышал выстрела. Ужас сковал меня, хотя я понимал, что должен немедленно действовать. Мне долго не удавалось даже опустить пистолет и отвести глаза от сутулой спины человека в серой куртке, лежавшего в траве по ту сторону изгороди. Его белесый затылок выделялся среди зеленой травы; я не видел его рук, погребенных под телом,— только с одной стороны неподвижно торчал локоть.

Страх заставил меня лихорадочно приняться за дело.

— Если отец заметит, что ты снова что-то роешь, он тебе задаст...— крикнула мне вдогонку Катерина, увидев, как я бежал с лопатой в руке.

Она сидела в тени под тополем и молотком разбивала персиковые косточки, чтобы потом приготовить фарш и начинить им персики; может быть, она и слышала выстрел, но, конечно, решила, что кто-нибудь поблизости охотится.

В самой середине изгороди была калитка, которая легко поддавалась нажиму плеча, но мы с Франческо устроились удобнее и вырыли великолепный подземный ход на случай опасности. Он вел от нашего укрытия под акациями в густую крапиву по ту сторону изгороди.

Я потащил немца через этот ход, плача от злости, страха и отчаянья: не хватало сил, чтоб поскорее убрать это длинное тело с дороги. Дважды он застревал в крапиве — сначала зацепившись одеждой, потом винтовкой, дважды я вытаскивал его, чувствуя, как у меня ломит кости от неимоверного напряжения. Большой и указательный пальцы правой руки болели, словно от ожога; должно быть, я слишком сильно сжимал пистолет. Я тащил немца, стараясь не глядеть в его сторону; я не знал, куда попала пуля, на нем не было никаких следов крови; я изо всех сил отворачивал голову, чтобы видеть перед собой лишь подземный ход и совсем не видеть немца, совсем... Руки его я так и не разглядел, лишь белесый затылок маячил у меня перед глазами. Только бы дотащить его, только бы не глядеть, стучало в висках. Наконец я протиснулся в подземный ход, с полметра высотой, вырытый в туфе. Я стонал от духоты и все-таки с остервенением тянул его за собой, не думая о том, что меня могут увидеть немцы, не вспоминая о выстреле, звук которого еще звучал у меня в ушах. Лишь голос отца не давал мне покоя.

Скучающий, раздраженный, властный, неумолимый, он мог в любую минуту появиться у раскрытого окна, кликнуть меня и послать к насосу в подвале. Раз триста-четыреста надо было поднять и опустить чугунную ручку, чтобы вода из цистерны добралась до ванны на втором этаже. Отец мог и просто позвать меня, на всякий случай, чтоб убедиться, что я на месте.

Тело заполнило собой весь ход, мне оставалось только завалить его с двух сторон. Когда оба выхода были засыпаны и немец исчез вместе с винтовкой и всей своей амуницией, я лопатой отрыл куст крапивы и пересадил его в свежий грунт. Потом еще и еще. По другую сторону изгороди я тоже посадил крапиву...

В полосе шириной метра в два по обе стороны изгороди никогда ничего не сажали, крапива здесь росла высокая, цепкая, у нее были толстые темные стебли, покрытые большими розоватыми шипами. Крапива как бы стала естественным барьером между двумя усадьбами.

Последними отчаянными ударами лопаты я пригнул к земле ветви акации над нашим убежищем, почти разрушив его крышу.

Потом в состоянии крайнего возбуждения взобрался на чердак и спрятал пистолет в сундук — под мундирами, завернутыми в веленевую бумагу, саблями и колодками для сапог.

И лишь тогда присел, чтоб перевести дыхание,— светящиеся точки мелькали у меня перед глазами. За перегородкой, делившей чердак на две половины, под самой крышей слышался неясный писк: там жили летучие мыши.

Чутко прислушиваясь к малейшему шороху, спустился я по лестнице и, прислонившись к дверям гостиной, услышал тяжелое дыхание отца, лежавшего в кресле.

— Ты выстрелил, я слышал,— недоверчиво прошептал мне Франческо через загородку, за которой он кормил кроликов.

Я молча, не глядя на него. отрицательно покачал головой.

— Значит, браконьер какой-нибудь, и видно, не трус, ведь немцы повсюду шныряют. Ты их сегодня видел? — спросил он меня.

— Если вздумаешь удрать без разрешения и бросишь кроликов, палки тебе не миновать,— послышался голос его матери из кухни.— А ты, Стефано, пойми наконец... Франческо должен работать. Он не господский сынок. Оставь его...

— Завтра утром ты вернешь мне пистолет! — напомнил Франческо.

— Я его отнес обратно на чердак.

— Отца боишься, да?—принялся он поддразнивать меня, как всегда.

Кролики осторожно выходили из-за загородки.

— А ты, чтоб побыстрей отделаться, нарезал в поле трилистник вместо травы. Ты же знаешь, что от трилистника кроликов пучит... Вот твоя мать увидит! — выпалил я одним духом, стараясь не остаться в долгу.

— Чтоб они сдохли...— пробормотал он.

А потом, не глядя на меня, добавил:

— Дал бы мне пистолет. Увидел бы, как я с ним уйду к партизанам...

— Партизаны все равно что бандиты — они в спину стреляют.

— Это твой полковник говорит,— разозлился Франческо.— Видали мы этих генералов и полковников.

— А я больше не верю в те истории, что тебе рассказывают в аптеке...— повернулся я к нему спиной.

— Что ж, верь в Христа-младенца,— прокричал он мне вдогонку.— Нам уже тринадцать лет, пора выходить из пеленок...

Вечером, после известий по радио, которые мой отец слушал бледный, с закрытыми глазами, очевидно живо представляя себе то, что стояло за словами диктора, я улегся в постель. Мускулы ослабли, словно после велосипедной гонки. Ноги болели. Все происшедшее неотступно стояло перед глазами. Я видел акации, пистолет, немца, подземный ход, крапиву. Это было похоже на застывший кадр из кинофильма, четкий и в то же время непостижимый, а я — просто зритель этого фильма. Даже смутное подозрение, что немец всего лишь обмер с перепугу или был только ранен и я похоронил его заживо, к моему удивлению, не волновало меня. Память, сопротивляясь сну, пыталась заставить меня пристальней взглянуть на детали запечатлевшейся в мозгу картины. Она отыскивала следы крови, которые помогли бы мне понять, куда он был ранен. Правая рука, казалось, еще чувствовала отдачу при выстреле.

Было уже совсем поздно, когда я услышал шаги отца в соседней комнате. Нас отделяли друг от друга лишь тонкая стена и дверь, на которой потускневшими от времени красками изображены были сельские сцены: зеленые кусты почернели, ручей превратился в тусклую полоску, некогда цветущая женщина и играющий на волынке мужчина неестественно побледнели.

Отец кашлянул за стеной, я слышал, как он укладывал в неизменном порядке свою одежду: аккуратно повесил на стул рубашку и галстук, проверил складку брюк, выровнял носки ботинок.

Я прислушивался к тому, как он расхаживал по комнате, к скрипу половиц — единственному признаку жизни в большом уснувшем доме. Как всегда, когда я не спал и слушал, до меня донеслись слова произносимой им вполголоса молитвы. Я краснел в темноте от ярости, так тяжко оскорбляли меня ее слова.

Он молился стоя, уставившись в стену. Я обнаружил это еще несколько лет тому назад сквозь замочную скважину. Скрестив руки на груди, стоял он, прямой и неподвижный, и даже складки нелепо висевшей на нем пижамы не могли скрыть его военной выправки. До меня доносились не все фразы его монотонного монолога, обращенного к богу, порой я слышал лишь отдельные слова, однако их нетрудно было связать воедино:

— Господи, спаситель наш, сохрани нашу страну в час позора и испытаний... Пусть поразит твое проклятье тех, кто покинул нас! Пусть оно обрушится на королевский дом, недостойный командовать войсками, вести народ... Сохрани молодежь нашу, которой больше не во что верить! Позаботься о ней!.. Просвети ее! Ты, господи, знаешь, кто заслужил победу...

За стеклянными дверьми балконов, которые, прежде чем улечься, он тщательно запирал, проверяя крючок за крючком, под порывами ночного ветра шумели тополя, откуда-то издалека доносились паровозные гудки: проходил поезд в Турин.

Усталость сводила мускулы, все тело болело, слипались веки. Но мне казалось, что я должен гнать от себя сон, и я представлял себе, как по деревне проходят немцы, видел их в сапогах и касках на улице Кавура, на рыночной площади, в саду и на станции; они разгуливали с автоматами наперевес, их речь была похожа на отрывистый лай, они как будто выплевывали свои странные, жесткие слова... И еще Франческо: вернувшись вечером из аптеки с пустыми бутылками из-под молока, он не стал искать меня, чтобы сообщить последние новости. Он был убежден, что партизаны победят и что голос Муссолини, услышанный в октябре по радио,— трюк с магнитофонной записью, подписи дуче под манифестами подделаны, а фотографии и марки с его изображением газеты печатают по указке немцев, чтоб запугать людей. В аптеке об этом говорили все, кто собирался в задней комнате,— старики и молодые, рабочие, крестьяне и студенты, и все они обращались друг к другу на «ты».

Сейчас Франческо уже спал в одной комнатке с матерью и сестрами. А может, не спал и думал о пистолетах, о том, как он убежит в лес; в убитого немца он поверит, только если я разрою могилу у него на глазах.

Я услышал, как с яростным лаем промчался по саду Милк, сторожевой пес, которого спускали с цепи на ночь. Отчаянно лая, он догонял мышь или куницу.

— ...Верни нам нашу поруганную честь... Да снизойдет твоя обильная благодать на нашу несчастную родину, вечно терзаемую и мучимую... Да расцветет она...

И снова хриплое дыхание, и под конец:

— ...Господи, спаситель, прими благодарность раба твоего...

Он уже доставал спичку, чтоб закурить перед сном последнюю сигарету.

Теперь я знал, что ненавижу его, и это меня терзало.

Мне трудно было разомкнуть веки в темноте, но я все еще старался уцепиться хоть за какой-нибудь звук, чтобы не уснуть. Наверное, уже спал за стеной мой отец, который начал воевать еще в 1911 году в Ливии и, возможно, за все это время ни разу не выстрелил в человека с расстояния в полметра.

Бесполезно бороться со сном, он закрывал мне глаза, сковывал движения. Лишь на мгновенье сон обернулся доброй тенью, и мне показалось вдруг, будто ничего не было, будто все неправда...

Я на ощупь нашел пепельницу и притушил сигару. Теперь я должен спать. В окно льется бледный свет, часть неба, которую я могу разглядеть за террасой, покрыта темными тучами, серые низкие хлопья облаков проносятся над самыми крышами. По булыжнику улицы Монтефьоре громко тарахтит повозка, издалека доносится грохот поезда. Четыре часа утра.

Я должен закрыть окно, задвинуть занавеску, сделать так, чтоб в комнате было как можно темней. Хватит, теперь нужно спать. Я забираюсь в постель — ни о чем не думать, не слышать, как колотится сердце; я должен заглушить эту проклятую ясность мысли. Зажмурить до боли глаза, насильно заставить себя зевнуть, расслабить мускулы...

...Я просыпаюсь. В комнату проникает тусклый, болезненный свет, предвещающий еще один пасмурный день. Я так расслаблен, что отказываюсь от обычной недолгой зарядки. В ванной решаюсь ускорить один из частых у меня приступов рвоты. Потом сижу на краю ванны и кашляю. Глаза болят, в горле словно замкнутая узкая щель, я задыхаюсь. Сижу и прислушиваюсь к своему кашлю. Это из-за сигары, я слишком много курю. Но я узнаю этот кашель, сначала сухой, редкий, затем постепенно нарастающий, переходящий в жестокие приступы,— кашель моего отца.

Еще раз промываю глаза, стараясь не глядеть в зеркало. Знаю: через десять минут я почувствую себя хорошо, смогу побриться и без труда привести себя в порядок, но сейчас предпочитаю не видеть себя. Я знаю, что непохож на отца, но это не дает мне оснований с пренебрежением относиться к его кашлю, живущему во мне. Тайное тождество выявляется в нем больше, чем в разрезе глаз или в форме носа, всякий раз, когда в определенный час этот кашель закипает у меня где-то между желудком и горлом как предостережение, как особый знак, предупреждающий меня: «Ты такой же, как он, значит, ты не лучше его...» Он на 42 года старше меня. Мы живем на расстоянии восьмисот километров друг от друга. Он — в старом доме, окруженном запущенным участком с чахлыми, кривыми ореховыми деревьями на том месте, где прежде были персики и виноград, а я здесь, в пятидесятиметровой римской квартире, среди чужих голосов, которые иногда успокаивают меня, но чаще раздражают и кажутся сварливыми и глупыми. В определенный час я кашляю так же, как он, под конец сам, словно ударом хлыста, подгоняю последний, яростный приступ.

Мой кашель — предвестник более глубокого, пока еще скрытого сходства, которое, безусловно, проявится в будущем. Поэтому я пытаюсь обмануть себя и свой кашель, ставлю ему ловушки, заметаю следы, изобретаю иную первопричину.

Отец в этот час еще в постели.

Проспал все полуденные часы в кресле, для виду почитав немного и послонявшись по комнате. После ужина бездельничал, раздраженно крутил ручку приемника в поисках всегда одних и тех же устаревших мелодий, и если ему удавалось наткнуться на какую-нибудь неаполитанскую песенку, слушал ее, полузакрыв глаза, с легкой улыбкой на губах. Потом читал книгу или трактат по военному искусству, с помощью лупы пробегая колонки мелкого типографского шрифта, делая пометки на полях, и рылся в одном из своих словарей. Спать он лег совсем поздно. С годами его привычки не изменились, они лишь стали занимать непомерно большое место в его жизни. Любое повседневное дело — от чтения газет до вечернего душа — приобретало для него столь большое значение, что целого дня едва хватало, чтобы справиться с ним.

Под утро он заснул легким нездоровым сном, к которому Катерина относится с таким благоговением и который так боится нарушить; она поднимает глаза к небу и взывает к господу каждый раз, когда внизу в кухне заденет за стул или уронит ложку или когда во дворе глухо залает пес.

В десять утра приходит парикмахер Лонеро.

Это старый, жирный, страдающий одышкой неаполитанец, женившийся сорок лет назад, в годы военной службы, на пьемонтской старой

деве с небольшим капиталом. Вот уже десять лет как он каждое утро, ровно в десять, медленно, тяжело дыша, толкая перед собой велосипед, подходит к калитке отцовского сада; с полковником Джакомо Иллуминати его связывает верность этому неизбежному утреннему свиданию.

— Как чувствует себя полковник? — шепчет он Катерине, которая ждет его во дворе.

— Да что ему сделается, а вот с усадьбой плохо...— отвечает женщина.

Но она не продолжает разговора. Парикмахер в хозяйстве не разбирается. Перед ним неинтересно изливать душу, рассказывая о виноградниках, заросших осокой, о крестьянах, которые все чего-то требуют, о персиках, которые гниют на деревьях, оттого что никто их не собирает.

— Я сейчас принесу воды.

И она уходит на кухню. Когда Катерина возвращается, у парикмахера все готово, он в белом халате, в руках у него поднос с бритвенными принадлежностями и тазик, куда старая Катерина наливает воды. Под тополями на каменном столике лежит раскрытый пустой чемоданчик Либерато Лонеро.

— Так я пойду...— говорит он ей шепотом.

— Идите, идите, хорошей вам работы...— отвечает ему Катерина без особой приязни.

— Вы тут будете, когда я спущусь, мне бы не хотелось, чтоб собака...

— Да разве не видите, что пес на цепи! Сколько лет сюда ходите, а глупую собачонку не могли приручить,— отрезает Катерина.

Парикмахер бесшумно проходит комнатами первого этажа и направляется к лестнице. Поступь у него плавная, движения точные и мягкие, как будто внутри у него часовой механизм. Либерато Лонеро не простой парикмахер, его зовут, когда нужно побрить покойника, рука у него легкая, осторожная.

Поднимаясь по лестнице, он опускает кисточку в тазик, разводит мыльную пену, в нужную минуту все у него будет наготове. Дойдя до самого верха, он останавливается, слушает. За крашеной дверью тишина, и он осторожно нажимает на ручку. А проскользнув в комнату, уже быстро и уверенно ставит поднос на специально отведенный для этого край стола и чуть-чуть раздвигает шторы.

Комната невелика и вся заставлена мебелью — кресла, стулья, скамеечка для молитвы, стол, заваленный книгами и газетами. В полумраке едва различим рисунок обоев, похожих на гобелен и называемых персидскими из-за замысловатости переплетающихся линий и словно догоняющих друг друга геометрических фигур. Полоска света падает на позолоченный багет, которым обрамлен овальный, писанный густыми, словно отсыревшими красками портрет Джузеппе Верди.

Кровать — в псевдоимперском стиле, с торчащими металлическими прутьями для сетки от комаров, которая так и не была натянута.

Полковник лежит совершенно неподвижно, руки его вытянуты поверх простыни. Большой нос как бы выставлен напоказ, голова покоится на двухспальной подушке, бледное лицо южанина пересекают редкие морщины.

Должно быть, спит он не так уж крепко и, конечно, не мог совсем утратить ощущения происходящего, однако Лонеро очень удивился бы, если бы он хоть раз вздрогнул или шевельнулся во время процедуры.

Приоткрыв от старания рот, парикмахер тщательно намыливает лицо, затем приступает к бритью, стараясь не наваливаться на матрас своим большим, твердым животом. Потом он кончиком полотенца сти-

рает с лица все следы мыла. Наконец инструменты собраны; с подносом в руках Лонеро приоткрывает дверь.

Порой, когда он уже одной ногой стоит на лестнице, до него доносится не то вздох, не то хрип:

— Это ты, Лонеро?

— Так точно, господин полковник. Доброе утро...— шепчет он и, не задерживаясь ни на минуту, благодарит, закрывает за собой дверь и тихо спускается по лестнице.

Полковник Иллуминати встает не сразу. Катерина слышит, как он кашляет, расхаживая по ванной, и торопится приготовить кофе. Она терпеливо ждет, пока старик спустится пить кофе, и молча сносит его беспричинную брань. Все вызывает у него гнев — и чашка, и ложечка, и не так положенная кружевная салфетка, и весь этот грубый, столь нагло обманувший его мир, который принес ему одни неудачи.

Лишь теперь он окончательно проснулся, лишь теперь он готов ко всему и, значит, враждебен всему.

После кофе он уходит в большую комнату, где когда-то стояло множество кресел и плетенных из тростника диванчиков. Теперь свет, проникающий в окна с железными решетками, освещает лишь огромный стол. Стены тоже оголены за исключением одной, на которой висят большие топографические карты. Здесь и карта окопов у Толмино, и карта, на которой стрелками обозначены направления атак австро-германских войск по правую и левую сторону реки Изонцо, и план «Т» генерала Капелло с дорисованными на нем линиями продвижения австро-германцев от Изонцо к Пьяве. На столе — бумаги, заметки, сочинения Капелло, труд австрийца Шварте, воспоминания Людендорфа, пачки одинаковых по формату листков с оперативными приказами, телефонограммы, ежедневные сводки, листы белой бумаги, кнопками прикрепленные к столу.

Задача состоит в том, чтобы блокировать баварский корпус горных стрелков, который 24 октября 1917 года в 8 утра внезапно возник в тумане на левом берегу реки Изонцо, а затем из района Толмино начал большое наступление австро-германских войск против Италии. Нужно приковать его к берегу Раунца, но там так называемую «линию обороны», предусмотренную Кадорной и Капелло, удерживают всего два батальона бригады «Таро», кроме того, туман мешает нашим пулеметчикам.

Кадорна и Капелло, рьяные сторонники наступательной тактики, редко отказывались от нее, безжалостно бросая в атаку последние резервы; они думали лишь об атаке; даже когда им приходилось строить планы обороны, они стремились придать ей эластичный характер, чтобы ее можно было вывернуть наизнанку наподобие перчатки и превратить в наступательный маневр. Да, именно так, господа, так это и было!.. И они с крайним пренебрежением прислушивались к сведениям, поступавшим от австрийских дезертиров, которые говорили о неизбежности большого наступления противника. Впрочем, и великие умы Антанты — эти галлы, эти волосатые сыны Альбиона — тоже не верили в возможность наступления противника и как раз в сентябре сняли с итальянского фронта средние, 99-миллиметровые орудия. Более того, они отменили поставку тех злополучных 102 орудий, которые в течение нескольких месяцев обещали прислать! И это в сентябре, после русской революции, в те дни, когда десятки немецких дивизий могли быть переброшены с Восточного фронта на Западный театр военных действий... Сотня винтовок и два пулемета, иначе говоря, одна рота бригады «Неаполь», растянутая по фронту шириною до километра... Ну разве могла эта рота сдержать 6-й батальон 12-й Силезской дивизии, брошен-

ной на Капоретто? Да пусть бы даже наш 4-й армейский корпус сопротивлялся до последнего солдата и отбил все атаки группы Краусса, он все равно был бы отрезан, как только немцы достигли Капоретто с юга.

Перед атакой Краусса следовало заблаговременно укрепить линию Вольцаны у Изонцо, где наступали Баварский корпус горных стрелков и Силезская дивизия, а также котловину Плеццо. Но это повлекло бы за собой изменение всего расположения наших сил. Для этого нужно было преобразовать тылы, закрыть театры и все эти никчемные клубы, очистить казармы от солдат без оружия, повыгонять всех баб, всех дамочек из благотворительных обществ, которые чем знатней, тем докучливей, железной метлой вымести всех паразитов, интриганов, политиканов и большевистских агитаторов и, наконец, наладить гибкую систему снабжения, обеспечить линии связи. И прежде всего гнать подальше — лучше плеткой! — этих типов, этих штабных офицеров, которые за семь дней ухитрились перевести два берсальерских полка сначала из четвертого в седьмой армейский корпус, а затем снова в четвертый. Полки так долго перемещались с одной позиции на другую, что оказались на месте лишь 24 октября в 2 часа дня, уже после того, как началось наступление противника!

Нужно наметить новую линию обороны, укрепить обе котловины батареями 75-миллиметровых орудий на вьючной тяге. Диспозиция, предусматривающая лишь наступление, — выдумка генералов в сверкающих мундирах, которые только и могут, что водить под ручку своих любовниц! При такой диспозиции противник либо терпит поражение после первой же атаки, либо прорывается в пустоту, которая у тебя за плечами. Вот так и открыли зеленую улицу баварским и силезским частям вплоть до самой реки Тальяменто, а может, и до самой Пьяве. Нужно изменить нашу стратегию. Ведь сумели же изменить свою стратегию австро-германские части фон Белова, фон Арца, эрцгерцога Евгения. Нужно изменить систему стрельбы нашей артиллерии. Не нуждается же в вилке немецкая артиллерия, а ведет прицельный огонь.

Двухцветный карандаш вычерчивает на карте новую линию и образует в тылу наших войск некое подобие отдушины, пустое пространство, протянувшееся от Тальяменто до Изонцо. На этой местности нетрудно осуществлять передвижение легких частей и установить линии снабжения.

Кадорна обладает силами, в двадцать раз превосходящими те, которыми в 1796 году располагал Бонапарт. Но Бонапарт с математической точностью сумел вычислить и досконально изучить район Венеции—Фриули и тем самым избавил себя от ненужных и смешных опасений о соотношении сил. Что же до генералов, привыкших только стоять у доски с указкой...

Вторая порция кофе с шипением закипает на спиртовке в углу, где на стене образовалась длинная черная полоса.

Полковник Иллуминати задул огонек спиртовки, налил кофе и призадумался над словами Гарибальди о бегущем солдате:

«...Он бежит! Дай ему бежать... Бывает, что с человеком надо поступать как с животным, как с быком... Удовлетворись тем, что тебе удастся иногда придержать его за ногу или за хвост... Его остановят река, гора, жажда... Или страх — более сильный, чем тот, что заставил его пуститься в бегство... Тут и пришел твой час! Теперь наведи порядок среди людей-животных, раздобудь им еды, питья, дай им отдохнуть; когда они насытятся, отдохнут и подымется их дух, они вспомнят о постыдном бегстве, о затоптанном в грязь долге и о славе...»

Да, конечно. Но дело в том, что у людей, которые уподобились животным, вожаками должны быть не быки, не рогоносцы.

— Разрешите, тут пришел крестьянин, он... — доносится из-за двери голос Катерины.

— Мне ему нечего сказать, — тотчас же прерывает ее полковник.

— Вам нечего, а вот он хотел бы...

— Он? Кто он? Что ему надо? — орет Иллуминати. — Я не хочу иметь с ним дело. Вам понятно? Может, мне по-арабски вам это сказать? Сами разбирайтесь. Вечно вы суете нос в эти дела с виноградником! Сами расхлебывайте эту кашу! Вы республики хотели? Что ж, теперь наслаждайтесь...

Катерина, ворча, уходит.

Итак: «...Постыдное бегство, затоптанный в грязь долг и слава...»

Да, но попробуй вбить это в голову Кадорне, который и войск-то в глаза не видел, не верил в них, считал, что итальянский пехотинец не способен сопротивляться на Пьяве, и даже предлагал правительству заключить сепаратный мир с врагом. Он, этот сторонник наступления любой ценой, вместе со своим куманьком Капелло, еще смеет говорить о «недостаточно энергичном поведении некоторых частей...» Кадорна — один из тех пресловутых пьемонтских генералов, которые выплыли на поверхность после битвы под Кустоццой, а мы до сих пор должны безропотно сносить их глупость и бахвальство. Кадорна такой же, как и этот тип из Асти, даже имя его не хочется произносить, любитель пускать мыльные пузыри, идиот, у которого сушеная дыня вместо головы! Достойный представитель рабского народа. Истории его жизни, если начать с 8 часов утра 24 декабря — а он командовал тогда 27-м армейским корпусом — и довести до сентября, двадцать шесть лет спустя, вполне достаточно, чтобы понять, до чего мы дошли...* Все пьемонтцы во главе со своим Джолитти**, мастером двойной игры и банкротом, скроены на один лад, будь то испольщики или генералы. Все они лживы, мелочны и не видят на вершок дальше собственной корысти! Им ли думать о благе нации... И они еще смеют дурно говорить о Бурбонах *** после того, как сами ограбили Юг и торговали единством родины! Они-то и есть подлинные каморристы, бюрократы...

Он пьет кофе и мысленно составляет план нового стратегического маневра... Сейчас он на бумаге передвинет несколько батарей 75-миллиметровых орудий и сократит участок фронта 4-го армейского корпуса, который подвергается угрозе окружения в котловине Плеццо.

Затем он садится и медленно, задумчиво оттачивает сначала синий, а затем красный конец цветного карандаша. Оба конца должны быть безукоризненно очинены — без единой крошки выползают из отверстия точилки две стружки, две тоненькие деревянные змейки.

Под конец он укладывает точилку для карандашей в длинную серебряную коробку, которую повсюду возит с собой. Она была с ним и в палатках Ливии, и в окопах на Корсо, сопровождала во время летних маневров, кочевала по казармам. Теперь она неразлучна с хозяином и здесь, в его последней осаде, в этой доставшейся по наследству усадьбе, окруженной мрачными, враждебными, заброшенными полями. Они как будто бросают вызов родному Салернскому заливу, синяя глубина которого возникает перед глазами при щемящих звуках неаполитанских песен... Вместо ручек у этой коробки два орла с распростертыми крыльями,

---

* Речь идет о маршале Бадольо, выходце из Пьемонта, участнике первой мировой войны. Бадольо возглавил первое итальянское правительство после краха Муссолини в 1943 году.

** Джолитти — государственный деятель Италии, возглавлявший ряд итальянских правительств до прихода к власти Муссолини.

*** Бурбонская династия до объединения Италии правила Королевством обеих Сицилий со столицей в Неаполе.

а содержимое ее составляют размещенные в образцовом порядке бутылочки с тушью, нож из слоновой кости для разрезания бумаг, компас, сложенный вдвое метр, разноцветные резинки...

Глава вторая

Мы условились встретиться в кафе «Греко».

— Почему именно здесь? — спросил я у нее.

— Просто так. Есть примета. Я тебе потом объясню, — отвечает она улыбаясь.

Сияют ее глаза, чувство детского торжества озаряет лицо, смягчая черты. Так бывает всегда, когда она чем-то довольна. Меня же при виде ее, как обычно, жалят тысячи ядовитых змей.

— Скажи и покончим с этим,— недовольно прошу я.

Она качает головой, радуется, что втянула меня в игру. И, разумеется, она само совершенство, даже ремешок часов у нее белый: пришла весна, хоть на дворе непогода и мокрая улица — как синяя кишка.

— Ну, — спрашиваю я, надеясь, что она первая разрушит стену двусмысленного молчания, которое поначалу делает такими тяжелыми наши встречи.

Она молчит, не переставая улыбаться.

У нее свежий, отдохнувший вид: вчера, наверное, отправилась спать рано, чтобы утром предстать полной сил и благожелательности.

Я жду, когда она заговорит, а пока стараюсь поймать официанта, который вразвалку расхаживает по кафе без куртки, в одной крахмальной рубашке, подметая пол краями черных брюк.

Под столиками в углах кучки опилок. Бар пуст, за колоннами молодой толстый бармен в очках протирает губкой цинковую стойку и перебрасывается шутками с кассиршей, которая встала со своего места и укладывает в ряд булочки под стеклом. Позолота, массивные карнизы, мраморные завитки, бархат, темные пятна картин на стенах — все кажется тяжелым, давящим.

На мокрой мостовой поскользнулся рассыльный и уронил корзину с пакетами. Он выругался; торчащие у дверей без дела официанты лениво отпускают шуточки по его адресу. Слышно, как поднимают жалюзи магазинов, продавцы показываются на пороге.

У меня перед глазами словно застыла фотография утреннего Рима, меня раздражает эта неотвязная картина — непросохшие после ночного дождя деревья, недовольные лица людей, пробирающихся меж луж, тяжелое, нависшее над самыми крышами небо.

— Ну, — снова обращаюсь я к ней, не глядя в ее сторону.

Уверен, что у нее уже уложены и спущены к портье чемоданы — новенькие, кожаные, без единой царапины, с хорошо протертой металлической монограммой.

— Знаешь, — спокойно говорит она, — ведь здесь единственное в Риме место, где подают «Амер Пикон» *, хотя они и не умеют готовить его с гранатовым соком. Ты разве не помнишь? Я подумала...

— Послушай меня хорошенько, Лу... — начал я.

— Знаю, знаю, не беспокойся, не хочу тебе надоедать. Я ничего не собираюсь воскрешать. Мы договорились — просто дружеская поездка, и только. Мы поддерживаем друг друга, и, разумеется, ты можешь на меня рассчитывать. — Она говорит очень гладко, ни на одном слоге не

* Французский аперитив.

запнется, как ни взволнована: — Поверь мне, я ничего не нарушу. «Амер Пикон» — это просто глупая примета. Тебя это устраивает?

Я киваю в знак согласия и тут же раскаиваюсь; и так все слишком сложно, а я еще позволил ей спутать карты. Эта поездка... Мысль о ней родилась случайно, в приливе тоски по родным местам, в те вечера, когда я убивал время в кафе и ресторанах. Ничего иного я попросту не мог придумать. Эта поездка всегда казалась маловероятной, она была чем-то вроде доброго призрака, в который можно иногда поверить, — а теперь все обернулось так, что сегодня мы едем.

— Послушай, Стефано, — говорит она, на мгновенье касаясь моей руки. — У тебя пропала охота, да? Или, может, ты хочешь ехать один? Скажи честно: сцен не будет, клянусь!

— Да нет, нет...

— Ты не знаешь — ехать тебе или оставаться, не так ли?

— Ну, так.

— Могу я дать тебе совет?..

Она опирается локтями о стол, она внимательна, любезна, готова на все — рассмеяться или заплакать, бороться или уступить, в зависимости от того, что потребуется в ближайшие секунды, лишь бы я был доволен. Она готова принести себя в жертву, только бы мне было хорошо. Я чувствую, как согревает меня ее доброта, я уже знаю, что постепенно отдамся волнам ее заботы, ее великодушных уступок, ее предупредительности, — мое сопротивление сломлено, я больше ни на что не претендую.

Она продолжает:

— Всегда так — нужно ехать, а у тебя пропадает охота. Потом это быстро проходит, и тебе становится хорошо. Ты же помнишь? Послушай, не трать зря эти несколько дней отпуска. Ты уже годы без конца говоришь об этом своем проклятом Пьемонте, о старом доме, о своем отце-полковнике и обо всем прочем. Поезжай — это пойдет тебе на пользу. Поездка чудесная, всего пять дней, приедешь, блеснешь и уедешь, прежде чем тебе там надоест. Езда в машине всегда была для тебя разрядкой. Я останусь здесь или поеду с тобой, буду молчать или говорить — как ты решишь. Ты же знаешь, со мной не трудно, мне всегда хорошо. Сам решай! Хочешь — поезжай один и не думай обо мне, даже открыток не шли, так лучше всего! Ведь не впервые! Только не трать зря эти несколько дней. Если останешься в Риме, снова будешь работать, как сумасшедший. Я тебя знаю. А мы все так хорошо продумали, все решили... Не бойся, я сумею сдержать уговор... Ни за что не нарушу его, если это тебя пугает...

— Да, — говорю я.

Она качает головой и уже не знает, какие слова подобрать. Она ждет. Она права. Знает, что права. Но от этого ей не легче. От такой правоты она только чувствует себя еще более несчастной и одинокой.

— Ты уже пила кофе? — спрашиваю я.

Она, не глядя на меня, говорит, что пила.

— Почему никто к нам не подходит, почему никто не спросит, что нам нужно?! — возмущаюсь я, глядя на официантов, выметающих опилки из-под столиков.

— Ты устал. Не спал эту ночь, да?

— Нет.

— Тебе снова все это снилось... — переходит она на шепот.

— Да нет же! — возмущаюсь я.

Она вздыхает, ждет, и я тоже не знаю, как начать, что сказать ей.

— Будь же благоразумен. Ты всегда говоришь, что надо быть благоразумным, а потом... — бормочет она.

— Ладно,— решаюсь я,—допустим, что мы едем. А если на меня снова найдет?..

Теперь она почти уверена в себе, поняла, что ей удалось сдвинуть первый камень. Она снова протягивает ко мне свою легкую руку.

— Дорогой, — говорит она, — ты волен решать и менять свои решения. Хотя тебе и нравится считать себя жертвой... Ты ведь прекрасно понимаешь, что все делается для твоего же блага. Разумеется, это между нами... Клянусь, я буду совсем, совсем хорошей. Может, мне написать это на гербовой бумаге? И не думай сейчас о том, что и как будет... Как будет, так и будет. Чем ты недоволен — я слишком много говорю?

— Порой ты бываешь такая хорошая, красивая, добрая, что тебя бы надо на месте прикончить, — говорю я.

— Это я понимаю, — отвечает она проникновенным полушепотом.

— У меня даже чемодан не уложен.

— Минутное дело. Мы могли бы через час... Через час можно было бы уже уехать из Рима.

— Конечно, — говорю я.

— А теперь, милый, не придумывай себе новых неприятностей, — улыбается она настороженно. — Мы всем будем довольны, мы отправимся в твой старый, благородный, бородатый Пьемонт, ты похлопаешь по плечу своего отца-полковника, немножко похвастаешься своими успехами в Риме перед друзьями в кафе, они уже наверняка брюхо себе отрастили, — а потом мы вернемся обратно. Что может быть лучше...

— Ладно, ладно.

— Если моя любовь к тебе не может оправдать даже дружеской помощи в таком деле, значит...

— Э, нет, Лаура, так не пойдет...

Она глядит на меня, потом прикрывает глаза, давая понять, что я прав, что она ошиблась, что это больше не повторится.

— Доверься мне, — шепчет она. — Потерпи минутку, только одну минутку, поверь мне...

Погода стала еще мрачнее. Официанты зажгли свет, в пустых залах кафе на бархат ложатся теплые тени, прожилки мрамора на столиках приобретают кровавый оттенок.

— Знаю, я твой единственный друг,—бормочет она,—это нелегко...

— Ладно, только не надо повторять одно и то же,— отвечаю я.— А не то мы снова...

— Да,— с готовностью подхватывает она.— Я только хочу тебе еще раз сказать: надоедать не стану, вот увидишь, ведь я весь год вела себя хорошо. Скажи, разве не так? А в поездке буду вести себя еще лучше, совсем как старый товарищ по оружию...

— Лу, ты не должна постоянно...

— Молчу! Больше ни слова.

Она вздрагивает, не переставая улыбаться.

— Будь хоть немного дипломатом, а то у меня совсем опускаются руки. Мне хорошо. Ты знаешь, мне всегда хорошо. Я на все согласна. Только не лишай меня мужества, ни о чем другом тебя не прошу...

— Иди-ка домой, пока дождь снова не начался,— говорю я, не смея больше на нее взглянуть,— через полчаса я за тобой заеду.

Она кивает, но не поднимается с места и не притрагивается к лежащим на столе сумке и перчаткам.

— Только прежде закажи, пожалуйста, этот «Амер Пикон»,— шепчет она, тоже отводя глаза в сторону.

Льет дождь, асфальт стал скользким и лоснится от воды. Туман стелется над полями, апрельская трава зеленеет в долинах, вокруг тишина, небо сплошь серое, куда ни кинь взгляд. Земля словно дымится, и сквозь ее испарения смутно вырисовываются свернувшиеся клубками

деревни, желтые, коричневые стены отсыревших под дождем строений.

С тех пор как выехали из Рима, мы и слова друг другу не сказали. Дорога почти пуста, лишь изредка попадаются тяжело ползущие по шоссе грузовики, в опущенное до половины окно машины временами врывается струя свежего воздуха. Я устал. Часы, проведенные без сна, туманят голову, но теперь мне по крайней мере удается ни о чем не думать. Мне до сих пор не верится, что я и в самом деле отважился на эту поездку, которая представлялась мне столь грандиозным событием, когда я ее замышлял или, наоборот, когда отказывался от нее, а теперь, если трезво взглянуть, казалась лишенной всякого смысла, навязанной мне вопреки моей воле.

«Сегодня я так устал, что далеко не проеду»,— говорю самому себе. Рядом чувствую Лауру, которая лишь изредка мельком взглядывает на меня и молчит, желая оставить за плечами как можно больше времени, как можно больше километров. Скорее всего она еще не верит в реальность этой поездки и решила предоставить мне первому дернуть за ниточку разговора, а пока сидит спокойно, положив руки на колени, курит, молча протягивая и мне сигарету. Раза два или три, когда я обгонял машины, она внимательно оглядывала дорогу, демонстрируя свое заботливое присутствие, словно говоря, что она здесь ради меня, ради этой поездки.

— Если тебе хочется кофе...— говорю я.

Она отказывается молча, не переставая улыбаться. Должно быть, хоть и решила оставить меня в покое, но сама начеку, готова в любой момент отразить любой вызов с моей стороны.

Вот каковы мы теперь, всегда ждем подвоха друг от друга, а ведь так ярко горело когда-то пламя нашей любви. Она укрылась в своей раковине, нашла прибежище в бесконечной, лишенной логики самоотверженности, выискивая и изобретая все новые и новые предлоги для ее проявления, ибо только удваивая доказательства своей преданности, могла удержаться на избранной стезе...

Ну, а я... Мы долго были вместе, мы почти растворились друг в друге, и то немногое, что нас различало, лишь возбуждало наши чувства. Мы дошли до самых глубин взаимного доверия, исчерпали весь заряд, который может дать любовь, и вот сейчас мы боимся друг друга, мы в тисках тысяч предосторожностей, следим за каждым своим словом и жестом, втайне стараясь сберечь остатки того, что нас объединяло.

В воспоминаниях я люблю ее по-прежнему, но уже не могу признаться ни ей, ни себе в этих неожиданных приливах чувства и прячу их глубоко; и это тоже — я теперь знаю — одно из звеньев в цепи вещей и явлений, происхождение которых темно и таинственно для меня. Я больше не могу разобраться в себе и в собственном существовании, а жизнь катится, словно камни при обвале, дни идут — один горше другого... Может, у меня с Лаурой все так неладно получилось, потому что мы тогда не решились на обычную жизнь вдвоем, которая день за днем помогала бы нам притерпеться друг к другу и спасла бы нас на первых порах от всякого рода крайностей, а позднее сгладила бы наши различия.

По-прежнему мы встречаемся там, где встречались раньше, обмениваемся привычными словами, но понимаем, что стали другими. Мы едим, пьем, ходим на коктейли, знаем привычки друг друга, мы внимательны и предупредительны, мы стараемся друг другу помочь и знаем, что это конец, что мы потерпели поражение. Нам недостает мужества для разрыва, который, возможно, помог бы нам излечиться. Лу до сих пор живет в

Риме, она в курсе всех моих дел, пытается уберечь меня от всех неприятностей, хранит мне верность. Наши отношения утратили ясность, они строятся теперь на основе своего рода сообщничества, взаимной солидарности, терпимости и преданности друг другу. Вот уже год, как они поддерживаются лишь дружбой, человеческим доверием. Лу говорит — впрочем, с полным основанием,— что она мой единственный друг, и изо всех сил цепляется за эти слова, радуется их подтверждению, яростно защищает их в тех случаях, когда обстоятельства ставят их под сомнение.

— Как ты?

Она улыбается и жестом дает понять, что все хорошо, что лучше и быть не может.

Я перед ней в долгу за этот трудный год жизни, когда я обнаружил, что нахожусь в разладе с людьми, что я утратил связь с прошлым, что настоящее безразлично мне, а в мыслях царит полный разброд. Внешний мир представляется мне внушающим сострадание хаосом, который с помощью тысячи различных уловок заманивает меня в свою западню.

Эта поездка должна вернуть мне душевное равновесие, вернуть меня к тем старым источникам жизненной силы, из которых я жадно черпал когда-то с таким доверием. Я даже Лу не могу рассказать, до какой степени я растерян, опустошен и напуган: состояние мое походит на упорно наступающую болезнь, внутри меня быстро распространяется гангрена, создавая все новые очаги. Я не могу сказать ей, что чувствую себя, как те крестьяне, что, раздавленные тяжелой работой и невзгодами, сопротивляются жизни, несмотря на возраст, прибегая к единственному доводу, который они признают: спина-де все вынесет. Так говорят они и продолжают убивать себя тяжелым трудом, который уже не под силу ни их мускулам, ни костям.

— Тебе, наверное, кофе нужней, чем мне,— говорит она.

— Нет,— отвечаю я.— Не будь так скользко, мы бы ехали быстрей и тогда успели бы добраться до Тоди, спуститься к озеру Больсена... Как ты думаешь? Может, попробуем?

— Великолепно! — смеется она.— Лишь бы дорога была подлинней, и я довольна. Пообедаем у озера, пусть хоть под зонтиком. Но вот увидишь, дождь пройдет, я уверена... Я ужасно проголодалась.

Дорога то идет в гору, то спускается в плотный серый туман. Вдоль асфальта по обе его стороны тянется изгородь, застоявшийся воздух кажется кислым, на полях видны вымокшие стога сена.

Я пытаюсь встряхнуться.

— Держу пари — у нас будет хорошая поездка! Лу, проснись! Если нам по пути встретится молодой Вертер, мы ему покажем!.. В конце концов, это он во всем виноват! Ноет по любому поводу...

Она смеется, словно освободившись от чего-то, и внезапно в ней пробуждается интерес к полям, она разглядывает грязные, мрачные, вымокшие под дождем изгороди.

— Вот увидишь,— начинает она,— вот увидишь, как тебе будут завидовать твои прежние друзья. Эти облысевшие провинциалы с язвой желудка... Серенькие адвокатишки... И вот приезжаешь ты — бодрый, уверенный, ставший в Риме...

— Чем я стал в Риме, Лу?

— Ну, знаешь, положение, которое ты себе создал в Риме, всего в тридцать три года...

— Отличное положение, поистине выдающийся успех...— усмехаюсь я.

Она бросает на меня беглый, подозрительный взгляд и тотчас снова улыбается своей легкой, словно стеклянной улыбкой.

— Ты еще недоволен! Хотела бы я видеть, кто другой на твоем месте, приехав в Рим без гроша, одинокий, как пес, сумел бы...

— Давай условимся, Лу,— отвечаю я спокойно,— не надо все время говорить обо мне, ладно? Не будем говорить о нас с тобой, а особенно обо мне. Нашла о чем говорить! Пусть не путается у нас под ногами все это...

— Да,— охотно соглашается она.— Поедем побыстрей, будем веселы, веселы...

Она достает сигарету, вертит ее меж пальцев и кладет обратно.

— Нет...— решает она,— хочу обращаться с собой бережно, хочу чувствовать себя хорошо... И ты тоже. Мы ведь спокойненько, совсем спокойно путешествуем, не усложняем себе жизнь, мы просто жизнерадостные туристы... И не важно, идет дождь или уже кончился.

— Молодец! — подбадриваю я ее.

Широкие пятна далеких лесов на склонах теряются в тумане дождя. С повозки, остановившейся у края дороги, нас провожает взглядом мужчина под зонтиком с неприветливым колючим лицом.

— Мне кажется, мы уже неделю едем...— вздохнула Лу с наслаждением.

Я пытаюсь придать себе бодрости, но чувствую, что мне не избавиться от червя сожаления, сомнения, раскаяния, мрачной тоски, неприязни к себе, который гложет меня, гасит любой порыв хорошего настроения и убивает мои благие намерения. Лучше бы мне не ехать...

«Ты всегда хотел побеждать,— говорю я себе,— ты до сих пор еще не уверен, что именно в этом причина зла. Ты растерян, ты — как спутанный клубок шерсти, ты даже не можешь разобраться в своих сомнениях и все-таки надеешься, что придет день — и жизненный заряд, израсходованный тобой, казалось бы, впустую, принесет еще добрые плоды. Нет, ты безумец, это ясно, да еще самой худшей породы, из тех, что подымаются во весь рост в окопе и кричат врагу: «Стреляй сюда!» — не желая понять, что у подлинного мужества совсем иная природа, что оно учит по-иному понимать, действовать, по-иному видеть мир в себе и вне себя... Стоит тебе пошевелить пальцем, как ты создаешь вокруг себя хаос и все-таки думаешь, будто еще можно что-то уладить, будто из тысячи разлетевшихся по сторонам осколков еще можно склеить полную гармонии вазу... Ты еще веришь, что тебе удастся потянуть за собой в рай всех — Лу и полковника, старую Катерину и добрые обычаи, убитого немца и крестьянский здравый смысл, профессиональное достоинство и ненависть к предрассудкам... Ребенком ты, закрывая глаза, воображал, что вселенная заперта на замок, но готова, стоит тебе только поднять веки, послушно и немедленно распахнуть перед тобой свои двери. Ты и сейчас думаешь, будто сможешь один вынести на своих плечах всю ложь и всю боль, что ты один способен направить все в нужное русло, сделать все, как тебе кажется правильным и нужным, полезным для всех. Ты один из тех проклятых добряков, готовых загубить жизнь — свою и своего ближнего — из одного милосердия, лишь бы никого не ранить; у тебя в запасе тонны этого проклятого, неисчерпаемого милосердия, которое ты готов обрушить на зло мира; у тебя в запасе километры добрых намерений и глубокого целительного понимания. Вспомни и попытайся хоть сегодня понять смысл своих великодушных и безумных поступков. Вспомни, как в тот вечер, когда тебе еще не было двадцати, ты спорил с укротителем тигров в цирке, требуя, чтобы он впустил тебя в клетку, вспомни и попытайся уразуметь, к чему приводит эта маниакальная страсть подавать добрый пример... Ты ни на минуту не переставал верить, что разум способен покорить мир. Фанатичный приверженец разума, ты видел в нем панацею от всех бед, некий про-

зрачный купол добра, которым можно накрыть действительность, но ты не замечал в своем ослеплении, сколь она противоречива, двусмысленна, мрачна и бездушна, не понимал, что вступить с нею в единоборство можно, лишь превратив собственный разум в нож хирурга, в тяжелый молот, в хитрую ловушку... А не то будешь вечно копаться в грязи, пытаясь на ощупь отыскать осколок своей пресловутой истины, и только весь измараешься. А если тебе случайно удастся наткнуться на него, то не нужный никому осколок лишь порежет тебе пальцы...

Ты бодр, уверен в себе, так говорит Лу; не исключено, что она сама верит в это, но ты знаешь, как смешались в тебе все возрасты, дерзкие мысли подростка уживаются со старческой усталостью, проникшей в каждую пору твоего тела. Ты уже слышишь скрежет мотора, в который забились пылинки, и ощущаешь его перебои... И, однако, по инерции ты не останавливаешься и даже тащишь за собой в мешке Лу, убежденный, что сможешь помочь ей, что тебе удастся еще найти выход, победить... Ты словно врач, который не отходит от больного, удерживая его в постели день, другой, третий, и под конец добивается лишь того, что больной чувствует себя все беспомощней и несчастней...»

— Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь, перестань молчать...— взрываюсь я внезапно.

Она оборачивается и смотрит на меня, еще не вполне понимая, чего я хочу, но готовая действовать в зависимости от обстоятельств, лишь бы не совершить промаха.

— Как хороша деревня, даже в такую грязь,— произносит она наконец.— У каждого поворота хотелось бы постоять...

— До чего ты мне наскучила со своей деревенской идиллией,— придираюсь я.

— А ты мне со своими непрерывными превращениями,— быстро отрезает она.

Мы смеемся, но оба еще настороже, еще не решаемся произнести простые, настоящие слова; нас, как всегда, сковывает чрезмерно тонкое знание друг друга.

— Ты вовсе не обязан меня развлекать и нянчиться со мной в дороге,— говорит Лу.— Не делай над собой усилий... Это совсем не обязательно.

— Ладно, опять у тебя раздуваются ноздри, как у статуи матери Гракхов.

Она смеется, и мы вновь обретаем равновесие, которого временами нам удается достичь. Тогда оно кажется нам вечным и незыблемым, последним оплотом тех блаженных времен, о которых мы запретили себе говорить.

— На дворе как будто ноябрь. Такой воздух бывает при сборе винограда,— говорю я.

— О боже, ты надулся, точно почтенный пьемонтец, который всегда сдержан и думает только о своих землях,— смеется Лу.

— Погоди,— говорю я, останавливая машину на площади Тоди.

Я выбегаю из машины и беру прямо с прилавка толстые ломти еще теплой жареной свинины. Мясо — жирное, соленое; пальцы становятся сальными. Мы молча глядим на площадь, которую словно разобрали на части, а потом собрали воедино из тысячи лоскутов всех цветов — от черного до фиолетового.

— Как красиво! — вздыхает Лу.

Она довольна, высовывается из машины, жует и, кажется, больше не страдает. А я не понимаю, что со мной. Окидываю взглядом площадь, вижу, как все подогнано — миллиметр к миллиметру — и в то же время глубоко чуждо мне, совсем не то, что мне нужно. Большая лестница как

будто вздрагивает от капель дождя, под портиками в темных провалах арок слышны певучие голоса. Каменные плиты сверкают, как старинный металл; облака низко нависли над прямоугольником между стенами домов.

— Видишь вон то окошечко? — задумчиво спрашивает Лаура.

— Поедем отсюда.

— Я должна доесть мясо. И я хочу пить,— пытается она возразить.

— Выброси,— говорю я, нервно жестикулируя.— Выброси! А то не будешь есть на озере Больсена, так с тобой всегда...

Я разворачиваюсь на пустынной площади — узкая полоска воды тянется за колесами,— и через минуту мы снова среди полей, машина подскакивает на дороге, по краям которой неподвижно застыли в тумане деревья. Лу озабоченно глядит на меня, не зная, прийти мне на помощь или подождать, пока я возьму себя в руки. С холодной яростью гоню я машину, не тормозя на поворотах, вымещая на собственных мускулах минутную слабость, которую я не мог побороть, когда мы стояли там, на площади.

— Погода проясняется,— говорит Лу.

Я наклоняюсь к рулю и вижу в небе проблески голубизны. Близкую перемену погоды я уже угадал, следя за полетом ласточек, которые теперь не прижимаются к асфальту, а тянутся к верхушкам деревьев. Внизу нежным серым пятном среди зелени залегло озеро Больсена.

— Говори же...— прошу я.

— Да, а потом скажешь, что заболел от моей болтовни. Будто я не знаю,— отвечает она.

— Может, лучше задержаться где-нибудь в пути?..— размышляю я вслух.— Мне хватит и одного дня с полковником. Боюсь — кончится плохо, если я там дольше пробуду.

— Отлично,— говорит Лу.

Она нервно теребит ленточку серебряной бумаги, оторванную от пачки сигарет, и глядит на дорогу, волнистой линией уходящую вдаль, к сверкающей светлой полосе впереди, которая становится все шире и шире.

— Что с тобой?..— спрашиваю я.

— Ничего,— возражает она с улыбкой.— Вот мы приедем... Меня чуть-чуть пугает...

— Не усложняй, пожалуйста,— прошу я притворно умоляющим голосом,— будь как все женщины, они всегда спасаются, думая о кухне и белье...

— Если бы я могла,— вздыхает она,— не знаю, что я дала бы, лишь бы стать такой...

— Не думай об этом, сейчас спустимся к озеру, будем пить и есть, как солдаты на побывке...

— После этой свинины,— жалуется она капризно,— я не смогу...

— Э, нет,— протестую я.— Шутки в сторону! Мы едим и пьем, ну, без разговоров... Понятно?

— Считай, что уже настало время ссориться! — бормочет она чуть слышно.

Ряды пустых столиков протянулись вдоль озера. Официант с готовностью бежит по песку от ресторана к нам. Вода в озере покрылась рябью, скатерть под руками кажется сырой, в гулкой пустоте разносятся далекие звуки колокола. Погода медленно проясняется. На небе голубые просветы, их снова затягивают тучи, но небо постепенно очищается. Прохладно. Капля воды с листьев соседнего дерева падает на скатерть. Мы можем улыбаться друг другу, можем сидеть молча и пить, можем разглядывать мелкую рябь усталых вод озера.

Глава третья

Я должен заставить себя вспомнить все.

Не знаю, может ли мне по-настоящему помочь копание в собственной памяти, попытка навести в ней порядок. Но я должен попробовать. Так тяжело раненный человек, лежа один, с переломанными костями, начинает осторожно ощупывать себя, выяснять, что в нем еще цело и живет, а что потеряно и мертво.

Я должен это сделать еще и потому, что воспоминания похоронены где-то на дне моей души в полном хаосе, они существуют как бы отдельно от меня, превратившись в старый, заброшенный хлам.

Я был, что называется, обыкновенный славный малый, в меру жизнерадостный, энергичный и веселый. Так продолжалось до тех пор, пока я питался внешними впечатлениями жизни, весь устремленный в будущее, готовый брать штурмом каждый приходящий день.

Да, еще год тому назад мне было хорошо даже в моем кабинете; мне было хорошо, когда я учился, был солдатом, или еще в более далекие времена, когда я по собственному желанию несколько месяцев работал на заводе, а полковник видел, что я расту и действую не так, как ему хотелось бы, и каждый мой поступок представлялся ему оскорбительным, и он даже не удостаивал меня словом...

Мне же казалось, что все устроено правильно и логично... Я отдавал миру, что мог, а мир, которым был завод, моя рабочая комната, университет, казарма, девушки и друзья,— принимал от меня все, щедро одаривая взамен надеждами и обещаниями. Это была игра, и мы становились опытнее с каждым ходом, но впереди нас ждали новые испытания, все более серьезные. В отсыревших аудиториях университета, на заводе, беседуя с рабочими, в казарме, помогая соседям писать письма невестам и заполнять бланки денежных переводов, я отдавал лишь жалкие крохи себя, но я говорил себе, мы все говорили: наш час наступит, придут годы великих свершений, мы еще бросимся в огонь, и тогда мир увидит, какие силы в нас таятся... Так было, пока не стала очевидной простая и горькая истина: виновен не тот, кто вымогает себе награду не по заслугам, а тот, кто дает больше, чем от него ждут.

Как-то я засорил левый глаз, и мне пришлось надеть плотную повязку. Очертания комнаты расплылись, предметы и лица стали плоскими, пространство свелось к гладкой, лишенной рельефа поверхности. Это причиняло мне скорее моральные, чем физические страдания; часы тянулись бесконечно, внешний мир казался серым и безрадостным, я прикладывал мази и примочки, стремясь ускорить выздоровление, веря, что все пройдет в тот миг, как я снова увижу мир обоими глазами. Наконец, я снял повязку, но меня ждало разочарование: надежда, что я сразу обрету верные соотношения пространства, не оправдалась. С трудом восстанавливались нормальные функции глаза, мне казалось, что он стал пустым и бесцветным. Никогда не забуду этой бесконечной, страшной минуты, в течение которой комната и все предметы в ней по-прежнему оставались плоскими... Так по-дурацки все получается и в жизни.

Теперь неоткуда ждать добра... Я смертельно ранен, а все еще пытаюсь понять, куда приткнуться, как быть дальше. Слишком легковесен этот якорь крестьянской уверенности в жизни, за который я цеплялся с такою силой: сегодня ему уже не удержать меня. Напрасно я пытаюсь повторять себе: что тебе нужно, не надейся, что мир когда-нибудь станет зеркалом твоих желаний, пора бы это понять и не жаловаться. Оглядись-ка лучше по сторонам, присмотрись к чужим бедам.

умерь свой пыл, не пытайся во всем разобраться, не лезь на рожон. Чего ты, в самом деле, ждал от этой жизни?..

Я говорю: тебе что, мало досталось? И еще говорю: помни, увлечения молодости — яма, которую не засыпать запоздалым благоразумием.

Вспышки иронии и здравого смысла изредка еще приходят мне на помощь, поддерживают меня, не давая впасть в отчаяние, но я знаю: это всего лишь слабая реакция когда-то здорового организма, который еще не хочет сдаваться.

«Жизнь подлинно верующего человека всегда должна быть символичной...» Я запомнил эти слова немецкого поэта еще в лицее, хотя и забыл его имя. Потребовались годы, чтоб понять их, попытаться превратить из своего собственного щита в общий закон — живой, легкий, надежный, гибкий... Сегодня эти слова — словно вода, текущая меж пальцев, ее не поднесешь ко рту и не напоишь ближнего, чтобы обратить его в свою веру. Передо мною, словно в мутном калейдоскопе, проносится хаотический хоровод поступков, совершенных мною по доброй воле, продиктованных неопытностью, случайным совпадением обстоятельств или внезапным душевным порывом; я вижу, как сгорают без пламени мои благородные стремления, как они дымятся и чадят, словно скверные сырые дрова.

«Жизнь подлинно верующего человека...» — повторяю я, смутно улавливая смысл этого изречения, ставшего лишь слабым дуновением ветра во мраке,— не разберешь, просто ли это движение воздуха или дыхание человека, идущего тебе на помощь. Я уже не способен ничего различить, хотя все еще стремлюсь к этому, мне так и не найти того, ради чего я жил, все оказалось призрачным, переместилось за грань реального.

«Итак, я еду, а ты уж постарайся подложить мне свинью, не то какой из тебя заместитель... Смотри, если вернусь и увижу, что ты работал не лучше меня и не пытался меня обставить...» — сказал я своему помощнику, перед тем как уехать с Лу. В ответ он что-то льстиво пробормотал, даже не подозревая, как бы я ему был благодарен за любой, самый пустяковый инцидент, лишь бы разорвать сеть опутавших меня дней и лет, остановить поток мыслей, которые обуревают меня, не предлагая выхода из тупика.

Теперь меня пугает этот ворох воспоминаний, в котором я должен рыться, это застывшее время, хранящее куски моей жизни, которые ждут, чтобы их связали воедино. Меня одолевает упрямое желание сделать это и одновременно сомнение в собственных силах, я чувствую себя криминалистом, который резкими штрихами карандаша воссоздает на бумаге черты неизвестного ему преступника: нажим карандаша — и готова щека, еще один штрих — выплывает лоб, а вот и глаз...

Мне бы обрести ту наивную простоту и уверенность в мире, которые позволяли моей матери говорить: «Я вдоволь наглоталась яда...»

Ее глаза, обведенные синими кругами, ее головные боли, ее усталость, ее способность страдать, не задавая себе глубокомысленных вопросов, ее скромные, ограниченные кругом семьи проблемы, над решением которых она билась изо дня в день,— вся она в этих простых словах: «Я вдоволь наглоталась яда...» Она отвечала так, когда ей предлагали сесть к столу и отрезать себе ломоть неизменного рисового пудинга, обсыпанного шоколадной пудрой, или пытались втянуть в разговор. И сам полковник Джакомо Иллуминати, муж и отец, отступал со своих, казалось, незыблемых позиций при этих словах. Они были единственной формой ее защиты и протеста, неприкосновенным убежищем, к которому все относились с почти религиозным почтением.

Мы приближаемся к Пизе. Лу, чуть отяжелевшая после белого вина, которого мы немало выпили, спокойно и умиротворенно смотрит в окно.

Нам даже удается весело и дружно посмеяться, когда я пробую переделать на свой лад притчу о блудном сыне: он возвращается домой, стремясь к традиционному прощению, но не застает отца, который мог бы принять его и простить. Тяготы изнурительного пути теряют свой смысл, блудный сын оказывается в нелепом и смешном положении... Нет и упитанного тельца. Его давно прирезали и слопали родичи во время какого-то праздника...

По краям шоссе еще кое-где блестят лужи, но за Больсеной на небе появились широкие голубые просветы. Лу, противясь сну, ожесточенно втягивает в себя дым сигареты, я же тем временем злобно, но с опаской перемалываю ослабевшими челюстями памяти свою «порцию яда» — воспоминания,— эту кучу песка и камней, о которые, того и гляди, сломаешь зубы. Яростная, упрямая память, непрестанно спрашивая: «Почему?» — с самого начала отвергает любой логичный ответ.

Я еще раз должен выйти за ее пределы обновленным.

Я должен сделать еще одну попытку освободиться от ее гнета.

В большой гостиной первого этажа разговаривали все сразу, громко, перебивая друг друга. Мы с Франческо спрятались во дворе, на дне повозки, и старались пронюхать, о чем идет речь. Стояли первые дни июня, повозка пахла свежим сеном и конюшней. Мы не сводили глаз с окон, ставни были раскрыты, но железные решетки и занавеси мешали разглядеть происходящее. До нас доходил лишь непрестанный, все нарастающий гул голосов, от которого, казалось, в доме трещали стены.

Катерина, тогда еще полная, с аккуратно уложенной на затылке черной косой, выскочила из дому. Испуская громкие и веселые крики, она обежала вокруг каменного стола под тополями — за ней вдогонку мчался мой дед, со свистом размахивая в воздухе почти двухметровой колбасой.

Он хотел догнать Катерину, хлестнуть ее по спине, но вдруг остановился, продолжая размахивать колбасой, терявшей на лету розовые кусочки мяса.

— Ладно, можешь идти! Хватит с меня! — кричал он, довольный собой.

— Я к ребенку, нужно ребенка увести...— волновалась Катерина.

— Оставь! Пусть Стефано привыкает быть мужчиной; если он еще здесь, пусть остается,— велел дед.

— Мужчиной... В девять лет! Скажете тоже... Вы с этой колбасой поосторожней... Пожалейте добро, разве не видите: из нее нутро вываливается.— И Катерина, что-то бормоча себе под нос, направилась к калитке. Она стала звать меня, и мы с Франческо сжались, замерев на дне повозки.

Старик вернулся в дом. Мы тихонько обошли стоявший во дворе «диатто» — черный, почти квадратный автомобиль дяди, до руля которого мы могли дотянуться, лишь вскочив на подножку.

— Франческо! — мрачно прозвучал голос Доро, отца Франческо.

Стоя в дверях коровника, он глядел на нас своими черными глазами, худой, с острыми, торчащими костями, с глубокой впадиной на месте живота.

— Мы ничего такого не делаем, просто гуляем, сегодня воскресенье,— попытался я выгородить приятеля.

Он медленно приближался к нам, заправляя рубаху в брюки.

— Сейчас он мне влепит! — зло прошептал Франческо.

— За что? — тихо спросил я.

— А ни за что, вот увидишь, как он мне влепит!..— повторил Франческо.

Его отец остановился, как и мы, рассматривая машину, потом обошел вокруг нее, присел, чтобы получше разглядеть колеса.

— Праздник у вас, что ли? — сказал он то ли утвердительно, то ли вопросительно.

— Вся моя родня съехалась...— ответил я.

Я боялся его. Страх мой исчезал, лишь когда я видел, как он, согнувшись, обрабатывает грядки мотыгой или своими огромными, потемневшими от земли руками роется в туфе у виноградника. Встречая его во дворе, я старался держаться подальше от этого черного, изможденного, пугавшего меня своим видом человека, который всегда молчал.

Он стоял и прислушивался к шуму голосов, доносившихся из дома. Франческо отошел на шаг в сторону и внимательно глядел на ноги отца. Тот поднял ногу и пнул шину, пробуя ее прочность.

— Трубы чистили...— поспешил я ему объяснить,— вчера мастер приходил, повыбрасывал оттуда все гнезда, а теперь родные приехали, будут есть рис с воробьями.

— Авось еще что-нибудь перепадет...— сказал он.— Праздник! Что ж, пусть едят на здоровье.

Повернувшись к нам спиной, он зашагал по двору прямо к конюшне. Франческо взглянул на меня удивленно, а потом стал от радости приплясывать.

— Пошли,— сказал я ему,— увидишь, во интересно, только сиди и молчи...

Мы проскользнули со двора на веранду, прошли через комнату, заставленную столиками и креслами из тростника, и укрылись в кладовой, найдя здесь вполне надежное убежище. В кладовке было три круглых, зарешеченных отдушины, которые закрывались металлическими крышками; осенью их отвинчивали, чтобы проходил согретый камином воздух из гостиной. Мы бесшумно отвинтили две крышки и, устроившись поближе к решетке, могли, сколько влезет, разглядывать большую гостиную, которая теперь была перед нами, как на ладони.

За столом сидело двадцать с чем-то мужчин; только дядя, приехавший на «диатто», еще не снял крахмального воротничка. От одного до другого края стола, покрытого огромной скатертью, тянулась длинная череда темных бутылок. Все громко разговаривали, возбужденно размахивали руками, гул голосов то и дело прерывался взрывами смеха, и лишь резкое слово деда заставляло их на мгновение умолкнуть. В полумраке на серой стене можно было разглядеть выцветшую, покрывшуюся пятнами от зимней сырости фреску. Раненый юноша, в одежде зеленовато-желтого цвета, легко опирался о плечо еще не осознавшей случившегося и улыбавшейся девушки. Правой рукой он приподымал край рубашки, обнажая бледный треугольник живота. Чьи-то скрещенные руки. Чьи-то лица, прически, буфы рукавов, большие носы, золотые украшения, бархат терялись в тени, сливаясь с серыми пятнами на стенах. Ни боли, ни печали, скорее изумление, предшествующее несправедливому и все же неизбежному несчастью — смерти.

«Это копия знаменитой картины, не помню, где я ее видел, то ли в Венеции, то ли в Неаполе, в музее Каподимонте,— каждый раз говорил мой отец, с удовольствием разглядывая ее.— Это последователь школы «Бамбочьянти» * и зовут его... зовут его...»

«Она здесь всегда была,— говорил ему дед.— Тот сумасшедший, которому этот дом принадлежал до нас, заказал ее какому-то художнику; все-таки жаль будет, если ее совсем затянет плесенью...»

Но эта картина — скорчившийся от боли юноша с таким нежным телом и без единой кровинки в лице, застывшие, ошеломленные лица,

* «Бамбочьянти» — название школы гротескной живописи, основанной римским художником Пьетро Лаэром (1592—1645).

смиренно сложенные руки — могла принадлежать лишь нам, она соответствовала духу нашей семьи, ее мироощущению. Я вглядывался в изуродованные пятнами сырости краски, и мне открывался тайный, невидимый другим смысл изображенной на стене истории, смысл, начертанный на каждой веточке, на каждом листочке нашего семейного дерева: принимай жестокость с молчаливым смирением.

Эта комната, всегда запертая и темная, где, как в винном погребе, царила прохлада, казалась мне сердцем лабиринта, хранящим ключ от его тайн. Каждый раз я останавливался перед фреской и вглядывался в нее, пытаясь разгадать ее секрет. Я был раненным в живот юношей, им был и мой дед, время от времени дед уступал свое место кому-то из родных, о ком начинали упоминать в семейных разговорах в связи с неожиданным несчастьем, банкротством или смертью. Слева, в самой верхней части фрески, виднелась голова человека с зеленоватыми волосами, с стрешенным взглядом, безразличного к страданиям раненого юноши и печальному событию, вызывавшему столь живой интерес у группы в центральной части фрески; этот безучастный человек тоже был мною, и моим дедом, и тем родственником, на голову которого сыпались все несчастья. В этой фигуре воплотились иные черты нашего клана — нетерпимость, беспощадность суждений, способность сопротивляться и выживать, уменье противостоять ударам судьбы и выпутываться из ловушек, которые жизнь расставляет на каждом шагу, чтобы сломить нас.

Отблеск мягких красок падал на резко очерченные лица моих родных, согнувшихся над равиоли * в соусе из вина «бароло» и над огромными, расписанными цветами суповыми мисками, в которых тоже дымились равиоли, но в другом соусе, посыпанные различными сортами тертого сыра.

Непрестанно хлопала дверь, ведшая из кухни в гостиную, то и дело в нее входил и выходил мой дядя, на его худой фигуре нелепо болтался передник Катерины. Он рьяно увлекался поварским искусством. На шее у дяди висел остаток сырокопченой колбасы, которую гости поглощали целыми метрами, прежде чем приступить к равиоли.

— А что дадут потом?..— пробормотал Франческо.

— Потом будет рис с этими воробьями, отварное мясо и полента **, приготовленная четырнадцатью различными способами..— выпалил я.

— Полента?

— Да, но на четырнадцати отдельных блюдах.— И я перечислил: с чесноком, с тертой начинкой, жареная или запеченная в яйце, а потом еще будет полента — только уж не знаю с чем; одни кончают полентой с сыром «горгонцола», другие напоследок любят поленту с молоком.

— Полента! — еще раз удивился Франческо.— Но они не выдержат, их стошнит в конце концов.

— С ними этого не бывает, ни разу не видел, чтоб они напились,— ответил я.

Прижавшись к решетке, мы хорошо всех видели, одного гостя за другим: видели, как важно и неподвижно они сидят, как степенно потягивают вино, не больше глотка за раз; долго держат бокалы на весу, примерно на уровне носа, прежде чем поставить на стол; да и разговаривают они теперь спокойно, их голоса сливаются в негромкий непрерывный гул. Во главе стола сидит дед, он здесь властелин, от его взгляда не ускользнет ни одна пролитая капля, ни одна оставленная на скатерти крошка, ни один мизинец, поднятый кем-либо из обедающих. Почти все они его племянники — сыновья его сестер, почти каждому он помог наладить свою торговлю, один даже открыл с его помощью апте-

* Равиоли — блюдо вроде пельменей.

** Полента — кукурузная лепешка — крестьянская еда на севере Италии.

ку, двое других приобрели кафе. И никого из них он не торопил с уплатой долгов. Теперь он как бы взвешивал каждого, определяя ему цену, всматривался в их лица, вслушивался в их речи, зная наперед, где золото и где солома и кому из них в жизни еще придется поплакать.

Вдоль стены на узких столах — прямоугольники бутылок, картонки с пирожными, пирамиды сухого печенья, чтоб было что обмакнуть в последний бокал.

— Не поймешь, о чем они говорят,— прошептал я.

— А о чем им говорить! Едят...— заметил Франческо.

То и дело кто-нибудь, тяжело опираясь о ручки кресла, подымался из-за стола и, добравшись до одного из стоявших в величайшем беспорядке блюд, цеплял еще кусочек телятины или уже остывшие равиоли. Кое-кто вставал, чтобы разглядеть на свет вино, определить его цвет и полюбоваться скользящими в глубине бокала тенями.

Придавленные к месту собственной тяжестью, они без улыбки сидели и ели, поверяя под конец свои мысли сигаре, или же с молчаливой невозмутимостью разглядывали фреску, которая в полумраке виднелась на стене.

— И долго они так сидят? — спросил Франческо.

— Не знаю. Трудно сказать. Иногда они не встают из-за стола до самого утреннего кофе.

Вот поднялся дед и направился на кухню, сопровождаемый дядей в переднике. Они вернулись, держа в руках длинную металлическую палку. Их возвращение было встречено воплями, руганью, смехом, притворными позывами к рвоте: на палке в два этажа подвешено было двадцать ночных горшков; дядя в переднике широким жестом ставил по горшку перед каждым из гостей.

Дед вернулся на свое место и теперь, со вкусом и пониманием, причмокивая, принялся поедать содержимое своего горшка. Он опускал туда ложечку и подносил ко рту, изображая при этом восторг, сразу же переходивший в гримасу отвращения, гости вскакивали с мест, глядели на него в ужасе, принюхивались, из-за стола доносился нестройный хор их голосов. Они успокоились, издав торжествующий вопль, лишь когда стало ясно, что в ночных горшках подали ловко приготовленных шоколадных змеек, плававших в марсале. Ряды бутылок на столах вдоль стены поредели, один из гостей уже расхаживал по гостиной с сигарой в зубах, поглаживая брюхо; кто-то, приоткрыв дверь, втягивал в себя свежий воздух, и его неподвижная прямая фигура в белой рубашке была похожа на изваяние.

— Должно быть, к концу подходит... Теперь они пойдут в сад...— объяснил я Франческо не без некоторого разочарования.

Этот праздник прошел спокойней прежних. Бывало, мать сердилась и даже плакала накануне, а потом считала себя оскорбленной, особенно в тот раз, когда они задумали привезти танцовщиц.

— В твои-то годы, при твоем диабете...— возмущалась она.

— При чем тут диабет? Разве я не делаю уколы? Разве не пью кофе с сахарином? — возмущался старик.

— Знал бы твой зять...— все еще пыталась убедить его мама.

— А ты ему пожалуйся — пусть приедет... Отчего он появляется только в августе, в отпуск, что ты ему за жена после этого? — разозлился старик.— Конечно, если он ест, как воробей... о своей фигуре заботится, только и думает, как бы на нем сошелся мундир с золотыми пуговицами...

— Праздник за праздником. А для кого все это? Для родных, которые тебе совсем не так уж нравятся... Да они не стоят того мяса, что ты для них готовишь...— жаловалась мать.

— Стоят или нет, но это наша родня,— отвечал он, помрачнев.—

Хватит! Теперь, выходит, надо и женщинам объяснения давать... Вы отправляйтесь в церковь... Оставьте нас в покое!.. Какие в наше время еще могут быть у мужчин радости в этой проклятой дыре... Они будут развлекаться точно так же и без меня... Что же мне, сидеть сложа руки и ждать смерти?

В тот раз Катерина тоже сильно обиделась. Дед вместе с тощим дядей, который в подобных случаях всегда приезжал раньше других, чтобы занять свое место у кухонной плиты, прогнал ее из кухни, запретив разделывать тесто для макарон.

Вместе с дядей он сам приготовил тесто; когда оно подошло, они посадили на него одну из двух привезенных Альбой на «диатто» танцовщиц, ту, которая потолще, совсем голую, с докрасна растертой одеколоном спиной. Толстенькая танцовщица принялась месить тесто, раскачиваясь вправо и влево, не касаясь ногами пола, под одобрительные хлопки и возгласы гостей. Четырежды граммофон исполнил «Валенсию», ритм которой сопровождал этот своеобразный танец. Позднее обе девушки были поданы к столу на десерт; они сидели голые в кадушке, украшенные кремом «шантильи», по уши вымазанные шоколадом, увешанные засахаренными вишнями и миндалем.

Теперь же родственники чинно разгуливали по саду — толковали о своих лавках; кое-кто разглядывал георгины, любовался голубыми гортензиями. На столе из тростника стояли чашечки кофе, несколько бокалов «бароло», бутылка настойки «ферне», неполная коробка с сигарами и сухое миндальное печенье.

Мы с Франческо слонялись по саду, то и дело вытаскивая из карманов сладости, которые стащили в опустевшей гостиной; мы надеялись, что кто-нибудь из гостей начнет партию в шары, а мы будем их подавать и в спорных случаях с точностью до миллиметра измерять расстояние между шарами.

Подле деда на скамье уселись самые любящие, самые почтительные из двоюродных братьев и племянников. Они завели разговор о Франции, о немецких войсках, которые в те дни, словно змеи, тянулись по дорогам от Рейна к Парижу.

— Не могу поверить, чтобы король — ведь он из наших * — мог пойти на такое, подобные вещи не прощаются... Наш король, то есть мы... воюем против Франции?! Да случись такое — я был бы рад своей смерти! — возмущался дед.

Он ненавидел немцев и Муссолини и вечно надеялся, что этот фанфарон погибнет в автомобильной или авиационной катастрофе во время одного из своих помпезных путешествий. Ежегодно, в надежде на подобные приятные известия, хотя бы в качестве награды за собственную щедрость, он жертвовал одному из отделений больницы — роженицам или неизлечимым больным — две-три железные кровати.

— Ну, Абиссиния — это еще куда ни шло,— слышал я, как он говорил отцу.— Я даже купил себе радио, чтобы услышать, чем там дело кончится. Но чего теперь хочет эта лысая жаба? Нести цивилизацию парижанам? Научить англичан, как надо жить?

Не желая ссориться, мой отец курил одну сигарету за другой, защищаясь от его вопросов дымовой завесой.

— Стефано! — вдруг позвал меня отец.

— Слушаю,— ответил я, как он меня учил.

— Спой деду ту немецкую песню! — приказал он мне.

Я молча стоял, уставившись глазами в землю.

— Не издевайся над ребенком, ни к чему ему знать немецкий...— пытался защитить меня старик.

---

* Имеется в виду, что король Виктор-Эммануил III — пьемонтец.

— Пока он запомнил ее, как попугай, но через несколько лет в гимназии ему придется по-настоящему изучить этот язык... Стефано, пой!— упорствовал отец.

Я так и не исполнил его просьбы, хотя не знал тогда, кто из них был прав: дед со своей Францией и Америкой, где он прожил год, или мой отец, который восхищался немецкими танковыми дивизиями и все время говорил о нашем неумении навести порядок, о глупости, несерьезности и легкомыслии итальянцев, о золотых от звезд ночах Ливии тысяча девятьсот одиннадцатого года, об острых, как бритва, очертаниях пустыни, о ливийцах, которые, завернувшись до глаз в белые покрывала, варили за палаткой свой вечный кофе...

Сегодня гости сидели в саду, спокойно беседовали друг с другом, время от времени осторожно смачивая губы несколькими каплями «ферне». Кое-кто, прислонившись к каменной балюстраде, смотрел на терявшуюся в голубовато-серых красках вечера равнину, на деревенские крыши, сбившиеся в кучу у подножья холма; по гребням крыш и по новой черепице они угадывали дома и мастерские, недавно построенные друзьями или соперниками. Проведя в воздухе незримую черту к видневшимся вдали колокольням, они определяли расстояние до деревень Гераско или Дольяни, тонувших в первых летних туманах. Приглушенные звуки выстрелов доносились сюда с дальнего стрельбища вместе с острым запахом танина, которым обрабатывали кожи в многочисленных скорняжных мастерских.

— В ту войну мы видели, как торговали картоном вместо кожи и как сапожники становились фабрикантами с золотой цепочкой на брюхе; на этот раз еще не то будет...— пугал мой дед.

Вокруг него все серьезно и мрачно кивали головами в знак согласия.

— Если вы еще задержитесь, можно будет подкрепиться телятиной, мясным салатом, фаршированными персиками, ну и чашка бульона не повредит...— сказал потом старик, чтобы поднять настроение и переменить тему разговора.

Родственники в торжественном молчании обдумывали предложение, заранее зная, что примут его. Они вернутся домой поздней ночью, кто на «диатто», а кто пешком. Взявшись под руки и растянувшись на всю ширину улицы, двоюродные братья и дяди отправятся в путь. Каждого из них, пока они сидели здесь, любуясь гортензиями и не переставая думать о коммерции, политике и домашних неурядицах, ждала жена. Оставив позади годы томной страсти и любовных утех, их жены располнели и стали покорными, алчными, терпеливыми и подозрительными существами, с недоверчивым сердцем, глубоко упрятанным в этот бочонок, оснащенный бархатным воротником и корсетом из китового уса...

Я ходил по саду и восхищенно разглядывал черные жилеты, обтягивавшие животы моих родственников, часы на массивной золотой цепочке, которые они то и дело вытаскивали из карманов. От них исходил запах деревенских улиц, лежалой одежды, жареного кофе, обувных мастерских, сырых полуподвалов.

Темнело. Они неподвижно сидели в саду, куда не доносились порывы ветра; сидели, освещенные последними лучами заходящего солнца, и ждали, пока мать и Катерина наведут порядок в гостиной и подогреют бульон.

В саду пахло сеном; отрывистый лай собак доносился со дворов соседних сыроварен.

— Давай, Стефано, живо, неси сюда граммофон, а ты, Франческо, будешь заводить, послушаем акт из «Богемы»! — уже распоряжался старик.— А потом откупорим вермут!..

Ему не удалось умереть до того дня, когда король объявил войну Франции.

Он четыре дня лежал в постели с приступом язвы, не мог ни есть, ни пить. Мать и Катерина обтирали ему тряпочками из льняного полотна выступавшую на губах желчь.

Однажды в полдень он приказал позвать меня и знаками велел мне сесть возле радио. Передавали речь Гитлера. Хриплый голос фюрера рвался из деревянного ящика: я должен был перевести ему хоть несколько слов.

— Твой отец учит тебя дурацким немецким песням, а сейчас, когда говорит сам дьявол и неизвестно, до чего он еще додумается, ты слова не можешь понять...— сказал дед.

В замешательстве я выключил радио и направился к двери, но он окликнул меня. Я подошел к его постели без всякого страха, хотя лицо его было смертельно бледно, а на прозрачных висках собрались мелкие, частые складки.

— Не мешайся тут,— ворчала мать, которая хотела, чтоб он лежал молча и спокойно.

— Тебя, как и меня, зовут Стефано,— сказал дед, пристально глядя на меня своими водянистыми глазами.— Хоть ты и будешь образованным человеком, а мне вот не довелось много учиться, запомни: никогда не научишься умирать... смерть всегда предает...

— Не говори ты с ним об этом...— прервала его моя мать, закрыв лицо руками.

— Он понимает, понимает... Если эта война затянется, ты, Стефано... постарайся держаться в стороне. Помни, что твоего дядю Карло, брата твоей матери, немцы убили в восемнадцатом году, в день перемирия, когда ему было семнадцать лет...

— Но Стефано и десяти нет, зачем ты его пугаешь? — плача, возразила мать.

Он лишь рукой пошевельнул, словно зачеркивая неразумные слова, исходящие из уст женщины.

Через несколько часов он пожелал, чтоб Катерина принесла ему сыру — хотя бы понюхать: ему суждено было умереть, даже не проглотив облатки последнего причастия.

Шумное хлопанье дверей на следующее утро оповестило о его кончине дом и родных. Их мрачные фигуры в темных одеждах, со сложенными на коленях руками застыли на скамейках в саду и в креслах комнат.

Катерина никому не дала до него дотронуться, осталась с ним вместе с сестрой из больницы; она обмыла хозяина, одела его, с любовью обрядила в последний путь, не забыв положить в верхний карман белый шелковый платочек, повязать новый галстук, вдеть в манжеты золотые запонки.

Мой отец приехал из Пьяченцы на несколько часов, прямо из своего полка, и пробыл лишь до конца похорон; все родные толпились вокруг него, желая разузнать о войне, о том, когда она кончится...

— Скоро...— ответил он.— Скоро, может, даже месяца не пройдет. Правда, с нашей стороны особого героизма проявлено не было...

— Твой отец говорит, что скоро, а мой клянется, что она никогда не кончится,— сказал мне Франческо.— Уже два моих дяди в солдатах. Ну, а кто станет работать в деревне?

— Не будь матери и меня, отец давно уже был бы в Африке...— отвечал я.

— Ему платят за то, чтоб он воевал... А моему отцу...

— Может, твой отец командует полком? А ты знаешь, что через месяц все будет кончено? Посмотри-ка...— Я сунул ему бинокль, оставив последнее слово за собой.

Там внизу, на плацу, в долине у подножья холмов, в лучах утреннего солнца застыли большие серые прямоугольники войск. Было жарко. Дымка голубого июньского тумана закрывала от нас зубчатые вершины Монвизо.

— Видишь? — торжествующе спросил я Франческо.

Серые прямоугольники следовали один за другим, одинаковые, как рулоны ткани на прилавке. Впереди мелькали начищенные до блеска сапоги принца Пьемонтского *, который инспектировал горных стрелков, брошенных на французский фронт. Лакированный циркуль сапог перемещался в объективе бинокля; выстроенные войска сливались воедино, казались прижатыми к высохшей траве плаца.

— Там дивизия, не меньше...— самодовольно объяснял я Франческо.

— А твой принц даже не на коне... Он с ними не пойдет, здесь останется...— ворчал он в ответ.

Однако по ночам наши распри прекращались; испуганные женщины вытаскивали нас из постелей и выводили из дома, а мы, слоняясь по двору, прислушивались к ровному гулу мотора вражеского самолета, который выходил из темноты и вскоре нырял в нее обратно. Мы с тревогой смотрели в сторону Турина, туда, где горели огни и вспыхивали теплые светлые полосы прожекторов. Порой гул мотора приближался, и тогда еще торопливей шептали свои молитвы женщины, кутаясь от ночной сырости в шерстяные платки. Отец Франческо то и дело заходил в конюшню, чтоб молча взглянуть на скотину, раз уж его все равно разбудили, и перетряхнуть солому. А мы мяли ногами влажную траву, тайком смеялись, в плену у своего счастья, и поджидали, когда снова раздастся гул самолетов и яркие вспышки света озарят небо по ту сторону холмов, где лежал город.

— Иди сюда,— задыхаясь от волнения, кричала мне мать.

Но мы забирались на самые верхушки деревьев, стремясь заглянуть хоть немного дальше края ночи, за темные очертания леса.

— Нельзя, чтоб Стефано проводил все время с сыном этого большевика,— на ухо говорила мать Катерине.

— Вы же сами не хотели, чтоб он целый день шатался один. У Франческо он ничему дурному не научится, тот уже работает как взрослый. Может, его отец и впрямь большевик, но когда до работы доходит, он каждому пример подаст...— отвечала Катерина, прерывая свою «Аве Мария».

Эти ночные часы и солдаты с ранцами и скатанными одеялами на деревенских улицах, колонны мулов, пушки на высоких, тяжело вращающихся деревянных колесах с железными ободьями — все это тревожило и радовало меня и Франческо. Захлебываясь от волнения, делились мы новостями — все, связанное с войной, таило в себе некую будоражащую и веселящую силу. То, на что другие — моя мать, Катерина, Доро — глядели застывшими глазами, к чему они настороженно и со страхом прислушивались, мы впитывали всем своим существом как некий эликсир радости. Мы пребывали в состоянии лихорадочного возбуждения, без конца хохотали и не спали по ночам.

Радость наша достигла апогея, когда двадцать восемь карабинеров заняли половину нашего дома. Принц Пьемонтский расположил свой штаб в находившейся неподалеку от нас вилле. Рядом с ней среди акаций и виноградников, словно вспоров брюхо холма, в большой спешке

---

* Принц Умберто — наследник короля Виктора-Эммануила III.

соорудили огромное бомбоубежище — тоннель высотой в две поставленные друг на друга телеги с сеном и длиной в два километра, над входом в который возвышалась железобетонная стена. Двадцать восемь карабинеров — это была лишь часть охраны принца, другие отряды расположились на ближних сыроварнях и виллах.

Наблюдая, как они вносят и выносят из дому койки, царапая при этом стены, умываются у насоса, заткнув полотенце за пояс, хозяйничают у полевой кухни, дымившей посреди двора, Катерина вздымала к небу глаза и благодарила господа за то, что он не позволил моему деду прожить свои последние дни посреди этого разорения. Мою мать не оставляла мигрень, но она не смела обратиться к полковнику за помощью.

— На вашем бы месте...— что ни день попрекала ее Катерина...— Должна же быть хоть какая-то польза от мужа. При таком-то чине. Разместил бы он их в палатках... Солдаты они или нет? Альпийские стрелки живут в горах, без крыши над головой, почему же эти должны получать все удовольствия сразу? Напишите ему.

Мать вздыхала, прикладывая к виску смоченный в воде платочек.

— Вы, как видно, его не знаете,— ответила она однажды.— Всего раз, только раз моя подруга набралась смелости, попросила его помочь одному бедняге, недоучившемуся священнику, которому грозила солдатчина... И что же вы думаете? Он потом со мной месяц не разговаривал... Словно это моя вина, да еще какая.

— Он всегда был слишком строг, слишком честен! — заключала тогда Катерина.— Это строгость от гордыни... Надо в жизни уметь идти на уступки, не дай бог, если б все были такими, как он...— И она по-прежнему не спускала глаз с карабинеров, когда они появлялись в винограднике, следила, чтоб они не повредили грядки фасоли и тыквы, чтоб не вешали выстиранные рубахи на тонкие ветки персиковых деревьев.

А мы с Франческо, счастливые, бегали между полевой кухней и комнатой, где стояла пирамида винтовок; по ночам мы вслушивались в шаги во дворе, в звуки команды, следили за неожиданным появлением патруля на деревенских улицах, делились своими секретами под честное слово. Мы слышали, как скрипят колеса нелепых серо-зеленых велосипедов, слышали ругань ефрейторов на малопонятных диалектах *. Пес, которого теперь и ночью не спускали с цепи, встревоженный необычным многолюдьем, лаял не переставая.

В густой зелени огромного вишневого сада, где зрели прозванные «шпанками» темно-красные, как бородка у петуха, вишни, виднелась вилла, где квартировал принц. За густой листвой можно было разглядеть лишь высокую крышу в китайском стиле с выцветшим фиолетовым шпилем, который, постепенно сужаясь, переходил в громоотвод.

Принц на вилле бывал мало. Он мчался на машине в Турин, возвращался оттуда глубокой ночью, нарушая спокойную жизнь своей охраны, разместившейся на холме. Иногда он проводил вечера у местной знати, которая давала балы в его честь, и тогда неяркий голубоватый свет заливал внутренние дворики замков.

Катерина, возвращаясь с покупками, начинала рассказывать новости прямо с порога, не выпуская из рук сумки с хлебом, мясом, оливковым маслом.

Однажды в субботу принц проезжал по деревне в открытом автомобиле; он даже вышел из машины, чтоб выпить рюмку вермута в кондитерской на площади. Он улыбался всем, кто попадался ему на пути. А в другой раз он сам позвонил по телефону портному, во всяком случае,

---

* Итальянцы далеко не всегда понимают диалекты других областей страны.

все подмастерья клялись, что так оно и было. Выглядел он еще моложе и веселее, чем на фотографиях.

Но, понизив голос и осуждающе качая головой, Катерина рассказывала и о другом:

—...Сегодня ночью в замке плясали до шести утра. Принца, правда, не видели, но там были его офицеры, все из Рима или Турина. Из кондитерской прислали двенадцать кило пирожных и несметное множество мороженого и бутылок с ликером. Мне продавщица сама говорила... А принц обещал быть, но даже на минуту не показался! Говорят, завел себе подружку в Турине... Конечно, это большая честь принимать у себя в доме таких офицеров, зато это стало им в копеечку. Хотят блеснуть и пустить пыль в глаза, а потом разоряются на этих ужинах да балах... Все дамы в новых платьях, а к чему? Под конец все перепились и блевали с балконов... Попробуй пристыдить их — все довольны: и парикмахеры, и кондитеры, и портные,— еще бы!.. Перестали люди бога бояться...

Мы с раскрытыми ртами слушали ее рассказы, иногда кто-нибудь из карабинеров подходил поближе и навострял уши, готовый улизнуть, как только Катерина обратится к нему за подтверждением.

—...И подумать только: покойный не верил, что король и принц начнут эту войну!— продолжала она, подымая руки к небу.— Взгляните на них теперь! Объедаются сладким, а в госпиталь вчера привезли еще двадцать обмороженных. Это только у нас! А что творится в госпиталях Савильяно и Турина... Их, бедняжек, послали в альпийские снега в одних лохмотьях, в мундирах на рыбьем меху... А теперь привозят сюда почерневших, нога, а то и обе — в гангрене... Ладно, господа всегда развлекались. Но раз уж такие времена пошли, пусть хоть веселятся тайком... Эта война всем принесет несчастье...

— Помолчи ты, сама уже не понимаешь, что языком мелешь; еще на кого-нибудь нарвешься. Люди стали злыми. Что, если тебя услышит полковник, когда приедет?— жалобно просила мать и глядела на нее страдальческими, запавшими глазами.

— Ты слышал,— торжествующе набрасывался на меня Франческо,— мой отец тоже говорит, что всех нас ждет погибель из-за вашего Муссолини...

— Муссолини такой же ваш, как и наш.

— Все мы с голоду подохнем, вот что говорят...— бубнил свое Франческо.— Конец света настанет...

Я вдруг вспомнил сентябрьские праздники, когда вся наша семья— и дети и женщины — кочевала с одной виллы на другую и повсюду устраивались обеды, танцы в саду, пикники, которые затягивались до темноты. «Диатто» разъезжал по пыльным дорогам, перевозя граммофоны, танцевальные пластинки, вышитые скатерти, корзинки со сладостями, только что собранными грибами, бутылками старого вина. Женщины надевали большие соломенные шляпы, вуали, ожерелья, лицо матери казалось совсем бледным под слоем пудры — она возила с собой в маленькой серебряной коробочке порошки от головной боли; мужчины играли в шары и отрывались от этого занятия только при звуках вальса. Тогда жены спускались к ним в сад, где перед виноградником, на утрамбованной земле, обнесенной низкой деревянной оградой, катались шары, сталкиваясь друг с другом с сухим яростным треском. Порой наезжал и мой отец, выглядевший довольно неуклюже в тесной, пропахшей нафталином штатской одежде; все, обращаясь к нему, переходили с диалекта на итальянский язык, напрасно пытались уговорить его выпить вторую рюмку вермута или виноградной водки с мятой.

Для детей накрывали отдельный стол в двадцати метрах от стола взрослых, но на наш стол никогда не приносили ни равиоли в вине, ни

грибных салатов. Я наблюдал за миром взрослых, подсчитывая сантиметры, килограммы и годы, еще отделявшие меня от него. Я раздумывал о времени, которое навсегда унесло от меня жизнь, запечатленную на фотографии в нашем тире: около ста знающих себе цену мужчин — вся родня, а дед сидит в центре в белом галстуке, опираясь скрещенными руками на набалдашник палки; лица у всех резкие, грубые, без претензий на утонченность, у каждого на плече или на коленях двустволка, виден угол стола, накрытого белоснежной скатертью, с великим множеством бутылок — вино из здешних, родных виноградников: здесь выращивали, посыпали медным купоросом, всячески лелеяли эту лозу.

— Что ты будешь делать, если все переменится?— сердито спрашивал я у Франческо.

— Я?— отвечал он, паясничая.— Да ничего! Ни на кого не стану работать. Отец говорит, что нами командуют все, кому не лень. Правительство командует, хозяин командует, и даже корове в хлеву надо прислуживать и угождать, даже корова важнее нас. Ни черта я делать не буду! Вот так!

— Если все переменится, а они захотят, чтоб я по-прежнему учился, как каторжный, я тогда удеру из дому!— отвечал я.

— Буду жить как затворник...— продолжал Франческо.— Или лучше охотником стану. С ружьем в руках можно прокормиться, да еще как! Одна зайчатина и фазаны чего стоят! Если женщина ко мне пристанет, я ее пристрелю. Отец говорит, что от женщин одни несчастья.

Мы с ним пилили посреди двора сухие, сучковатые поленья, зубья пилы то и дело застревали, и мы каждый раз с трудом выталкивали ее и смазывали куском старого сала. Под козлами набралась кучка желтых душистых опилок. Дрова мы складывали в две одинаковые поленницы.

— А я лучше всю жизнь пешком прохожу, чем каждому кланяться в лавке, лишь бы накопить на «диатто» или «фиат».

— Ты станешь офицером, в голове у тебя будет лапша, как у твоего отца, сто раз на день будешь говорить «так точно» и «никак нет»,— издевался надо мной Франческо.

— Ни за что на свете,— возмутился я.

— Скажи-ка лучше это своему отцу, своему Муссолини...

— Да мой отец, если б только мог, он бы целую обойму Муссолини в брюхо выпустил. Я сам слышал, как он это говорил,— защищался я.

— Почему же он ему служит? А сам ты в школе стал баллилой *... Я-то не стал, мой отец и даром не взял бы для меня форму... Так и сказал женщинам из фашио **: если дадите форму, продам, в доме у меня сын должен ходить за коровами и слушать одного меня...

Мне тоже не нравилась форма баллилы; лишь старательно отглаженная матерью, без единой складочки на сложенном треугольником воротнике, лежавшая в шкафу вместе с поясом, фецом *** и патронной сумкой, она не вызывала во мне чувства стыда.

А носить я ее не любил: коротенькие штанишки при моем росте выглядели нелепо, вызывая смех у баллил ниже меня и у «авангардистов»****. В десять лет, однако, я не мог рассчитывать на другую форму, только в некоторых закрытых школах ученики носили длинные матросские брюки. На субботние сборы я отправлялся не в коротком плаще, положенном по уставу, а в пальто, которое доходило мне чуть не до щиколоток, открывая лишь светло-зеленые носки, а свою черную шапочку вытаскивал из кармана в последнюю минуту.

Как-то раз в воскресное утро на площади Кавалли в Пьяченце ощу-

---

* Баллила — член детской фашистской организации.

** Фашио — отделение фашистской партии.

*** Фец — черная шапочка, фашистский головной убор.

**** «Авангардисты» — члены юношеской фашистской организации.

щение стыда перешло у меня в чувство оскорбленного достоинства и глубокого возмущения.

Шел дождь, нас выстроили в восемь утра, и мы двинулись по шоссе, по шестеро в ряд, с мушкетами на плече, с оркестром фашистской милиции впереди.

Мы должны были приветствовать посетившего город немецкого консула, пройти перед ним римским шагом и пропеть немецкую песню. Мать заставила меня надеть фуфайку из грубой шерсти, которая ужасно кололась под черной рубашкой баллилы и не давала мне стоять спокойно.

Выстроившись на площади, перед разукрашенной пустой трибуной, мы ждали под сильным дождем. Около половины одиннадцатого нам разрешили поправить широкую черную ленту вокруг пояса, которая всегда сворачивалась и принимала вид колбасы.

В половине одиннадцатого пронесся слух, что парад откладывается из-за дождя: ведь трибуна — открытая. Командиры взводов и «центурионы» выкрикивали слова команды, стараясь восстановить порядок, нарушенный ожиданием. Я попытался было почесаться и хотел поднять повыше рукава фуфайки, но в это время наш «центурион», находившийся между первым рядом и трибуной, в ярости налетел на меня. Я стоял по стойке «смирно», а он осыпал меня ругательствами; выпустив обойму проклятий, он до отказа оттянул резинку моего феца, и она больно хлестнула меня по подбородку.

— Попробуй только заплакать, я тебя поставлю на полчаса под ружье!— рявкнул он, приблизив ко мне свою бледную физиономию с тоненькими усиками и вытаращенными глазами.

Мне едва удалось сдержать слезы. Все вокруг испуганно замерли. Тут было не до шуток.

«Как только вернемся, я проколю ему брюхо штыком»,— твердил я себе, стараясь не расплакаться.

Дождь тем временем почти прекратился, вскоре прибыл консул в сопровождении местных властей, мы запели почти в лад с оркестром. Консул слушал нас с трибуны в белом, застегнутом доверху пальто, в очках, скрывавших взгляд. Окружавшие его чиновники в мундирах все время наклонялись к нему и что-то шептали на ухо. В сером свете дня печально поникли отсыревшие флаги.

Когда мы покончили с песней, заиграла труба, и федеральный секретарь, крепко сжимая руками в черных перчатках перекладину трибуны, громко прокричал лозунг, который нам надлежало поддержать восторженными возгласами. Это нам нравилось, мы должны были нацепить фецы на наши маленькие штыки, размахивать мушкетами и кричать кто во что горазд и как можно громче. Каждый драл глотку, вопли восторга смешались с руганью. Наш «центурион» в это время, насупив брови и втянув голову в плечи, носился позади двух первых шеренг, где стояли самые высокие мальчики, страшно ругался и раздавал тумаки направо и налево.

— Больше энтузиазма! Подонки, свиньи, сукины дети... больше энтузиазма!— шипел он, пробегая за нашими спинами и вслепую нанося удары.

В этой неразберихе поднятых рук, пляшущих в воздухе штыков и фецов мне удалось обернуться и занести мушкет для удара. Он заметил мое движение, увидел фиолетовый след, оставленный на щеках резинкой, и тотчас же оценил ситуацию. Рука в перчатке перехватила приклад

— Браво, так и надо! Молодец!..— пробормотал он сквозь зубы и проследовал дальше, нанося сапогом удары по икрам оравших баллил.

Я так и не сказал об этом отцу, побоялся его невозмутимого взгляда и молчания в ответ. И о другом событии, происшедшем со мною в том же году, я не рассказал отцу. Мать заставила меня молчать.

Это случилось жарким летним днем во время неожиданного и короткого визита Муссолини в наш город.

С улицы до нас донеслись крики — мы жили тогда на корсо Виктора-Эммануила,— я вместе с матерью высунулся из окна. По улице бежали люди, кое-где на балконах уже появились флаги.

— Дуче в Пьяченце! Дуче в Пьяченце!—ритмично выкрикивали двое молодых фашистов, медленно проезжая на велосипедах. Люди бросали свои дела, свешивались из окон. С шумом поднимались жалюзи, ребята на велосипедах гнали во всю мочь, чтобы успеть занять на перекрестке выгодные позиции для наблюдения, автомобили сворачивали в переулки, выбирая стоянку поудобней.

Мы долго, должно быть, больше часа, простояли у окна; люди, выстроившиеся вдоль тротуаров, видно, запаслись терпением и приготовились к долгому ожиданию, на балконах теснились женщины с детьми. Но вот разноголосый гомон толпы перекрыл протяжный, нарастающий по мере приближения кортежа вой. Показалась вереница машин, сверкавших в неярком свете сумрачного дня. Волна криков и аплодисментов катилась по улице, машины быстро приближались, и в первой из них, перед которой мчались два мотоциклиста, сидел Муссолини.

Мать взволнованно ожидала появления машин, в руке у нее была ваза с цветами, она машинально теребила пальцами гвоздику. Мы уже видели Муссолини, он со своею свитой был всего в нескольких десятках метров от нас. Люди кричали, махали руками, в воздухе мелькали платки и шляпы, а он сидел неподвижно, удобно скрестив на коленях загорелые руки. Он походил на короткий квадратный обрубок, засунутый в белый китель; возможно, он и отвечал улыбкой на приветствия тех, кто толпился вдоль мостовой, но отсюда, сверху, мы видели лишь панцирь мундира под белоснежным диском фуражки со сверкающим полумесяцем козырька.

В замешательстве мать уронила за окно вазу с гвоздикой; ваза, падая, скользнула по борту машины и рикошетом отскочила на мостовую, но длинная струйка воды, описав дугу, попала прямо на плечи сидевшего рядом с Муссолини мужчины в белом. Машина промчалась мимо нас, на прощанье мелькнул лишь загорелый затылок да сверкнула позолота огромных погон.

— О господи, господи!— причитала мать, потерянно бродя по комнатам.— Какая я растяпа, совсем никуда не гожусь, руки у меня дырявые...

Как всегда в непредвиденных, сложных ситуациях, она пришла в состояние полной растерянности и беспомощности, подносила руки к вискам, переставляла с места на место стулья, закрывала и открывала дверцы шкафа.

— Один раз решила на него взглянуть и вот что натворила!.. Такая тяжелая ваза! Надо же быть такой дурой!.. А кто это рядом с ним был... Мути? Чиано?— спрашивала она, совсем бледная, робко касаясь моего плеча.

Она заставила меня поклясться, что я ни слова не скажу полковнику, и мы еще долго ждали — не прозвучит ли за дверью зловещий звонок.

—...О господи! О господи, если сейчас придет кто-нибудь из полиции или чернорубашечник... Как потом объяснить отцу... Проклятая ваза, я ее и в доме-то держала только потому, что это подарок какой-то дуры. Никогда мне эта ваза не нравилась!.. Прямо на голову Чиано... Вот так мне всегда везет, каждый день пью свой яд...— шепотом повторяла она в тысячный раз, и никак не могла остановиться, и все выглядывала на улицу через щель в спущенных шторах, без конца поправляя кружевную салфетку, на которой прежде стояла эта большая ваза.

Но в тот год все было по-другому. Матери надо было вернуться в наш деревенский дом в Пьемонте, чтоб навести порядок в хозяйстве, заброшенном после смерти деда... Поземельный налог, бумаги, которые следовало подписать, сдача в аренду небольшого участка земли, кое-какое наследство...

«Дорогая синьора, лучше, если вы приедете побыстрее...» — так гласили письма, которые Катерина слала ей каждый месяц. Они были написаны теми же темными чернилами, что и те записи, которые я не раз видел в переплетенных кожей узких длинных регистрах, куда мой дед заносил каждую мелочь расхода и прихода, не забывая ни о грошах, потраченных на утреннюю газету, ни о бочках нового вина, ни о поданной им милостыне, ни о зерне и картошке.

Отец водил меня завтракать и ужинать в Офицерское собрание, рядом с площадью Кавалли. Сидя за столом, я мог сколько угодно разглядывать в окно двух бронзовых конников Фарнезе посреди площади. Из-под мягких складок коротких туник видны были колени и мускулистые икры; несмотря на родство, они были врагами, и поэтому головы их повернуты в разные стороны.

Сидя в конце стола, предназначенного для полковников и майоров, я ел молча; когда подавали фрукты, я брал лишь виноград, чтоб не запутаться в приборах. Тайком я поглядывал на официанта — солдата в выцветших штанах и белой куртке, мне нравилось ловить хитрую усмешку на его красном крестьянском лице. Он явно был доволен, что прислуживал за столом, вместо того чтоб оказаться на фронте в Греции или Киренаике.

После полудня я делал в казарме уроки, в комнате рядом с кабинетом отца, и часами развлекался, глядя в окно.

Улеглось возбуждение, охватившее нас с Франческо летом, когда мы подсчитывали мулов и пушки на улице и с нетерпением ожидали очередного воздушного налета. Здесь войной и не пахло, в казарме шла своим чередом обыденная жизнь; по двору лениво слонялись солдаты, изредка они выводили из конюшни лошадь, или кто-нибудь выходил и брал в руки вилы; пыльную, застоявшуюся тишину спугивал лишь голос трубы, но как только труба замолкала, тишина снова, словно саваном, накрывала весь огромный участок рядом с редким тополиным лесом по берегам реки По, где расположились казармы полка.

Из окон напротив то и дело высовывались голые руки какого-нибудь солдата, развешивавшего на солнце свою одежду, и доносились монотонные звуки песен на непонятном мне диалекте.

Неожиданно в коридоре раздавался резкий голос отца и тотчас вслед за ним чьи-то шуршащие шаги и приглушенные голоса. Фельдфебели и капитаны с выцветшими желтыми папками в руках торопливо направлялись в кабинет полковника. Они стучали в дверь, быстро исчезали за ней, и вновь молчание и пустота воцарялись в коридоре с натертым воском полом и свежевыкрашенными стенами, которые прорезал ряд совершенно одинаковых дверей. Немного спустя открывалась дверь моей комнаты, я вскакивал и в одно мгновение укладывал книги и тетради в сумку, а отец уже был в фуражке и при сабле: нам пора было уходить; мне тоже полагалось отвечать, когда солдат в пропахшей известкой глубокой подворотне отдавал честь. Я чуть заметно подымал руку, уставившись глазами в землю, а нам вдогонку неся глухой стук кованых сапог часового о деревянные ступеньки сторожевой будки.

Быстро проходили мы туманными улочками, направляясь в Офицерское собрание. Я радовался, что второй раз за день буду есть макароны вместо вечного овощного супа, который мать подавала по вечерам.

Гуляя с отцом, я должен был все время следить за тем, чтобы дер-

жать шаг, не сбиваться, не путаться под ногами, уступать дорогу встречным и при этом не отставать.

Порой, не поворачивая ко мне строгого лица, полковник неожиданно, отрывистым полушепотом задавал мне задачу, а я должен был мгновенно сосредоточиться, отвести глаза от неясного света витрин и без запинки твердо отрапортовать ответ...

— Скажи, чему равны два и три в пятой степени? Только быстро...

На ходу позвякивала цепочка на рукоятке отцовской сабли... Еще немного, и мы свернем в переулок, ведущий к площади Кавалли. Тогда прекратятся мои мучения.

— ...Один рабочий выполняет работу за пятнадцать дней, другой за двенадцать, третий за десять. Какую часть работы выполнили бы они за один день, если бы работали все вместе? Живо! Дели дроби! Это просто. Нужно только шевелить мозгами!..

Но мы уже на площади, она кажется разбухшей от тумана, под портиками замка маячат редкие фигуры в плащах. Мы торопливо поднимаемся по ступенькам собрания, чтобы не опоздать к вечернему выпуску последних известий по радио.

За столом все те же разговоры... Полковники и майоры беседуют о делах службы, о событиях в Главном штабе, о передвижении войск. Все несколько оживляются, когда речь заходит об окончании войны. Одни божатся, что война закончится в Северной Африке, другие готовы дать голову на отсечение, что конец ей придет в Англии после блестящей операции под Лондоном. Я слышал также их разговоры о немцах, но тут они проявляли большую осторожность и только желчно и скрупулезно сравнивали свои танки и зенитные батареи с немецкими.

Под конец обеда один майор из округа обычно веселил компанию анекдотами о сардинских пастухах, бергамасских горцах, изворотливых, нахальных неаполитанцах, которые, едва надев форму, являются в казарму с двумя кругами колбасы под мышкой для знакомого старшины и с таким усердием калечат себя, лишь бы освободиться от службы, что неизменно попадают под военный трибунал.

Собравшиеся смеялись — иногда, правда, с оглядкой — над похождениями офицеров, вернувшихся в Пьяченцу после обучения на курсах при военной академии в Риме, или над злоключениями одного капитана, твердо решившего жениться на какой-то бабенке без роду, без племени и без гроша за душой и упорно добивавшегося своего, невзирая на порочащие невесту сведения, собранные военной полицией, и возражения своего начальника-генерала.

Я слушал все это, поглощая крем-брюле; в глубине зала молча стояли солдаты-официанты, в окнах — непроглядная тьма.

Домой мы возвращались к одиннадцати вечера. Город тонул в тумане, лишь свет из окон первых этажей порою пробивался сквозь него.

Уже в постели, прежде чем уснуть, я слышал, как за стеной отец раскладывал по местам саблю, связку ключей, тщательно протирая специальным полотенцем блестящий козырек фуражки, потом молился и укладывался спать.

Именно в это время, когда мать вернулась из деревни, мой страх перед отцом стал возрастать, хотя и приобрел несколько иную окраску. Между нами образовалась пустота, приводившая меня в трепет,— я старался преодолеть ее, давая волю воображению. Я то убивал отца, то спасал от смерти, то обворовывал, то лечил его раны, я доносил фашистам, как дурно отзывается он о наших войсках и о главнокомандующем, похожем на деревянного Буратино, я заклинал его стать другим, таким, как мой дед, который умел поесть, попить, повеселиться и беду обойти стороной.

Сидя за завтраком, я слышал, как он подымается по лестнице, печатая шаг; по рассказам матери, когда его обувь относили сапожнику, она оказывалась одинаково сношенной от носка до каблука.

— Словарь Дзингарелли!— услышал я в тот день его крик с лестницы.

Я бросил полотенце, с которым поджидал за дверью, чтобы протереть козырек его фуражки, и кинулся к книжному шкафу за словарем.

Он стоял на пороге, засунув за пояс большие пальцы, козырек фуражки отбрасывал тень на его лицо.

— Открой и найди слово «посредственный»,— сказал он мне холодно.

— ...«Посредственный...— начал я читать, в то время как мать, бледная, выглянула из дверей кухни.— Средний... Находящийся между высоким и низким... Ни больной, ни здоровый... Скорее плохого, чем хорошего качества... Не отличающийся одаренностью ни в одной области».

— Последнее повтори,— сказал он.

— «...Скорее плохого, чем хорошего качества. Не отличающийся одаренностью ни в одной области»,— прошептал я.

— Вот это про тебя. Я встретил твою учительницу математики, она тебя так и определила: *посредственный.* Положи словарь! Иди к столу!— приказал он, снимая фуражку.

Чтоб наказать меня, он запер на ключ шкаф с книгами, где я рылся в свободное время, пытаясь найти что-нибудь интересное среди книг Бракко, Ориани, Пандзини, стихов Ди Джакомо и Д'Аннунцио.

Мать привезла из деревни большой сундук с дедовской одеждой. Целыми днями сидела она за швейной машинкой, переделывая два его костюма для меня. Я был довольно высок для своих лет, но темная одежда придавала мне не по возрасту мрачный вид и делала почти неузнаваемым. Из зеркала глядел на меня чужой, странный человек, скрывавший, как мне казалось, под покровом темного сукна самые чудовищные пороки.

И все же мне приятно было надевать эти костюмы, я чувствовал заключенную в них тайную, добрую силу. Вещи деда заставили прорваться боль, которая давно подспудно жила во мне, но прежде мне удавалось от нее без труда отмахнуться. Теперь меня душили слезы, когда я вечером снимал и вешал на спинку стула этот темный костюм в едва заметную красную полоску. Я не хотел, чтобы меня услышали, и плакал, уткнувшись лицом в подушку, чтобы заглушить рыдания.

Я вспоминал летний день, когда закрыли гроб и девятью винтами прикрутили крышку, а под ней, застыв на атласе, лежал человек, на которого я хотел быть похожим. Я утерял веру в бессмертие — горькое сознание недолговечности бытия овладело мною. Оттого я и плакал.

— Ну, все, хватит, вот уже три вечера, как с тобой творится что-то неладное, думаешь, я ничего не заметила? Ты плачешь? У тебя что-нибудь болит?— Мать вошла в комнату и зажгла свет.

Я молчал, напряженно вытянувшись на спине, закрыв глаза, всем своим видом демонстрируя возмущение ее приходом.

— Говори,— возник на пороге отец, руки в карманах куртки из верблюжьей шерсти.

Ласковая рука матери, коснувшаяся моего лба, растопила сдержанность.

— Хочу знать, есть ли бог! Где он! Не хочу, чтоб люди умирали!..— выкрикнул я, закрыв глаза, чтобы не видеть родителей.

— Спи и не забивай себе голову подобными вопросами. Лучше подумай о школе и о том, до чего ты разленился...— спокойно сказал отец и погасил свет.

Матери тоже пришлось уйти из комнаты; я слышал, как они потом спорили на кухне.

— Нужно в конце концов что-то предпринять, раз у него такие сомнения. Он вообще развит не по летам...— говорила мать.

— Сомнения хороши для девчонок. Мужчина знает, что бог есть,— и баста. Об этом не спорят. Стефано должен стать мужчиной, нечего устраивать истерики. В этой стране за последнее время и так слишком многие обабились...

— Но все же...

— Никаких «все же». Будь он девчонкой, тебе и карты в руки. Но он мальчик, нечего с ним миндальничать. Он должен быть тверд и требователен. Прежде всего к себе, а потом и к другим. Именно так сказано обо мне в аттестации. Сейчас война, и никого не хочется просить об одолжении, но в другое время я бы раздобыл ему коня и заставил бы скакать верхом, покуда кожу не обдерет, вот и прошла бы вся дурь...

— Ты слишком многого от него требуешь... Он еще ребенок...

— Я стараюсь не для себя. Я люблю его, но сказать ему об этом не могу. Сын должен бояться отца. Он поймет меня, когда ему будет тридцать. Я выполняю свой отцовский долг, и иначе быть не может, особенно в такой стране, как наша, где у каждого орлиные перья на шляпе, а про совесть давно забыли. Ты еще увидишь, что здесь будет, если только война затянется...— закончил он.

Я представлял себе их на кухне, за столом, перед каждым лежит газета.

— А еще говорят, что южане мягки и ласковы...— вздыхает мать.

— Истинные южане — настоящие мужчины, их в марципан не превратишь. Хотя настоящие мужчины теперь реже белых мух!— прервал ее полковник.

С каждым днем отец становился все мрачнее, тайная боль грызла его, отравляя жизнь: любая мелочь служила поводом для раздражения: газеты, неудачный день в казарме, военные сводки, усталые вздохи матери. Естественные в моем возрасте бурные приступы беспричинной, чисто животной радости лишь усугубляли его замкнутость, и тогда он надолго умолкал.

Ему было тяжело, он вел войну в одиночку, заковав себя в броню суровости; дни он проводил в казарме — от рассвета до поздней ночи; однажды он жестоко наказал своего вестового за то, что тот посмел привезти из отпуска крестьянский пирог для сына полковника. Мой отец отказался от назначения в одну из боевых дивизий, действовавших в Северной Африке, и не мог себе этого простить.

Тщетны были все усилия матери создать образцовый домашний уют, оградить отца от всего, что его обычно раздражало, включая болтовню знакомых и мои сомнительные успехи в латыни. Возвращаясь из казармы домой, он замечал малейшее отклонение от заведенного порядка, любая неприбранная мелочь вызывала его молчаливое осуждение.

— Выдержать нельзя,— жаловалась мать.— Вчера устроил скандал из-за кофе. А я-то старалась — нарочно денег заняла, чтобы купить настоящего кофе вместо этого суррогата... Ведь он вырос на спагетти и кофе... Не для своего же удовольствия я это делала. Теперь придется мне одной пить... целых двести граммов: страшно подумать, сколько они стоят! Мне это впрок не пойдет... Второго такого человека, который собирался бы прожить на один карточный паек и не заработать себе чахотки, во всей Италии не найдешь.

По воскресеньям полковник долго расхаживал по кабинету; лишь пол толщиной в кирпич отделял эту комнату второго этажа от расположенного под ней магазина сельскохозяйственной утвари, где хранились грабли и косилки.

Сидя на кухне, мы слышали, как он без конца расхаживает между железной койкой и книжным шкафом, увенчанным длинным австрийским штыком; мать только головой качала, прислушиваясь к его шагам.

— Часами вышагивает взад и вперед, а пол тоненький, того и гляди, провалится...— говорила она вполголоса.

Иной раз он неожиданно выходил из кабинета — суровое бледное лицо, светлые глаза с металлическим блеском, на голове фуражка, пояс затянут, руки в перчатках

— Гулять!— приказывал он.

— Слушаюсь!— отвечал я и быстро хватал пиджак и пальто.

Быстрым шагом, молча, проходили мы два-три раза по главной улице Пьяченцы, обсаженной худосочными платанами; я шагал слева от отца, чтобы не мешать ему подносить правую руку к козырьку, отвечая на приветствия солдат.

Они узнавали его издали и подтягивались, а полковник отвечал им, внимательно окидывая взглядом каждого, выискивая оторвавшуюся пуговицу или расслабленный ремень. От его желчной придирчивости, которой он пытался заглушить недовольство собой, особенно доставалось молодым офицерам — он набрасывался на них как старый голодный волк. Дня не проходило без того, чтобы он не отчитал кого-нибудь за плохо выбритую физиономию, за посещение кафе в неурочное время, за ношение орденских ленточек, не соответствующих боевым заслугам владельцев. Они дорогой ценой платили за эти проступки: он способен был преследовать их даже после перевода из Пьяченцы. В казарме для своих подчиненных он становился поистине карой господней и приводил всех в трепет. До всего ему было дело — до обеда, до смены караула, до склада с провиантом; он не давал людям ни минуты покоя, из каждого угла доносились запахи краски, сидоля, тряпок для чистки, смазочных масел; старшины в отчаянии хватались руками за голову. Но ничто его не успокаивало, все лишь обостряло его тоску. Мать все это приводило в глубокое уныние.

С нею он разговаривал только в случае крайней необходимости. В матери и во мне видел он причину своих бед. Это мы заставили его испить до конца горькую чашу тыловой жизни. А мать становилась все печальней, вздыхала, подымая глаза к небу, потерянно бродила по комнатам в поисках куртки, нуждавшейся в починке, или рубашки с оторванными пуговицами. Если ей удавалось их найти, то в доме тотчас раздавался стук швейной машинки.

— Вот до чего дошли...— говорила она, склонившись над шитьем.— Нужно сменить воротничок, а он ничего не говорит... Что за жизнь! В этом доме никто ни разу смеха не слышал... Словно монастырь... И никогда тебе ничего прямо не скажут... Что ни день, он все больше хмурится.

Покончив с работой, она сидела, мрачно уставившись в одну точку. Мысли неизменно, словно повинуясь какой-то таинственной силе, уносили ее к былым временам, к Катерине, в деревню, к воскресным праздникам, память о которых сохранилась разве что на фотографиях: за каменным столом под тополем мужчины и женщины; дети, умытые, причесанные, сидят в ряд на земле, скрестив по-турецки ноги.

За завтраком и обедом мы больше не разговаривали; отец движением пальца приказывал мне принести соль, взглядом давал понять, что я неправильно держу нож. Угрюмо, полузакрыв глаза, выслушивал он по радио сводку военных действий, мысли его были где-то далеко — у Сирте, Тобрука, Бенгази, Триполи... Он отлично знал эти места, и сознание собственного бессилия и вынужденного бездействия лишь усугубляло его горечь.

Мать, беззвучно шевеля губами, умоляла меня хоть что-нибудь сказать.

— Завтра на спортивной площадке «Салус эт Виртус» у нас отборочные соревнования по греко-римской борьбе... Если выйдем победителями, наша команда в воскресенье примет участие в важной встрече с борцами Падуи... Я тоже в команде, хотя у меня только юношеский разряд. Райчевич придет нас смотреть,— делал я попытку нарушить молчание.

Он сухо кивал головой, пристально вглядываясь в тоненький ломтик сыра на тарелке.

— Райчевич, он знаешь какой...

— Это еще кто? Что он делает? Сколько ему лет? Где у него совесть? Народ бездельников и рабов...

Внезапно он умолкал, уставясь в тарелку, а мать опять подымала на меня глаза, теперь призывая молчать и не спорить...

— Великий, прекрасный народ...— презрительно цедил он сквозь зубы (отец раскатисто, как все южане, произносил «р» в середине слова).

Я ждал лета. В жаркие, душные дни без малейшего ветерка по городу, словно сонные мухи, слонялись солдаты, толпами двигались они от рощицы на берегу По к киоскам с напитками на шоссе; в эти бесконечные знойные дни я с тоской вспоминал пьемонтскую деревню, зелень виноградников, Катерину и Франческо.

В мыслях я был уже там, бродил по знакомым местам, забирался на холм с персиковыми деревьями, ночь проводил у пруда с фонарем, свет которого служил приманкой для лягушек — потом мы их жарили во взбитых белках,— сильным ударом кулака меж ушей приканчивал кролика, удерживая его другой рукой за задние лапки. Дома Катерина, под заливистый лай обезумевшего от запаха крови пса, потрошила его. Я ясно видел развешанную для просушки на солнце, закрепленную двумя прищепками, свежую шкурку кролика; мы с Франческо потом продадим ее за пол-лиры. Еще одну лиру я заработаю, прилежно вращая деревянную мешалку в котле с кипящим томатным соком. Чтобы как следует выварить десятки килограммов помидоров, мне целый день приходилось стоять у костра и все время подкладывать сухие поленья — сок ведь должен кипеть равномерно; к тому же мешалкой надо достать до самого дна, чтобы не дать томатной массе подгореть. В определенное время в котел нужно добавить специи, чеснок, перец, морковь, душистую петрушку, пучок базилики и снова мешать, снова подкладывать дрова. Руки обожжешь до самых локтей, лицо раскраснеется от жары, а по двору вместе с дымом костра разносится острый, густой запах помидоров и зелени. Потом томатную массу пропускают через машинку, которая снимает шкурки с помидоров и выпускает пасту, похожую на ярко-красный крем: его снова нужно варить на медленном огне до самого вечера—на поверхности тогда медленно вздуваются и лопаются большие пузыри. Когда через два часа паста остывает, ее через тонкую трубку, вставленную в отверстие котла, переливают в пятьдесят бутылок, а потом сверху заливают туда оливковое масло.

Еще мы с Франческо подрабатывали, плавя на огне олово, которым были запаяны банки из-под сардин и кофе. Олово капля за каплей стекало в пепел, а капли сливались и превращались в слиток — из всех наших работ эта требовала наибольшего терпения, но и приносила она самый верный заработок, так же, впрочем, как и персики, которые мы разрезали на две части и раскладывали для просушки на солнце, накрыв марлей, чтобы уберечь от ос. Персики приходилось что ни день переворачивать, но эта работа приносила нам лиру с лихвой, возмещая ее двадцать чентезимо убытка, который мы терпели, отказавшись по

воскресным утрам сопровождать деда после мессы: он платил нам за то, что я нес до церкви его крахмальный воротничок, галстук и жилет, а Франческо — пиджак и шляпу.

Я видел, что и мать в этом году ждала лета с большим, чем обычно, нетерпением. Я не понимал причины ее опасений, ее намеков, удивляло меня и ее решение откормить впервые за все время кабана, если только согласится Катерина.

— Нужно больше зерна сеять, больше сажать картошки, старый виноградник подождет...— говорила она мне.— Да и тебе придется потрудиться...

— Но я всегда все делал...

— То была игра, нужды ты не знал... Помни: идет война, и нужно подумать о запасах... Вытянулся, как телеграфный столб, а не смыслишь ровно ничего... У нас всегда была усадьба не для дохода. Нужно все менять; варить побольше варенья, кур разводить... Хорошо еще, что есть Катерина...

— Но Доро тоже умеет работать!

— Попробуй положись на крестьянина! Он большевик, больно мы ему нужны — у него есть вино в погребе, корова приносит ему раз в год теленка, вот он и спокоен... Фрукты, огород и куры его не интересуют...— втолковывала мне она.— Самим надо работать... Кто знает, как там управляется Катерина. Надеюсь, она в этом году посадила побольше кукурузы...

— О кабане буду я заботиться,— пообещал я матери.

— Нужно узнать, согласна ли Катерина: с кабаном хлопот не оберешься, вдруг он подхватит какую-нибудь болезнь... До чего же мы беспомощны! — заключала мать.— С отцом насчет кабана не говори, понял? Бог знает, что ему в голову взбредет... Скажет, позабыли о тех, кому хуже нас, занялись, как спекулянты, кабанами, а наши солдаты в Африке. Я так и слышу его... Не надо ему докучать, тем более что он в деревню, конечно, и носа не покажет... А про колбасу скажем, что выменяли или в подарок получили...

Но обстановка с каждым днем становилась все тяжелее, а люди делались угрюмее, злей — мы убедились в этом в июне, вернувшись в наш дом на холме.

Совсем поседевшая Катерина вместе с Доро и его женой вскапывали огород. После смерти деда кончились ее заботы о хорошо взбитом майонезе и домашней лапше, она уже не чистила в жаркий день в легкой одежде персики на пороге погреба, вбирая в себя прохладу из глубокой ямы, вырытой под холмом.

Она по-крестьянски стала смотреть на все, что не обещало дохода,— будь то тополя, или пес, или старый шкаф, заброшенный на чердак, или кусты гортензии. Она заботилась о том, чтобы наседки исправно несли яйца, и хранила их потом в горшках, полных воды с разведенной известью; кролики весом в кило ей уже казались годными для базара и для еды; стоило на яблоньке завестись сухим ветвям, она тотчас приказывала рубить дерево и готовить дрова на зиму.

— Тяжелые времена ждут нас!— ворчала Катерина. Она по-прежнему ходила по двору босиком и беспощадно колотила пса, который следовал за ней повсюду, сопровождая от кухни до виноградника...— Чумные времена. Вот увидите, в этом году вы не вернетесь в Пьяченцу, весь город разбомбят... Когда жил здесь принц, мы еще горюшка не знали, это еще цветочки были, теперь ягодки пойдут... Войну проиграем, и голод начнется... Ты вон как вытянулся, а ничегошеньки не понимаешь, тебе все смешки, только и знаешь, что смеяться... И Франческо с тобой время даром теряет... Лучше подумай о деле — надо дров напи-

лить, травы для кроликов нарвать, воду в огород натаскать; помидоры сами себя не польют, бери-ка ведро и начинай, покажи, на что годен.

Франческо тоже вытянулся и, хотя очень худ — кожа да кости,— выглядит рослым и крепким для своих двенадцати лет. Доро теперь звать его не приходилось: стоило ему взять мотыгу, как Франческо босиком шел за ним на виноградник, прихватив с собой бутыль воды с уксусом.

Только в тишине знойных июньских полдней, когда слышишь приглушенное жужжание пчел и шмелей среди цветов, к нам возвращалась непринужденность и беззаботность былых времен; мы лежали в тени, время от времени вполголоса, беззлобно обменивались ругательствами, стараясь подобрать брань позабористей, и лениво ловили на лету мух.

Но это длилось недолго, в наш мир вновь врывались сомнения и тревога, а вместе с ними менялись и наши беседы.

— Мой отец говорит, что Россия не может проиграть войну. Он говорит, что у нее слишком много хлеба... Ты о России что-нибудь знаешь?— спрашивал он у меня.

— Ничего. Только про Наполеона...— отвечал я.— Но если русских и на этот раз не победят, кто знает, сколько война продлится. Прежде чем немцы не отдадут все, что понахватали...

— Прежде мы с голоду помрем...— сказал Франческо.— Сначала траву станем есть, а потом с голодухи подохнем... Только раньше все воровать начнут. Будь неладен отец, было у него охотничье ружье, так продал... Как бы оно сгодилось, когда станем воровать, силой отбивать друг у друга кусок хлеба...

— Не верю я в это...— упрямо возражал я ему.

— Будет так и еще хуже. Катерина говорит, что после войны приходит голод, начинаются болезни...

— А чего ты Катерину вдруг начал слушать,— злился я.— Она только и умеет, что работать. Стала жадной, как цыганка, юбку бы с себя продала... Нашел кому верить!

— Никому я не верю...— мрачно отвечал Франческо.— По мне, так пусть хоть все подыхают. Пусть бомбят, покуда целенького кирпичика не останется, только рад буду.

В хлеву подрастали два кабана, один принадлежал Доро, другой нам.

Катерина вставала на рассвете, старательно готовила им самый отборный корм — молоко, кукурузную муку, жмыхи, залитые теплой водой,— и отправлялась в хлев, где Доро уже ворошил навоз, менял кабанам соломенную подстилку.

— Дотянем до восьмидесяти кило, а потом вобьем ему гвоздь в голову!— ворчала Катерина.— Совсем не обязательно откармливать этих никчемных обжор до ста килограммов.

На кабанов они оба смотрели с нежностью, после заката на целый час выпускали их во двор на траву, а в хлев загоняли, едва касаясь их боков хворостиной, чтобы уберечь жир от подтеков.

Но однажды утром мы подбежали к окнам, разбуженные страшным криком Катерины.

— Нет, нет...— кричала она, пытаясь догнать Доро. А он, как безумный, метался по двору, обхватив руками голову.

— Проклятая жизнь, проклятая жизнь!— выл он, раздирая лицо ногтями.

— Куда же вы, успокойтесь, ради бога, не теряйте голову!..— издали кричала ему Катерина, застыв на месте от ужаса и не решаясь к нему подойти.

Из окна мы разглядели розовое пятно в траве: ночью подох один из кабанов, тот, которого откармливал Доро.

Франческо тоже стоял у окна по другую сторону двора, и все мы

молча, в испуге глядели на Доро, который, словно обезумев, метался по двору, потом вдруг останавливался и качал головой. Даже Катерина и та умолкла, прижав руки ко рту.

— О господи, ну сделайте же что-нибудь! — прозвучал с балкона рыдающий голос матери.

Но Катерина и вышедшая во двор жена Доро не решались сдвинуться с места.

— ...Скажите вы ему хоть словечко...— умоляла женщина, подталкивая Катерину в спину.

Внезапно Доро умолк и пустился бежать, размахивая руками; его фигура исчезла в темном проеме портика, и вопль двух женщин во дворе оповестил о случившемся: Доро бросился в колодец под портиком. На крик уже бежал старый крестьянин, за ним другой — помоложе. Они подбежали к колодцу, стали звать Доро, но куда там — двенадцать метров каменной кладки, внизу вода. Тот, что постарше, в темно-зеленой рубашке, обвязавшись веревкой, спустился до кромки воды. Молодой вместе с Катериной держал веревку, прислушиваясь к глухому, злому голосу, доносившемуся из глубины колодца. Рядом, смертельно бледная, молитвенно сложив руки, стояла жена Доро, а нас моя мать прогнала подальше, в глубину двора; Франческо со своими младшими сестренками глядел оттуда застывшими глазами на черный прямоугольник портика.

Крестьянин, кашляя и отплевываясь, вылез из колодца, отвязал веревку: ему не удалось ни разглядеть, ни нащупать Доро.

Три часа, до самого полудня, провозились пожарные и унтер-офицер с солдатом-карабинером, покуда его удалось вытащить. Им помогали крестьяне, метавшиеся по двору с веревками и лестницами. Катерина оттащила в тень дохлого кабана, надеясь, что его не придется закапывать, что ветеринар установит несчастный случай или смерть от воспаления легких, а не от какой-нибудь заразной болезни.

— Во всех нас много скверны... В этом мире ничего нет, кроме злобы...— устало повторяла она, наливая рюмку марсалы унтер-офицеру и силой заставляя жену Доро хоть на минуту присесть.

Мать отвела девочек в одну из комнат первого этажа, а мы с Франческо, потрясенные происшедшим, долго молча сидели под тополями и смотрели через открытое окно на его притихших сестренок, которые, примостившись на диване, жевали печенье; в полумраке комнаты их лица казались совершенно белыми.

— Это месяц бед и несчастий, он и сам так говорил...— бормотала Катерина, наливая из заросшего грязью котелка в выстроившиеся чашки ячменный кофе для крестьян и пожарных.— Конечно, он еще прежде свихнулся... из-за братьев, пропавших без вести,— они горные стрелки, были в дивизии «Юлия». Франческо, где они пропали — в Греции или в России?

— В Греции...— отвечал Франческо, не подымая глаз.

— Что Россия, что Греция — нас уже нигде земля не носит...— продолжала Катерина, склонившись над чашками.— Видеть, как человек в один миг умирает у тебя на глазах, это, я вам скажу, не благодать господня...

Франческо пожал плечами, пристально разглядывая муравьев, хлопотливо сновавших по земле.

Мать в ту ночь уложила его спать вместе со мной. Долго лежали мы молча на сдвинутых кроватях; со двора еще доносились чьи-то голоса, яростно лаял пес, потом вдруг взвыл и умолк.

— Думаешь, я боюсь? — раздался в темноте голос Франческо.— Ни капельки, честное слово.

— Давай лучше спать...— сказал я.

— Деревня!..— завелся он.— Поджег бы все, что только пахнет деревней. Теперь уж никто не станет разбирать, прав я или виноват! Вот захочу — сразу пойду в подмастерья к каменщикам...

— А мать?

— Что она понимает! — пробормотал он.— Женщин мне нисколько не жаль... Он их тоже всегда клял...

— А твои дядья? — спросил я.

— Говорят, они пропали без вести, а на самом деле убиты. Вот уже больше года нет вестей... Как могли они остаться в живых! И все из-за этой дерьмовой войны, из-за этого ублюдка, который ее начал...

— Давай лучше спать, а то еще услышат...— прошептал я.

— Сам спи! — ответил он.— Можешь не сомневаться: я не боюсь, ну вот нисколько не боюсь...

С минуту мы чутко прислушивались к шорохам в доме, к лаю собак где-то далеко на холмах.

— Теперь уже я сам знаю, что с волом делать...— И Франческо выругался.

За продажу вола отец его всегда брался всерьез. Прежде чем вести вола на базар, он силой заставлял его проглотить ведерко воды с песком, килограммов на двадцать, чтобы прибавилось весу. Нужно только время хорошо рассчитать, чтоб у вола прежде, чем его доведут до бойни, не начался заворот кишок. Да еще за покупателями хорошенько приглядывать, а то, бывает, разгуливают такие по базару, в карманах полно сигарных окурков, подойдет он вроде вола пощупать, поторговаться, а сам сунет волу под хвост окурок, да так быстро, что и не заметишь, тут уж вол поневоле желудок очистит, сразу убавит в весе.

— Ты спишь? — спросил я.

— Еще раз спросишь, встану и уйду на сеновал. Отстань! — сказал Франческо.

Со двора доносились едва различимые голоса, бормотавшие молитвы. Должно быть, немало женщин спустилось к нам после ужина с холмов; мужчины, наверное, столпились под портиком, рядом с колодцем, который уже забили досками, перевязанными проволокой; они, должно быть, угрюмо рассуждают о Доро, о своих заботах и невзгодах, о черных временах, которые сделали совсем невыносимой их и без того нелегкую жизнь.

Дед умер в тревожных думах о войне, стараясь убедить себя и других, что она невозможна. Доро погиб за месяц до того, как король прогнал Муссолини, а из окон мэрии вышвырнули на булыжную площадь бронзовый бюст дуче, который начальник местного гарнизона приказал подобрать и, лично возглавив патруль вооруженных курсантов, проследил за выполнением приказа. Затем он пригрозил молодым ребятам, которые из окон муниципалитета оповещали граждан о наступлении свободы, и велел разойтись крестьянам, которые кучками собирались на площади.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я, сидя рядом с Франческо в тени акаций.

— Что дальше? — рассердился он.— Видел ты своих полковников? Муссолини покатился, а они его подбирают и склеивают по частям... Один петух подох — другой запоет. Всех бы их прикончить, начиная с короля!...

— Но король-то ведь и прогнал Муссолини,— отвечал я, хоть сам не очень разбирался в этих событиях. Я думал о своем отце и не мог

себе представить, доволен он случившимся или еще больше замкнулся в своем неприступном молчании.

— Все они — одна банда!..— пояснил Франческо, и ненависть исказила его худое лицо с первым пушком над верхней губой.— ...Всем бы им шею свернуть и занять королевское поместье в Полленцо. Только так надо кончить эту войну. Тем более что все равно проиграна.

Я стащил настойку «ферне» из шкафа в гостиной, и мы осторожно потягивали из горлышка горькую, терпкую жидкость.

— Ты прямо как Ленин...— говорил я.— А о немцах ты и не думаешь? А они всем командуют...

— Пусть и немцы подохнут...

— Да у них знаешь какие танки! Нам и не снились такие! Немцы на мир не пойдут! Лучше дадут себя перебить, а не сдадутся...

— Пусть подыхают!..— повторил он.— Пусть подохнут все — и правый и виноватый. Чем на свете меньше людей, тем лучше...

Отец прислал из Пьяченцы короткую телеграмму, обещая приехать ненадолго в отпуск.

— Теперь, когда армия снова забрала силу, может, его произведут в генералы... Лишь бы только с этой войной покончили!.. Людям она осточертела... Как они там в Риме этого не видят? — комментировала события Катерина.

Ежедневно мать прочитывала газеты от первой до последней страницы, пытаясь разобраться в сумятице событий. Пока Катерина чистила горы фруктов для повидла, а я зачарованно смотрел на ее колышущиеся мясистые руки, мама, сидя в тени с шитьем на коленях, излагала одну за другой все прочитанные и услышанные по радио новости, сопровождая свой рассказ вздохами и причитаниями.

Достаточно мне было послушать с полчаса излияния матери, и я с головой погружался в пену чудовищных измышлений, а вынырнув, видел, как лопались эти разноцветные мыльные пузыри, и догадывался, что за этим детским лепетом скрываются серьезные и важные вещи, но рядом не было никого, кто мог бы мне открыть подлинную суть событий, расставить все по своим местам. В разговорах женщин теряла свои краски и значительность даже далекая, покрытая снегами, истекающая кровью Россия — огромное желтое пятно в атласе, с неровными краями, синими венами рек и редкими точками городов... Бледнела наша собственная трагедия — напрасные жертвы, неспособность выстоять в тяжелую минуту, дешевое фанфаронство... Похищение Муссолини превращалось в жалкую, пошлую выдумку, лишенную какого бы то ни было налета романтики и авантюризма... Американцы в Сицилии уже не внушали страха, не казались загадочными, а наоборот: вызывали необъяснимое, но явно насмешливое веселье.

— Покойный хозяин всегда говорил,— заявляла Катерина в ответ на весь этот поток новостей:— Не идите против Америки. Они богаты, сжигают в топках кофе и зерно, когда у них избыток. Что мы, бедняки, против них, только такая горячая голова, как Муссолини... Но и король тоже хорош! Поначалу им воспользовался, а потом выставил за дверь! Нет, так люди не поступают, я уж не говорю о королях...

Я представлял себе, как эти американцы жгут зерно, видел, как они высыпают зеленоватые бобы кофе из мешков, устилая ими дороги, ощущал густой, дымный запах их горящих богатств, всей этой манны небесной. Я видел русских, которые шагали по снегу и по грязи, они не согнулись в почтительном поклоне перед вооруженными до зубов немцами, тысячами уничтожали их танки, как в свое время уничтожали лошадей и пушки Наполеона; танки проваливались в желтое чрево очерченного на карте пространства, где слово «Москва» казалось невероятно маленьким...

В полдень Франческо, Катерина и я, задрав головы, смотрели на бесчисленные вражеские самолеты, группами пересекавшие изумрудно-голубое небо, а мать лишь подносила руки к вискам, боясь произнести хоть слово.

— И это мы им свою силу хотели показать...— говорила Катерина, старательно пересчитывая дюжины сверкавших на солнце самолетов, которые шли аккуратными треугольниками, не нарушая строя.— Это вам не в Абиссинии командовать... А ведь были и такие, что войне радовались, в ладошки хлопали... Думали: разбогатеют, за месяц все кончится... Теперь вот нас и карают...

Мы обсуждали, откуда поднялись самолеты: с авианосца где-нибудь между Сицилией и Сардинией или с африканских аэродромов, спорили о том, что хуже: десяток бомб по сто килограммов каждая или одна огромная, весом в тонну.

— Все равно. Что бык кучу наделает, что сотня ласточек,— кричал Франческо.

— Поганые у вас языки! — возмущалась Катерина.— Еще смеются... хохочут, как две обезьяны... Люди с горя волосы на себе рвут, а этим хоть бы что, им все цирк.

А мы у себя под акацией покатывались от хохота, орали выдуманные американские слова, спорили, какие у русских автоматы, рассуждали о том, как австралийцы ходят в атаку пьяные.

— Интересно, что им дают пить...— думал вслух Франческо.— Наших в ту войну тоже накачивали вином и виноградной водкой, перед тем как выгнать из окопов. Отец мне тысячу раз рассказывал.

Полковник прислал вторую телеграмму: раньше сентября не прибудет. И Катерина с облегчением вздохнула: ей не хотелось представать перед моим отцом в августе в разгар хозяйственных забот, не хотелось, чтоб он встретил ее по дороге на базар с тележкой, груженной персиками, или с сумкой, откуда гроздьями свисали куриные головы.

— Он ведь такой, может перестать со мной здороваться,— со смехом заявляла она матери:— Ему бы все казалось, что это на него бросает тень, подумают, что он стал приторговывать, хотя на самом деле он всего лишь зять покойного и к хозяйству не касается...

Мать смиренно соглашалась, с каждым днем все больше уступая хозяйственным требованиям Катерины, которая готова была ножки от кроватей продать, лишь бы отложить немного денег и сделать хоть какие-нибудь запасы... По вечерам мы усаживались за стол с книгой счетов и подводили итог немногим лирам, вырученным от продажи персиков; из путаной графы «наличие» мы вычеркивали кроликов, выменянных на несколько килограммов муки. Уже увезли пианино, проданное мебельщику; на этом пианино дед иногда ночной порой выбивал двумя пальцами оперные арии и легкие вальсы, то и дело сбиваясь с такта и тревожа тишину сада.

— До чего он это пианино любил! — не удержалась от вздоха Катерина...— Что за времена были!.. Кажется, сто лет с тех пор прошло... Какие обеды! Сколько добра уходило... И всегда всего мало... Так вот: надо бы купить новые трубы для печки. Раз уж эту зиму придется жить здесь...

— Зимовать здесь?! — сетовала мать.— В этой волчьей норе! Что еще нам готовит жизнь? Когда это кончится?..

— К зиме не кончится, это уж как пить дать... Все запасаются, все ждут худшего...— не отступала Катерина.— Достаточно в двух комнатах топить. На холоде сон самый здоровый... Снег возле дома Стефано расчистит: он уже мужчина.

Я пытался представить себе полковника.

С трудом, почти насилуя непослушную память, я восстанавливал образ отца, вспоминая, как он выглядел в казармах, в кабинете, среди собеседников в столовой Офицерского собрания, на площади Кавалли, на жалких улочках по дороге к нашей квартире. Но, увы, усилия мои были тщетны, я проигрывал в этой игре с памятью, шахматная доска плыла перед глазами, каждый ход был впустую. Я не мог вспомнить облик города, его улицы, дворики и аллеи, я забыл школу, церковь, часовню, все смешалось в моей голове. Вместо живого отца память воспроизводила бледную немую тень постороннего человека, которого оторвал от меня и унес поток событий. Он казался мне теперь маленькой, едва заметной точкой на огромной, меняющей очертания карте жизни, которую не охватишь глазом.

Рождались в грохоте и шуме новые дни, воздух был полон возбуждения, ночью, перед тем как заснуть, я мчался, широко раскрыв глаза, навстречу стремительному миру. В нем все смешалось и сплелось в один клубок — мясистые руки Катерины, пьяные австралийцы, идущие на штурм в сдвинутых на затылок шлемах, «летающие крепости», похожие на рой сверкающих на солнце насекомых, кролик, застрявший лапками в изгороди, грядки с помидорами и мы с Франческо, убегающие со двора в наше индейское укрытие под акациями. Мы целимся во врага, будь то зверь или человек, который укрылся за огородом.

Нет, для меня этот мир не был пустым и безмолвным пространством. Я жил в лесной чаще, полной звуков, красок, движений. Я слышал призывный клич, манивший меня в завтрашний день, зов трубы, грозный и радостный, от которого захватывало дух.

Счастлив я был неимоверно и никому не мог об этом рассказать.

У меня были острые, крепкие зубы хищного зверька, я походил на двухгодовалого огненно-красного лисенка, остановившегося на пороге неведомого мира, который ему предстоит освоить и покорить. Рушились устои, и, еще не очень твердо держась на ногах, настороженный и возбужденный, я с удовольствием смотрел на развалины старого миропорядка и задыхался от смеха, вспоминая первую строчку стихотворения, которое уже не мог припомнить до конца:

Kennst du das Land
Wo die Zitronen blühen?..*

Я повторял его десятки раз, почти пел — и зарывался лицом в подушку, радуясь, что эти неразгаданные звуки канули в прошлое, что они лишь отголосок времени, оставшегося у меня за плечами. Теперь, когда пробил мой час, я перешагивал через все, что хранила память, даже образ отца не был мне помехой, и мчался к лесной чаще, к своей тайне...

Просыпаясь по утрам, я рассматривал облупившуюся роспись на потолке — зеленая трава, голубое небо, в траве младенец с пухлыми ножками. Мне казалась нестерпимой мысль о том, что дни идут, а я все еще здесь, среди этих стен, которые почему-то не вздуваются парусами и не мчат меня навстречу неумолимому зову времени...

Я больше никогда не отвечу ему: «Слушаюсь!..» Тщетно силился я представить себе отца в Пьяченце, по дороге домой, с небольшим пистолетом на боку, с неизменными перчатками в руке, я вынужден был отказаться от этих попыток: воображение изменило мне.

Встреча с отцом была для меня страшным ударом, острая боль пронзила сердце: не было больше полковника, была отяжелевшая гусеница, с трудом выползшая из омертвевшего кокона.

* Ты знаешь край
Лимонных рощ в цвету?.. (Гёте)

Не нужно было обращаться за помощью к Катерине, чтобы понять смысл событий этих сентябрьских дней; солдаты спасавшейся бегством IV армии, которые наводнили равнину Кунео после провозглашения перемирия, обнажили перед всеми жалкие лохмотья Италии, открыли миру трагическое лицо жаждущей покоя страны с опустошенными глазами бродячего пса.

Десятки тысяч солдат, поодиночке или встревоженными группами, бродили по нашим местам. Те, кто умели изъясняться на местном диалекте и направлялись в ближние деревни, казались веселыми — растерянность и тревога застыли на лицах тех, кто спрашивал о поездах, о том, сколько километров отделяло их от дома, о немцах, которые скоро станут или уже стали врагами. Одни тащили с собой круг сыра, другие несколько оплетенных соломой бутылок с вином, а то и по три одеяла; кое у кого были еще винтовки. Многие останавливались у мостов и развилок пыльных сельских дорог, не зная, куда податься. По грузу, который каждый волочил на спине в ранце или в огромных, наспех завязанных узлах, можно было без труда установить, что́ это за люди. Ремесленник уносил из казармы упряжь, крестьянин брал мясные консервы или лопату, кто-то нес завернутые в палатку брюки и рубашки, некоторые тянули за собой упиравшегося мула. Каждый пытался унести с пожарища хоть что-нибудь про запас, багаж придавал уверенность, иногда служил пропуском или товаром для обмена. Среди солдат встречались и такие, что шагали по деревенской улице или по стерне в поле без поклажи, в одной расстегнутой куртке, засунув руки в карманы, давно небритые,— и можно было догадаться, что это самый бедный люд, пастухи, рыбаки или бродячие чернорабочие из дальних провинций, не принимавшие участия в этом бессмысленном и жалком грабеже.

Лошадей и мулов ставили в деревенские конюшни, в стога сена зарывали оружие и боеприпасы — владельцы ярмарочных тиров и балаганов, которые в эти дни устанавливались на всех площадях и окраинах деревень по случаю традиционных осенних праздников, выменивали гражданскую одежду, велосипеды, старые плащи на скот, бинокли, куски замороженного мяса с большими фиолетовыми клеймами... Растерянность и вместе с тем исступленное желание спастись от вечной нищеты лишили людей всякой сдержанности в речах и поступках. Во дворах старухи крестьянки в огромных медных котлах перекрашивали в черный и синий цвета мундиры и армейские одеяла, на перекрестках шла бойкая торговля матрасами, металлическими сетками от солдатских коек, сухарями, сыром — и все это делалось без стеснения и каких бы то ни было угрызений совести... Беглецы выставляли напоказ свои лохмотья и язвы, подобно человеку, спасающемуся от пожара в больнице: он бежит, волоча за собой бинты, распространяя запах гниения, не думая об ужасе и отвращении тех, кто на него смотрит в эту минуту...

Иной раз на перекрестках появлялась в клубах пыли машина важного офицера, истерически подгонявшего шофера, тряслись обвязанные веревками чемоданы и свертки, рычал мотор, и машина быстро исчезала из виду... Порой на скамейке посреди пустой аллеи одиноко сидел какой-нибудь молодой лейтенант, с красными от бессонницы глазами, в растерзанном мундире, с пистолетом, небрежно засунутым за пояс.

— Конец света настал,— повторяла Катерина.

Мать раздавала брюки и рубашки, старые шерстяные куртки, пакетики с фруктами и каждое утро отправляла в Пьяченцу «срочное» письмо, дважды подчеркивая адрес.

Катерина, пыхтя, при первом же звуке колокольчика бежала к воротам, которые стерегли два серых каменных пса. Она никому не по-

зволяла заходить во двор и не снимала цепочку, соединявшую железные створки ворот: в каждом новом человеке ей виделся враг.

— Они-то благодарят, ну, а что, если кто вместо спасибо стрелять станет,— оправдывалась она, страдая от собственной подозрительности.— Люди теперь обозлились, вокруг только и слышишь: спасайся, кто может... А если им не рубашка нужна, если они здесь спрятаться хотят? Мы тут одни женщины, да еще эти два разбойника, у которых ветер в голове... Война не кончилась... Говорят, немцы стрелять начали, говорят, они уже в Асти, в Турине...

И она опять возвращалась к разговору о печных трубах.

Эта агония длилась много дней. Известия о немецком танке, промчавшемся по площади, о поезде с пленными, совершившем вынужденную остановку в долине, повергали всех в ужас. Люди наблюдали за происходящим, словно окаменев,— так стоят у постели умирающего, которого уже ничто не связывает с людьми, вдыхающими его запах, слушающими его стоны и ничем не способными ему помочь.

Возвращались страхи прежних, позабытых времен; крестьяне, прежде чем спуститься с гор в деревню, обменивались новостями, они припоминали рассказы своих отцов о немцах в первую мировую войну: бельгийские женщины, заколотые штыком, газы, голод... Каждый прежде всего чувствовал сильную потребность замкнуться в себе, видел перед собой лишь тот единственный день, который ему нужно дожить до конца. Ничтожные и в то же время священные каждодневные потребности становились единственным оправданием человеческого существования, островом спасения среди моря крови и разрушения.

Много радости доставлял нам кабан. Он легко перешагнул за семьдесят килограммов, а в ноябре наверняка будет весить центнер. По вечерам мы вдвоем с трудом загоняли в хлев это обросшее колючей шерстью, неповоротливое животное, а мать Франческо глядела на нас из окна кухни, пока мы возились с упиравшейся скотиной.

Моя мать говорила:

— Не давите так пальцами, сало испортите.

Иной раз ночью слышно было, как тяжело ворочается и хрюкает в хлеву здоровое, сильное животное. Только кабан мог вернуть хорошее настроение Катерине, она ласково тянула его за длинные уши, гладила брюхо и бока, говорила, что только у него на земле нет забот... По утрам она заботливо кормила его, подсовывала варево под самую морду, сопровождая каждый глоток похвалами в адрес своего любимца.

Срочные письма и телеграмма, посланные в Пьяченцу, оставались без ответа. Но однажды в полдень зазвенел у ворот колокольчик. На сей раз это были не беглые солдаты в поисках одежды или фруктов, а одна знакомая старушка, которая на ухо сказала Катерине, что сегодня у рва под персиковым холмом она видела двух мужчин. Один из них показался ей очень похожим на полковника, но она не осмелилась с ним заговорить.

Да, это был полковник. Но с каким отрешенным выражением лица шагал он, когда мы увидели его под липами в саду рядом с Катериной. Давно не стриженый, в разодранном и грязном мундире, без шапки, с пустой кобурой, отец шагал по направлению к дому.

Он молча дал себя обнять и — невероятно — даже не обругал Катерину, когда она стала расстегивать портупею, снимать с него обувь. Не произнося ни слова, сидел он со стаканом воды в руках и кивал головой в ответ на все вопросы матери о здоровье.

В глубине двора тем временем появился другой мужчина, низенький кривоногий южанин в военных брюках и синей куртке с длинными

не по росту рукавами. Он не осмеливался войти в дом, и только Катерине удалось уговорить его подняться со скамьи в саду, где он сидел, робко и растерянно улыбаясь.

Полковник проспал целые сутки; когда он снова предстал перед нами, мы увидели, что движения его стали еще замедленнее, сам он как бы отяжелел, казалось, его лихорадило, обычно бледное лицо потемнело, словно под воздействием какого-то разъедавшего его изнутри яда.

Маленький солдат, мучительно напрягая память, поведал нам о событиях этих последних дней.

Полковник один ждал немцев во дворе казармы. Он стоял посреди пыльного плаца, нацепив на грудь все свои ордена и медали, с голубым шарфом через плечо, при сабле, в новом мундире, со сверкающими знаками различия. Немало часов простоял он под солнцем в этот сентябрьский день. Перед этим на заре полк, который двое суток просидел взаперти в казарме, ожидая приказов, разоружил нескольких наиболее опасных офицеров охраны, и солдаты разбежались, предварительно перевернув все вверх дном на кухнях, в спальнях, в штабных комнатах,— не тронули только склад с оружием, чуть позже исчезли и офицеры...

— Понимаете, синьора? — рассказывал солдат, то и дело останавливаясь, чтобы хлебнуть глоток воды с мятой...— Сам я из Априльяно, как раз под Козенцой,— чего мне стоило удрать? Но я остался... Из окна продовольственного склада я глядел на господина полковника... Как раз два месяца прошло с тех пор, как он обещал взять меня в вестовые...

Прибыв в казарму, полковник Иллуминати нашел ее опустевшей. Он пытался, как и весь предыдущий день, куда-нибудь дозвониться — в штаб дивизии, в штаб военного округа, в другие казармы, на военный арсенал... Но телефоны повсюду молчали или к ним подходили посторонние, должно быть, тоже беглые солдаты, грабители.

Тогда он сжег бумаги, сжег старое знамя, которое всегда стояло в углу его кабинета, надел новый мундир, который до этого дня висел в шкафу, приколол ордена и решил ждать событий, стоя неподвижно посреди двора, под лучами солнца. Он только подобрал несколько горшков с цветами у входа в казарму — их опрокинули бежавшие солдаты — и опустил для порядка шлагбаум в воротах.

Услышав шум мотора, он застыл на месте. Из машины вышли трое немецких солдат с унтер-офицером. Они вбежали во двор с автоматами наперевес, но, увидев полковника, остановились у границы залитого солнцем квадрата, посреди которого он стоял. С подозрением оглядывали они ряды больших казарменных окон, словно опасаясь попасть в ловушку.

Потом унтер-офицер отдал честь и показал на автомобиль. Полковник ответил на приветствие, но, прежде чем двинуться с места, вытащил саблю и трижды попытался переломить ее о колено. Это ему не удалось, тогда он со злостью отбросил ее в сторону. Затем он сорвал с себя все ордена и швырнул их в пыль. К воротам он отправился, уже не отвечая на приветствие трех солдат, стоявших у ваз с цветами.

— И тут такое началось! — волнуясь, рассказывал солдат из Априльяно.— Я сразу после этого бежал... не знал, куда деваться, и отправился на вокзал. Там полно было солдат и офицеров, которых немцы взяли в плен, меня тоже схватили, посадили в поезд, и там я снова увидел полковника... Полтора дня наш поезд простоял в трех километрах от вокзала. Все просили воды, но нам не давали, только стрелочник иногда набирался храбрости и приносил нам ведро. То и дело где-то стреляли... Но полковник ни разу не сказал ни слова, ни разу головы

не поднял. Ему прямо по ногам шагали — можете себе представить!— а он даже не взглянул ни на кого. Господи! Я боялся, не задумал ли он чего дурного, и был настороже; потом я представился, сказал ему, кто я, сказал, что он может располагать мной... Он меня узнал, сказал: молодец, молодец... но так ни разу ни о чем не попросил... Мне удалось раздобыть немного хлеба, он знаком дал мне понять, чтоб я съел его сам.

Несколько десятков солдат и офицеров, взломав вагонные двери, сумели выпрыгнуть из этого поезда, шедшего в Больцано. Ночью солдат из Априльяно подтолкнул в спину полковника, а потом стащил его вниз с насыпи. Потеряв ориентировку, они долго бродили по окрестностям, не перебросившись ни единым словом, покуда на какой-то маленькой пустынной станции им не удалось сесть в поезд, который за два дня довез их сначала до Александрии, потом до Асти...

— Даже плащ я ему раздобыл...— закончил солдат.— Но как ему об этом скажешь? Пришлось залезть к нему в карман, вытащить бумажник и достать деньги, чтоб расплатиться. Как я только осмелился! Билеты на поезд он сам купил, это верно, но потом уж ни словечка не произнес... Я все стоял в коридоре, поглядывал, нет ли на станциях немцев... Да и гражданские на нас с опаской смотрели... Нас, должно быть, какой-нибудь святой охранял, иначе мы бы не добрались сюда живыми: у него ведь на рукавах еще полковничьи нашивки.

Катерина приготовила ему комнату на чердаке, но прожил он у нас всего два дня. Ему взбрело в голову отправиться к родственнику, который много лет назад обосновался в Сеттимо Торинезе. Он надел штатский костюм, запасся несколькими лирами и двинулся в путь. Полковник Иллуминати даже не вышел из комнаты, чтоб попрощаться с солдатом, и тот, стоя под окном, настойчиво кричал:

— Я — Деддео, господин полковник, я ухожу!..

А тот из-за занавесок ответил:

— Счастливого пути.

— Надо ехать в Пьяченцу, перевезти оттуда вещи... Там вся моя одежда, моя швейная зингеровская машина, все его мундиры, наш серебряный сервиз...— ломала руки мать.

Через две недели каким-то чудом прибыл забитый мебелью, матрасами, стульями железнодорожный вагон, который качался и подпрыгивал, когда его везли по деревенской дороге. Все выгрузили посреди двора, свалив вещи в кучу: тут были и старые сундуки, и ящики военного образца, в которые упаковывали вещи во время наших бесконечных переездов из Александрии в Пьяченцу, в Полу, в Нови, снова в Пьяченцу... Серебряный сервиз прибыл еще раньше, в чемодане матери.

— О, моя голова, моя голова...— приговаривала мать, потерянно расхаживая среди разобранной мебели, переложенной соломой, перевязанной шпагатом, среди ящиков и корзин. Изредка она нагибалась и пробовала крепость узла или замка.

— Новые трубы для печи теперь не понадобятся, эти еще вполне хороши...— заключила Катерина после подробного осмотра сваленного посреди двора хлама.

Так начались эти жестокие и нелепые времена. Каждый день приходили все новые и новые вести о бесчинствах немцев, о поджогах и убийствах, учиненных ими под Кунео, о ночных перестрелках. Все это скрывалось от полковника и при нем не обсуждалось.

Отец вел жизнь затворника, добровольно перешагнув порог старости, прочно исключив всех нас из круга своих мыслей. Он уложил мундиры в сундук на чердаке, спрятал туда же пистолеты и бинокль, расставил по местам книги и выходил из состояния неподвижности лишь для того, чтобы заглянуть в газету, на минуту подойти к радио

во время передачи последних известий. Но все прочитанное или услышанное он хранил глубоко в себе, ничто не в силах было растопить лед его молчания.

— Не такая ему была предназначена судьба,— пыталась объяснить себе случившееся мать, бесшумно ступая, будто наверху лежал тяжелобольной.— И надо же, чтобы именно с ним это случилось! Он так рвался в Африку... Хорошо еще я в тот раз воспротивилась. Так обойтись с человеком, который ради короля и армии на все был готов...

— Нелегко в такие годы жить с его крутым нравом...— добавляла Катерина.— Хорошо еще, что мы не мужчинами родились... Бывает, женщине прожить легче... Но уж теперь хорошей старости не жди...

Франческо звал меня со двора каждый раз, когда узнавал что-нибудь новое о немцах, о пожарах в окрестностях или о странной перестрелке между немцами и итальянскими бунтовщиками в штатском.

— А твой отец что делает? Он против немцев? — спрашивал он меня.

Я не знал, что ответить; я видел, как полковник сидел на скамье и курил, уставившись в одну точку, всегда погруженный в раздумье, совершенно чуждый окружавшей его действительности, которая не имела никакого отношения к ходу его мыслей.

— Сколько ему лет? — все допытывался Франческо.

— Пятьдесят пять,— ответил я несколько смущенно.

Но бывали дни, когда он казался на десять, на двадцать лет старше; он неприкаянно бродил по саду, заложив руки за спину, не находя себе места, не зная, вернуться в дом или остаться в саду.

Порой я замечал на себе его взгляд, когда толкал тачку с дровами, чтобы уложить их под навесом, или нес корзину травы для кроликов. Он смотрел на меня молча, пристально, потом отводил глаза в сторону, словно желая поскорее отделаться от неприятного зрелища.

Все наши жалкие повседневные заботы не касались его, мы изо всех сил старались не привлекать к ним его внимания — если б смогли, мы сделали бы так, чтобы время текло мимо него, не затрагивая и не тревожа.

— Видеть, что мы работаем как простые крестьяне — при его-то гордости! — тянула свою вечную жалобу Катерина.— Ясно, ему это не по нраву... Но разве мы виноваты? Никак не может понять, что по нынешним временам в живых остаться — и то большое счастье.

Мать ей даже не отвечала, она с головой окунулась в мелкие повседневные дела: варила еду, штопала, вела счета и становилась все грустнее, убеждаясь в том, что строжайшая экономия и контроль над расходами не способны избавить нас от нужды, кольцо которой сжималось все теснее, что нас не спасет ни старый виноградник, ни обесцененные фруктовые деревья, ни кошелек, в котором теперь уже водились только жалкие гроши...

Полковник спал в отдельной комнате; к столу он спускался с опозданием, после полудня сидел в одной из гостиных при закрытых ставнях, давая о себе знать лишь покашливанием.

Катерина от смирения переходила к глухой крестьянской озлобленности, потому что не могла видеть, как без толку пропадает такая сила и власть:

— ...Мы-то ведь все женщины, он бы должен нами командовать, а он и не взглянет в нашу сторону, не поинтересуется... Да не проживи я в этом доме тридцать лет...

— Ты только пойми...— пыталась успокоить ее мать.

— Да уж я все понимаю,— ворчала в ответ Катерина.— Ну, как на такого человека не злиться? Пятьдесят пять лет, в самом расцвете сил... В такое время каждый должен ремень потуже затянуть и взяться

за дело... Даже у святой от злости чепец на голове подымется! Мы спим, а он ночью спускается вниз и начинает перекладывать ложки и вилки, протирать бутыль с вином на кухне, словно я цыганка какая или уж второй такой грязнухи на свете нет... Просыпаемся — тысяча дел впереди, а он как раз и спит, и не видать его... Да ведь никто не требует, чтоб он сам работал, приглядывал бы только, подумал бы немного о хозяйстве... Благодарю господа нашего, что так замуж и не вышла, с этим замужеством иной раз одна морока... Вот от того, что все мы такие скверные, и мир перевернулся, и господь даже глядеть на нас не хочет...

Тайны, связывавшие меня с Франческо, уже не веселили нас, они утратили прелесть новизны и неожиданности первых лет войны; возбуждение, и теперь не покидавшее нас, было вызвано страхом и мрачными предположениями. Кругом творились вещи, перевернувшие наши хрупкие представления о мире: не требовалось богатой фантазии, чтобы представить себе кровавые события, происходившие не где-нибудь за тридевять земель, а рядом, в нескольких шагах от нас: крестьяне, повешенные во дворе лесной фермы, за нашими холмами, знакомый рабочий, по слухам, превратившийся в страшного бандита, фашистские шпионы на улицах деревни, выдававшие немцам людей, спрятавшихся на чердаках или в погребах. Такие же, как мы, двенадцати-тринадцатилетние мальчишки теперь разгуливали в мундирах с изображением черепа на груди и на шлеме, шагали впереди черных колонн фашистской милиции, вооруженной автоматами.

— Я видел по крайней мере троих, которые мне до плеча не доходили! — Франческо был вне себя от ярости.— И у них были гранаты, знаешь, такие с ручкой, и автоматы «стэн»...

— А они участвуют в боях или их на это время запирают в казармах?

— Воюют, стреляют, напиваются... Вот бы нам одного такого схватить и отнять у него все... Тогда мы могли бы назвать себя партизанским отрядом...

— Мы вдвоем?..

— Попробуй стащить пистолет у отца! — предложил он.— Быстро придумаем, как назвать отряд! Даже если нас только двое... Придут и другие, нужно только с чего-то начать, чтоб узнали про нас... Фашисты начинают совсем маленькими, а мы что — хуже?

Ниша под акацией была единственным местом, где мы могли на каких-нибудь полчаса укрыться от Катерины, непрестанно придумывавшей для нас новую работу.

— Только уговор: пистолет будем держать по полдня каждый...— заключил Франческо.

— Все равно пистолет — не ручная граната или автомат! Нам нужно бежать, поступить к фашистам, а потом удрать с их же оружием.

— Ты так говоришь потому, что боишься взять у полковника пистолет... — хмуро проворчал Франческо.

Нет, я не боялся, я испытывал то чувство легкости и головокружения, которое охватывает тебя, когда ты собираешься спрыгнуть с ветки, предварительно сильно раскачав ее. Я понимал, что должен оторваться, что настал мой час, и почему-то медлил.

— Вот увидишь, возьму! — почти закричал я, разозлившись.— Погоди, увидишь...

Так и вышло.

Стоял уже декабрь, зима выдалась холодная, снега было мало, железная изгородь обледенела, гулко звучали шаги по замерзшей, покрывшейся коркой земле. Кролики во дворе высовывали мордочки через за-

городку, поджидая, когда им принесут немного сена, отрубей, какую-нибудь сухую ветку, которую они мгновенно обдирали, суетясь и отталкивая друг друга.

Порой в середине дня — только не вечером — я бегом спускался к норе, туда, где заросли голой крапивы походили на заграждение из колючей проволоки, и некоторое время стоял там — казалось невероятным, что здесь, под землей, зарыт человек.

Память четко сохранила черты запыхавшегося немца, шедшего прямо на меня. С не меньшей отчетливостью видел я себя — с пистолетом, а потом с лопатой в руках... Эта картина, неподвижная и неменяющаяся, навсегда застыла в глубине моей души. Одно меня поражало: как я смог все это утаить от Франческо — ведь подобное признание могло бы возвысить меня в его глазах и доставить удовлетворение моему самолюбию.

Казалось, все медленно возвращалось на круги своя. Эхо удалявшихся событий все глуше доносилось до нас; даже Катерина возлагала надежды на весну и до поры забывала про свои горести. Я начал понемногу и беспорядочно учить латынь, подстегиваемый матерью, которая немного успокаивалась, когда видела меня за столом с тетрадкой или книгой в руках.

— Тебе сразу придется держать экзамены за два года! — внушала она мне, не отрываясь от шитья. — Берись за дело, не то совсем читать разучишься...

Рядом с камином, вытянув ноги, с угасшей короткой трубкой во рту, сидел отец и не отрывал глаз от пламени; его куртка из верблюжьей шерсти утратила прежний щегольской вид, выглядела мятой, поношенной. Иногда в комнату пускали пса, после того как он долго скребся под дверью. Он подходил к полковнику, садился у его ног, и они часами неподвижно глядели друг на друга; пес сопел, полковник тяжело дышал.

Когда рядом никого не было, полковник тайком пытался кое-что делать по хозяйству: построил псу новую треугольную конуру из нескольких досок, обернул соломой два-три дерева в саду, чтоб уберечь их от холода. Но внезапно он бросал работу, угрюмо забирался в свой угол у камина и сидел там, закрыв глаза, лишь время от времени, когда Катерина заходила из кухни, чтобы сказать матери несколько слов по хозяйству, и слишком сильно гремела при этом ручкой двери, отделявшей кухню от жилой комнаты, он бросал на нее неодобрительный взгляд.

Полковник Иллуминати стал проявлять известный интерес к одному из уголков огорода, задумав там вырастить около двадцати кустов табака. Он взрыхлил садовой тяпкой землю, потом накрыл брезентом облюбованный участок. Вечером, вернувшись в дом, он, насупившись, лечил на руках ранки и мозоли от непривычной работы — доставал из металлической коробки бинт, вату, спирт, целую кучу пластырей, дезинфицировал и перевязывал места, где была содрана кожа, подрезал сломанные ногти.

Наконец, табак протянул навстречу солнцу бледно-зеленые листья; когда их срезали, они пожелтели и потрескались. Полковник перетер часть сухих листьев, но полученный табак издавал слишком резкий и неприятный запах. Тогда он задумал новый эксперимент: бросил тоненькие листья в кипяток, добавил туда несколько ложек меду и варил их, пока не получилась заплесневелая густая масса, вообще непригодная для куренья. Эта неудача окончательно укрепила его в решении отказаться от какой-либо деятельности.

Сидя в кресле перед камином, он, казалось, не замечал меня: не обращался ко мне, не заставлял заниматься, не посылал рубить дрова. Я молча проходил мимо, все ожидая, что он меня окликнет, спросит о чем-нибудь, но он не останавливал меня, и, позабыв о книгах, я убегал во двор, к Франческо. Лишь изредка в мое отсутствие полковник жаловался

на меня матери, но и тогда в его речах чувствовалось глубокое безразличие к тому, что происходит вокруг.

— Твой сын... — говорил он ей.

— Говорит «твой сын», словно он тут вообще ни при чем! — горько жаловалась мать на кухне. — Твой сын сделал то-то, твой сын не сделал того-то... Почему он сам тебе не скажет? Да и ты, Стефано, тоже хорош! Неужели ты не можешь о чем-нибудь с ним поговорить? В конце концов, он твой отец... Постарайся хоть что-нибудь понять... Ты уже не ребенок!

Я чувствовал, что он отстранил меня от себя, что его раздражает мое присутствие, что он видит во мне неудачное отражение самого себя. Мучимый сомнениями, я находил утешение в сознании собственной независимости. И все-таки порой меня, как и его, раздражал тихий смех матери и Катерины на кухне. Я с трудом выносил мрачную, застоявшуюся атмосферу нашего дома, и тем не менее эти редкие минуты хорошего настроения у двух женщин, когда они, позабыв горести и заботы, предавались воспоминаниям, были мне неприятны. Я никогда не разделял их радостей.

Если же их веселые голоса доносились до полковника, он принимался раздраженно вертеть шеей, еще плотнее сжимал и без того сомкнутые веки, укрепляя таким образом линию обороны своего мрачного одиночества.

— Знаете, в чем его болезнь? Командовать ему некем, вот что! — заявила не переставшая ворчать Катерина. — Привык всю жизнь помыкать своими ближними, да так, чтоб они перед ним навытяжку стояли, а теперь ему некем командовать, он — словно кот без когтей...

Однако несмотря на эту мрачную, вконец обессилевшую его тоску — часто ему трудно было даже чиркнуть серной спичкой о почерневшую плиту камина, — у полковника в голове сложилась некая концепция жизни, о которой нам удалось узнать благодаря случайному стечению обстоятельств.

В один из морозных дней, когда обнаженные ветки тополей чернели на фоне молочно-белого неба, неожиданно у нашего дома появилось трое мужчин — они возникли у двери так внезапно, что даже пес не успел залаять. Ворота у нас были забиты, и они, должно быть, перебрались через ограду. Тот, что постарше, с уже поседевшими усами, в очках, казался любезным и даже веселым, разговаривая с Катериной. Полковник согласился их принять лишь после долгих раздумий. Мать бросила свою швейную машинку, я оторвался от книг, и все мы собрались на кухне; кофейник с ячменным кофе уже закипал на плите.

До нас доносился голос старшего из пришедших, двое других молчали. Казалось, полковник внимательно слушал.

— Это партизаны! — сказала мать. — Я готова поклясться. Лица мне не знакомы, они, должно быть, пришли из Кунео... Кофе готов? Я сама подам его наверх, может, разгляжу их получше... Это партизаны. Они хотят взять его с собой, о господи...

Я выбежал из дому, чтоб позвать Франческо.

Неожиданно все четверо появились во дворе, может быть, решили, что тут их никто не услышит. Они медленно расхаживали по прибитой морозью траве; отец был в застегнутом до самого подбородка плаще. Он от чего-то отказывался, отрицательно качая головой. Человек в очках говорил все горячей, то разводя руками, то рубя ими воздух, то прикладывая руки к груди, словно в церкви. Но полковник снова сухо и вежливо отказался, неподвижно глядя вдаль, на губах его застыла едва заметная тень холодной улыбки.

Я не заметил оружия, которое бы оттопыривало карманы тех двоих, что помоложе, — может, у них и были пистолеты, но уж гранат и автоматов наверняка не было... Я внимательно разглядывал всю группу, стоя

под портиком, видел, как в морозном воздухе таял пар от дыхания людей.

Они еще долго стояли молча, словно посторонние; те, что помоложе, прислонились к загородке крольчатника, старший, который в очках, казалось, ждал, не скажет ли ему полковник еще что-нибудь, а полковник застыл в своем плаще как изваяние и, казалось, не собирался говорить.

Потом они расстались, пожав друг другу руки на прощанье. Трое мужчин вышли на дорогу. Вдруг один из молодых резко повернулся, вид у него при этом был явно недружелюбный. Он, должно быть, хотел снова подойти к полковнику, который, не двигаясь, глядел им вслед. Тогда человек в очках остановил молодого, схватил его за руку и довольно бесцеремонно подтолкнул вперед.

...Из немногих фраз, услышанных матерью, и скудных сведений, которые, словно клещами, удалось впоследствии вытянуть из полковника, стало ясно, что предлагали ему эти люди. Они хотели, чтобы полковник пошел с ними, хотели взять его в штаб большого партизанского соединения, они даже намекнули на то, что знают, как он держался перед немцами в казарме несколько месяцев тому назад... Но полковник наотрез отказался... Он умел не только командовать, лучше всего и прежде всего он умел подчиняться; постепенно, шаг за шагом мать восстанавливала картину происшедшего, заполняя провалы и расшифровывая фразы, казавшиеся непонятными... Лишь человек, который знает, кому и во имя чего он подчиняется, может взять на себя ответственность командовать другими. Таков принцип... И самое главное — тут мать начинала нервно тереть виски,— короля и наследного принца нет среди тех, кто, точно бандиты, прикрывают автоматы полами пальто. Полковник никогда не присоединится к штатским, к нерегулярным частям, к людям, которые воюют во имя странных, хотя, быть может, и вполне заслуживающих уважения идей, но вообще кто может судить... Все это дым, слова, вчера на всех перекрестках кричали «верность», а сегодня в ходу другое слово — «свобода»... Но свобода от кого, от чего, во имя чего? Человек, который знает, что собственный король его предал, может говорить только «нет», может лишь отрицать свободу, которую другие превозносят до небес... На что она ему? От нее ему ведь не станет легче...

Имена, даты, короли Пьемонта, сорок восьмой год прошлого века, братья Бандьера, враги-немцы... все это всплывало в разговоре.

Я легко представлял себе, как полковник произносил слово «свобода»: удваивая «б» в знак холодного презрения... Однажды за ужином, когда отец сидел во главе стола, как всегда непроницаемый, опустив глаза в тарелку, я разгадал тайну его старости: он с маниакальным упорством пытался выделить из общего хаоса важные для него моменты, события, обстоятельства, даты; туман забвения надвигался на его прошлое, затягивая непроницаемой пеленою большие, как цветы, звезды на ночном небе Ливии, душистый кофе на открытом воздухе, два удачных побега из венгерской крепости во время первой мировой войны, синие шрамы почетных ран... Все эти немногочисленные, но достойные в своей честной бедности глубокого уважения воспоминания оказались где-то на дне глубокого колодца; извлекаемые оттуда наугад, они теряли свою значительность, казались ненужными и бесполезными — от начала до конца...

Может быть, именно в день этого открытия я решил, что должен что-то срочно предпринять — бежать из дому, спрыгнуть головой вниз с крыши, совершить что угодно, лишь бы избавиться от этой убийственной тишины, от учебников латыни на столе, от тусклых однообразных дней, столь чуждых бурлившим вокруг страстям.

— Завтра или послезавтра удеру,— говорил я Франческо во дворе.— Если уйдешь со мной, клянусь, открою тебе такую тайну, что ты дара речи лишишься. Но только узнаешь, когда нас уже здесь не будет...

Франческо молчал, притоптывал снег ногой.

— Мы должны добраться до Милана или еще дальше, не то полковник нас быстро поймает,— объяснял я.

— А что ты станешь делать в Милане, без денег, без знакомых?..

— Деньги будут, у Катерины возьму, ты об этом не тревожься. Скажи только, пойдешь со мной или нет?..

Он нерешительно пожимал плечами, продолжая приминать каблуками затвердевший снег.

— Кунео, я еще понимаю, или Альба, Турин — говорят, там партизаны... Но Милан, при чем тут Милан?..

— Альба! Турин! — злился я.— Да полковник найдет нас там через два дня! Потом, какая разница, с партизанами или нет? Главное уйти, не то все кончится, а мы здесь так и будем рвать траву для кроликов, расчищать снег, и нами по-прежнему будут командовать женщины...

— Согласен, но только не в Милан...

— Я только так говорю — Милан! Хочешь, поедем в Геную? Мне все равно,— терял я терпение.— Главное, подальше отсюда. Разве эти типы из аптеки, которым ты носишь молоко, свяжут тебя с партизанами? Попробуй-ка, попроси их, увидишь — они тебя на смех подымут...

— Ты чего задаешься? — рассердился Франческо.

— Решай: да или нет! — настаивал я.— Здесь я не останусь. Завтра или через день!

— С места мне не сойти, если такой, как ты, удерет! — вскричал Франческо.— Возьми у полковника пистолет, тогда услышишь, согласен я или не согласен...

На следующий день после рождества я положил записку отцу в салфетку, ни слова не сказал Франческо и сел в поезд на Александрию и Милан, счастливый, взволнованный и преисполненный решимости смести все преграды на своем пути.

Когда проехали Александрию, я выпил полдюжины сырых яиц, предназначенных учительнице, дававшей мне уроки математики, и умял целый хлеб. Потом я уткнулся в угол купе, крепко зажав в кармане кулак с пятьюдесятью лирами, которые я стащил из кошелька Катерины. Я не сомневался, что при нынешней нехватке солдат мне не трудно будет уговорить фашистское начальство зачислить меня в какой-нибудь отряд, несмотря на возраст. Я спокойно мог назваться четырнадцатилетним, даже пятнадцатилетним, ребята в маскировочной форме с автоматами наперевес были не выше и не сильнее меня. Тогда все станет гораздо проще, мне сразу дадут автомат... И я уже видел себя с грозным оружием в руках, ощущал его тяжесть, угадывал скрытую в нем силу. Теперь все пойдет как по маслу — осуществится то, о чем я так долго мечтал, исполнится мое желание. Перед глазами, отгоняя тень последних сомнений, поблескивал ствол автомата с множеством отверстий и с полной обоймой. Жажда приключений проснулась в моей крови, заставляя радостно биться сердце, я уже обдумывал новый побег, на тот случай, если вместо боевой части меня пошлют в какое-нибудь отвратительное шпионское подразделение или на охрану железнодорожных станций... Тогда я вернусь с автоматом и ручными гранатами, Франческо, увидев все это, захочет попытать счастья вместе со мной, и нас обоих сразу примут в партизанский отряд под Турином или под Кунео...

Полковник должен меня понять; я даже дал им спокойно провести рождество, нарочно, чтобы не огорчать, надеясь, что это поможет им примириться с моим поступком.

За окном вечер разверз свою волчью пасть; купе и коридоры были

почти пусты; порой низкие горные облака надвигались на обледеневшие окна, оставляя после себя грязные следы угольной пыли.

Я волновался, но в то же время чувствовал себя довольно уверенно, так как приключение уже началось и мне хотелось сполна им насладиться. Словно призраки, исчезали во мраке маленькие станции. Поезд надолго останавливался в горах, и мне казалось, что он зажат между двумя высокими глухими стенами, которым нет конца. Но снова раздавался пронзительный свисток паровоза, и я видел, как в черных клубах пара сверкают мириады искр.

В Милане я сошел с поезда и сразу окунулся в шумную, черную толпу на перроне под огромным навесом. Миланский вокзал сильно пострадал от бомбежек. Голубые волны тумана клубились вокруг электрических фонарей. У входа в зал ожидания и возле воинского состава несли караул немцы и вооруженные фашисты, расхаживавшие парами вдоль вагонов. Другие солдаты сидели в укрытиях за мешками с песком и курили, подняв выше подбородка воротники шинелей, не обращая никакого внимания на людей, сновавших по перрону и в лабиринтах переходов. Я старался убедить себя, что никому не придет в голову остановить меня и задать какой-нибудь опасный вопрос.

Покинуть территорию вокзала я не отважился и укрылся в переполненном, согретом человеческим теплом зале ожидания, где люди лежали на скамьях, вповалку, плотно прижавшись друг к другу. Каждый старался не терять из виду свои жалкие пожитки, сумки, чемоданы, их клали под голову, под ноги, держали на коленях...

Мимо провезли тележку с черными, похожими на деревяшки бисквитами, но я удержался и не купил ни одного, подавив приступ голода, от которого стыло в желудке. Я сел на пол, прислонил к стене корзинку с бумажным мусором и, опершись о нее спиной, погрузился в волны тяжелого, одуряющего сна, время от времени прерывавшегося мрачными видениями. Так я просидел до утра.

Это был уже не молодой человек, очень высокий, худой, со впалыми щеками, в поношенном пальто.

— Давай,— повторял он, не глядя на меня.— Только вскочишь — и давай... Если кто погонится, тут уж я буду действовать. Ну, давай же, двигайся, нам бы хоть несколько лир заработать.

Стояли мы с ним посреди маленькой площади с тыльной стороны Собора, народу тут почти не было; этот человек, поначалу угостив меня кофе, вот уже в третий раз уговаривал стащить велосипед, оставленный кем-то у ворот дома. Потом я должен был ждать его метрах в пятистах отсюда, на другой площади, которую он мне описал.

Он нервно покусывал губы, не сводя глаз с велосипеда, и взволнованно дышал.

— Не будем же мы здесь целое утро торчать,— жалобно тянул он.— Давай, дело-то пустяковое. Кофе ты выпил, согрелся... Ну, как?

Я слышал шум голосов за спиной, у стойки бара, и не знал, на что решиться. В темном углу двое стариков, не произнося ни слова, с нарочитой и размеренной медлительностью выкладывали на стол карты.

— Это, должно быть, единственный во всем Милане велосипед без замка... Ты ведь ловкий парень, верно?.. Укатишь на нем, и поминай как звали...

Я встретил его в штабе фашистской республиканской гвардии, откуда унтер-офицер направил нас в другую казарму. Там, по его словам, нас могли зачислить на службу. Когда мы вышли из штаба, он сам предложил мне кофе. Еще из окна бара он заметил прислоненный к подъезду велосипед и теперь подталкивал меня за плечи к выходу.

Я вышел на площадь и медленными шагами направился к велоси-

педу, вот он уже совсем рядом... Мужчина следил за мной через грязное окно, я взглянул на него, расхохотался, сделал непристойный жест и что есть духу помчался по улочке. Через несколько минут я уже входил под портики Соборной площади. Сначала я все время оглядывался, боясь, что он меня догонит, потом решил пойти в казарму.

Я описал офицеру этого человека, рассказал о его намерениях. Казарма помещалась у самой черты города на перекрестке двух грязных переулков. Двери и окна были до половины завалены мешками с песком, чей-то голос выкрикивал слова команды. У офицера на столе лежала куча старых пыльных бумаг, но я сразу приметил в шкафу на груде папок автомат.

Офицер сам с собой играл в шахматы и, склонившись над доской, мрачно разглядывал фигуры воображаемого противника. Время от времени его трясло, как в лихорадке, но, взглянув на меня, он еще нашел в себе силы улыбнуться. Потом закашлялся.

— Итак, ты не увел велосипед,— повторял он, осторожно передвигая пешку, которую он сначала приподнял и с мгновение подержал в руке, как бы сомневаясь в правильности хода.— ...Молодец, молодец, нам такие ребята нужны. Тебе, значит, пятнадцать... Ладно, ладно, знаю, куда тебя послать...

Он улыбнулся, прищурив глаза, черная рубашка подчеркивала его бледность, я подумал, что он очень болен и конец его близок, но никак не мог отвести взгляд от блестящего автомата.

— Знаешь, туринец, за все эти дни ты первый ко мне пришел... Лучше всего тебе подойдет Десятая бригада МАС *. Ты слыхал, что такое Десятая МАС? Прекрасные мундиры! Два батальона скоро отправятся на фронт. Все молодые ребята... Им раздолье, а здесь только гниешь... Послушай, подожди за дверью, я тебе сейчас направление напишу... Деньги есть у тебя?

Я сказал, что нет.

— Хм...— разочарованно поморщился он.— Впрочем, через пять или шесть часов будешь в Ла-Специи, а там тебе деньги ни к чему... Подожди за дверью.

Я вышел в коридор, мимо меня прошел, что-то процедив сквозь зубы, солдат — мундир его выглядел довольно потрепанным... Стены тоже казались облезлыми, откуда-то доносилась вонь. Взрыв отчаянной ругани перекрыл все голоса во дворе. Через высоченное окно видна была часть казармы, проломленные крыши под грозным, свинцовым небом.

Через несколько часов я снова был на вокзале, даже дня в Милане не провел. Поезд в Ла-Специю двигался медленно, с трудом пробиваясь сквозь покрытые туманом поля. Я сжимал в кулаке свои пятьдесят лир, радуясь, что истратил всего лишь несколько чентезимо. В переполненном вагоне люди сидели, тесно прижавшись друг к другу, или стояли в коридоре, все хранили угрюмое молчание, стараясь поплотнее укутаться, чтобы спастись от холода. Я уснул и, проснувшись, увидел перед собой мужчину и женщину, они ели холодную курицу. Разложив еду на коленях, они молча, не торопясь, жевали, аккуратно складывая косточки на кусок газеты.

— Хочешь? — сказал мужчина, пододвигая ко мне промасленную бумагу с курицей.— Еще уцелела шейка и крылышко. Давай бери, наворачивай...

Это был крепко сбитый дядя, с большими усами и спокойным взглядом. Женщина тоже улыбнулась и кивнула головой в знак того, что она не возражает.

* МАС — катера-охотники. Десятая бригада МАС — группа карателей, сформированная в 1944 году для подавления партизанского движения фашистским адмиралом Боргезе.

Я тщательно обсосал шейку, а они покуда о чем-то вполголоса переговаривались, под конец женщина вытащила из сумки три яблока и силой заставила меня взять одно.

— А теперь снова будешь спать? Желаю приятных снов...— засмеялся мужчина, увидев, как я стараюсь поудобней устроиться на деревянной скамье, натянув на уши воротник пальто.

Другие пассажиры тоже спали в полумраке вагона, кое-как скрючившись, пристроившись кто как мог на скамейках и в проходе; мерзли колени и ноги, резкий холод пронизывал насквозь, пробирался между лопатками. Кое-кто, сняв ботинки, прятал ноги под пальто сидевшего напротив соседа, перегораживая проход купе. В туннелях поезд покачивало — это помогало уснуть, и проспал я довольно долго.

— Что ты за бумагу показал контролеру? Воинский литер? Куда едешь?

— В Ла-Специю, на службу поступаю...

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, почти пятнадцать.

Мужчина переглянулся с женой и снова задремал. Ла-Специя встретила нас кромешной тьмой и пронзительным холодом, который усиливали резкие порывы ветра... Сквозь сон, в темноте, я даже краешком глаза не взглянул на Геную, вокзал и чьи-то голоса проплыли мимо моего сознания; лишь когда поезд шел по длинной галерее, прорубленной в скале, мне почудилось, что снаружи бьются о скалу темные волны моря.

Мужчина, угощавший меня курицей, поставил на перрон свои узлы и заговорил со мной, понизив голос, словно чего-то опасаясь.

— Пойдем к нам, переночуешь... Это моя жена... Поешь, поспишь, завтра день впереди, успеешь завербоваться...

Женщина спокойно глядела на меня и кивала головой. Я отказался. Смущенно, но без колебаний.

— Пойдем, потолкуем... Я бывший сержант авиации... Послушайка. Ты ведь из дому удрал? И нет тебе четырнадцати. Глаз у меня наметанный...

Ветер свистел под небольшим вокзальным навесом, развевая полы пальто, подталкивая людей к выходу; вдоль полотна пробегали матросы — руки в карманах, голова втянута в плечи. Поезд в клубах дыма медленно отходил от станции.

— Послушай...

— Да оставь ты его! Не видишь — он об этом и слышать не хочет! Поздно, нам пора,— не вытерпела его жена и нагнулась, чтобы поднять вещи.

— На, держи,— сказала она и быстро сунула мне в руку последнее яблоко.

Я видел, как они исчезли в темноте вокзала, сгибаясь под тяжестью багажа. Я снова пристроился в зале ожидания, на этот раз маленьком и холодном, но зато пустом, там я съел яблоко и пошел выпить горячего кофе, а потом бегом вернулся, чтоб никто не занял облюбованной мною скамьи; я улегся на ней, но заснуть уже не мог. Мимо проходили поезда, возникали, а потом исчезали чьи-то голоса и смех — может, это были солдаты, может, железнодорожники. Меня заставил вскочить поднесенный к лицу фонарь, это был патруль, проверявший документы. Матросы ушли, громко стуча каблуками, чтобы согреться.

Утром я вскочил сам не свой, ничего не видя,— так меня измотала эта почти бессонная ночь. Но на улице сильный холодный ветер быстро прогнал сонливость и боль в суставах после ночевки на жесткой скамье. По серому небу неслись рваные облака.

Потом я увидел море — издали оно казалось грязным и пенистым.

но в порту, где близ мола торчали корпуса перевернутых судов, поверхность его была гладкой. Запущенный порт, заваленный ржавеющими машинами, походил на разлагающийся труп гигантского чудовища, зажавшего в лапах краны и крючья.

Казарма была далеко, добрался я до нее совсем без сил, умирая от голода, словно какая-то пружина сжимала желудок все сильней и сильней.

— Какая там к черту проверка зрения! — кричал из глубины зала одетый в мундир врач...— Хватит! Хватит! Все эти ребята здоровы. Живей, поторапливайтесь. Скажи им, пусть оденутся, теперь даже сифилис не имеет значения...

И санитар выставил нас за дверь; последними добрались мы до склада. Нам выдали новехонькие, из хорошего сукна мундиры, брюки клеш. Береты тоже почти совсем новые, их носили, либо надвинув до самых бровей, либо наоборот, почти на затылке. Мы получили узлы, в них — одеяло, белье, котелок, носки, но никаких автоматов или оружия, если не считать короткой саперной лопатки, нам не дали.

Мы снова бегом пересекаем двор. Над нами — мрачное небо, ветер раскачивает агавы, посаженные среди гальки.

Так началась эта жизнь. По утрам — нечто, напоминающее построение, потом пробежка или маршировка по двору. Здесь, в этой казарме, собрали сотню морских пехотинцев, крепких ребят из Векето, Ломбардии, Эмилии; те, что постарше, тоже прибыли сюда всего месяц назад. Злые, не зная, чем заняться, шатались мы по казарменному двору, заглядывали в лавчонку, где продавались всякие припасы, а не то попросту валялись на койках в ожидании часа еды. Здесь не играла труба, не читали перед строем приказы, лишь изредка двор казармы пересекал бородатый лейтенант, направляясь к лавке за покупками. Сержант делил свое время между нами и канцелярией; пожилые женщины в голубых комбинезонах подметали пол, тщетно взывая к нашей совести в ответ на ругань и непристойности, которыми мы осыпали уборщиц, несмотря на их седины. В полдень и вечером каждый устраивал себе трапезу, где ему больше нравилось: на ступеньках или прямо на койке, во дворе или в лавке. Макароны в котелках были бурого цвета и всегда недосоленные, но зато горячие, и давали их сколько хочешь; женщины в комбинезонах наполняли котелки до самого верха, пользуясь случаем в свою очередь поиздеваться над нами.

Ветер со свистом гулял по казарменному двору, как по корабельной палубе, глухо скрипели под его напором ветви агав. Шум моря едва доносился сюда. Время от времени из своей комнаты выскакивал рассвирепевший сержант, хватал трех или четырех матросов, насильно совал им в руки метелки и заставлял подравнивать гальку, которой был усыпан двор. Но через несколько минут метелки уже валялись в углу, а сержант смотрел на матросов безразличным взглядом из окна своей конурки.

Моя койка стояла под окном, и меня будили по утрам яростные порывы ветра и первый луч света, возникавший из серого, промозглого тумана. Справа и слева у стен стояли койки двух ребят, которым уже стукнуло шестнадцать, хотя ростом они были ниже меня. Оба — добровольцы, оба носили на шее медальоны и очень часто писали домой письма. Я у них одалживал бритву, чтобы подровнять виски. Порой они казались веселыми, полными энтузиазма, глаза их горели при одном упоминании о фронте, о Муссолини, о скорой раздаче автоматов, но чаще они молча лежали на койках, скрестив руки под затылком. При этом они всегда умудрялись сохранять хорошее настроение, состояние сытого, животного покоя. Они были довольны собой и считали себя счастливчи-

ками — им и не снилась такая роскошная жизнь на военной службе. Оба походили друг на друга, как братья, хотя Паоло был родом из Удине, а Рива прибыл из Комо.

— Эй, ты, беглец...— окликал меня Рива.— Ты никогда никому не пишешь... Может, тебе здесь не понравилось? Жалеешь, что сбежал?..

Я ни о чем не жалел, но никак не мог избавиться от ощущения крайней растерянности, даже потрясения. Нервное возбуждение не покидало меня и мешало освоиться с окружающей обстановкой, сблизиться с товарищами... Я без особого труда выполнял общие для всех правила и подчинялся режиму, но был как с похмелья, жил без угрызений совести, но и без радости и энтузиазма первых дней. Паоло и Рива говорили со мной о Муссолини, об автоматах, которые наконец отправили со складов, где их всю войну прятали пораженцы... Я молча кивал им, без единой мысли в голове, зная только, что должен молчать, ничему не удивляться и не выдавать себя. Жало подозрения кололо меня, мне стало казаться, что я не сумею найти того, к чему так жадно стремился, о чем мечтал,— словом, не смогу оправдать себя в собственных глазах... Я смотрел на происходящее в казарме словно сквозь дымку тумана. Все события, разговоры, споры, вспышки вражды между ребятами не трогали меня, они текли мимо меня, как вода. Теперь я понимал, что старая казарма в Пьяченце, где каждый уголок в коридоре и каждая дверная ручка блестели чистотой, была раем по сравнению с этим мрачным прямоугольником двора, окруженного грязными каменными стенами, где, изнывая от безделья, развинченной походкой слонялись матросы в ожидании вечерних встреч с дежурившими за воротами проститутками. И все-таки мне казалось, что не все потеряно, что произойдет чудо и все повернется так, как мне того хотелось. Я думал, что в один прекрасный миг во мне или вне меня пробудится некая сила, которая решительно изменит мое ленивое, сонное существование, и для меня начнется новая жизнь, суровая, но полная событий и глубокого смысла.

Но никому до нас не было дела. Офицеров не хватало, а те немногие, что были, держались от нас подальше, поглощенные собственными заботами, которыми они с нами не делились. Все те же сердитые старухи убирали наши спальни и уборные, громко переругиваясь и кидаясь друг на друга с метлами,— доставалось и ребятам, сбегавшимся на их визг. Кое-кто уже дезертировал, прихватив с собой форменную одежду, одеяло и даже матрас. Причины бегства остались неизвестными — то ли разочаровались, то ли струсили, то ли соблазнились даровым добром. Некоторые шумели, говорили, что уйдут в Черную бригаду, то есть в отряд фашистской милиции, оснащенной, по их представлениям, новейшим оружием.

— А ты, беглец, что отмалчиваешься?—спрашивал меня Рива.—Зачем ты здесь? Чтобы жрать макароны по два раза в день?

— Он не фашист, я уже сколько дней подряд тебе твержу... Все молчит, неизвестно, что у него на уме... Не фашист он,— добавлял Паоло, подозрительно вглядываясь в мое лицо.

Но они тотчас же забывали обо мне и переходили к своим обычным разговорам об оружии, о брошенных бухгалтерских курсах, о том, что они будут делать, когда американцев отбросят в Африку...

Я лежал между ними, уставясь в потолок, испещренный пятнами от сырости, не слыша разговоров, споров, смеха, звучавших кругом. Часто я пытался думать о немце, зарытом в саду, связать воедино обрывки мыслей и воспоминаний, как-то заполнить зыбкую пустоту в голове... Но ничто не могло вывести меня из состояния безразличия — даже воспоминания о Франческо, о наших спорах, о матери и полковнике не волновали меня. Все это было где-то по ту сторону занавеса, в другой жизни. А я лежал на койке, равнодушный ко всему, и лишь звуки команды

приводили меня в движение, словно марионетку, которую дергает за ниточку кукольник. Время шло, а к нам не проникали даже отголоски событий, которых мы ждали с таким нетерпением. Может быть, нас специально выдерживали в изоляции, заставляли вариться в собственном соку, чтобы низвести до состояния стадных животных, превратить в серую однородную массу без каких бы то ни было индивидуальных различий, лишь бы было побольше здоровых и послушных рук.

Бородатый лейтенант время от времени просовывал голову в дверь лавки, издавая победный клич «ура», или расхаживал, как павлин, по двору, перебрасывая с ладони на ладонь ручную гранату. Его вслух, не таясь, называли пьяницей, бабником, горе-парашютистом. Завидовали ему только из-за женщин, с которыми ему необыкновенно везло, когда он по вечерам выходил в город.

— Эй, тупица, ты и сегодня весь вечер проваляешься на койке? Пойдем, мы все устроим — тебя вместе с нами пустят в бордель...— приглашал меня Рива, уже готовый к выходу, в то время как Паоло внимательно разглядывал себя в зеркальце, проверяя, правильно ли надвинут на лоб берет.

Но мне не хотелось разгуливать по городу в этом мундире, хотя я и нравился себе в нем, когда тайком рассматривал свое отражение в стекле двери. Мне казалось, что мундир мне шел, но я стыдился показаться в нем за пределами казармы. Я оставался один в пустой и темной спальне и завидовал Паоло и Риве, которые свободно разгуливали по улицам города, громко перебрасываясь замечаниями, а потом весело проводили время в борделях. Я старался представить себе по описаниям эти бордели во всех подробностях, от кружевного женского белья до жестов, красок и запахов...

И все же я не только не выходил из казармы, но даже отказывал себе в удовольствии сняться в мундире, хотя ежедневно во дворе крутился бродячий фотограф с треножником и черным экраном. Он не только запечатлевал на пленке матросов поодиночке и группами, но и занимался скупкой и обменом вещей. Все свои приобретения он прятал в старую корзину, которую таскал с собой.

Ночью, лежа на койке, я со страхом и в то же время с жадностью вспоминал подробности увиденной мною сцены: двадцатилетние матросы у самой казармы набросились на двух проституток. Они раздели их догола и оставили на улице, несмотря на ночной холод; а сами вернулись в казарму с отнятыми у женщин плетеными туфлями, которыми они стали запускать друг в друга, оглашая казарму дикими воплями. Проститутки будто бы отказались повторить какие-то фашистские лозунги, и тогда матросы решили им отомстить. Паоло чуть не бросился на Риву с кулаками, когда они обсуждали это происшествие, так как Рива не пришел от этой истории в особый восторг. Предметы женского туалета долго еще висели над койками, а плетеные туфли наши уборщицы забрали себе.

Автоматы нам должны были выдать еще на прошлой неделе, но оказалось, что нет офицеров. Во всей республике не осталось ни одной свиньи в офицерском мундире... Никто ничего толком не знал, по казарме ходили самые разнообразные слухи. Может, нам раздадут оружие в следующее воскресенье, а в понедельник уже отправят... Не исключено, что в субботу нас пошлют в учебный лагерь в Апеннинах или в Бергамо... Когда нам будут вручать боевое знамя, приедет сам Муссолини. А не приедет — еще лучше, на что нам дуче-сифилитик... Да никакой у него не сифилис, просто язва желудка! Пусть уж лучше Грациани, Грациани — настоящий мужчина, он в Африке сколько абиссинцев перевешал... Сколько ни повесил, все равно мало... Главное, он формирует батальоны и раздает автоматы... Нам бы немного гранат да несколько грузовиков,

и мы вполне можем отправляться на фронт... Тут сгнить можно... Не дождусь, когда пошлют под Анцио*...

Новости сменяли одна другую и бурно обсуждались, любое известие вспыхивало неожиданно и так же быстро гасло подобно огоньку, бегущему по шерстяной нитке,— яркое пламя, а затем пепел и чад. Многие матросы постарше обучались на курсах парашютистов, некоторые как раз должны были совершить свой первый прыжок, а тут — на́ тебе! — Бадольо со своим перемирием... И они с сожалением вспоминали о тех временах, когда без разрешения прикрепляли себе на рукава маленькие раскрашенные парашютики поверх нашивки со львом святого Марка. Всем им уже исполнилось по двадцать лет, они держались в стороне от нас, носили в карманах ножи и железные гири и развлекались тем, что швыряли их об стену, так что отбивалась штукатурка и обнажались красные кирпичи. Стены над койками и двери хранили следы подобных упражнений. По вечерам все двадцатилетние уходили из казармы в город, там они непременно затевали драку в кафе или в борделе и возвращались, торжествующе размахивая трофеями — клочьями женской одежды, матросским беретом или шляпой чернорубашечника. В три часа ночи они всем назло пели гимн Десятой МАС, яростно вопя: «Святой Марк, святой Марк, мы умереть готовы...» Гимн кончался на протяжной, заунывной ноте. Потом наступала тишина, только тоскливо выл ветер, и дождь барабанил по крыше казармы.

Однажды утром во дворе появились два грузовика, за рулем сидели немецкие солдаты, бородатый лейтенант кинулся стаскивать своих воспитанников с коек, выгонять из лавки и из уборных, в результате ему удалось собрать горстку матросов, которых он, ругаясь на чем свет стоит, запихнул в грузовики. Машины, подпрыгивая на неровной дороге, увезли нас в сторону моря. Мы выгрузились посреди пустынного пляжа и получили саперные лопатки. Лейтенант велел нам вырыть окоп, то есть сначала сделать ров в песчаном грунте, а потом построить парапет из камней. Он добавил, что видит в этой работе не только прекрасное упражнение, но что мы сделаем полезное дело, соорудив преграду на случай возможной высадки противника. Поздней немцы позаботятся о том, чтоб установить здесь проволочные заграждения и железобетонные надолбы.

Пляж был зажат между двумя высокими, почти лишенными растительности холмами; каменистая порода выступала сквозь скупую зелень кустарников. Перед нами открывалась стальная полоса моря. Несмотря на серый, мрачный день, угадывалась красота этого ущелья.

Нас разбили на две группы, и мы стали рыть сырой песок короткими саперными лопатками, низко пригнувшись к земле; оба немца, покуривая, расхаживали около грузовиков.

После часа ленивого ковырянья в песке мы вырыли нечто похожее на ров, глубиной примерно в тридцать сантиметров.

— А теперь хватит, пусть эти двое покопают... Мы что, каменщики? Чернорабочие? Что, нас и в Анцио пошлют воевать с одними лопатками в руках? — раздавались недовольные голоса, и лейтенант как будто разделял наше возмущение. Потом мы разбрелись по пляжу в поисках камней, чтобы построить парапет вдоль рва. Найдя камень покрупнее, ребята швыряли его на узкую полоску песка, отделявшую ров от моря.

— У вас там есть камни? — слышались отовсюду веселые голоса.

Многие уселись на песок и закурили, пряча сигареты в ладонях. Кое-кто развлекался тем, что кидал в море плоские гладкие камешки, наблюдая, как они подпрыгивали на воде, прежде чем потонуть.

---

* Анцио — место высадки крупного десанта союзников и затяжных боев с немцами в годы второй мировой войны.

Лейтенант тоже курил, сидя на корточках, и мрачно поглядывал на немецкие грузовики и на двух солдат, которые разгуливали по пляжу.

— По машинам! — вдруг заорал он и пронзительно засвистел в свисток. Оба немца знаками показывали, что уезжать нельзя, что работа еще не закончена, что нужно еще закончить парапет.— Нет камней! Разве вы не видите, что нет камней! — лейтенант подбежал к ним.— Садитесь за руль! — Немцы отказались сесть в грузовики.— Я вас тут прикончу! — вопил лейтенант, размахивая крохотной ручной гранатой.— Мы вам не носильщики, мы хотим воевать... Я вас обоих пристрелю и в море побросаю, если вы не поведете машины...

Мы все сбились в кучку и угрожающе зашумели; вперед выскочил двадцатилетний матрос с ножом в дрожащей руке. Но оба немца уже поспешно забирались в кабины; через полчаса отчаянной гонки мы были в казарме.

Весь день прошел в обсуждении случившегося, одни защищали немцев, говорили, что теперь они нам не будут доверять, другие считали, что пора перестать церемониться с этими так называемыми союзниками, которые все время норовят наступить нам на горло.

Паоло и Рива тоже повздорили по этому поводу; напряжение спало, только когда речь снова зашла об автоматах и нам сообщили, что они вот-вот прибудут. Вечером лейтенант не показался в казарменной лавке, и все дружно решили, что он отправился в какой-нибудь бордель в Ла-Специи, чтоб утешиться и позабыть о пережитом страхе.

— А вы разве не видели, как у него ноги дрожали? Вот смеху-то — перед какими-то двумя немцами. Нам бы только автоматы, мы бы показали этим партизанам...

— Каким партизанам?

— Ты что, болван, не знаешь, кто такие партизаны? Бандиты, коммунисты, которых подкупил Бадольо... Будут у нас автоматы, мы с ними сами управимся, а немцы пусть на фронте управляются... Мы войска особого назначения...

— Но Муссолини говорил, что мы под Анцио...

— Какое там Анцио! Война против партизан, вот что нас ждет... Значит, ты даже не знаешь, зачем автоматы нужны...

Лишь поздно ночью новому офицеру с пистолетом без кобуры за поясом удалось выгнать нас из лавки. Этот младший лейтенант с хмурым, настороженным взглядом не отнимал руки от пистолета, словно все время ждал случая выстрелить. Мы нехотя расходились, медленно поднимаясь по лестнице, ведущей во двор. Там, в темноте, споры вновь возобновились и продолжались до тех пор, пока не появился младший лейтенант и не приказал возвращаться в бараки.

Снова пошли дожди. Нашего бородатого лейтенанта мы видели лишь издали — может быть, он ожидал нового назначения, может, его перевели в канцелярию.

По-прежнему автоматы были излюбленной темой наших разговоров. Мы могли часами обсуждать их свойства — достоинства и недостатки, многие утверждали, что автоматной очередью можно уложить противника лишь с расстояния не более двадцати метров, вот почему это оружие пригодно лишь в условиях партизанской войны. Те, которым посчастливилось держать автомат в руках, когда они занимались на курсах парашютистов, с наслаждением описывали нам его, стараясь не упустить ни малейшей детали. Они с необыкновенной ловкостью стреляли из воображаемого автомата, слегка согнув ноги в коленях, медленно и со знанием дела поводя дулом. На наши вопросы они не отвечали, считая, что такие молокососы недостойны их внимания.

Однажды ночью в барак с криком ворвался младший лейтенант, в руке он держал электрический фонарик. Он заставил нас быстро вско-

чить с коек, одеться, взять саперные лопатки и построиться. Нужно было взобраться на холм, где якобы партизаны напали на наш пост и подожгли дом... Мы разделились на три группы по двадцать человек и на грузовиках помчались по темному городу к холмам. Здесь мы сошли с машин и с трех сторон начали штурм темной громады. Карабкаясь по крутой тропе, усеянной острыми камнями, мы слышали лишь собственное дыхание; небо было без звезд, кругом росли редкие деревья, и нам казалось, что мы двигаемся в нескончаемой пустоте. В руках у нас были лишь саперные лопатки, и каждый едва различал впереди спину товарища. Первая группа, во главе которой шел вооруженный автоматом младший лейтенант, добралась до атакованного неприятелем поста; две остальные, проблуждав два часа, вернулись в город.

Рива шел следом за мной; должно быть, младший лейтенант захватил Паоло с собой. Тяжело дыша, мы продвигались в сплошном мраке; огни города в теплой дымке тумана исчезли из виду после нескольких поворотов тропы. Резкий запах травы дурманил голову, под ногами скользили камни.

— С ума они посходили!.. Вокруг партизаны, а мы гоняемся за ними с лопатками. Думаем надавать по заду, что ли,— бормотал Рива.

— Молчать,— прикрикнул тоненьким злым голосом запыхавшийся сержант, шедший впереди цепочки.

— А командует сержант, который давно в штаны наложил...— добавил кто-то за спиной у Ривы.

Иногда тень впереди идущего отклонялась в сторону, и я догадывался, что кто-то поскользнулся на камне или раздвигал ветви дерева. Сам я выставил руки вперед, и озябшие пальцы два или три раза касались древесной коры словно необработанной чугунной болванки. По левую сторону тропы росли редкие деревья, справа возвышалась почти отвесная скала, поросшая колючим кустарником и мхом, спуск был довольно ровный.

— Стой! — тяжело отдуваясь, скомандовал сержант, и мы сгрудились у поворота, где тропа казалась шире.— Хватит... Если мы в своем уме, нужно остаться здесь. Не пойду я вперед с одними лопатками... Согласны? Ну, говорите же, согласны?..

Мы сбились в кучу вокруг сержанта и сказали, что согласны.

— Пусть только кто попробует закурить, пошлю вперед одного...— пытался он пригрозить.— Садитесь, можете немного поспать... только, чтоб тихо было... Скоро назад вернемся...

Мы молча уселись у самого поворота, плечом к плечу, прислонившись спиной к скале. Стояла густая, беспросветная тьма, ночное небо сливалось с черной массой холма, лишь изредка тишину нарушал резкий крик птицы, замиравший где-то вдали. Мы старались не шуметь, переговариваясь едва слышным шепотом; вдруг раздался громкий сухой кашель сержанта, вызвавший у нас оживление, смех и шиканье. Заснуть было невозможно, острые выступы в скале резали спину, от земли тянуло сыростью.

— Сумасшедшая затея...— не мог успокоиться сержант.

— А мы еще собираемся воевать в Африке! Да я дам укусить себя за ухо, если мне кто-нибудь все это объяснит...— шептал Рива, сидя подле меня.— Автоматов нам не видать, можешь не сомневаться, офицеров нет и в помине.

— Может, вернемся назад? — раздавались приглушенные голоса.

— Молчать! — прохрипел сержант.

Ночь была почти безветренной, но холод пробирал до костей. Сон прошел, и мы долго сидели, считая про себя, сколько раз прокричат птицы. То и дело у кого-нибудь из рук выскальзывала лопатка и раздавался стук металла о камень.

— Тихо сидеть, сукины дети...— тотчас же взрывался сержант.

— Только одна надежда, что партизаны такие же никчемные разгильдяи, как мы...— пробормотал Рива.

— Завтра сбегу и поступлю в Черную бригаду,— грозился кто-то рядом с нами.— Те хоть себе в удовольствиях не отказывают. Веселятся, дай бог... Мне вот говорили..

— Эй, сержант, тут пес появился,— громко сказал кто-то.

По цепочке, к другому краю площадки передали похожего на волка пса с длинной отсыревшей шерстью.

— Возьмем его с собой в казарму...

— Да он кастрированный...

— Молчать! — простонал сержант.

Пес, обрадованный встречей с людьми, обнюхивал нас, терся о ноги, вздрагивая от каждого прикосновения всем своим отощавшим телом..

— Пусть только залает...— процедил сквозь зубы сержант.

— Ты мне надоел, сержант,— чья-то тень поднялась и взмахнула лопаткой.— Я вот его сейчас прикончу, тогда не залает...

В темноте началась свалка, каждый хотел пробиться поближе и хоть раз стукнуть лопаткой по неподвижному телу собаки, свалившейся после первого же удара. Мы молча, тяжело дыша, отталкивали друг друга впотьмах, и тщетны были попытки сержанта урезонить нас.

— Хватит, не то стрелять буду. Говорю вам, стрелять буду...— Но он не осмелился выйти из своего укрытия на краю площадки, в голосе его уже не слышно было прежней уверенности, и в конце концов он совсем умолк.

— Сам себе в рот стреляй... Давно пора, сукин сын!.. Ну, стреляй! Да ты хоть покажись...

Потом все неохотно разошлись по местам, мы не разговаривали, только кто-то еще упорно наносил удары по бездыханному телу.

— Собирайтесь, возвращаемся...— буркнул сержант и быстро зашагал вниз по тропе.

Ему вдогонку неслись смех и ругань; мы в беспорядке начали спуск, потрясенные и подавленные происшедшим. Позади нас запели неестественно громкими голосами.

В казарму мы возвращались толпой, потеряв из виду сержанта, который пошел более короткой дорогой. Группа, которой командовал младший лейтенант, была уже на месте; матросы лежали на койках; оказалось, что и они партизан не видели. Третья группа прибыла через час, отчаянно ругаясь, потому что их заставили дожидаться на другом конце города грузовика, который так и не пришел. Тяжелые ботинки и саперные лопатки со стуком падали на пол возле коек, сопровождаемые сонной руганью разбуженных.

На следующий день я твердым голосом сказал Риве:

— Ну, сегодня пойду в бордель.

— Пойдем с нами, молокосос, мы тебя научим! — тотчас же предложил он.

Полдня пролежал я на койке, мечтая о любовных утехах, ждавших меня вечером, но когда проходил по неприютным портовым улочкам, почувствовал, что на меня навалилась тяжелая тоска последних мучительных дней и что бурное веселье Паоло и Ривы не способно разогнать ее.

— Ну, давай, пей...— поощрял меня Рива у стойки бара, где в клубах табачного дыма двигались чьи-то тени.

— Да брось ты его,— посоветовал Паоло.— Имей в виду, свалится— ты его на себе тащить будешь.

— Пей...— настаивал Рива, который все равно уже заплатил за бутылку.— Давай, как в «Иностранном легионе» — пиво и ром, а потом мы с тобой покажем бабам, на что способны...

Я с трудом стоял на ногах, но казалось, еще немного—и мне удастся избавиться от гнетущей тяжести на сердце и окунуться в волны неописуемого блаженства, которое ждет меня где-то совсем рядом.

Перед тем как зайти в бар, я купил нож с выскакивающим лезвием, он лежал у меня в кармане, и с ним я чувствовал себя гораздо увереннее. Мы вышли на улицу, ледяной ветер дул нам в лицо. Пройдя несколько шагов, мы быстро свернули в подъезд какого-то дома. Из-за входных дверей доносились голоса. Должно быть, там, за стенами, выложенными белыми кирпичиками, было тепло и уютно.

Паоло важничал:

— Да провалиться мне, если его туда впустят.

Дверь открылась: на меня пахнуло духами, я едва успел разглядеть лестницу, чьи-то спины и головы и на дальней площадке несколько девушек в черных и желтых шалях, накинутых на обнаженные плечи; сквозь густой табачный дым белели их голые толстые икры.

— Нет, этому нельзя.— ткнула в меня пальцем сидевшая у входа старуха.

— Эй, бабушка...— Рива сделал попытку отделаться шуткой. Но сторожиха кого-то громко позвала, и тотчас же у освещенного входа возникла фигура фашиста в мундире с двумя поблескивающими черепами на воротнике рубашки.

— Проваливайте! — грубо сказал он.

— Но нас всегда пускали! — начал было протестовать Паоло.— Это он еще не дорос, а мы тут при чем?..

Мужчина захлопнул дверь у нас перед носом и встал прямо передо мной, засунув руки в карманы. Он был чуть выше меня. На нем тоже были черные брюки; оружия, на первый взгляд, у него не было.

— Тронь только — прикончу на месте,— крикнул я хрипло.

— Уведите его,— сказал он холодно, даже не глядя на меня.

— Теперь сам выкручивайся, это ты виноват! — прошипел Паоло, спрятавшись в угол между стеной и дверью.

— Ну, чтоб духу вашего не было...— добавил мужчина.— Не то кликну пару дружков, и от вас мокрого места не останется...

Я чувствовал, как Рива волочит меня по переулку, холодный воздух толчками входил в легкие. Паоло не пошел вместе с нами, и Рива отчаянно ругался и бешено колотил в стену тяжелыми ботинками.

Мне удалось вытащить нож, я подбрасывал его на ладони, но ощущение силы пропало.

— Дурак! Брось! Там целая куча отчаянных ребят! — толкнул меня Рива в плечо.— Этот из Черной бригады. Они там как у себя дома. Перекреститься не успеешь, как они из тебя кишки выпустят и бросят где-нибудь посреди пляжа...

— Да тронь он меня, я бы его... Ты что думаешь — одного я уже прикончил... Если тебе рассказать...— всхлипывал я.

— Да, конечно, родную тетку доконал...— Он снова схватил меня за руку, протащил еще несколько шагов и опять прислонил к стенке.— Сунь два пальца в рот, тогда тебя вырвет,— торопливо сказал он.— Слушай, туринец, я вернусь назад... Что мне тут с тобой делать! У тебя все равно ничего не получится, завтра после обеда я снова попробую тебя провести: этих ребят в то время там не бывает... Значит, сунешь два пальца в рот, потом вернешься в казарму... Прощай...

Я пошел по переулку куда глаза глядят, жадно глотая открытым ртом воздух, потом добрался до тумбы посреди улицы и уселся на нее, чтоб хоть немного прийти в себя. Я выбрал пятно на стене дома напротив и старался сосредоточить на нем все свое внимание, мне казалось, что от этого легче дышать. Это пятно было единственной точкой опоры среди волн тумана, которые кружили мне голову и пытались сбросить

куда-то в тартарары. Я немного отдышался и почувствовал себя несколько крепче. Ветер утих, издалека доносился чей-то смех и крики. Я поднялся и побрел дальше и скоро выбрался на широкие, в развалинах, улицы городского центра.

Паровозный гудок заставил меня вздрогнуть, и я узнал вокзал. Внезапно все показалось мне очень простым. Без единой мысли в голове, собрав последние остатки сил, чтоб побороть страх перед огромным чужим миром вокруг меня, я пересек садик и очутился на перроне, где обнаружил почтовый поезд, следующий по маршруту Савана, Чева, Турин.

Я лежал на вагонной полке одинокий, погребенный на самом дне ночи, измученный коротким, прерывистым сном, после которого еще мучительней становились и холод и усталость. Когда через несколько часов я сошел на нашей деревенской станции, свет зимнего утра пробивался сквозь туман, маленькая привокзальная площадь казалась пустой, газетный киоск был заколочен, в сером свете дня чернели голые стволы тополей в деревенском саду с дочиста обрубленными ветками.

Чтобы добраться до нашей усадьбы, я прошел всю деревню, выбирая улочки попустыннее, пересек поле, перелез через изгородь. Очутившись в нашем дворе, я сел на скамейку передохнуть. Скоро, как всегда, появится Катерина, загремит дверьми и ставнями на первом этаже. Во дворе, в загородке, кролики выбивали передними лапками барабанную дробь. Окна крестьянского дома еще заперты, даже Франческо зимой может поспать попозже. Долину застилала простыня тумана, редкие неровные языки снега тянулись по хребтам холмов.

Несмотря на резкий холод, я вспотел, меня, как в лихорадке, била дрожь, и при малейшем движении — стоило мне поднять веки — сразу же начиналась острая боль в животе. Я снял куртку и с удивлением стал рассматривать львов святого Марка и две желто-красные нашивки на воротнике, как будто видел все это впервые. Собачья будка была пуста, должно быть, псу удалось устроиться на ночь в теплом хлеву.

Я поднял валявшуюся на земле лопату и поставил ее рядом с другим инструментом. Потом направился в сад и дошел до места в глубине аллеи, густо поросшего крапивой.

Теперь я снова здесь и мне не кажется невероятным и странным мой приезд сюда, я не задумываюсь о возможных его последствиях, меня не удивляют легкость и удача, сопутствовавшие моему возвращению. В сердце у меня пустота и холод, в голове же по контрасту полный хаос, усиленный винными парами,— нет ни единой трезвой мысли, за которую можно было бы ухватиться.

Стоя у холмика, заросшего крапивой, грязный и усталый после путешествия, я вдруг подумал о человеке, зарытом здесь, погибшем столь бессмысленно, и мне стало страшно. Дом на другом конце аллеи по-прежнему безмолвен и неприветлив. Я направился к нему, то и дело оглядываясь, точно ожидая нападения сзади. Никто не вышел мне навстречу. Страх не давал мне стоять на месте. Я ходил вокруг дома, смотрел на закрытые ставни и прислушивался к знакомым домашним шорохам, в надежде найти в них избавление от владевшего мною ужаса. Потом я залез под каменный стол во дворе, подложил под голову куртку и свернулся клубочком. Мне хотелось стать как можно меньше, уткнуться во что-нибудь мягкое, забраться в теплую нору, укрыться в уютной, дружеской темноте... Я пытался придумать те несколько слов, которые должен был сказать полковнику и матери. Конечно, хватит всего нескольких слов... Мне было больно; я понимал, что не сумею сказать им всего, и оба они не смогут мне объяснить, хотя бы из жалости и сострадания, что же произошло со мной...

На кухне со скрипом раздвинулись ставни.

(Окончание следует)

ЛЕОПОЛЬД ЛЕВИН

Стихи о Вьетнаме

Авторизованный перевод с польского
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

Вьетнамке

О, маленькая девичья рука!
Ей тяжесть амуниции легка,
Она любую сотворит работу
И очень метко бьет по самолету...
Вьетнама дочь с винтовкою и в каске,
Ты создана для нежности, для ласки,
Для расставаний при луне, для встреч...
Да только не о том сегодня речь.

Какая в этих смуглых ручках сила,
Как выточены пальчики красиво,
Умеющие нажимать курок,
Рожденные, чтобы держать цветок,
Играться с черепаховой гребенкой,
Писать письмо и пеленать ребенка!

Я верю —
Впереди весна твоя,
С возвышенной руладой соловья,
С рукой, протянутой любви навстречу,
С букетом лилий, собранных под вечер.
О девушка,
Ты на Вьетнам похожа —
Румянец теплится под смуглой кожей,
И губы заалели, как гранат,
Но строго тайну мужества хранят.

И все-таки я слышал, как ты пела,
Я видел, как танцуешь ты умело,
Как радость даришь ты улыбкой тонкой.
О дочь Вьетнама,
Девушка с винтовкой!

Тревога в Ханое

Варшавский сентябрь,
Наш разбитый порог,
Забылся...
А все еще больно.

В Ханое услышал я голос тревог —
Сирены опять
Начинают кричать,
И старые раны заныли опять,
И вздрогнула память невольно.

Несется... Пикирует...
Взвизги турбин...
Распуганы ласточки,
Коршун трубит
Над улицей этой лучистой.
Как обморок — зной.
Побледневший Ханой
Застыл в ожидании свиста.

...Прошло четверть века —
Варшавою вновь
Мне видится
Этот военный Ханой.
Я вновь нагибаюсь
Средь рваных камней,
Руины болят,
Как доныне во мне
Священные камни Варшавы болят,
И снится развалин грохочущий ад.

И старые тени
Друзей боевых
Проходят опять
По краям мостовых,
Чтоб, встретившись снова
С войною,
Вторично погибнуть в Ханое.

ФЭН ЮНЬ

МОСТ ШИРИНОЙ В БРЕВНО

РАССКАЗ

Перевод с китайского
АГЕЯ ГАТОВА

вгуст в Хэтао. Было время, поэты слагали песни об этом мирном Ордосском крае у северо-западной излучины Хуанхэ. Выше крестьянских фанз, выше деревьев поднимались скирды золотистой пшеницы, колосился рис, источая на тысячи ли благоухание; на пастбищах в пойме Уцзяхэ паслись тучные стада коров и овец; рыбачьи лодки возвращались по Улян-Сухаю с богатым уловом карпа. Как тут было не радоваться!

Рекой лилось в августе изобилие по этой земле. А сегодня — ни улыбки возле скирд, ни радостного смеха на рисовых полях, ни песни пастуха, погоняющего стадо. Да и откуда ей быть здесь, песне, если ты слышишь с реки лишь протяжный стон.

Задержись, друг, и останови свой взор на дороге, по которой идти мне еще целых сорок ли, от железнодорожной станции до деревни Дунфанхун*. Видишь, вон в клубах пыли тянутся запряженные коровами телеги. Один обоз, другой. На станции мешки с пшеницей перегрузят в товарные вагоны, а возчикам дадут взамен по одному мешку гаоляновой муки с рисовой мякиной пополам, из которой они будут печь потом пресные лепешки. А вот идет пожилая женщина. В руках у нее корзинка с яйцами, через плечо перекинуты связанные петух и кролик. Она спешит в город, чтобы успеть продать свой нехитрый товар на рынке, сдать в кооперацию собранные за полгода талоны и на вырученные деньги купить пять чи** грубой материи — их хватит ей лишь на то, чтобы залатать износившуюся одежду и подновить к зиме стеганую подкладку. Тащится по дороге старик с длинными редкими усами: он несет на спине умирающего мальчика — двух юаней, которые ему выдали в производственной бригаде на лечение, оказалось мало, очень мало, чтобы сделать мальчику в городской больнице укол пенициллина. По краям дороги в полях, где урожай уже снят, люди заняты пахотой. Сохи тянут юноши и девушки. Когда жажда и чувство голода дают о себе знать, а от усталости уже невмоготу передвигать ноги, они подвергаются наказанию, «культурному» наказанию: их заставляют хором читать вслух наиновейшее «священное писание». Этот молитвенник, говорят, обладает чудодейственной силой: стоит в него вчитаться, как силы тут же возрастают, и можно снова впрягаться в соху. Видимо, это правда, потому

* Дунфан хун — алеет восток («Алеет Восток» — название самой распространенной сейчас в Китае «культовой» песни, заменившей государственный гимн).

** Чи — мера длины, равная 33 сантиметрам.

что куда легче опять тянуть лямку, чем подвергать себя «культурному» наказанию... Попадаются по пути и люди в строгой униформе и непременно на велосипедах. Это — верхушка общества. Они обмениваются на ходу приветствиями, перебрасываются деловыми репликами. «Ну, как у вас? Справились с четырьмя чистками?» — спросит такой, не останавливаясь, и встречный, тоже не без гордости, бросит вдогонку: «Троих, стоящих у власти, уже выловил! Борьба идет вовсю, больше сорока митингов провели!..»

Я хочу рассказать тебе, друг, о судьбе одной девушки, с которой познакомился на этой дороге.

Она шла одна, сгибаясь под тяжестью неуклюжего рюкзака. Обе ее руки были заняты, в одной она несла небольшой узелок с вещами, в другой — связку книг. Худенькое тело девушки плотно облегала выцветшая униформа, две черные толстые косы, переброшенные за спину, покоились на рюкзаке. Серое лицо правильной овальной формы вмещало в себя огромные, почти потухшие глаза, глядевшие из-под загнутых, как лепестки, ресниц печально и мрачно.

Мы пошли рядом, и я взял часть ее ноши на себя. Слово за слово, и скоро я уже знал, что ее зовут Лю Сю-мэй, что ей девятнадцать лет и что месяц тому назад она окончила в уездной средней школе полный гимназический курс, но осталась в городе, так как хотела повторить пройденное и подготовиться к вступительным экзаменам в институт. На ее беду, в самый канун экзаменов ей и еще тринадцати из подавших заявления объявили, что к экзаменам они допущены не будут,— просто так, без всякой причины — и велели немедленно возвращаться домой, заняться производственным трудом. Вот она и идет к себе в Дунфанхун — это всего в десяти ли от той деревни, где мне предстояло собрать материал для очерка.

— Да,— задумчиво проговорил я, глядя на ее опечаленное лицо.— Трудно примириться с тем, что тебя лишают возможности продолжать учение, особенно, если ты уже настроилась.

— Что вы! — воскликнула она, уловив в моем голосе сочувствие.— Мне за отца больно. Знаете, как он будет страдать? Ему ведь уже за пятьдесят, а я у него единственная. Мама, умирая, наказывала ему непременно сделать из меня человека. Больше десяти лет он из кожи лез, на еде экономил, во всем себе отказывал, мне отсылал, только бы я училась. Какая это будет радость, говорил отец, если я окончу институт, его ничто не сломит... Увы! Я даже представить себе не могу, что теперь будет. Ведь из-за этого я чуть было не отправилась вслед за Цун Ли! — Она запрокинула голову и грустно улыбнулась.— Правда-правда, чуть было не пошла за ней, но вовремя одумалась. Поняла, что веду себя совсем как ребенок, даже пожалела, зачем написала отцу.

Я мало что понял из ее последних слов, но сказанное почему-то навело на мысль об одном происшествии, и, чтобы утвердиться в своей догадке, я спросил:

— Цун Ли? Я не ослышался? Куда же она пошла?

Девушка опустила голову. Потом она достала носовой платок и утерла выступившие на глазах слезы. Прошло много времени, прежде чем она заговорила снова.

— Она... она бросилась в реку...

Мне сразу стало холодно, так холодно, что сердце сжалось. Я все вспомнил. И берег Хуанхэ, и толпу людей у самой воды, и труп девушки с раскиданными косами и вздувшимся животом... Страшная картина во всех подробностях встала перед моими глазами. Это произошло лишь несколько дней назад на окраине города, где я оказался совершенно

случайно. Возле трупа стояли уполномоченные от городских властей и объясняли собравшимся, что произошло: утопленница воспротивилась указанию председателя Мао об отправке грамотной молодежи на село и даже заявила, что скорее умрет, чем вернется в деревню, раз она не удовлетворяет каким-то требованиям и ее не допускают к экзаменам. В школе по этому поводу был митинг, с девушкой вели борьбу, но она не смирилась и сама довела себя до гибели.

Солнце село. На рисовых полях старики и дети, ворошившие солому, строились в отряды и отправлялись по домам, громко читая нараспев изречения самого красного из красных, самого красного-красного солнца; юноши и девушки, оставив сохи, разбирали деревянные ружья и ползком, перебежками, рывком шли в атаку на свою деревню. Сю-мэй опустила рюкзак. Нагнувшись к ручью, она ополоснула вспотевшее лицо, присела у края поля, причесалась и стала задумчиво смотреть на изумрудно-зеленые и уже пожелтевшие поля. Протянув руку, она сорвала и поднесла к лицу колосок, вдыхая его аромат.

— А хорошо дома! Люди родные и земля родная.

— Что говорить! Ничего нет на свете лучше своей деревни, где ты всех знаешь и где все знают тебя.

Видимо, мои слова отвечали ее мыслям.

— Вот я и думаю,— сказала она,— ну, не нашлось в институте для меня места, что с того! Зато в деревне будет целый сад, и расцветет он, как никогда еще не цвел.

Она перевела взгляд в сторону темневшего на западе леса за деревней. Вечерняя заря окрасила ее лицо, и оно, казавшееся до этого каким-то поблекшим, ожило, разрумянилось. Все еще сидя в траве, она потянулась всем телом, словно хотела размяться.

— Ты сегодня, наверно, очень устала, отдохнуть бы надо. Но дома тебя, конечно, встретят. То-то будет радости...

Она сразу встала.

— Мой отец — секретарь парторганизации производственной бригады и вечно занят, ему не до меня. А Лай-шэн, он совсем один, к тому же ополченец, командир роты; то к нему с общественными делами, то с личными, тоже весь день в хлопотах. Вряд ли он встретит.

— Кем же он приходится тебе, Лай-шэн? — осторожно спросил я, догадываясь, о чем она думает.

Ее лицо зарделось, она опустила голову и сказала с незаметной улыбкой:

— Однокашник мой. Мы с ним в одном классе учились, еще в начальной школе.

— Однокашник? А сказала так, будто он из вашей семьи.

Она провела ладонью по лицу и рассмеялась, и столько невысказанного чувства было в этом смехе, что я смутился.

— Ладно уж, не сердись на меня. Конечно, ты права, твой сад здесь, в деревне, и расцветет он для тебя. Вернешься домой, поженитесь, и будет у тебя своя семья, крепкая, счастливая...

Ее смеющиеся глаза смотрели теперь на меня, полные радости. Потом она перевела взгляд снова на лес и долго смотрела на него, думая о чем-то своем.

Взошла луна, и мы пошли дальше по высокому берегу канала. В лунном свете была хорошо видна Дунфанхун, которую лес словно обнимал с трех концов. Одним своим концом деревня упиралась в северный берег канала, а на южном берегу стояла одинокая фанза, дом второй тетушки Ван — жены младшего брата отца, сказала Сю-мэй. В деревне было восемьдесят или девяносто дворов, но ни одно окно не светилось, и лишь со стороны большого, обнесенного высокой оградой двора доносились громкие крики. Сю-мэй объяснила, что это двор производст-

венной бригады и что там, наверно, идет какое-то собрание. Мы зашагали дальше, и вскоре тропинка вывела нас к узкому мостику, вернее, к двум связанным бревнам, соединившим оба берега канала.

— Это из семьи тетушки Ван кто-то догадался,— сказала Сю-мэй.— Чтобы удобней было ходить в деревню, а не таскаться кружным путем через мост. Далеко до него отсюда.

Я осмотрелся. До противоположного берега в этом месте было не больше десяти метров. Оба бревна сходились своими концами на столбе, торчавшем из воды посредине канала и служившем для них опорой. Столб был выше берегов, поэтому мостик горбился, образуя как бы тупой угол. Мутная вода в канале бурлила, пенилась, и Сю-мэй предупредила меня, что здесь довольно глубоко, пожалуй, больше двух метров, Откровенно говоря, я немного струсил, поэтому, чтобы подбодрить самого себя, сказал громко:

— Ничего, пройду!

Сю-мэй пошла первой. Она двигалась по бревну, легко переступая ногами, но когда дошла до середины, вдруг поскользнулась и чуть было не полетела вниз. «Ах!» — замер я в испуге, но тут же увидел, что она преспокойно сидит на бревне верхом и смеется, повернувшись ко мне лицом.

— Пустяки, все в порядке.

С этими словами она смело пошла дальше, меня же всего прошиб пот. Не знаю, как бы я справился без ее помощи.

Когда мы были уже на другом берегу, она стала упрашивать меня остановиться у ее отца; я поблагодарил за приглашение, но отказался, обещав непременно заглянуть к ним на обратном пути.

Она не настаивала и проводила меня до дороги за деревней. Прощаясь, я крепко пожал ей руку, от всей души пожелав счастья.

— Что еще сказать тебе, Сю-мэй? Пусть скорее зажгутся в твоем доме свадебные свечи.

Ее худенькие руки потонули в моих ладонях.

— Спасибо,— просто сказала она.— Я верю, что ваши добрые слова сбудутся, вот увидите.

И она действительно не сомневалась в этом, уверенность чувствовалась в самом тоне ее ответа.

— Что ж,— сказал я,— тогда ждите меня на обратном пути и готовьте сладости.

Она снова громко рассмеялась, и еще долго на дороге слышался ее заливистый смех. Потом она запела. Я уже прошел метров двести или триста, а ее голос, нежный и проникновенный, все еще звучал в моих ушах:

Родные поля, как светло мне,
когда вас вижу!
Ах, родная деревня,
Сердце с вами, родные, всегда...

Спустя несколько дней, собрав нужный материал для очерка, я заглянул на обратном пути в Дунфанхун. И тут узнал, как встретила мою новую знакомую родная деревня.

Когда Сю-мэй, простившись со мной, подошла к своему дому, двери оказались заперты, и она поняла, что отец еще на собрании. Ждала она недолго. Вскоре со стороны двора производственной бригады послышался шум, крики — народ расходился по домам, и через несколько минут подошел, прихрамывая, отец. За ним на близком расстоянии шли еще двое — уполномоченный рабочей группы по проведению «четырех чисток» и ополченец с ружьем наперевес.

— Папа, вот и я! — радостно воскликнула Сю-мэй, увидев отца. Но тот даже не поздоровался с ней, дошел до середины двора и остановился.

Обескураженная, Сю-мэй решила, что отец, наверное, все еще злится на нее, поэтому и молчит.

— Я вернулась, папа, так будет лучше для нас, для дома,— стала она его утешать.— А учиться я смогу и здесь, заочно, у меня программа института с собой.— С этими словами она подбежала к отцу, но когда увидела его вблизи, охнула: — Ой, что с вами, отец? Вы?..

Отец поспешно отступил на два шага, он как будто в самом деле не хотел ее видеть. Пересиливая волнение, Сю-мэй заставила себя снова взглянуть на отца, на этот раз более внимательно. Ее ужаснул его вид: волосы на голове были всклокочены, лицо иссиня-черное, из носа и рта шла кровь, каплями стекая на грудь, рубаха скорее походила на лохмотья, еле прикрывающие голое тело, штаны изорваны, одна нога босая, на другой болталась подвязанная веревкой матерчатая туфля... То, что увидела Сю-мэй, заставило ее вдруг вспомнить недавний митинг в городе, на котором вели борьбу с секретарем уездного партийного комитета, начальником уезда, директором завода, управляющим делами и всеми заведующими городских отделов,— их вывели на показ толпе в таком же виде. Глаза Сю-мэй наполнились слезами.

— Папа, неужели и вы?!. Нет, нет, этого не может быть! Что с вами, папа?

И она с криком бросилась к отцу.

— Остановись, Мэй-мэй, слышишь? И никогда больше не называй меня па...— Он оборвал себя на полуслове, что-то сдавило ему горло — может быть, детское имя дочери, которое он вспомнил,— и, проглотив слюну, он оттолкнул ее от себя и отвернулся.

Недосказанная отцом фраза и этот грубый толчок будто ножом кольнули Сю-мэй.

— Нет, нет, не говорите так, отец! — закричала она в отчаянье и бросилась к нему на грудь.

От этого крика его всего передернуло. Увидев ее побелевшие губы, он часто-часто задышал. Прямо ему в лицо смотрели большие испуганные, залитые слезами глаза дочери, от которых он не мог укрыться. Тысячу, десять тысяч слов он мог бы сказать ей сейчас и объяснить, почему гонит прочь, но разве выскажешь все вот так, сразу! Молча он стал с остервенением вытирать рукавом капавшую из носа кровь. Сю-мэй почувствовала, что отец дрожит всем телом и не в силах унять эту дрожь.

— Уходи! — выдавил он наконец из себя и обеими руками оттолкнул дочь. Сю-мэй отпрянула назад, упала, но тут же поднялась и с гневом взглянула на отца. Тот нащупал в кармане ключ, сорвал его с цепочки и со злостью швырнул ей.— Бери! И немедленно уходи, слышишь? Твой дом у второй тетки.

Сю-мэй подобрала брошенный ключ и стремительно выпрямилась. Прерывисто дыша, она крикнула:

— Как я должна понимать ваши слова?

Отец даже не посмотрел в ее сторону. Он повернулся и молча, с трудом передвигая ноги, заковылял домой. Резко хлопнула дверь. Окна глядели во двор слепые, безмолвные: отец так и не зажег огня.

— Ну, хорошо,— громко, с какой-то неожиданной решимостью сказала Сю-мэй, чтобы отец услышал.— Можете меня не любить, но я остаюсь верна дочерней почтительности...

Всхлипывая, она подняла с земли свою поклажу и стала собираться. Ее остановил ополченец, который привел отца домой.

— Сю-мэй,— подойдя к ней, зашептал он с таинственным видом.— Ты только что вернулась в деревню и еще ничего не знаешь. Твой отец Лю Лао-юн — недостойный человек. Он, оказывается, из тех, кто стоит у власти и идет по капиталистическому пути. Понимаешь, как опасно тебе жить в одном логове с тигром? Пошли, нечего реветь. Мы с товарищем проводим тебя.

Они пошли, и по дороге уполномоченный рабочей группы, державшийся до этого в тени, поведал Сю-мэй, какие тяжкие преступления совершил ее отец. Лю Лао-юн, сказал он, против идей Мао Цзэ-дуна. Он носится с лозунгом «Крестьянину служат три сокровища — почва, ирригация и удобрения», который заменил ему высшую истину: «Чтобы обработать поле, достаточно одного сокровища — хорошо выучить идеи Мао Цзэ-дуна». Но это не все. Лю Лао-юн влез в те же портки, что и помещики с кулаками: двух помещичьих детей, знающих толк в грамоте, он сделал в бригаде учетчиками, а одной дочке кулака дал рекомендацию в Союз молодежи. И вообще в последнее время он проводил откровенно ревизионистский курс: выдавал денежные премии членам коммуны, хорошо работавшим в поле, начислял им трудодни...

Вопреки ожиданиям уполномоченного, преступления Лю Лао-юна не вызвали у Сю-мэй возмущения. Его гневную речь она выслушала с каким-то безразличием, и, когда они расставались, он сказал многозначительно:

— Вопрос о твоем отце, Сю-мэй, еще не решен окончательно. Главное впереди. Смотри же!

Как только Сю-мэй вошла во двор, тетушка Ван выбежала к ней навстречу и помогла перенести вещи в западную комнату. Хотя ее глинобитная мазанка и выглядела убого, а пол и кан, служивший постелью, тоже были глиняные, в комнате было прибрано, чисто. Помогая Сю-мэй развязывать вещи, вторая тетушка без умолку говорила:

— Хорошо, что ты ко мне пришла, Сю-мэй. Живи здесь, как дома. Если что понадобится, проси, не стесняйся. Спать будешь вместе с моей дочкой. Ты не смотри, что ей только двенадцать лет, она девочка смышленая, с ней и поболтать можно, и поручить что... Юй-хуа, ну-ка! Чайник, лепешки. И одеяло свое не забудь!

Не успела она договорить, как дверь скрипнула, и Юй-хуа вбежала в комнату, словно только того и ждала, чтобы ее позвали. Сю-мэй нехотя отпила из кружки несколько глотков кипятку, а от еды вовсе отказалась. Вторая тетушка и не настаивала, понимая, что племяннице не до еды. Уходя, она еще раз напомнила дочке:

— Будешь жить со своей сестрой, Юй-хуа, поняла? Чтобы ни в чем ей не было отказа!

Когда вторая тетушка ушла, Сю-мэй помогла Юй-хуа устроиться на кане, затем постелила себе. В комнате было душно, и она раскрыла окно, но уснуть все равно не могла. Она лежала, не раздеваясь, и задумчиво смотрела в окно. Светила полная луна. В ее бледном сиянии темнел вдали лес, лежали притихшие поля. А Сю-мэй все думала, и мысли об отце не выходили у нее из головы. Больше десяти лет он на руководящей работе. Он любил эту работу и отдавался ей целиком. А ведь надо было участвовать и в коллективном труде, и со своим хозяйством управляться. Если не хватало дня, он работал ночью, чтобы не откладывать дела на завтра. Сю-мэй была еще совсем маленькая, когда он поднял деревню на борьбу с помещиками. А вскоре провели раздел земли, и отец создал в деревне первую группу трудовой взаимопомощи. Потом организовался кооператив низшего типа, потом высшего типа, и всякий раз отца выбирали председателем.

«Ты ведь видела, луна, как росло среди односельчан к нему уважение? Весной, во время сева, ты сопровождала его, когда он шел по полям, проверяя дневную работу. А летом при поливе он отправлялся на восточный конец деревни, чтобы пробить мотыгой запруду и пустить воду из канала в главный отвод, потом идти за потоком до того места, где вода устремлялась в поля. И ты светила ему. Осенней ночью ты нередко слышала сухой хруст его серпа, доносившийся с поля. И зимой, в самые морозы, ты тоже помогала ему своим сиянием, когда он шел на ток развести костер, чтобы нажечь побольше золы для удобрений. Не только я, дочь, любила его, все в деревне от мала до велика говорили: «Лю Лао-юн — железный человек!» Семь лет подряд, со времени создания первой группы взаимопомощи, его называли самым примерным работником и посылали с рапортом об успешном окончании уборки урожая на слет отличников труда Автономного района Внутренней Монголии, и сколько раз, украшенный большим красным, как цветок, бантом на груди, он возвращался домой с трибуны на площади Тяньаньмэнь, куда его приглашали в День национального праздника! Начиная с «большого скачка», правда, неукротимый дух отца чуть ослабел, он уже не был таким напористым в работе, как прежде, но по-прежнему руководил всеми делами в деревне и очень близко к сердцу принял невзгоды, выпавшие на ее долю за три года неимоверных бедствий. Он собрал вокруг себя молодежь и ночами искал в полях семена трав, выкапывал корни съедобных растений, обдирал кору с деревьев. Это, луна, ты тоже видела. Только благодаря его стараниям кое-как выпутались из беды: в те страшные дни из четырехсот жителей деревни умерло только трое. А что было в других местах! Люди, земляки, кто из вас не отзывался об отце с уважением: «Вот это секретарь!» На твоих глазах, луна, он делал для них все, что мог. Сколько трудового пота он пролил ради них! И если бы ты могла говорить, то, конечно, выступила бы сегодня на собрании как свидетель. Люди, родные, язык у вас отнялся, что ли? Почему же теперь никто не услышал доброго слова о нем? Кто, скажите, сорвал с него туфлю, кто порвал на нем одежду, кто обидел и избил до крови? Люди, люди, кто-то над ним измывается, над старым, уважаемым человеком, а вы молчите! Но я его родная дочь, его кость от кости и плоть от плоти, я никогда не сделаю того, что могло бы хоть чуточку ранить его сердце. Оно живое, сердце...»

Чем больше Сю-мэй думала об отце, тем тяжелее становилось у нее на душе. Она заплакала. Разбуженная ее всхлипываниями, Юй-хуа испугалась.

— Сю-мэй, сестрица, ты все из-за отца убиваешься? — робко спросила она. — Попробуй закрыть глаза и уснуть, увидишь, станет легче... Они ведь давно с ним воюют. Когда дядю Лао-юна приводят на собрания, папа с мамой садятся тихонько позади всех и закрывают глаза, чтобы ничего не видеть. Дома им оставаться нельзя, созывают всех...

Участие Юй-хуа терзает Сю-мэй. Девочка чувствует это, плотнее прижимается к ней и, обняв за плечи, шепчет на ухо:

— Они говорят, что дядя Лао-юн — классовый враг, я сама это слышала. А еще, говорят они, с дядей Лао-юном нельзя встречаться: кто с ним заговорит, того тоже будут считать классовым врагом. Вот мама и не велела мне подходить к нему... Ты плачешь?..

Сю-мэй вздрогнула. Вот оно что! Не потому ли отец не признал ее, что не хочет зла дочери? Как она раньше об этом не подумала! Завтра же она все скажет ему, признает свою вину и попросит прощения. И они опять заживут вместе, помогая друг другу. И Лай-шэн будет с ними одной семьей жить в мире и согласии.

От этой мысли Сю-мэй постепенно успокоилась, словно нашла ответ на мучивший ее вопрос. Будущая жизнь уже мерещилась ей, полная радостей, но все, о чем она думала, проходило перед ее глазами смутно, обрывками, и она скоро заснула.

Разбудили ее первые петухи. Узкая белая полоса на востоке, похожая на рыбье брюхо, предвещала близкий рассвет. Взбежав на бревенчатый мостик, Сю-мэй задержалась на миг и прислушалась к щебету птиц в лесу. Впереди в предрассветной мгле чернели контуры бригадного двора. Там уже кто-то работал. Подойдя ближе, Сю-мэй узнала в одном из работающих отца, катившего тачку, доверху нагруженную камнями. Унылое поскрипывание деревянного колеса вернуло ее к действительности: так теперь всюду наказывали классовых врагов — камни перевозились с места на место без всякой цели, лишь бы их перевозить. Сю-мэй поняла, что видеться ей с отцом на людях не следует, и повернула домой. Дверь и на этот раз была заперта. Недолго думая, Сю-мэй легонько надавила на раму и влезла в дом через окно. Комната была в беспорядке. Смятое, пропахшее потом одеяло валялось на кане, пыль с которого давно не сметали, дрова на полу раскиданы, всюду мусор, очистки, яичная скорлупа, посуда не мыта... Вздохнув, она принялась наводить порядок, но за что бы ни бралась, каждая вещь вызывала в ней грустные воспоминания. Что случилось с отцом? Ведь он всегда был таким старательным, убирал за собой, мыл посуду. Почему он теперь этого не делает? А как любил отец возиться с курами! Кур в доме было две, и он никогда не забывал вовремя накормить их. Яйца он складывал в плетенку, оставляя для дочери, сам же не притрагивался к ним, и только когда она возвращалась домой на каникулы, позволял себе съесть одно яйцо, чтобы сделать дочери приятное. И так было год за годом... Когда умерла мама, вспомнила Сю-мэй, ей едва исполнилось пять лет. У них тогда тоже было две курицы, и по утрам отец кормил ее с ложечки яйцом всмятку. Он все делал, чтобы выполнить наказ матери и вырастить Сю-мэй...

Прибрав в комнате и на плите, Сю-мэй взялась за постель отца. И тут она заметила в углу кана сверток в поливиниловой упаковке. Развернула — и лицо ее залилось краской. В свертке были два шелковых покрывала и две наволочки с вышитыми на них тремя одинаковыми иероглифами: «Юань янь пу» — «Утка с селезнем роднятся». Могла ли она усомниться в чем-либо, увидев этот символ нежной супружеской пары! Конечно, это подарок отца к ее будущей свадьбе с Лай-шэном. О ней, своей дочери, отец не забыл, а себе вот уже три года не может сшить новой одежды. Как она упрашивала его прошлым летом купить себе материи на куртку и брюки, но он все отмахивался: «Не время, Мэй-мэй, накопим талонов и купим сразу отрез, он скоро нам понадобится». Новенькие покрывала и наволочки светлым пятном выделялись на рваном отцовском одеяле, и Сю-мэй вспомнила, в каких лохмотьях видела отца вчера. Невольно из глаз ее закапали слезы.

В это время со стороны бригадного двора послышался удар колокола, возвещавший о начале рабочего дня. Почти одновременно щелкнул дверной замок, и в комнату вошел отец. Он остановился, обвел комнату взглядом, но ничего не сказал. Сю-мэй, смущенная, тоже молчала. Вдруг она увидела кровь на ногах отца и бросилась к очагу, чтобы налить в таз теплой воды.

— Ой, что с вами, отец? Кровь? Садитесь скорей, я помою вам ноги.

Он не ответил, повернулся и ушел во двор, где присел на полено, набил трубку и закурил. Его лицо скрылось в клубах табачного дыма.

— Отец,— предложила Сю-мэй, выйдя вслед за ним,— у меня еще есть три юаня, я сейчас сбегаю в кооператив и куплю вам новые туфли.

Но сначала нужно перевязать раны, смотрите, как вы стерли себе ступни,— она опустилась перед ним на корточки и достала из кармана носовой платок.

И на это отец ничего не ответил, он поднялся и ушел в дом. Когда Сю-мэй тоже вошла, он сидел возле кана и пыхтел трубкой.

— Вы ведь еще не завтракали, отец. Что вам приготовить? —спросила она и подбросила в очаг два полена.

Все так же молча отец подошел к корчаге с водой, зачерпнул полковша и стал жадно пить. Напившись, он взял из глиняной миски ломоть черствой лепешки и оторвал зубами большой кусок. Сю-мэй с болью смотрела на него и чувствовала, как в груди у нее бьется сердце.

Раздался второй удар колокола. Отец бросил недоеденную лепешку обратно в миску, схватил плетенку и вышел вон. Сю-мэй побежала было за ним, но в дверях остановилась и крикнула:

— Я не оставлю вас, отец, но и вы не оставите меня, правда?

Отец даже не обернулся, а она, словно в каком-то оцепенении, смотрела вслед его удалявшейся фигуре, пока он не исчез из виду.

— Что, болит душа за отца? — услышала она вдруг хихикающий голос.

Сю-мэй испуганно обернулась и только теперь увидела вчерашнего уполномоченного рабочей группы. Она пригласила его зайти в дом, тот не заставил себя упрашивать, он вошел и запросто уселся на кане. Сю-мэй села напротив на полено.

— Говорят, отец о тебе шибко заботится, образование хочет дать, верно? — заговорил уполномоченный и, когда Сю-мэй кивнула, спросил:— Где же он денег достанет? С вашими доходами да об институте думать!

Участливое выражение лица уполномоченного, нотки сочувствия, которые можно было уловить в его голосе, успокоили Сю-мэй, и она решила откровенно рассказать ему о своих огорчениях.

— Разве дело в деньгах? Какие-то сбережения у отца есть...

— Да? Что же тебя смущает? Имея деньги, достаточно получить проходной балл, и все в порядке. Разве я не прав? — уполномоченный, казалось, был огорчен больше ее.— А хватит у него денег? Много накопил?

— Двести юаней лежат. Если я выдержу экзамены и поступлю в институт, на первый год как-нибудь хватит.

— Ого, двести! Сумма крупная! А как он сам будет жить, если все отдаст тебе?

Сю-мэй тронула его забота об отце.

— Понимаете, эти деньги у него от продажи ослика, он на них никогда и не рассчитывал,— сказала она, но тут же спохватилась, что сказала лишнее.

—Ослика продал? Значит, у вас был свой ослик? — уполномоченный удовлетворенно хмыкнул.— Как же это так, а?

Только теперь Сю-мэй поняла, чего он от нее добивается. Ей стало не по себе. История с продажей ослика возникла перед ней, словно это было вчера. Мать еще болела, и кто-то посоветовал отцу раздобыть немного опиума, может быть, полегчает от него. Но денег у отца не было, и тогда дядя со стороны матери, занимавшийся извозом, обещал что-нибудь придумать. В очередной свой заезд он купил в городе несколько лянов опиума и привез матери, но было уже поздно, она умерла, так и не успев принять все пилюли. А опиум, как яд, уже тогда значился в списке запрещенных к продаже товаров, и остаток отец спрятал. Спрятал так, будто выбросил. Пришло время дочери поступать в институт. Отец метался в поисках денег, ничего придумать не смог, пока не вспомнил про остаток опиума. Разыскав его, он отправился на кочевье,

выменял у одного пастуха пилюли на ослика и тут же продал за двести юаней. Кто-то спросил тогда отца, но он отмахнулся: мол, купил у одного друга в районе. Лишь один раз за всю свою жизнь видела Сю-мэй, чтобы отец совершил неверный поступок, и лишь один раз слышала, чтобы он уклонился от прямого ответа.

Она молчала, не решаясь ответить уполномоченному на его вопрос, и тогда тот, видимо, чтобы не докучать ей, заговорил о другом:

— Чего там вспоминать прошлое! Пустое дело. Есть деньги, и ладно. Я вот слышал, что Ван Шуань-гоу здорово настроен против твоего отца. Ты не знаешь, какого мнения о нем отец?

Сочтя, что уполномоченного вовсе не интересует история с продажей осла, Сю-мэй в душе даже поблагодарила его. Ну, полюбопытствовал человек, да и мало ли о чем болтают люди! И она спокойно ответила:

— Лодырь этот Ван Шуань-гоу, вот что я скажу. Вечно от работы отлынивает, только жратва у него на уме. В деревне все это знают. Сколько раз отец критиковал его за лень! Конечно, тот недоволен и злится. Весной раз на отца с кулаками полез.

— Постой, не спеши, ты не имеешь права осуждать его и возводить напраслину! — уполномоченный вдруг стал строго официальным, каким Сю-мэй видела его накануне вечером.— Сейчас Ван Шуань-гоу член партии, он назначен председателем Союза крестьян-бедняков и низших середняков. Тебе это известно? Да, он долгс подвергался нападкам со стороны стоящих у власти, но так было в прошлом. Весной он потерял осла, которого имел в личном пользовании. Не знаешь, твой отец помог ему найти его?

— Я в это время была еще в школе и мало что знаю об этом,— уклончиво ответила Сю-мэй, боясь проговориться, но про себя подумала: «Ишь ты, только прикидывается простачком!.. Как же теперь жить в деревне, если руководителем Союза сделали такого мошенника?»

Но уполномоченный ни о чем больше ее не спрашивал. После его ухода Сю-мэй сбегала в кооператив и купила отцу пару новых матерчатых туфель. На обратном пути она неожиданно столкнулась с Лай-шэном.

— Лай-шэн? Ты? — воскликнула она вне себя от радости.

Но тот не только не ответил ей, а, напротив, круто повернулся и прошел стороной. Сю-мэй пошла за ним. За углом они остановились. Вокруг не было ни души. Некоторое время они стояли молча, наконец Лай-шэн заговорил:

— Опять ты бежишь к отцу, Сю-мэй! Неужели так и не поняла, что он сказал тебе глазами?

— Это-то я поняла. Он хотел, чтобы я его возненавидела, думает, наверно, что мне будет не так больно, если я буду его ненавидеть, легче, чем если посочувствую ему. Но разве могу я так?

— Нет, Сю-мэй. Когда началась кампания «четырех чисток», дети стоящих у власти и идущих по капиталистическому пути всюду сделали в стенгазетах и дацзыбао заявления, что они отрекаются от своих родителей. На это он тебе и намекал. Ты поняла?

— О чем ты говоришь, Лай-шэн? — вспыхнула Сю-мэй.— Ты не можешь не знать моего отца!

— Ну, не кричи, Сю-мэй, прошу тебя,— Лай-шэн был в отчаянье. Помолчав, он сказал: — У нас сейчас одна задача — бороться с отцами. Это тактика, понимаешь?

— Вот уж не думала, что ты станешь мне советовать поступиться совестью,— процедила сквозь зубы Сю-мэй.

— Совестью, совестью! Теперь не очень-то разбираются в том, что такое совесть.— Лай-шэн опустил голову.

После томительного молчания она спросила:

— Неужели ты правда сомневаешься в человеческом достоинстве отца, Лай-шэн?

— Ах, не говори так. Сердцем я это чувствую, а... Ладно, хватит об этом.

— Я тебя не понимаю, о чем это ты? — совсем разнервничалась Сю-мэй.— Скажи прямо, на чьей ты стороне?

— Сю-мэй! — Лай-шэн рванулся вперед и схватил ее за руку.— Во всем мире у меня только два близких человека — ты и твой отец,—в его глазах заблестели слезы.

— В таком случае мы... мы должны помочь ему восстановить его доброе имя,— сказала она чуть слышно.

— Кто мне разрешит это без указаний сверху, Сю-мэй! Ты ведь знаешь, я командир роты ополчения, из бедняков...

— Что ж, тогда давай лучше расстанемся, и дело с концом.

— Нет-нет, я сейчас как раз думаю, что бы такое сделать, чтобы получилось по-хорошему,— он нерешительно теребил ее косу.— Если ты мне веришь — послушайся, и наша мечта сбудется.

До сознания Сю-мэй еще не дошло, что он ей предлагает, поэтому она встретила его слова безучастно.

Тем временем деревенская улица заполнилась говором, люди возвращались с полевых работ, и Лай-шэн поспешил скрыться, оставив Сю-мэй одну. Она вышла из-за угла и, не торопясь, пошла дальше. Навстречу то и дело попадались мужчины и женщины, которые хорошо знали ее с малых лет, но все они прятали глаза и старались пройти так, чтобы она их не видела. Занятая своими мыслями, Сю-мэй и не обращала на них внимания, но дойдя уже до центра деревни, она заметила нескольких своих подруг, с которыми училась в начальной школе. С какой радостью девушки встречали ее всякий раз, когда она возвращалась на каникулы домой, они так дружили! Сю-мэй помахала им рукой, но те, словно испугавшись ее, мигом разбежались кто куда. Их бегство навело ее снова на грустные мысли. «Ну хорошо,— подумала она,— взрослые ладно, а ведь тут самые близкие подруги, почему они ведут себя совсем по-детски? Допустим, кто-то в семье совершил ошибку, разве остальные члены семьи должны его сторониться?..» Так она дошла до бревенчатого мостика, где ее увидели игравшие на берегу мальчишки лет семи-восьми. Вытаращив на нее глаза, они угрожающе замахали палками и хором завизжали: «Лю Сю-мэй — нет черней! Лю Сю-мэй — нет черней!..» Этот крик больно кольнул ее в самое сердце, она зажала уши, чтобы не слышать его, и со всех ног помчалась домой. Не успела она положить на подоконник туфли, купленные отцу, как вошла вторая тетушка.

— Что же это ты, Сю-мэй! — заговорила она еще в дверях.— Про тебя в Союзе бедняков уже стенгазету вывесили. Пишут в ней, что ты и твой отец против народа. Все бедняки и низшие середняки должны отмежеваться от вас. Вот так, девочка. Дружить с тобой Юй-хуа нельзя, раз ты такая,— с этими словами она скатала одеяло дочки и вышла, но в дверях обернулась и добавила: — Мой тебе совет, девочка, не бегай ты больше к отцу, нечего тебе у него делать. Трудно будет — я помогу, но чтобы никто этого не видел. А нет, пеняй на себя, у нас тебе тоже нельзя будет жить.

Этого Сю-мэй никак не ожидала. В глазах у нее потемнело, она схватилась за сердце и, чтобы не упасть, опустилась на кан.

Когда она пришла в себя, второй тетушки уже не было. За окном она увидела парившего в небе над деревней черного коршуна. Во дворе метались перепуганные куры и цыплята. Со стороны деревни донесся

пронзительный крик. Силясь что-то вспомнить, Сю-мэй подумала: «Вот и я сегодня как этот коршун. Отец в страхе бежит от меня на край света, чураются все, малые, старые, даже Лай-шэн, а теперь и вторая тетушка вся дрожит. Конечно, я для них коршун, ведь это я привела людей в смятение. Видно, такая уж уродилась, всем в тягость. Ах, сестрица Цун Ли, не вовремя ты ушла, а видела далеко! Но у тебя просто не было другого выхода, а у меня есть Лай-шэн, он мне как брат, он непременно что-нибудь придумает, чтобы всем нам было хорошо и мы были бы вместе, втроем... И писатель, с которым я шла, он ведь тоже говорил, что верит в счастье нашей семьи...»

Весь день Сю-мэй пролежала на кане и не выходила во двор, она не хотела показываться людям на глаза, чтобы не навлекать на них беду. Уже под вечер вторая тетушка, испуганно озираясь, принесла ей поесть и сказала:

— Сегодня они опять затевают борьбу с твоим отцом. Рассказывают, Ван Шуань-гоу собирается выступить с жалобой, будет винить, что тяжелую жизнь из-за него прожил. Вот уж, в самом деле, забралась жаба на небо и чешется.

Сю-мэй ничего ей не ответила. Она решила подождать, когда народ соберется, и тоже пойти на собрание, найти где-нибудь в уголке укромное место и послушать, что будут говорить.

Взошла луна. Край неба на северо-западе закрыла черная туча. Вспыхнула зарница, издалека донеслись глухие раскаты грома. В воздухе было нестерпимо душно, как всегда перед грозой.

Собрание еще не начиналось, когда Сю-мэй пришла на бригадный двор. Все были в помещении. Ван Шуань-гоу стоял перед собравшимися и читал им выдержки из сочинений председателя Мао о классовой борьбе. Сю-мэй поискала глазами место, где бы могла сесть, и увидела два больших щита, исписанных вдоль и поперек мелками. Это и была та стенгазета. Луна светила достаточно ярко, и Сю-мэй, подойдя, смогла прочитать написанное. Ничего нового, сверх того, что ей уже было известно из рассказа второй тетушки, она не узнала. Но на соседнем щите в глаза бросился заголовок, выведенный большими иероглифами: «Заявление дочери о разрыве с отцом», а ниже шла сама заметка:

> «Настоящим заявляю, что мой отец; Лю Лао-юн, принадлежит к числу тех, кто стоит у власти и идет по капиталистическому пути. Чтобы обезвредить классового врага и укрепить диктатуру пролетариата, я решительно порываю с отцом всякие связи и ухожу жить отдельно. Разрыв окончательный, надеюсь, массы проконтролируют.
>
> 5 августа. *Лю Сю-мэй».*

Сю-мэй растерялась. Сперва она просто не могла понять, кто мог решиться написать такое, и стала читать более внимательно. И тут она узнала почерк Лай-шэна. Сухие, горящие огнем глаза впились в иероглифы заявления. Дочь порывает с отцом!.. Она до боли стиснула кулаки.

— Я... я ошиблась в нем! Я сле...— Она хотела сказать «слепая», но изо рта вырвался лишь судорожный хрип. Все вокруг закружилось, завертелось, и она упала без чувств.

Тучи, словно табун взбесившихся коней, мчались по небу, налетая и кромсая одна другую. Луна какое-то время еще выглядывала из-за облаков, но вот и ее поглотил кромешный мрак. Оглушительный удар грома вывел Сю-мэй из забытья. Она осмотрелась, с минуту что-то вспоминала и стала осторожно пробираться к воротам. Проходя мимо

окна, она заглянула внутрь, и ее глазам представилось зрелище, от которого ей стало жутко.

В просторной комнате, где проходило собрание, на длинной узкой скамье стоял лицом к толпе ее отец. Его ноги были изранены, кровь струйками сочилась на пол, но он стоял, высоко подняв голову и закрыв глаза, стоял, не произнося ни звука, какой-то отрешенный от всего того, что здесь происходило. Вокруг толпа мальчишек и молодых парней, науськиваемых командирами ополчения, размахивала кулаками и выкрикивала ругательства, а рядом, на возвышении, излагал свою жалобу Ван Шуань-гоу.

— Говори, сволочь! — шипел он.— Сколько лет ты меня эксплуатировал! Молчишь? Сегодня сам председатель Мао стоит за меня, и я буду мстить! Весь гнев против тебя вылью.

— Долой Лю Лао-юна! — крикнул в толпе кто-то из командиров ополченцев.— Отомстим за товарища Ван Шуань-гоу!

Подбадриваемый этими криками, резко выделявшимися в общем реве, Ван Шуань-гоу переступил с ноги на ногу и, тыча пальцем в лицо Лю Лао-юну, продолжал:

— Я с тобой за все рассчитаюсь, антипартийный ты элемент! Бороться, так бороться до конца. Это ты... ты... ты навлек на меня все беды,— плаксивым голосом вопил он, но в глазах его слез не было.— Отвечай же, это ты украл у меня осла? Ты, ты! Ты увел его на кочевье и там обменял, а нового осла продал. Где выручка?

И снова злобные выкрики:

— Сейчас же отдавай, слышишь?!

— Куда подевал выручку?

— Не вернет — повесить его!

— Глядите! Стоит, ровно ему никакого дела нет! А ну-ка, заставьте его опустить голову! Пусть винится!

Эти слова прозвучали как команда. Два ополченца вскочили на скамью, один из них схватил Лю Лао-юна за шею, другой вцепился в волосы и с криком «Винись!» попытался заставить его опустить голову. Трах!..— вдруг треснула скамья, не выдержав тяжести. В ужасе от того, что сейчас может произойти, Сю-мэй зажмурилась, но когда снова открыла глаза, отец уже стоял на коленях. Грязь на его лице смешалась с кровью, на него было страшно смотреть. Но он по-прежнему держал голову прямо, опустив лишь веки, и словно не слышал ни злобных криков, ни брани.

— Эй, вы, тихо! — гаркнул, перекрывая рев, уполномоченный рабочей группы.— Ничего-ничего, сейчас он вернет деньги. Надо вызвать его дочку. Пусть она слово в слово повторит здесь то, что говорила мне утром, и тогда поглядим.

— Тащите сюда Сю-мэй! — закричали в толпе, и те же два ополченца бросились к выходу.

Сю-мэй отпрянула от окна, но зацепилась за что-то и упала. В этот момент на землю обрушился ливень. Оба ополченца, втянув голову в плечи, подались назад, и это спасло ее.

— Будь я проклята! — прошептала она.— Опять я виновата, сама же подсказала им улику против отца. Но я не буду для них свидетелем, не дождутся. Надо уходить, уходить!

Она поднялась и, никем не замеченная, выбежала на улицу. Дождь усилился, потоки воды затопляли деревню, словно прорвало дамбу на Хуанхэ. Удары грома непрерывно сотрясали землю, молнии рассекали небо, задумав, видно, сжечь все живое. Ветер, дождь, гром, крики во дворе — все слилось в один сплошной гул, в котором ничего нельзя было разобрать. Тысячи мечей неслись к Сю-мэй со всех сторон, готовые вот-вот впиться в ее тело, весь мир пошел против нее войной, и не было ей

пути ни на небо, ни в землю. Куда бежать? Блеснула ослепительная молния, и она увидела на миг высокий берег канала. Сю-мэй помчалась как на крыльях. Когда она была уже на середине мостика, снова сверкнула молния, и Сю-мэй увидела внизу, в воде, махавшую ей рукой Цун Ли. Но молния погасла, и в тот же миг Цун Ли исчезла. Сю-мэй ждала на бревне, пока снова не вспыхнет молния, потоки воды окатывали ее с головы до ног, и ей представилось, что она сама уже там, в воде, затопившей пространство между небом и землей.

«О, это совсем не страшно! — подумала она.— Теперь я понимаю, почему сестрица Цун Ли выбрала себе этот путь. Хорошо, я иду за ней. К чему мне этот мир, если он не хочет, чтобы рядом со мной был близкий человек? Там, в другом мире у меня его никто не отнимет, там мама!»

И она уже собралась прыгнуть, как вдруг вспомнила об отце, вспомнила его окровавленные ноги и крикнула стремительно мчавшимся волнам:

— Сестра Цун Ли, подожди меня, я только отнесу отцу туфли и сразу же вернусь!

Она перебежала мостик, вошла в дом, взяла с подоконника купленные отцу туфли и направилась обратно. На берегу она задержалась и посмотрела вниз. Опять сверкнула молния, но Цун Ли на этот раз не появилась.

— Что же это я, в самом деле! Ведь Цун Ли давно мертвая, кто может вернуть ее к жизни? Да, *человек живет только один раз,* это правда,— вздохнула она и прижала к груди отцовские туфли.— Если я умру, некому будет отдать их. Да и кто поможет отцу залечить раны, кто поддержит его в старости? Нет-нет, пока он жив, я ни на минуту не оставлю его одного, не оставлю. Я иду к нему и буду ждать дома.

Она поднялась на мостик и снова подумала о Цун Ли.

— Что это? Как будто душа Цун Ли задалась целью совратить меня бросить отца! Непостижимо! — прошептала она.

Ей стало страшно, и она шла уже не так уверенно. На середине мостика на нее налетел ветер. Она задержалась, чтобы перевести дыхание, но порывы ветра становились все сильней и сильней. Ей показалось, будто сзади кто-то держит ее, не пускает идти. Не могла же это быть Цун Ли! Она обернулась, чтобы отвести наваждение, но не удержалась и полетела вниз...

Летящие ей навстречу брызги воды приняли худенькое тело; волны понесли его далеко-далеко отсюда...

Мутный поток захлестнул фанзу, где продолжалось собрание, и народ, не дожидаясь конца, стал расходиться. Лю Лао-юн тоже пошел домой, но так и не лег спать. Во второй половине ночи, когда дождь прекратился и на небе немного прояснилось, он завесил окно старым одеялом и зажег керосиновую лампу. Немного погодя он вынул из сундука спрятанные на самом дне двести юаней, разделил их на две пачки по сто юаней в каждой и сунул в наволочки с вышитыми иероглифами. Так же не спеша он достал из шкафа старую униформу, в которой когда-то стоял на трибуне Тяньаньмэня и ездил на слет отличников труда, переоделся, прикрепил к груди все свои ордена и медали, туго подпоясался брезентовым ремнем. Затем снял со стены фотокарточку Сю-мэй и долго смотрел на нее. Сю-мэй радостно улыбалась ему, но ее улыбка так и не принесла ему облегчения.

— Мэй-мэй,— сокрушенно вздохнул он,— ну, почему ты не возненавидела меня? Ты должна была это сделать. Столько горя принес тебе отец! Если я останусь в деревне, вам от этого не будет счастья, пойми ты меня.

Еще раз взглянув на карточку дочери, он спрятал ее на груди, взял завернутый в поливинил подарок, погасил лампу и вышел из дому.

Утром его следы были обнаружены. В комнате у второй тетушки, где поселилась Сю-мэй, кто-то увидел сверток в поливиниловой упаковке, кто-то другой на северном берегу канала набрел на след босой ноги Лю Лао-юна, пропитанный кровью; такой же след ясно отпечатался и на южном берегу, там он вел к фанзе тетушки Ван и обратно к мостику.

А три дня спустя в нижнем течении канала у ворот шлюза рабочие извлекли из воды два трупа — отца и дочери. Сю-мэй крепко прижимала к груди пару матерчатых туфель, Лю Лао-юн держал руку у сердца, оберегая прилипшую карточку дочери. Начальство произвело расследование и объявило результаты: «Пошли на самоубийство, опасаясь последствий своего проступка». На этом основании имущество обоих было конфисковано и передано в качестве материального возмещения лицу, пострадавшему от стяжательства Лю Лао-юна, уличенного еще при жизни.

Похоронил отца с дочерью Лай-шэн, продав свою фанзу и купив на вырученные от продажи деньги два гроба.

И вот я снова в деревне Дунфанхун, у того самого мостика, где два перекинутых с одного берега на другой бревна как бы образуют тупой угол. Вода в канале такая же мутная, пенистая, но на берегу не видно худенькой фигурки Сю-мэй. А я все стою у мостика и смотрю на дорогу, где мы с ней простились, и явственно слышу нежную, полную глубокого чувства мелодию:

Родные поля, как светло мне,
когда вас вижу!
Ах, родная деревня,
Сердце с вами, родные, всегда...

Услышав эту песню из ее уст, я не сомневался, что скоро буду на свадьбе Сю-мэй. Мог ли я думать, что с той минуты, как она вернется в родную деревню, до конца всей ее жизни остается двадцать четыре часа!

На северном берегу канала все так же темнел лес. На одном из деревьев две пичужки беззаботно вили гнездо. Они ни о чем не думали, они даже не подозревали, что где-то совсем рядом притаился коршун-стервятник. А коршун не спешил. Его налитые кровью глаза давно уже присматривались к ним и ждали, когда птицы закончат вить гнездо и переберутся в него жить, чтобы налететь камнем, вонзить в пичужек свои острые когти и вмиг уничтожить все их труды.

И я вздохнул — громко, чтобы меня услышали: защитите себя, милые птицы, защитите свой лес, пора.

1967 г.

Ц. КИН

СОРОК ПЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Да, бывший фашист — это нелегкое ремесло. А, может, он и не бывший, а настоящий. Почем ты знаешь?

Эрнест Хемингуэй

Природа успеха или неуспеха книги не всегда укладывается в рамки наших вкусов и привычных представлений. Мне приходится, по характеру моей работы, довольно внимательно следить за итальянской периодической печатью. Более или менее знаешь, о каких книгах спорят, какие торжественно представляют читателям на приеме, который устраивает издатель (в Италии есть такая приятная полулитературная, полусветская традиция), на какие существует наибольший спрос — об этом сообщают газеты: на первом месте такая-то книга, на втором — такая-то... Конечно, успеху могут способствовать различные обстоятельства: мнение какого-либо авторитетного критика, репутация издательства, литературная мода, а также — что скрывать — и вульгарная реклама.

И вот не так давно мне попался толстый — 536 страниц — том. Книга называется «Monumento al parallelo», если перевести буквально получается как-то неуклюже: «Памятник параллели». Но в этом есть прямой смысл: действие происходит в Турине и на одной из площадей воздвигнут памятник в честь 45-й параллели, проходящей через город. Автор романа — женщина Marina Jarre, и надо бы по-русски написать Йарре, но итальянские товарищи говорят, что синьора называет себя Марина Жарр. Из аннотации издательства * удается извлечь самые скудные сведения: Марине Жарр 44 года, отец—латыш, мать—итальянка, живет в Италии с десятилетнего возраста, постоянное местопребывание — Турин, замужем, имеет четверых детей, преподает французский язык. А литературная ее биография? В 1955 году получила премию Панкраци за один рассказ, эту премию присуждает журнал «Понте», в 1962 году опубликовала сборник рассказов для подростков. И это — все. Один премированный рассказ, один сборник для подростков, преподает язык. Кто она, дилетантка?

Рецензий на роман я не видела. Во всяком случае, литературным событием книга не стала, и — мне кажется — лишь в силу каких-то случайных обстоятельств. А вот я, иностранка, прочла эту книгу залпом и все думаю о том, что у нас должны бы ее перевести, невзирая на то, что автор не только не маститый, но и малоизвестный, не принадлежит ни к каким модным течениям, явно не имеет шансов стать кандидатом на одну из общенациональных премий.

Но так как и индивидуальные литературные вкусы каждого из нас не всегда можно аргументировать и часто просто отдаешься непосредственному чувству (нравится! Нет, не нравится!), я отложила роман в сторону на несколько месяцев, а потом стала перечитывать вторично, чтобы самой понять, почему он меня взволновал. А сейчас позволяю себе небольшое отступление, потому что мне трудно думать о книге, не думая в то же время и о жизни.

Итальянская газетная хроника, особенно за последнее время, то и дело возвращается к неофашистам. Это преимущественно мо-

* Marina Jarre. Monumento al parallelo. Napoli, Samona e Savelli, 1968.

лодежь, но есть среди них и пожилые люди, есть «маститые», гордящиеся тем, что у них в прошлом — большие заслуги, ни в коем случае не перечеркивающие этого прошлого,— непосредственные соратники Муссолини. Большей частью именно они выступают как продолжатели «традиции», они являются поставщиками идеологии для «нынешних». Неофашистская молодежь, вербующаяся, как и прежде, главным образом из среды мелкой буржуазии (надо, впрочем, учесть, что среди неофашистов много сыновей бывших чернорубашечников), как правило, не отличается богатым воображением, она знает только несколько «методов борьбы», но зато проверенных, и нам не трудно их перечислить.

Итак: нападение на известных левых деятелей; проведение всякого рода манифестаций с невообразимо демагогическими лозунгами; разгром помещений, принадлежащих прогрессивным организациям (ломать мебель, рвать бумаги и документы, поджигать здания, избивать всех, кто попадается под руку,— это, впрочем, если помещение охраняет всего несколько человек, в таких случаях неофашисты проявляют особую доблесть, а если силы равны — они не всегда лезут); иногда — убийства, причем свою виновность они неизменно отрицают, как в случае с убийством римского студента Паоло Росси; и, наконец, пропаганда в печати — наглая, яростная, а свои органы печати у них есть, так как неофашисты существуют легально.

Вот как будто бы и все, и можно, разумеется, успокаивать себя мыслью, что их немного и на парламентских выборах 1968 года они потеряли какое-то число голосов, и вообще — какую реальную угрозу могут они представлять?

Но это неверно, это поверхностный взгляд на вещи. Если всерьез задуматься над тем, что сейчас, в конце шестидесятых годов, происходит в Италии,— все предстает в ином свете. Есть факты, известные всем: громадный накал забастовочного движения промышленных рабочих и сельскохозяйственного пролетариата и бурное студенческое движение contestazione. Это слово значит: оспаривание, отрицание, опровержение, протест — выбирайте любое из этих значений, все они подходят для определения идеологии и действий студенческой молодежи. Недавно во время очередного «круглого стола», устроенного еженедельником «Эспрессо», говорилось много интересных вещей о природе contestazione, о социальных корнях этого явления, о взаимоотношениях бунтующей молодежи с левыми партиями. Наивно было бы закрывать глаза на то, что сейчас в странах развитого капитализма — а к ним принадлежит и Италия — происходят сложные и зачастую болезненные процессы, возникли качественно новые моменты.

Но мощное забастовочное движение рабочего класса и бунт молодежи потенциально могут представить вполне реальную угрозу системе. В феврале текущего года состоялся XII съезд Итальянской коммунистической партии. Генеральный секретарь партии Луиджи Лонго, говоря о том, какой глубокий кризис переживает сейчас Италия, выразился совершенно определенно: «Да, мы знаем, что социализм стоит сегодня в порядке дня в Италии: он присутствует в сознании широких народных масс; без социалистических преобразований невозможно полностью разрешить все основные наши проблемы». Конечно же, за словами Лонго кроется многое: все противоречия, старые, традиционные, и новые, порожденные «неокапитализмом», сплелись в болезненный клубок, и многие дальновидные общественные деятели считают, что из всех стран Западной Европы Италия более всего созрела для радикальных, решающих перемен, для социализма.

Однако странно было бы предположить, что все это может произойти, так сказать, идиллически, без борьбы и глубочайших потрясений. Разве логика не подсказывает нам, что в нужный момент наиболее реакционные, консервативные силы итальянской буржуазии могут опять (как это уже было в начале двадцатых годов) использовать вот этих молодых людей, убежденных антидемократов, убежденных фашистов, в качестве мобильных отрядов для превентивной контрреволюции? История Италии последнего десятилетия показывает нам, что такие вещи вполне реальны, достаточно напомнить хотя бы о деле СИФАР, слишком известном, чтобы говорить о нем подробно, и все еще не закончившемся, потому что некоторые влиятельные круги делают все, чтобы помешать расследованию. И я хочу еще раз сослаться на доклад Лонго, который сказал, что в условиях кризиса, переживаемого сейчас Италией (имеется в виду кризис всей структуры), влиятельные экономические круги «способны принять решения, вследствие которых может возникнуть опасность реакции, попытка прибегнуть к силе».

■

И вот я возвращаюсь к тому, с чего начала: почему меня взволновал роман неизвестного итальянского автора? Отчасти потому, конечно, что меня глубоко интересует и волнует все, так или иначе связанное с опасностью фашизма. Итальянская художественная литература к ней обращается часто, иногда это воспоминания бывших фашистов, искупивших впоследствии свои прошлые грехи участием в Сопротивлении, таких воспоминаний много, и нет смысла их перечислять. Иногда это повести, романы, новеллы. Приведу примеры — их нетрудно умножить. «Иностранная литература» напечатала в 1962 году повесть Марчелло Вентури «Отпуск одного немца»; есть еще одна, не переведенная у нас новелла Ренцо Россо «Короткое путешествие в сердце Германии» — там сюжет построен на том, что у

Ц. КИН
СОРОК ПЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

офицера союзного командования не хватает духа разоблачить военного преступника: ему жаль жену этого нациста, которая не подозревает о его прошлом. Но все-таки не эта тематика сейчас преобладает в итальянской прозе. Гораздо больше внимание печати привлекают книги неоавангардистов, происходят дискуссии, посвященные их формальным особенностям,— я читаю и вижу, что это в какой-то мере занятно и даже, может быть, важно, но настоящего интереса не возникает. Я могу прочесть книгу кого-либо из ультрасовременных итальянских писателей с любопытством (а как он это *делает*?), но меня лично такая изощренная холодная литература никогда по-настоящему не трогает, даже если налицо некоторый формальный блеск.

Формального блеска в романе Марины Жарр, пожалуй что, и нет. Книга написана в традиционной манере, несколько, может быть, суховато, сдержанно, без нажима, без малейшей склонности к эффектам, строго реалистически, на многих страницах — с еле уловимой иронической интонацией. При всей своей традиционности, роман кажется мне, однако, вполне современным и не провинциальным (а мы знаем, как часто сами итальянцы жалуются на провинциальный характер своей литературы). Еще одно большое достоинство: у автора есть чувство меры, художественного и психологического такта. Марина Жарр умеет вовремя останавливаться, она не любит патетики, а о самых страшных вещах пишет почти протокольно. Между тем сюжет романа дает ей возможность сделать книгу остросюжетной, использовать разные эффектные приемы, чтобы держать читателя в состоянии постоянного напряжения. То, что от этих возможностей писательница — явно сознательно — отказалась, свидетельствует, на мой взгляд, об уме и вкусе.

Повествование идет в двух планах. Вначале как будто две различные линии, потом они перекрещиваются и объединяются сюжетно. В этом, и только в этом, смысле можно сказать, что Марина Жарр прибегла к приему, ставшему привычным и даже модным. Первая глава называется «Клаус I», потом следуют другие главы, под самыми разными названиями, а потом опять перебивка: «Клаус II», и так чередуются различные главы вплоть до «Клауса IX» и эпилога. Пренебрегая, как уже сказано, эффектами, автор с первой же главы «Клаус I» в открытую представляет нам того, кто является главным персонажем романа. Следуя примеру автора, я тоже сразу расскажу о том, кто такой Клаус Бёр. С небольшой разницей, однако: Марина Жарр сообщает нам подлинную историю Клауса постепенно, глава за главой, и благодаря этому, кроме голой правды фактов, налицо психологическая правда. Клаус Бёр приобретает полнейшую достоверность, его прошлое, его история, его самосознание — все предстает перед нами убедительно, без аффектации, и это — очень страшно. А я в этой статье от постепенного раскрытия персонажа должна, естественно, отказаться.

Итак, кто такой Клаус Бёр? Если читать роман не подряд, а выборочно главы о нем от «Клаус I» до «Клаус IX», мы узнаем все подробности его биографии, и они сливаются в законченную картину. Он родился в 1920 году в небольшом немецком городке, отец преподавал греческий и латинский языки в лицее, он учился... Впрочем, нет смысла сейчас говорить о детстве, перейдем сразу к периоду войны. В главах «Клаус» рассказ ведется от первого лица (кстати, Клаус — настоящее имя, по счастливому совпадению именно Клаусом звали швейцарского инженера Бёра, в которого сразу после войны перевоплотился молодой эсэсовец). В первой же главе Клаус, так сказать, бросает кости на стол: он заявляет, что его целью было, разумеется, «выжить, если только это удастся, любой ценой». Когда после войны он приехал в Турин и устроился в качестве швейцарского инженера в одной крупной строительной фирме, он поставил перед собой цель во что бы то ни стало войти в туринское общество, войти органически, научиться не только отлично говорить, но и *думать* по-итальянски, создать себе прочное положение, жениться на итальянской девушке. Прошлое для него похоронено, со всей кровью и грязью, предательствами, доносами,— похоронено не потому, что оно было дурным, несправедливым, жестоким и безнравственным, но лишь потому, что игра *проиграна*.

И вот Клаус Бёр, военный преступник, убийца и палач, пользующийся теперь большим авторитетом у итальянских коллег, как хороший инженер, мысленно обращается к своим возможным судьям (в том почти невероятном случае, если его поймают и вздумают судить). Этот внутренний монолог выглядит не только как самозащита, это в то же время и обвинительный акт против других, против итальянцев, против любых возможных противников. Клаус Бёр циничен до предела, он решительно ни за кем не признает нравственного права судить себя. Помимо всего прочего, он не верит, что кто-либо всерьез заинтересован в том, чтобы его разоблачить и осудить, а были ли они в этом заинтересованы раньше, сразу после конца войны? Это — как сказать.

«Вы хотели одного: жить спокойно. Вы сняли головы нескольким главарям, да и то не всем, а остальным дали возможность смыться, мелким сошкам вроде меня... Мне незачем искать защитников, я сам — своя собственная защита. Мне надо только опять надеть свою старую форму — найдется еще какая-нибудь на мой рост. Да, мы были изумительной молодежью, господа, мы, обрушившиеся на Европу с неистовством и жаждой славы, столь понятными в тех, кто еще вчера был добродетелен и беден. Мне надо только надеть старую форму — говорю я — и молча сесть между публикой и судьями. Я уже не человек, я персонаж, вы найдете меня во многих фильмах и во многих книгах. Да, конечно же, я именно такой: высокий, белокурый, саркастически усмехающийся, с автоматом в руках,— подумайте-ка, я чуть было не забыл об авто-

мате! Мне незачем раскрывать рот, ведь в самом деле нет ничего, что отличало бы меня от других».

Я привела эту цитату для того, чтобы дать некоторое представление о том, как задуман «персонаж» Клаус Бёр. Но эта цитата вырвана из контекста главы, а самым характерным для главы является сочетание, соединение эдакого вот внутреннего самоутверждения («Да, мы были изумительной молодежью...») с прозаическим и трезвым рассказом о том, как упорно и методично — и как успешно, самое главное,— этот персонаж, белокурый, высокий, с автоматом, интегрируется в туринское общество в первой половине шестидесятых годов. Да, самое главное, до чего успешно...

У меня есть итальянский перевод книги «Черный интернационал» *. Имя автора — Денис Эйзенбергер. Он — англичанин. Подзаголовок книги: «Фашисты и нацисты сегодня в мире». Книга очень интересная, снабженная фотографиями и документами; она вышла в 1964 году, но эта тема, к несчастью, не стареет. О таких книгах вообще следовало бы рассказывать подробно, но сейчас я ограничусь только одним документом — из приложения. Автор взял интервью у одного итальянца. Это Романо В., ему 22 года, он студент четвертого курса юридического факультета.

«Вопрос: Почему ты фашист?

Ответ: Я фашист по убеждению. Думаю, что по своему темпераменту и складу я и должен быть фашистом. Даже удивительно, но я замечаю, что каждая моя искренняя и внезапная мысль положительно соответствует догмам или, скорее, постулатам фашизма.

Вопрос: Ты имеешь в виду фашизм вентенньо **?

Ответ: Нет, я не думаю, что фашизм можно ограничивать и связывать только с вентенньо. Я уверен, что фашизм — это выражение всемирной идеологии, которую нельзя отождествлять с определенной страной или определенным временем. Фашизм надо скорее рассматривать как международное движение, имеющее множество различных форм. Я не верю, что фашизм есть нечто стабильное и застывшее, напротив, по-моему, величайшее его достоинство состоит в том, что он умеет приспосабливаться к действительности. Но в фашизме есть твердые основы. Эти основы, составляющие базу, годятся для любой эпохи и для любого народа.

Вопрос: Я спросил тебя раньше, имеешь ли ты в виду фашизм вентенньо, потому, что я думал, что идеологически — скажем так — установки фашизма содержатся в статье Муссолини «Доктрина фашизма». Ты имел в виду этот документ, говоря о всемирной идеологии?

Ответ: Я не считаю этот документ идеологической основой фашизма, но лишь одной из основ. По-моему, фашизм надо искать не в книгах, будь то статья Муссолини или книга Розенберга «Миф XX века». Надо искать, надо найти подлинную доктрину фашизма, это исследование еще предстоит совершить. Но, конечно, для этого необходимо изучить опыт и точки зрения тех, кто работал во имя фашизма. Фашизм не есть нечто застывшее, он не состоит из нескольких кристаллизовавшихся догм. Прежде всего фашизм — это живой опыт».

Опускаю несколько вопросов и ответов, когда собеседники подробно анализируют различные фашистские режимы в Европе и Латинской Америке, и перехожу к той части разговора, когда Романо В. заявил, что, если бы фашисты выиграли войну, в Европе наступил бы прочный мир и новый порядок.

«Вопрос: Какой новый порядок? Тот, который называется Освенцим, Бухенвальд, Маутхаузен и Дахау? Новый порядок, теоретическая база которого заключается в словах Балдура фон Шираха: «Когда я слышу, что говорят о культуре, я хватаюсь за револьвер»?

Ответ: Слушай, с этой фразой фон Шираха я полностью согласен.

Вопрос: В каком смысле ты полностью согласен? Не можешь ли ты высказаться яснее?»

Очень прошу читателей этой статьи внимательно отнестись к ответу Романо В., потому что он далеко не одинок в своем мнении и нечто подобное мне встречалось в неофашистской печати. Такие вещи мы должны знать. Итак:

«Ответ: Под культурой мы понимаем худшую форму культурализма. Это, собственно, даже и не культура, а некая форма интеллектуализма, который всегда и неизбежно оказывается антифашистским, но он не имеет отношения к настоящему искусству. Для меня культура — это ремесло, а не искусство. Деятели культуры — это ремесленники-профессионалы. Они могут только мычать, и все, в то время как художественное творчество — это нечто непосредственное, спонтанное. Поэтому для меня художник — это фашист, в то время как интеллектуал — обязательно антифашист. Литературный критик, например, тоже может быть художником, но может быть и просто мямлей, пережевывающим идеи, и такова, к сожалению, современная литературная критика».

В дальнейшем из вопросов и ответов мы узнаем немало любопытного о литературных вкусах и о политических взглядах Романо В. Так, например, настоящим художником-фашистом он считает Д'Аннунцио; в отличие от нацистов, он полагает, что «евреев и поляков необязательно было полностью уничтожать»; женщины и дети неизбежно должны были оказаться среди

* Dennis Eisenberger. L'internazionale nera. Fascisti e nazisti oggi nel mondo. Casa Editrice Sugar, 1964.

** Ventennio — так называют в Италии двадцатилетие режима Муссолини.

Ц. КИН
СОРОК ПЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

жертв, потому что «такие вещи обязательно случаются в периоды революции». И, наконец, Романо В. принципиально и убежденно, без тени колебаний принимает формулу антидемократизма.

■

Мы не знаем, в каком городе живет Романо В. (а он — подлинное лицо), может быть, и в Турине. Но разговор английского журналиста с ним состоялся как раз в то время, когда происходят события, описываемые Мариной Жарр. И теперь мы возвращаемся к роману. Заранее предупреждаю: я опускаю много сюжетных линий, о большинстве действующих лиц даже не упомяну. Меня интересует только одна линия, но самая главная — история Клауса Бёра и его намерения полностью влиться в туринское общество шестидесятых годов.

Вторая глава книги называется «Компания», и в ней мы сталкиваемся с группой туринской молодежи. Она служит как бы фоном; лишь некоторым предстоит играть активную, важную роль в развитии сюжета. Это юноши и девушки, происходящие преимущественно из буржуазной среды или из среды буржуазной интеллигенции, лишь некоторые — из более скромных социальных слоев. Многие из них студенты. В отличие от Романо В., они совершенно не интересуются политикой, их прямо-таки тошнит от нее. Никаких громких слов они не признают и не верят в них, они заняты только своими личными делами. У них даже есть формула: «Никакой политики. Никакого синдикализма, феминизма, фашизма». (Кстати, когда одному из этих ребят некий весьма активный молодой человек, главарь университетских фашистов, предложил записаться к ним, тот ответил, что «предпочитает сам выбирать себе бордели». Грубовато, конечно, но, на мой взгляд, выразительно.) К движению contestazione, о котором я писала в начале статьи, эти юноши и девушки никакого отношения не имеют. Настроений бунта и неприятия мира у них нет, да и весь круг интересов не тот, достаточно послушать, о чем они говорят — весело, легкомысленно, порою цинично, очень современно... В общем, употребляя современный итальянский термин, это — disimpegno, что означает отсутствие добровольно принятых на себя нравственных и гражданских обязательств. (Заметим в скобках, что о disimpegno точно писал Либеро Биджаретти в романе «Снисхождение».) Но не станем торопиться с выводами.

Называю некоторых действующих лиц романа, играющих большую роль. Прежде всего это Карло Федерико, которого все зовут Карлин. Он живет в холодном и мрачном палаццо, куда не приглашает даже ближайших друзей — видимо, дома ему неуютно. Он принадлежит к старинной аристократической семье, его предки играли большую роль в движении Рисорджименто, о чем, впрочем, упоминается лишь вскользь. Карлин — тонкий по натуре человек, он впечатлителен и раним, хотя тщательно скрывает это за привычной иронией и небрежностью. Где-то в самом начале романа в тексте мелькнула одна фраза, полунамек, о подсознательной жажде саморазрушения, таящейся в нем. У него обостренная чувствительность, он умен и нервен, может быть, в нем есть какие-то признаки вырождения, присущие очень древним аристократическим родам. Иногда он проявляет почти непонятное безволие: способный, интеллигентный, начитанный юноша, он не может решиться сдать экзамен на аттестат зрелости, не может — и все тут. Это предмет всеобщих шуток и упреков, но Карлин совершенно не в состоянии преодолеть свою нерешительность, в нем есть какая-то заторможенность, и тут ничего не поделаешь. И при всем том, мы с первых страниц чувствуем в Карлине интеллектуала: за позой, за наигранным цинизмом и подчеркнутым презрением к любым «предрассудкам» угадывается напряженная работа мысли, врожденная интуиция, умение страдать молча, а это тоже дано не всем.

Ближайший друг Карлина и в то же время как бы его антипод — Филиппо, юноша, наделенный множеством до того положительных качеств, что это даже подавляет, хотя он действительно хороший парень. Но уж тут никаких нервных вспышек, непродуманных решений, иррациональных поступков: образцовый молодой гражданин благоустроенного государства, от которого никак нельзя ожидать, что он возьмет да и выкинет какой-нибудь номер. Карлин и Филиппо чрезвычайно привязаны друг к другу, но к жизни — как это выясняется при трудных обстоятельствах — они относятся совершенно по-разному. Я думаю, читатели догадываются, что это будет связано с Клаусом Бёром.

■

Несколько слов о том, как строится интрига, самых обязательных, не больше. Клаус Бёр работает в строительной фирме вместе с одним итальянским инженером, Джино Альдригетти. Через него, а точнее, через возлюбленную Джино, Клотильду, он постепенно знакомится с «компанией» и решает жениться на сестре Клотильды, Патриции. Его предложение принято. Ни у Джино Альдригетти, ни у кого из юношей, с которыми Клаус теперь неизбежно сталкивается, не возникает никаких вопросов и сомнений. Единственный человек, начинающий что-то смутно подозревать,— Карлин. Надо заметить еще, что на страницах романа в какой-то момент появляется очень красивая, но несколько странная, с трудным характером девушка из еврейской семьи; ее зовут Дариа, ее отец — врач, и он и сыновья принимали участие в движении Сопротивления, и один брат Дарии погиб. Дариа становится возлюбленной Филиппо, но потом оставляет его ради Карлина. Любовных историй в романе много (Марина Жарр не вдается в чрезмерные психологические тонкости), и я о них не пишу, но без Дарии обойтись нельзя, так как она

играет большую роль в развитии фабулы. А теперь мы возвращаемся к Клаусу Бёру.

В одной из глав «Клаус» мы читаем интересные подробности о его прошлом. Об его интимном друге по имени Герд фон Бек. О не менее интимном друге и покровителе Барнгофе, которому Клаус в значительной мере был обязан быстрым продвижением по служебной лестнице и швейцарским паспортом в момент, когда это было до зарезу необходимо. Само собой разумеется, здесь звучала и тема гомосексуализма (вскользь, со свойственным автору тактом) — это было так модно в Третьем рейхе. И, естественно, Клаусу приходилось во время войны принимать участие «в решении еврейского вопроса». Он пишет, что прекрасно запоминал лица: «После первых расстрелов мне случалось иногда целую ночь видеть во сне лицо, поразившее меня днем. И я рисовал и перерисовывал его во сне, не знаю, карандашом или револьвером, и каждый раз липкое кровавое пятно и волосы, спускавшиеся на лицо, мешали мне дорисовать. А потом они перестали мне сниться».

Да, у Клауса есть свой микрокосмос — он сам так пишет,— и воспоминания занимают в нем большое место. Сначала он «работал» где-то около Ковно, потом вблизи Минска, потом в других местах. Он помнит, как «стоял около первой могилы и считал брошенные в нее трупы». Он помнит партизан, помнит детей. Помнит, как получал повышения в системе гестапо. Что же, пишет он, «если жить означало убивать, мы продолжали убивать». Клаус признает, что мог бы избрать для себя другое поле деятельности — строго говоря, его никто не принуждал. Но он был честолюбив, да, честолюбив и... бескорыстен: «Мое бескорыстие было легендарным, друзья мои, как и моя неутомимость. Надо ли повторять это — я и здесь был первым. И как можно вернуться назад? К чему возвращаться назад, если ты больше не находишь смысла ни в ком и ни в чем? Легко сказать: вернуться назад, когда все внушают тебе такое отвращение, что ты убил бы их всех, независимо от удостоверения о расовой принадлежности».

Здесь надо отметить, что в практике Клауса встречались и элементы «разнообразия»: хотя вообще-то он «работал» в определенной области, ему приходилось иногда параллельно заниматься и другими делами. Так, в главе «Клаус VI» мы читаем подробный рассказ о том, как Клаус однажды руководил важной операцией. Фашисты решили провести репрессии в одной русской деревне, предполагая, что в ней укрывают партизан. Клаус лично расстрелял старуху и двух детей, он описывает одного из них: «замечательный красивый семилетний крепыш»,— и Клаус стрелял неудачно, понадобилось три револьверных выстрела, чтобы прикончить этого ребенка на глазах у матери и толпы деревенских жителей.

Как бы то ни было, Клауса употребляли «для самых деликатных поручений». Нацисты рассчитывали покончить с расовой проблемой по возможности быстро (работа по систематическому уничтожению еврейского населения была малоприятной, но «необходимой для того, чтобы получить повышение»). И все-таки это требовало времени: стрелять и считать стрелять и считать, делать фотографии — это уже скорее для собственного удовольствия,— и наконец Клаус устал и стал проситься на фронт, и его просьбу удовлетворили, а потом Барнгоф раздобыл ему «золотое местечко в маленьком концентрационном лагере, в двух часах езды на машине к северу от Праги». Тут же мы читаем, что Клаус никогда не был фанатиком. Вот чрезвычайно интересный психологический момент: не был фанатиком, не был садистом, не имел никаких извращенных склонностей, относился к своим зверским, гнусным, кровавым делам чрезвычайно прозаически — надо полагать, так же добросовестно и серьезно, как работал в строительной фирме в Турине двадцать лет спустя.

Не знаю — кому как, а мне именно это кажется страшнее всего. Марина Жарр, в общем, не открыла ничего нового, мы знаем по многим произведениям мировой антифашистской литературы именно такой поворот темы: бывший фашист предстает перед нами в роли самого что ни на есть благонамеренного и законопослушного гражданина, он отличный служака и добрый семьянин («Палач улыбается дома за чаем и в жмурки с сынишкой играет охотно»,— Светлов написал это очень давно); прошлое словно перечеркнуто в его памяти, не было этого прошлого, ничего не было — новое имя, новая среда, новые интересы, новая жизнь. Новые взгляды — тоже? Но все-таки Марина Жарр некоторую оригинальность в повороте темы проявила: она создала образ человека, который все помнит и *ни от чего не отказывается* и в то же время, не только из-за инстинкта самосохранения вливается в совершенно новое общество, но и с чувством полного самоуважения. Разве он не демократ, черт побери? Но теперь мы опять сделаем отступление.

В 1965 году итальянский журналист Марио Джована вместе со своим коллегой Анджело Дель Бока выпустил в издательстве Фельтринелли отличную книгу «Дети солнца» (так называет себя одна римская молодежная неофашистская организация), с подзаголовком: «Полвека нацифашизма в мире»; мне тогда об этой книге довелось писать. А год спустя Джована написал еще одну работу, небольшую, на этот раз она вышла в малоизвестной туринской фирме «Эдиционе даль Альберо», интересующейся острой социальной проблематикой. Они выпускают дешевые, в бумажной обложке книги, рассчитанные на массового читателя.

Марио Джована со знанием дела анализирует развитие итальянского неофашизма

Ц. КИН
СОРОК ПЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

за двадцать лет — после окончания войны до 1965 года. Во-первых, он сообщает множество фактов, причем достоверных, полученных из первоисточников. Во-вторых, он уделяет много внимания идеологии. Откуда понабрался своих идей студент юридического факультета Романо В.? Ведь он, бесспорно, что-то читает. Ведь он утверждает, что краеугольный камень его верований — не только статья Муссолини «Доктрина фашизма» и книга Розенберга «Миф XX века», но и нечто иное и что надо «изучить опыт и точки зрения тех, кто работал во имя фашизма». Есть все основания предполагать, что Марио Джована знает суть дела, и вот, говоря об идеологии, он в первую очередь называет одно имя: Юлиус Эвола.

Мне уже пришлось писать в «Иностранной литературе»* о Юлиусе Эволе, именно как о человеке, которого итальянские неофашисты считают своим идеологом, но та моя статья была написана за полтора года до выхода в свет книги Джованы и только на основании имевшихся у меня различных неофашистских журнальчиков и брошюр, так что к этому выводу я тогда пришла почти интуитивно. Книгу самого Эволы я в то время также еще не читала, и убеждение, что именно он является идеологом всевозможных «детей солнца», сложилось у меня скорее на основании косвенных данных. Теперь есть категорическое утверждение Джованы. Кроме того, существует новая книга Эволы «Фашизм. Критико-аналитическое эссе с точки зрения Правой», ее выпустило римское издательство Джованни Вольпе, специализировавшееся на книгах такого рода. Этот издатель явно знает, чего он хочет и за что борется: фашизм, расизм, антидемократизм. Он печатает и итальянских и иностранных авторов, тут — планы, серийное производство, надо полагать, далеко идущие замыслы.

Книга Эволы написана профессионально, не вульгарно, без дешевой риторики и отъявленной демагогии, характерной для большинства неофашистских изданий, которые мне довелось читать. Марио Джована утверждает, что для «правых» Эвола является чуть ли не пророком. Поверим и сообщим об этом пророке некоторые сведения. Барону Юлиусу Эволе сейчас семьдесят лет. Более сорока лет он занимался «магическим идеализмом» и различными эзотерическими доктринами. Он считает себя философом, мало того, претендует на то, что именно он, а не кто-либо иной является истинным идеологом итальянского фашизма. В 1939 году он напечатал в газете «Тевере» серию статей, которые, по некоторым свидетельствам, очень нравились Муссолини, называвшему Эволу запросто «Барон». Потом он написал книгу, озаглавленную «Синтез расовой доктрины», она вполне отвечала пропагандистским установкам режима, который к тому времени под влиянием и нажимом Гитлера полностью перешел на позиции расизма, чего, кстати, до 1938 года в Италии не было. Теории Эволы являлись, так сказать, итальянским вариантом немецких расистских концепций. Говоря схематично, Эвола утверждал, что существуют расы двух категорий: первого и второго сорта. Потом шла спецификация: «раса души», «гиперборейская раса», «демоническая», «солнечная», «теллурическая» (земная), «возбуждающая чувственность», «амазонская» и так далее. Марио Джована сообщает, что иезуиты из журнала «Чивильта каттолика» — а там работают люди квалифицированные — заявили тогда, что «синтез», придуманный Эволой, является плодом усердного, но «плохо переваренного» чтения и не представляет никакой научной ценности. Муссолини, однако, читал его книгу и отозвался одобрительно. Вообще же, хотя это и странно, в библиографии того времени имя Юлиуса Эволы почти не встречается.

Но в пятидесятых годах некоторые экзальтированные неофашисты как раз и объявили Эволу своим пророком и духовным отцом. Нашлись, впрочем, иные, не менее убежденные фашисты, которые «Барона» не признают и ищут себе других идеологов. Но все эти их внутренние дрязги можно оставить в стороне, и лучше мы обратимся непосредственно к его книге «Фашизм», потому что это, как-никак, подведение итогов, и не лишенное интереса. Эвола, продумывая опыт прошлого, предъявляет итальянскому фашизму несколько серьезных упреков. По его убеждению, режим погиб потому, что был *недостаточно реакционным*, делал реверансы в сторону плебса и позволял себе забывать о том, что судьбы нации всегда решают не массы, а элита. Впрочем, стоит ли так много говорить о прошлом? Я внимательно читаю книжку Эволы и нахожу в ней политические пассажи, прямо относящиеся к настоящему. И к будущему. И это, конечно, уже серьезнее, чем ностальгия «Барона». Ведь каждое движение, будь то прогрессивное или самое что ни на есть реакционное, нуждается в идеологической платформе, иначе оно не может существовать. Такую идею Юлиус Эвола предлагает, и мы постараемся в ней разобраться, но пока на некоторое время оставим в стороне «философию» и вернемся к литературе.

■

Когда перечитываешь роман второй раз, обращая внимание, как это обычно бывает, на нюансы, ускользающие при первом чтении, обнаруживаешь, что Клаус Бёр в своем общении с туринской молодежью, во время прогулок по городу, разговоров о том, о сем много раз попадал в несколько двусмысленное положение. Часто казалось, что вот-вот произойдет нечто непредвиденное и неприятное, что Бёр, в сущности, балансирует на туго натянутом канате и может сорваться. Но только один раз что-то в самом деле произошло. Эпизод описан на трех-четырех страничках, но на нем многое держится.

* «Зловещие тени прошлого». «Иностранная литература» № 4, 1965 год.

При обстоятельствах, о которых нет смысла рассказывать, «компания», включая Патрицию и Клауса Бёра, заходит в полутемную квартирку антиквара, чтобы выбрать — в связи с предстоящей свадьбой — одно из двух заранее присмотренных зеркал. В кресле около печурки, закутавшись в шаль, сидит, то и дело сплевывая в платок, жена антиквара, вялая, равнодушная, скупо отвечающая на вопросы покупателей. Они просят зажечь свет, и Бёр произносит какую-то незначительную фразу. И вдруг женщина своим бесцветным голосом спрашивает, где она могла видеть его раньше,— он не итальянец. Бёр с полным самообладанием отвечает, что он швейцарец, давно живет в Турине и не помнит, чтобы когда-нибудь был в этой квартире. «Нет»,— возражает она и так же монотонно, но с абсолютной уверенностью заявляет, что он немец, она таких достаточно перевидела, недаром она «выплевывает в платок свои легкие».

Никакого монолога старуха не произносит, она как будто даже не взволнована. Она только смотрит на Бёра и говорит:

«Двадцать женщин — на три вагона; триста семьдесят пять ящиков. Разгружать безостановочно. Двенадцать часов в день. Спросите его, где он был».

Желая положить конец этой неприятной сцене, Карлин дает задаток за одно из зеркал, и все направляются к выходу. Старуха все так же монотонно говорит им вслед:

«Хорошо. Вам удобнее — забыть. И вам неприятно, когда мы говорим об этом».

Все. Никаких обвинительных речей. Остается неясным, узнала ли она Клауса, видела ли она его на самом деле, был ли он реально среди ее палачей или она почувствовала в нем одного из людей, забыть которых не сможет никогда, хотя другим, может быть, «удобнее забыть». Вся сцена написана лаконично, ёмко и производит большое впечатление. Никто, в общем, ничего не понял: девушки растеряны, Филиппо говорит, что иногда происходят странные вещи, Бёр держится с полным самообладанием, и все сходятся на том, что старуха — полупомешанная, если не совсем сумасшедшая. Но, оставшись наедине с Филиппо, Карлин («идиот этакий!») начинает потихоньку ненавистывать «Джовинеццу»* и неожиданно заявляет: «А, между нами говоря, в нашем Бёре действительно есть что-то от эсэсовца».

Так в романе возникает новая напряженность. Оказывается, Карлин, у которого не хватает характера, чтобы заставить себя пойти и сдать в конце концов эти чертовы экзамены на аттестат зрелости, к некоторым вещам относится как подобает. Мысль о том, что среди них находится скрывающий свое прошлое фашист, который к тому же скоро женится на одной из девушек «компании», совершенно лишает его покоя. Он хочет *разоблачить* Бёра во что бы то ни стало. Появляется тема личной моральной ответственности, тема impegno, прямых нравственных и гражданских обязательств.

Возникает вопрос: почему носителем идеи impegno в романе сделан именно Карлин, неврастеник, подверженный депрессиям? Нужно ли это только для того поворота сюжета, который избрала Марина Жарр, или за этим кроется нечто большее: авторское отношение к сегодняшнему итальянскому обществу, горькое сознание, что о трагическом и позорном прошлом в самом деле слишком многие забыли? Может быть, финал прояснит нам это, а пока мы возвращаемся к главам «Клаус», которые отлично монтируются с теми главами, где рассказ идет от третьего лица.

Мотивировка брака: Бёр не любит Патрицию, и она даже не вызывает в нем особых желаний, но по ряду соображений женитьба на девушке из семьи крупной туринской буржуазии его устраивает — «инженер Бёр окончательно входит в свой мир». Пусть это будет монотонное, заурядное существование, неважно — Бёр, как уже сказано, «не фанатик», и его не привлекают авантюры «где-нибудь в Бразилии». Слишком долго он жил с комплексом неполноценности, боялся чьего-то суда, от этого комплекса он теперь, к счастью, избавился, и обстоятельства благоприятствуют.

Клаус рассуждает о своих соотечественниках, оставшихся в ФРГ. Разумеется, они, так же как и он сам, решительно ни в чем не виноваты, и аргументы защиты те же самые: ничего не знали, выполняли приказы и т. д. Однако он, Бёр, ведет себя разумнее многих. Например, прежде чем бежать из Праги пятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, он тщательно уничтожил архивы («эту последнюю работу, выполненную для блага любимой родины, я проделал так же добросовестно, как и все, чем занимался раньше»); итак, он сжег архивы, потом встретился с Барнгофом, у которого была навязчивая идея: «самое главное — не попасться русским», потом получил свой швейцарский паспорт. Он стал уже как бы не участником, а свидетелем заключительной сцены последнего акта, он слышал, как говорили: «немцы капут».

И вот мы читаем на 363-й странице романа нечто вроде программной декларации военного преступника, сотрудника гестапо Клауса Бёра, благополучно устроившегося в Турине: «Я выучил свой урок, я всегда умел быстро соображать. Меня заботят судьбы демократии, я против смертной казни, я против тех, кто портит зеленые насаждения, я за равенство всех народов (любого цвета кожи и любых религий), я за строительство новых школьных зданий. Я такой же, как вы. Впрочем, я всегда был таким... Поэтому подтвердите окончательно мою невиновность, разве я не посылаю вам сделанную с отменным вкусом бонбоньерку?»

---

* Официальный гимн итальянских фашистов.

Ц. КИН
СОРОК ПЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Хорошо написано: сжато, иронически, жестоко издевательски, точно говоря. И — ни слова от автора. Разве это не настоящий обвинительный акт, произнесенный самим Бёром, против всех, кто предпочитает забыть, *кто позволяет себе забыть*, добавим мы. Парадоксально, конечно, что нацист Бёр заявляет: «Я такой же, как вы». Но надо сделать поправочный коэффициент: «вы» — не универсальное понятие, его ни в коем случае нельзя применять к итальянскому народу, нельзя обобщать, «вы» — это лишь определенная категория людей, хотя мы с сожалением должны заметить, что таких людей не так уж мало.

Тем временем жизнь идет своим чередом: любовные истории, работа, учеба. Филиппо в конце концов уговорил Карлина сдать экзамены на аттестат зрелости, помогает ему заниматься. Параллельно развивается другая тема — взаимоотношения Карлина и Клауса. Внешне — создаются отношения почти фамильярные, они переходят на «ты» и зовут друг друга просто по имени. Но за этим — сложная игра, происходят острые разговоры: один хочет знать *наверняка* (хотя внутренне уверен, что не ошибается), другой слишком умен, чтобы не понимать. Он понимает, но необъяснимым образом Карлин чем-то привлекает Клауса. Мало того, моментами он едва удерживается от искушения что-то рассказать о себе, в чем-то признаться. Может быть, потому, что Карлин напоминает ему одного из интимных друзей юности, мы упоминали его имя: Герд фон Бек. Нет. Клаус ничего не сказал, он умеет владеть собой. И все же... Однажды ночью Филиппо будит звонок, это Карлин, который заявляет:

«— Я тебе все скажу по телефону, сейчас, потому что завтра, возможно, будет слишком поздно. Может статься, что меня прикончат.

— Как это,— спросил Филиппо,— кто может тебя прикончить?

— Бёр,— ответил друг».

Ритм повествования становится быстрее, возникает ощущение тревоги. Еще ничего не произошло, но может произойти. Филиппо отнюдь не психолог, не отличается впечатлительностью и не склонен заниматься делами, которые его непосредственно не касаются. Но мало-помалу и он проникается сознанием, что все это «не бульварный роман», а нечто очень серьезное и обязывающее. Мы узнаем продолжение истории со старухой: Карлин и Клаус на машине поехали за зеркалом, Карлин зашел в квартиру один. Когда он вышел, Клаус небрежным тоном, но пристально глядя на Карлина, спрашивает: «Ну, что еще тебе рассказала старая синьора?» И когда Карлин отвечает, что старуха, кажется, даже не узнала его, Клаус легко замечает. «Мы с тобой всегда в добром согласии».

«И в этот момент,— говорит Карлин несколько взволнованному Филиппо,— я понял, что, скажи я что-либо иное, он застрелил бы меня. Два выстрела, и капут. Я был уже не Карлином, я был уже не человеческим существом... но всего лишь пятном на красивом рисунке или, как говорится, неудачно двинутой пешкой в игре, которую обязательно надо выиграть».

Что они должны теперь делать? Факт тот, что Филиппо обещает другу помочь ему. Оба понятия не имеют, как приступить к делу практически. Карлин хочет ехать вместе с Филиппо в Швейцарию, собрать доказательства, а пока что просит друга, который будет свидетелем на свадьбе и увидит документы на предварительной процедуре в мэрии, запомнить все данные, касающиеся Бёра: место и дату рождения, имена родителей и так далее. В общем, и Филиппо на какой-то момент проникается убеждением, что «проклятый немец» самым наглым образом обманывает их всех. Но — и тут вступает в игру новое обстоятельство: ведь Филиппо — трезвый человек, признающий одни лишь факты, он не такой фантазер, как его друг Карлин, он против импульсивных, непродуманных поступков.

Ритм рассказа опять становится медленнее, на первый план выходят отношения Филиппо и Дарии: вначале он был отчаянно влюблен, мечтал жениться на ней, потом стал колебаться: в ней была какая-то непонятная ему тревога, неуравновешенность, близость с ней налагала особые нравственные обязательства; в довершение всего она с бессмысленным, необъяснимым вызовом заявила, что изменила ему с Карлином. Разумеется, Филиппо задет, расстроен, ревнует, но автор романа, как я уже писала, обладает бесспорным вкусом: было бы слишком элементарно строить сюжет на том, что Филиппо, возмущенный «предательством» своего лучшего друга в этой любовной истории, в отместку, так сказать, отстраняется от участия в разоблачении Бёра. Отнюдь нет. Бёр, к слову говоря, несколько раз уже говорил, что его тревожит здоровье Карлина (ему кажется, заявляет он, что у Карлина нервное возбуждение, нервное истощение, Бёр не решается только намекнуть, что у Карлина навязчивые идеи).

И вот происходит решающий разговор между Филиппо и Карлином. Филиппо приносит другу какие-то материалы, нужные для сдачи экзаменов. Поскольку это одна из кульминационных сцен романа, перевожу отрывок:

«— Я принес тебе последние заметки, на этом мы закончим.

— Когда мы едем?

— Слушай, я думал об этом,— сказал Филиппо и солгал только наполовину, потому что, произнося эти слова, он как бы собрал воедино обрывки мыслей, приходивших ему в голову в течение дня,— я думал об этом. По-моему, сейчас неподходящий момент.

— Я понял,— ответил Карлин,— ты тоже считаешь меня чуть ли не сумасшедшим.

— Ничего подобного, я только считаю, что тратить время на этого возможного

военного преступника сейчас, когда ты должен сдать экзамены, было бы безумием.

— Это куда важнее, чем мои экзамены.

— Пока что мы этого еще не знаем.

— В общем, что ты предлагаешь?

— Я предлагаю пока оставить это дело. Сдай экзамены, а потом опять поговорим.

— Выходит, он тебя тоже охмурил своими мягкими, благовоспитанными манерами и этим своим канцелярским языком?

— Ничего подобного,— запротестовал Филиппо...— ничего подобного. Но, видишь ли, я люблю конкретные вещи.

— Из-за своей любви к конкретным вещам,— сказал Карлин,— англичане чуть было не стали союзниками Гитлера. Значит, мне остается одному садиться на коня...»

Это еще не конец спора; не раз и не два в дни, оставшиеся до свадьбы Клауса, настойчиво, драматически возвращается Карлин все к тому же вопросу. Он не может действовать в одиночку, он не справится, но он всем своим существом хочет добиться цели, разоблачить, сорвать маску с этого проклятого нациста. Однако Филиппо стоит на своем: Карлин — «анархист», есть дела поважнее, все это весьма проблематично, надо раньше сдать экзамены... И после одного из таких мучительных разговоров Карлин заявляет: «Ладно, я иду домой. А что до тебя — ты мне за это заплатишь». Филиппо видит, как Карлин садится в трамвай, и вздыхает с облегчением: «Все прошло хорошо, бог даст, больше не возобновятся разговоры о военных преступниках».

Филиппо думает об угрозе друга: «Ты мне за это заплатишь». Разумеется, это вздор, Карлин появится через несколько дней, а может быть завтра же, чтобы узнать о том, как прошла свадьба. Разве что сам придет в церковь посмотреть,— впрочем, на это у него не хватит смелости. Как бы то ни было, сейчас положение по-настоящему прояснилось, и Филиппо доволен. В самом деле, говорит он себе, у него никогда не было намерения ехать в Швейцарию, он никогда не собирался вернуться к Дарии. Кончено, все кончено, он выздоровел: пусть убирается, куда хочет, эта лгунья; пусть отправляется куда ему угодно Карлин. Что касается его, Филиппо,— он свой долг выполнил.

Свадебная церемония проходит отлично. Собрался весь туринский бомонд. Клаус казался растроганным ровно настолько, насколько полагалось; Филиппо как свидетель расписался в регистрационной книге, конец. Филиппо отправляется домой и первый раз за все это время его охватывает, он еще сам не знает почему, чувство глубокой грусти. Он тоскует о Дарии, в чем-то вообще понимает свою неправоту. Наутро, когда Филиппо собрался куда-то идти и вышел уже в переднюю, раздался звонок в двери. Это был Джанджо, парень из «компании».

«— Я ухожу,— сказал Филиппо,— тебе что-нибудь от меня нужно?

— Филиппо,— сказал Джанджо,— Филиппо, они умерли. Дариа и Карлин. Они умерли».

■

Нет, это не было убийством — говорю сразу, чтобы мысль читателей не устремилась по ложному направлению. Официально — несчастный случай, очень нелепый. Карлин и Дариа погибли, задохнувшись: они поехали на машине в горы, где у Карлина был небольшой дом, поставили машину в гараж, сами остались в ней и, вероятно, чтобы согреться, не выключили мотор. Выхлопные газы, вот и все. Смерть не мучительная. Да, по всей вероятности, несчастный случай. (Не исключено, однако, и нечто иное: «ты мне за это заплатишь» — месть неврастеника, психопата, увлекшего за собою ничего не подозревавшую девушку; не исключено и самоубийство.) Но это ничего не решает: несчастный случай или самоубийство — все равно: поражение.

Поэтому ли меня взволновал роман Марины Жарр? Просто ли потому, что мне хотелось другой развязки, разоблачения, возмездия? Повторяю, есть большая горечь в том, что носителем идеи impegno оказался юноша, у которого не хватило настойчивости и воли, есть символика и в том, что девушка, погибшая вместе с ним,— еврейка, в то время как истребление евреев было, так сказать, большой заслугой Клауса перед фюрером и нацистским режимом. И вот сейчас, когда статья почти уже написана, я еще раз, третий раз, перечитываю главу «Клаус IX», последнюю главу о Клаусе.

Сразу после свадьбы Клаус и Патриция уезжают в традиционное путешествие. За утренним кофе, развернув газету, Клаус читает хронику происшествий. Он скорее огорчен, ведь они с Карлином были почти что друзьями. И к тому же: газ, какой дурной вкус, какие неприятные ассоциации все это вызывает. Подсознательно, конечно, он желал исчезновения Карлина. Но, как бы то ни было,— конец, и все к лучшему. Каким абсурдом было это внезапное искушение «исповедаться», как смеялся бы над этим Барнгоф —идти на такой риск. Странно, но искушение это возникло после слов той старухи: «Где я видела вас раньше?» Клаус сомневается в том, что женщина в самом деле могла узнать его, хотя это и не исключается, конечно. Впрочем, от простого «узнала» до официального установления личности очень далеко, трудно было опасаться, документы идеальные, и вообще... Сам он не может припомнить, к какой национальности или расе принадлежали заключенные женщины, работавшие в нацистских лагерях; эта старуха упоминала о разгрузке каких-то вагонов, очень возмож-

---

Ц. КИН
СОРОК ПЯТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

но, что она действительно видела Клауса, но ведь «он был немецким офицером и всегда выполнял свой долг», так что все нормально.

И вот — апофеоз, последний абзац этой главы:

«А если вы не верите мне, взгляните на факты, взгляните на итоги. Посмотрите, на чьей стороне оказалось счастье. Потому что это все-таки счастье — разве же нет? — жить, и дышать, и есть, и умирать благопристойной смертью,— посмотрите, чем все это кончилось. Несмотря на груды трупов, несмотря на собранную в кучи сорванную одежду, несмотря на пепел, несмотря на вопли и все ужасы... посмотрите, на чьей стороне было счастье. На чьей стороне был бог.

В чем виноват я, если бог был со мною, если бог был с нами?»

■

Вот и закончен рассказ о «Памятнике параллели». Остается только упомянуть о том, что Филиппо после трагической смерти друга и Дарии посвятил во всю эту историю одну из самых умных девушек «компании» по имени Мария-Грация. Отец девушки — юрист, ему сообщили все подробности, и он «обещал написать письмо». Недоговоренность. И тоненькая ниточка: может быть, все-таки счастье не всегда будет сопутствовать Клаусу Бёру. Так что же, идея impegno действительно потерпела поражение? В аннотации издательства Самона и Савелли мы читаем: «Роман «Памятник параллели» дает поэтический ответ на один из острейших вопросов современности: «Для кого создано наше общество? Кто в нем — победители и кто — побежденные?» Мне кажется, вопрос сформулирован точно, но дает ли роман ответ на него? И в силах ли автор романа дать ответ?

В связи с такой постановкой вопроса мы не можем не обратиться опять к Юлиусу Эволе и его книге «Фашизм». Напоминаю, что он анализирует опыт итальянского фашизма «с точки зрения Правой». Впрочем, Эвола пишет не только о режиме Муссолини, он считает своим долгом защищать и Гитлера. В самом деле, мы читаем: «Известна организованная в неслыханных масштабах пропаганда, которая стремится, в особенности ссылаясь на Германию, представить все, что происходило в тот период, исключительно как нагромождение уродств, как позор и ужас. На первый план выдвигают, конечно, гестапо и ОВРУ *, концентрационные лагеря и так далее, со всеми преувеличениями, произвольными обобщениями, а иногда и прямыми измышлениями, пригодными для этой цели».

В этой статье я не пишу подробно о книге «Барона», о его рассуждениях по поводу экономики, корпоративного режима, иностранной политики, расовой проблемы (только одно беглое замечание: в случае военной победы фашистских режимов и установления «нового порядка» ни при каких обстоятельствах не допустили бы «бунт цветных народов, никогда не возник бы убийственный психоз антиколониализма»). Мне хочется остановиться только на вопросах, поднятых в последней, XIII, главе книги, поскольку она итоговая и в ней высказаны некоторые интересующие меня соображения.

Юлиус Эвола недоволен существующими в Италии «исключительными законами», направленными против фашизма и апологии фашизма. Прежде всего, он считает эти законы противоречащими логике, так как, хотя он сам признает, что это звучит несколько парадоксально, в условиях демократии «свобода мнений» должна быть обеспечена всем, в том числе антидемократам. Рассуждая теоретически, он великодушно допускает для демократического государства право защищать себя от тех, кто хочет свергнуть это государство насильственным путем, но тут же напоминает, что ни в Италии, ни в Германии ничего подобного не было: в Италии король поручил Муссолини возглавить правительство, а в Германии нацизм пришел к власти, получив большинство голосов в парламенте и во время плебисцита.

Читаешь все это и не знаешь — негодовать или смеяться. Ведь надо же обладать таким извращенным умом и такой невероятной беззастенчивостью, чтобы сейчас писать подобные вещи. Дальше — больше. Поскольку «Барон» — человек широкий, он допускает, что правительство Итальянской республики может иметь возражения «против некоторых внешних проявлений» (фашистское приветствие, черная рубашка, фашистские гимны и т. д.), но он совершенно не понимает, как можно считать преступной «апологию фашизма». Это, как он выражается, юридически абсурдно, тем более что прежде всего надо в точности установить, что следует понимать под словами «фашизм» и «фашист». А установить это, по мнению Эволы, практически невозможно, поскольку многие черты, свойственные фашизму, он находил и при изучении других, предшествовавших режимов, начиная с античности.

«Для кого же создано наше общество?» — как выражается неаполитанское издательство,— «кто в нем — победители, и кто — побежденные?» К великому счастью, не закрывая глаз на неофашистов, на активность наиболее консервативных групп монополистической буржуазии, на истории вроде СИФАР, мы никогда не согласимся с мыслью, что победители — они, что перевес — за ними, хотя Клаус Бёр и заявляет: «В чем виноват я, если бог был со мною, если бог был с нами?»

Юлиус Эвола, который, кстати, без ложной скромности пишет о том, что не только в Италии, но нигде в Европе не появлялось еще книги, подобной его «критическому анализу с точки зрения Правой», считает, что в фашистской доктрине заложены некие ценности, сохраняющие свое значение и актуальность и теперь. Он уточняет свою

* Тайная полиция при режиме Муссолини.

мысль: «Первое, что характеризует государство, о котором мы говорим,— абсолютное неприятие всякой демократии и всякого социализма. Это государство положит конец идиотской льстивости, трусости и лицемерию всех тех, кто сегодня только и твердит слово «демократия», провозглашает демократию, восхваляет демократию. Демократия есть не что иное, как регрессивное, упадочное явление».*

«Барон», надо заметить, не очень уважительно высказывается о существующем сейчас «национальном движении». Имеются в виду неофашисты, роль которых ограничена (их надо употреблять «почти что только для физической защиты»). Самое главное — найти людей или группы людей, у которых хватит мужества бескомпромиссно поднять на щит и отстаивать «то положительное, что было в фашизме». Что касается масс — дело обстоит просто: «формула «политизировать массы» должна быть отброшена. Большая часть здоровой и хорошо управляемой нации не должна заниматься политикой. Фашистская триада «власть, порядок и справедливость» сохраняет свое незыблемое значение».

■

Да, выходят такие книги, как «Фашизм» Юлиуса Эволы. Да, в городе, стоящем на сорок пятой параллели, и в других городах Италии — и не только Италии — живут такие, как Клаус Бёр, и неплохо живут, ничего не скажешь. И такие студенты, как Романо В., провозглашающие свою веру в идеологию фашизма. И существует неофашистская партия MSI («Мовименто сочиале итальяно»), которая заявляет, что у нее «этическое видение жизни», и выбрала своим символом катафалк, из которого вырывается трехцветное пламя. Аллегория довольно дешевая, по правде говоря,— это означает вечность идеи, берущей свое начало в нетленном прахе дуче. И еще многое другое можно добавить. Но не это решает.

* Julius Evola. Il fascismo, p. 114.

Решают совсем другие вещи: законы диалектики, законы исторического развития. В теперешней его стадии итальянский «неокапитализм» в условиях «государства благосостояния» поставил на карту «левого центра», согласившись на некоторые реформы и уступки, буквально вырванные организованным рабочим движением. Но при сколько-нибудь серьезном изменении экономической конъюнктуры могут быть сделаны попытки переиграть, и такие попытки уже делались. Ни для кого не секрет, что монополистический капитал по природе своей деспотичен, склонен к авторитарным решениям и всегда держит про запас какой-нибудь вариант «греческого типа». Только в Италии это, пожалуй, не пройдет.

■

В феврале 1969 года в Болонье состоялся XII съезд Итальянской коммунистической партии, мы говорили об этом в начале статьи. Съезд показал глубину корней, прочность исторической преемственности, верность великим революционным традициям, которые никому не удастся уничтожить. Мы возвращаемся к теме impegno. В сильном и горьком романе Марины Жарр носитель этой идеи обаятельный юноша Карлин оказывается побежденным. А Клаус, мысленно обращаясь к своим воображаемым обвинителям, убежденно заявляет: «Я такой же, как вы». Но это неправда. Не своекорыстные буржуа, не обыватели, которым «удобнее забыть», определяют сегодня судьбу нации. В Италии полтора миллиона коммунистов, и каждый третий человек голосовал за ИКП на прошлых парламентских выборах. И, может быть, самым замечательным и обнадеживающим фактором в сегодняшней Италии является высокое чувство собственного достоинства, понимание своей силы, самосознание рабочего класса, мощное движение молодежи, отвергающей старую систему буржуазных ценностей. Я глубоко верю в то, что есть все основания для оптимизма.

Под тяжестью денежных трудностей в США перестал выходить журнал «Рэмпартс», завоевавший себе популярность разоблачительными выступлениями по актуальным вопросам американской политической жизни и резкой критикой современной американской буржуазной культуры.

Мы печатаем опубликованную в этом журнале статью одного из крупнейших американских критиков-литературоведов старшего поколения Максуэлла Гейсмара о политической публицистике Марка Твена.

На фоне столь модного в буржуазных кругах отказа сегодняшней американской «академической» критики от социального подхода к литературе политического протеста Гейсмар выступает в этой своей работе как продолжатель прогрессивной критической традиции 30-х годов, находящей сейчас поддержку в движении «новых левых».

Надо специально отметить, что, оценивая полемику советских и американских литературоведов по вопросу о социальных и политических мотивах в творчестве Твена, Гейсмар должен признать: «Русские ученые были правы, а американские — не правы». Объясняя интерес к Марку Твену советских читателей тем, что Твен в свое время поддерживал революционное движение в России, автор несколько упрощает вопрос. Высоко ценя сочувствие Твена к передовым людям России, наши читатели любят его как великого художника-реалиста, обогатившего американское и мировое искусство замечательными произведениями и боровшегося за социальную справедливость как у себя на родине, в США, так и во всем мире.

МАКСУЭЛЛ ГЕЙСМАР

ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ И ДЛЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Марк Твен об империализме, расизме и других характерных чертах американской республики

«Теперь давайте решать. Будем ли мы по-прежнему осчастливливать нашей Цивилизацией народы, Ходящие во Тьме, или дадим этим несчастным передохнуть? Будем ли мы и в новом веке оглушать мир нашей привычной святошеской трескотней или отрезвимся и сперва поразмыслим? Не благоразумнее ли собрать все орудия нашей Цивилизации и выяснить, сколько осталось на руках товаров в виде Стеклянных бус и Богословия, Пулеметов и Молитвенников, Виски и Факелов Прогресса и Просвещения (патентованных, автоматических, годных при случае для поджога деревень), а затем подвести баланс и подсчитать прибыли и убытки, чтобы решить уже с толком, продолжать ли эту коммерцию или лучше распродать имущество и на выручку от продажи затеять новое дело под маркой Цивилизации?»

Если бы наглые и алчные колониальные державы начала 900-х годов прислушались к совету разгневанного Марка Твена, новый век, возможно, не ознаменовали бы пятьдесят лет (за которыми, чего доброго, последуют еще пятьдесят), заполненных тем, что по существу является расовой войной под маркой таких расплывчатых и изменчивых понятий, как национализм и капитализм. Уже на пороге века Твен понимал, что прибыли отдельных лиц, корпораций и наций в конечном счете обернутся бесконечными национальными убытками, массовыми страданиями всего человеческого общества, повсеместными жертвами и разрушениями.

В поздних вещах Твена все нарастает отвращение к тому, что стало представляться ему «проклятым человечеством». В одном из его самых злых памфлетов, «Человеку, Ходящему во Тьме», содержится предвидение того, во что выльется психология империализма. Показал он это на историческом явлении, которое можно считать предвестником наших дней,— на миссионерском рвении, с каким Америка подчиняла себе китайцев во время Боксерского восстания 1900 года. «До сих пор,— писал он,— одеяния Дарами Цивилизации Братьев, Ходящих во Тьме, было, в общем, выгодно, и даже теперь, если действовать осмотрительно, это предприятие может приносить барыши, но все же, по-моему, недостаточные для оправдания серьезного риска. Людей, Ходящих во Тьме, становится все меньше, и уж очень они нас дичатся. Тьма же все

редеет и редеет — для наших целей ей не хватает густоты. Большинство Людей, Ходящих во Тьме, стало теперь видеть настолько яснее, чем прежде, что это уже не полезно для них и не выгодно для нас. Мы проявили недостаток благоразумия».

И все же, издевательски утверждал Твен, Людям, Ходящим во Тьме, можно объяснить наш образ действий применительно к колониям: «Факты, которые мы изложили, могут показаться вам сомнительными, но это не так. Да, мы лгали, но из высоких побуждений. Да, мы поступали вероломно, но лишь для того, чтобы из кажущегося зла родилось подлинное добро. Да, мы разгромили обманутый, доверчивый народ; да, мы предали слабых, беззащитных людей, которые искали в нас опору; мы стерли с лица земли республику, основанную на принципах справедливости, разума и порядка; мы вонзили нож в спину союзнику и дали пощечину своему гостю; мы купили у врага призрак, который ему не принадлежал; мы силой отняли землю и свободу у верившего нам друга; мы заставили наших чистых юношей взять в руки опозоренное оружие и пойти на разбой под флагом, которого в былые времена разбойники боялись; мы запятнали честь Америки, и теперь весь мир глядит на нас с презрением,— но все это было к лучшему. Нам это ясно». После чего Марк Твен предложил заменить американский флаг новым, на котором белые полосы будут закрашены черным, а вместо звезд появятся череп и кости.

Ненависть к колониализму, расизму, рабству во всех его видах, к эксплуатации, нищете и страданиям, конечно же, не была «новой струей» в творчестве Сэмюела Клеменса. Она ясно выражена и в ранних его вещах, яснее всего, пожалуй, в широком гуманизме «Гекльберри Финна», где весь долгий путь Гека и Джима вниз по Миссисипи есть бегство от угнетения к свободе.

Но по мере того, как Твен становился старше и, возможно, мудрее, свободу воображения, создавшего его вымышленных персонажей, все больше связывал реальный мир, от которого он уже не мог отгородиться. И нарастающий гнев его поздних произведений нельзя объяснить, как то пыталось делать большинство критиков, рассуждениями о том, что Клеменс был «ожесточившийся старик», переживший финансовое разорение и семейные трагедии. Этот гнев был вызван медленным умиранием «американской мечты», за которой он так долго гнался. Личные невзгоды были не *причиной* политического и социального радикализма Твена, но опытом, который сосуществовал с его взглядами, придавая им трагическую глубину.

Неотъемлемой чертой всех этих поздних очерков, полных социального протеста и нравственного негодования, является поразительный юмор, которого не могла вытеснить вся его ирония и возмущение. Еще в 1873 году в корреспонденции, которую он послал в «Нью-Йорк трибюн» по поводу предполагаемой аннексии Гавайских островов, он нащупывал тему своих позднейших очерков: «Нам просто необходимо аннексировать Сандвичевы острова. Мы можем осчастливить островитян нашим мудрым, благодетельным правлением. Мы можем завести у них новинку — воров, от мелких карманных воришек до важных птиц в муниципалитетах и растратчиков государственных денег, к показать им, как это забавно, когда таких людей арестовывают, предают суду, а потом отпускают на все четыре стороны — кого за деньги, кого в силу «политических связей». Им придется краснеть за свое простое, примитивное правосудие... Мы можем учредить там суд присяжных, набрав заседателей сплошь из самых умилительно-простодушных тупиц. Мы можем основать там железнодорожные компании, которые будут скупать законодательные органы, как старое платье, и давить колесами поездов лучших из местных граждан... Мы командируем туда Джеев Гулдов, которые быстро отучат островитян от старомодного предрассудка, будто воровство — неблаговидное занятие... Мы пошлем туда лекторов! Я сам первый поеду... Мы можем превратить эту группу сонных островов в оживленнейший уголок земного шара, украсить его нравственным величием нашей превосходной, священной цивилизации. Аннексия — вот что необходимо бедным островитянам! «Братьям, во мрак погруженным, откажем ли в светоче жизни?»

Взгляды Марка Твена не менялись с годами; менялся его материал — и напряженная горячность трактовки. Мир Сэма Клеменса подвергся метаморфозе — быстрой, грубой, насильственной; сам же он остался прежним. Личные трагедии, возможно, отняли у него долю веселости и оптимизма, но они не наделили его свойствами, которые он так остро подмечал вокруг себя,— грубостью, жадностью, садизмом. Красноречивая и резкая социальная сатира позднего Твена — это не напыщенная декламация некогда великого писателя, а знаменательное столкновение человека со своей эпохой, породившее искусство неповторимо индивидуальное, отточенное и углубленное жизнью и историей, свернувшей на неправый, пагубный, самоубийственный путь. Вместо того чтобы пытаться усмотреть в его поздних писаниях художественный спад, как то делали столь многие литературоведы, мы бы должны радоваться, что нашелся достойный летописец данного исторического кризиса, неравнодушный наблюдатель искусства, цивилизации и жизни.

Среди очерков, которые Клеменс написал в то время о своей родной меняющейся Америке (утратив моральную простоту и величие, присущие старой республике в ее лучшую пору, она превращалась в военно-экономическую империалистическую силу,

---

МАКСУЭЛЛ ГЕЙСМАР
ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
И ДЛЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

чья исполинская тень должна была вскоре упасть на Европу, Азию и Африку), вспомним «Избиение племени моро» (1906) — своего рода эпилог к «Человеку, Ходящему во Тьме». «Племя темнокожих дикарей», как называет их Твен, укрепилось в кратере потухшего вулкана вблизи Холо, на Филиппинах. «Поскольку они относились к нам враждебно и были озлоблены, так как мы в течение восьми лет пытались лишить их свободы и законных прав, занятая ими позиция представлялась угрожающей». Командующий американскими войсками генерал Леонард Вуд установил, что моро насчитывают 600 человек, включая женщин и детей; что кратер расположен на вершине горы, на высоте 2200 футов над уровнем моря и «подъем туда для христианских войск и артиллерии очень труден». Когда к кратеру удалось наконец поднять столько же американских солдат и их подсобников, сколько в кратере было моро, генерал Вуд отдал приказ: «Эти шестьсот человек убить или взять в плен».

Глубина кратера была около 50 футов, отмечает Твен и продолжает: «Началась битва (так официально называется то, что произошло). Наши войска открыли по кратеру артиллерийский огонь, подкрепляя его стрельбой из своих смертоносных винтовок с точным прицелом; дикари отвечали яростными залпами — скорее всего ругани, впрочем, последнее — это только мое предположение. До сих пор моро обычно пускали в ход ножи и дубины, а иногда допотопные мушкеты, если удавалось их достать... В официальном сообщении сказано, что обе стороны сражались с большой энергией, что битва длилась полтора дня и закончилась полной победой американского оружия. Насколько полна эта победа, указывает тот факт, что из шестисот моро в живых не осталось ни одного. Насколько она блестяща, указывает другой факт, а именно: из наших шестисот героев на поле брани пало только пятнадцать. Генерал Вуд наблюдал битву с начала и до конца. Его приказ гласил: «Этих дикарей убить или взять в плен». Очевидно, наша маленькая армия истолковала это «или» как разрешение убивать **или** брать в плен, смотря по вкусу; и так же очевидно, что их вкус был тем же самым, который уж восемь лет проявляют наши войска на Филиппинах,— вкусом христиан-мясников».

Клемене отмечает, что газеты США — тогда, как и теперь — раздували «героизм» и «доблесть» американских войск, скорбели о гибели пятнадцати белых солдат, расписывали ранения еще нескольких — и ни словом не упомянули о шестистах убитых моро. Сопоставив потери сторон в Гражданской войне, при Ватерлоо и в «жалкой комедии», получившей название Кубинской войны, он продолжает: «Сравните все это с великолепными статистическими данными, полученными из кратера, где укрывались моро! С каждой стороны в бою участвовало по шестьсот человек; мы потеряли 15 человек убитыми на месте, и еще 32 было ранено... У противника было шестьсот человек, включая женщин и детей, и мы уничтожили их всех до одного, не оставив в живых даже младенца, чтобы оплакивать погибшую мать. Несомненно, это самая великая, самая замечательная победа, одержанная христианскими войсками Соединенных Штатов за всю их историю».

Далее Твен подробно описывает, как молчала страна и как президент Теодор Рузвельт направил генералу Вуду поздравительное послание за то, что он поддержал честь американского флага. Затем идет обзор газетных сообщений, в которых уже начали объяснять и оправдывать избиение моро. «Никогда еще я так не гордился нашим флагом!» — добавляет он по поводу газетных заголовков, утверждавших, что «в жестокой битве на вершине Дахо невозможно было отличить женщин от мужчин. Нагие дикари были так далеко внизу, на дне кратера, что наши солдаты не могли отличить женскую грудь от маленьких мужских сосков; они были так далеко, что солдаты не могли отличить еле ковыляющего двухлетнего карапуза от темнокожего великана».

Однако самый, пожалуй, знаменитый из памфлетов Твена, написанных в начале века,— это «Монолог короля Леопольда». Сейчас стало почти трюизмом утверждение, что бельгийское владычество в Конго было мрачной репетицией нацистского террора в Европе; что если это произошло в «дикой» Африке, значит, возможно и в «цивилизованной» Европе; что если массовое уничтожение людей уже практиковалось — ради прибылей — на черных народах, значит, можно прибегнуть к нему ради высших этических, моральных и патриотических целей и в отношении «низших» разновидностей белой расы. Оставим в стороне правомерность этих аналогий, но достоверно известно, что в 1885—1905 годах в Бельгийском Конго было совершено десять миллионов убийств — цифра немалая даже по сравнению с упорядоченными фабриками смерти и другими «научными» методами массового уничтожения, разработанными в фашистской Германии.

Памфлет о Леопольде — как и все, что написал Твен в это время и позже,— большинство ученых критиков называют «примитивным» по форме, либо «неровным», либо даже «бесформенным» — эти эпитеты они, особенно в 50-х и 60-х годах, использовали, чтобы зачеркнуть весь последний период резкой социальной критики в творчестве Твена. А дело, конечно, в том, что Твен снова изобрел для этого жанра собственную, неповторимую форму, и то, что на первый взгляд было грубо и небрежно, оказалось чрезвычайно красноречивым и сильным, а исторически — просто бесценным.

Для «Короля Леопольда» Твен собрал газетные заголовки, свидетельства журналистов, побывавших в Конго, фото изувеченных дикарей, запечатленных новым по тому времени, неопровержимым свидете-

лем — кодаком, отчеты миссионеров, официальные доклады конголезских администраторов и сделал из них монтаж, сцементированный работой собственного воображения, дышащий неистовым гневом негодующего сатирика. Леопольд у него произносит монолог. Обложившись документами и отчетами о своих злодеяниях, он злобно ругается, целует распятие, оправдывается, признает, что допустил кое-какие ошибки, рассуждает, не испытывая ни капли чувства вины и христианского раскаяния, защищается от нападок за зло, причиненное им ни в чем не повинному, беззащитному народу. «Сколько миллионов я потратил на то, чтобы заткнуть рот прессе обоих полушарий... Сколько миллионов я потратил на религию и искусство, а что получил? — спрашивает Леопольд.— В газетах — ничего, кроме клеветы, одной только клеветы... Эти мерзавцы выбалтывают решительно все!»

А затем Клеменс рассказывает, как Леопольд получил территорию Конго от Великих держав, в том числе США, чтобы искоренить там рабство, прекратить облавы на рабов «и вывести эти 25 миллионов кротких и безобидных чернокожих из тьмы к свету, свету нашего благословенного Спасителя».

Но документы, которыми автор окружил Леопольда, показывают, что в течение двадцати лет он был абсолютным властителем плодородного края, по площади в четыре раза превосходящего Германскую империю, и распоряжался миллионами его жителей как своей личной собственностью, как крепостными, как рабами. «Да,— говорит твеновский Леопольд о своих хулителях,— эти длинные языки выбалтывают все! Выбалтывают, что я облагаю население непомерными, прямо-таки грабительскими налогами, и гуземцы, добывая каучук в невероятно тяжелых условиях... должны вдобавок сдавать почти все, что вырастили на собственных клочках земли; а когда (длинные языки выбалтывают и это!), изнемогая от непосильного труда, голода и болезней, отчаявшиеся люди бросают родной кров и бегут в леса, спасаясь от наказаний, мои чернокожие солдаты, завербованные мною из враждующих племен, по наущению и под руководством моих бельгийцев — «этих гнусных бельгийцев», как называет их Клеменс,— устраивают облавы, безжалостно убивают их, сжигают деревни, и если кого еще щадят, так только девушек...»

«Итак, еще одна подробность — людоедство! С оскорбительной назойливостью теперь заговорили о людоедстве! — в отчаянии восклицает Леопольд.— Мои хулители не упускают случая подчеркнуть, что поскольку я самодержец и одного моего слова достаточно, чтобы любое дело прекратить, постольку все, что совершается, совершается с моего соизволения и может быть причислено к *моим* действиям, иначе говоря, это делаю я, а рука моего агента по сути — моя рука! Не удивительно, что меня изображают в королевской мантии, с короной на голове, жующим человеческое мясо и возносящим благодарственную послеобеденную молитву... Начинают кощунствовать — сеточать на бога: как, мол, он терпит на земле такого дьявола? То есть меня! На их взгляд, это непорядок. Их в дрожь бросает при мысли, что за двадцать лет моего владычества число жителей Конго сократилось с 25 миллионов до 15. «Король, у которого на совести 10 миллионов убийств,— пишут они и добавляют: — рекордсмен!»

«Монолог царя» (1905), в некотором роде продолжение «Короля Леопольда», не был так же хорошо понят и так популярен, но с литературной точки зрения этот памфлет, более сжатый и недвусмысленный, еще безошибочнее бьет в цель.

Клеменс был одним из немногих американцев, не одобрявших посредничества Теодора Рузвельта в русско-японской войне. За Портсмутский мирный договор «краснобай-президент» получил Нобелевскую премию, но у Твена, как он писал в своей «Автобиографии», этот договор отнял надежду, что побежденная Россия найдет революционный выход из «бессмысленного и невыносимого рабства».

«Я надеялся,— заявил он в то время агентству Ассошиэйтед пресс,— что пока свобода в России не обеспечена, мира не будет. По-моему, нет сомнений в том, что теперь это дело задушено и Россия снова закована в цепи, теперь уже надолго. По-моему, теперь царь возьмет назад и те небольшие уступки, которые были вырваны у него силой, и с чувством невыразимого облегчения и радости вернется к своим методам средневекового варварства... По-моему, мирный договор не даст ничего, хотя бы отдаленно соизмеримого с тем, что принесено ему в жертву».

«Монолог царя» был, между прочим, призывом к немедленным и кровопролитным действиям. Дженет Смит *— чье собрание социальных сатир Твена лучшее из всех, которые я видел,— пишет: «На самом деле Марк Твен имел в виду не революцию, а программу политических убийств. Эту программу различные русские группировки, главным образом анархисты и нигилисты и главным образом люди молодые, усердно выполняли еще с 1881 года, когда был убит Александр II, один из самых либеральных русских царей. Однако Александр III, царствовавший после него, был царем того же сорта, что и Николай II, взошедший на престол в 1894 году» и, добавим от себя, ставший героем твеновского памфлета.

Еще в 1890 году Клеменс высказал свои взгляды на Россию в неотправленном письме редактору американского журнала «Сво-

* Гейсмар имеет в виду сборник публицистических статей М. Твена, выпущенный американской писательницей Дженет Смит в Нью-Йорке в 1962 г.

МАКСУЭЛЛ ГЕЙСМАР
ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
И ДЛЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

бодная Россия»: «Я, конечно, понимаю, что самым правильным способом изничтожить русский престол была бы революция. Но устроить там революцию невозможно; поэтому остается, видимо, одно: до тех пор оставлять престол вакантным с помощью динамита, пока сами претенденты с благодарностью от него не откажутся...»

В том же письме он дал понять, что смотрит на историю отнюдь не глазами пацифиста: «Возможность писать эти кровавые строки в уюте и безопасности была куплена для меня реками крови, пролитой на многих полях сражений, во многих странах, но я не располагаю ни одним, хотя бы самым жалким, правом или привилегией, которые получил бы в результате петиций, уговоров, агитации за реформы или каких-либо подобных мер. Если вспомнить, что даже самый ограниченный из монархов, английский, ни разу не вернул ни одного украденного им общественного права, пока это право не вырывали у него при помощи кровавого насилия, разумно ли предполагать, что в России можно чего-нибудь добиться более мягкими методами?»

Если учесть эти и другие мотивы в «Монологе царя», становится понятно, почему современные русские литературоведы относятся к Марку Твену с таким почтением, почему они так хорошо осведомлены о его творчестве и почему они выразили протест, когда американские литературоведы в разгар холодной войны замалчивали всю эту категорию его сочинений. Разумеется, русские ученые были правы, а американские — не правы. Любой читатель памфлетов Твена может подтвердить, что его социальная критика — украшение его творчества и должна быть признана украшением культуры его страны.

Поводом для «Монолога» послужила Твену заметка в одной лондонской газете, где говорилось, что после утренней ванны и до того как идти одеваться русский царь обычно проводит час в размышлениях. «Что за странное, необъяснимое создание человек! — говорит этот единокровный брат короля Леопольда.— Миллионы русских на протяжении столетий покорно разрешали нашей семье грабить их, оскорблять, попирать их права и жили, мучились и умирали единственно для того, чтобы обеспечить довольство нашей семьи! Это не люди, а ломовые лошади, хотя они носят одежду и ходят в церковь. Лошадь, у которой силы во сто раз больше, чем у человека, позволяет ему бить себя, погонять, морить голодом, а миллионы русских позволяют малой горстке солдат держать их в рабстве, причем эти солдаты — их же сыновья и братья!»

Эти великолепные очерки вовсе не выражают «разочарованности» озлобленного «неудачника» в жизни и в искусстве; скорее они — логический результат работы мысли большого художника, до глубины души оскорбленного вопиющей социальной несправедливостью.

Тем же острым пониманием неограниченной способности человека проявлять бесстыдную жестокость проникнут и еще один очерк Твена, характеризующий нравы и психологию его родины,— «Соединенные Линчующие Штаты» (1901). Самыми яркими чертами панорамы, которая ему открылась, оказались колониализм, империализм и расовые предрассудки. Это произведение полно такой тоски и негодования, что Твен решил не публиковать его. Даже когда двадцать лет спустя его друг, биограф и редактор Альфред Бигелоу Пейн включил его в изданный посмертно сборник очерков Твена «Европа и другие места», его сильно тревожило, какое это произведет впечатление.

«Итак, великий штат Миссури пал! — вот какими словами отозвался Твен на волну линчеваний в Миссури.— Несколько его сыновей примкнуло к линчевателям, и клеймо позора легло на всех нас. По милости этой горстки его сыновей о нас теперь сложилось определенное мнение, на нас наклеили ярлык: отныне и навеки для жителей всего мира мы — «линчеватели».

«Едва ли люди дадут себе труд подумать,— писал Клеменс с характерной для него иронией,— что огромное большинство миссурийцев, пекущееся о своем добром имени, не поддерживало этих действий, что сотня миссурийцев-линчевателей — это, в сущности, ренегаты. Нет, такая здравая мысль не придет им в голову; они обобщат два-три нетипичных примера и скажут: «Миссурийцы — линчеватели». Им недоступны спокойные размышления, логика, чувство пропорций. Цифры для них — ничто; цифры ничего им не говорят, не подсказывают никаких разумных суждений... Люди скажут: «У них там сто линчевателей, значит, миссурийцы — линчеватели». Немаловажный факт, что два с половиной миллиона миссурийцев не принадлежат к числу линчевателей, не изменит их приговора... О Миссури!»

Линчевание совершилось, когда стало известно, что какая-то молодая женщина, белая, была найдена убитой и, возможно, изнасилованной — «обычное преступление» тех лет, обычный предлог для линчевания негров. «И хотя в той округе немало церквей и школ,— продолжает Твен,— народ взбунтовался: линчевали трех негров (из них двух стариков), сожгли пять негритянских хижин и тридцать негритянских семей выгнали в лес». Да, видите ли, церкви. Позволительно спросить, как спросил Твен, какое же христианство исповедовалось в этих южных церквах и какую роль играло духовенство в борьбе с самосудами?

А дальше Клеменс замечает, что всякий раз, как негра линчуют по обвинению в изнасиловании, это заставляет все новых негров задуматься о возможности изнасилования и все новых белых — участвовать в линчеваниях. В 1900 году случаев линчевания было на восемь больше, чем в 1899, а на 1901 год предсказывают больше случаев, чем в 1900 году, главным образом в Алабаме, Джорджии, Луизиане и Миссисипи.

Вторую причину роста линчеваний на Юге в эти страшные годы Клеменс видит попро-

сту в нравственной трусости человека — на это он мельком намекал еще на тех мрачных страницах, что создают некий трагический фон в «Гекльберри Финне». Теперь, много лет спустя, он пишет: «Полагают — и говорят,— что линчевание доставляет людям удовольствие, что народ рад возможности поглазеть на интересное зрелище. Но этого не может быть, опыт доказывает обратное. Люди, живущие в южных штатах, сделаны из того же теста, что и те, которые живут в северных, а подавляющее большинство этих последних — люди порядочные и сердечные, и они были бы глубоко, до боли опечалены подобным зрелищем и... пошли бы посмотреть и сделали бы вид, что это им очень нравится, если бы считали, что иначе они вызовут неодобрение общества. Такие мы есть — и тут уж ничего не поделаешь. Прочие животные не такие — но и тут мы ничего не можем поделать. У них отсутствует Моральный Критерий, мы же не можем избавиться от него, не можем продать его хотя бы за бесценок. Моральный Критерий подсказывает нам, что есть добро... и как уклониться от добрых деяний, если они непопулярны».

Моральный критерий! Излюбленный объект иронии позднего Марка Твена. Неужели же, спрашивает он, в противовес этому стадному инстинкту не найдется горстки мужественных людей вроде тех шерифов, что сдержали толпу линчевателей, или тех отважных головорезов, что могли такую толпу устрашить? Но нет, отвечает он, этот план не пройдет. «Нет у нас материала, из которого выковываются люди с отважной душой, в этом отношении мы нищие».

Впрочем, есть еще и другой план: «Давайте вернем американских миссионеров из Китая и предложим им посвятить себя борьбе с линчеванием. Поскольку каждый из 1511 находящихся там миссионеров обращает по два китайца в год, тогда как ежедневно на свет появляется по тридцать три тысячи язычников, потребуется свыше миллиона лет, чтобы количество обращенных соответствовало количеству рождающихся и чтобы «христианизация» Китая стала видна невооруженным глазом. Следовательно, если мы можем предложить нашим миссионерам такое же богатое поле деятельности у себя на родине — притом с меньшими затратами и достаточно опасное,— так почему бы им не вернуться домой и не попытать счастья?»

Далее Твен приводит сообщение о линчевании одного негра, множит его на 115 (число линчеваний за 1900 год), прибавляет 88 (уже известное число линчеваний в 1901 году) и предлагает: «Поставьте эти 203 человеческих факела в ряд так, чтобы вокруг каждого было по 600 квадратных футов свободного пространства, где могли бы разместиться 5000 зрителей, христиан-американцев — мужчин, женщин и детей, юношей и девушек. Для большего эффекта пусть они представят себе, что дело происходит ночью, на пологой, постепенно повышающейся равнине, так что столбы расположены по восходящей линии и глаз может охватить всю двадцатичетырехмильную цепь костров из пылающей человеческой плоти. (Если бы мы расположили эти костры на плоской местности, то не могли бы видеть конца цепи, ибо изгиб земной поверхности скрыл бы его от наших глаз.) И вот, когда все будет готово, и спустится тьма, и воцарится внушительное молчание — не должно быть ни звука, если не считать жалобных стонов ночного ветра да приглушенных всхлипываний несчастных жертв,— пусть все уходящие вверх, облитые керосином погребальные костры вспыхнут одновременно и пламя вместе с воплями предсмертной муки вознесется прямо к небу, к престолу всевышнего... Зрителей соберется свыше миллиона, свет костров выхватывает из ночи неясные очертания шпилей пяти тысяч церквей. О добрый миссионер, о сострадательный миссионер, покинь Китай, вернись домой и обрати этих христиан!»

Таково знаменитое заключение «Соединенных Линчующих Штатов» — поистине достаточно «драматичное», «красочное», «сценичное» и «отработанное», чтобы удовлетворить самые заветные мечты даже такого строгого критика, как Генри Джеймс. (Сам Джеймс в своей «Американской сцене», написанной в то же время и тоже об американском Юге, пожелал описать только типы «дикарей американского племени», которых он там обнаружил, и ужасные трагедии, вторгшиеся в семьи южных аристократов, которым он горячо сочувствует.) И вот Марк Твен призывает обратно на родину тех самых американских миссионеров, которых он высмеивал в первом из своих поздних памфлетов «Человеку, ходящему во тьме». Он описал полный круг: то, что вначале воспринималось им как злостный империализм Старого Света, он обнаружил у себя дома, в Новом Свете с его нарождающимся империализмом и расизмом. И круг замкнулся.

Но это отнюдь не значит, что он перестал писать в жанре радикальной социальной критики, которую ученым литературоведам периода холодной войны предстояло заклеймить как прискорбную, неприятную и неэстетичную. Сэмюел Клеменс знал, что к концу жизни открыл для себя новый источник вдохновения. Каждое возвращение к таким темам, как колониализм и расизм, окрыляло его фантазию и рождало новые страницы блестящей, иронической, гневной, а нередко и безудержно веселой полемической прозы, написанной и для своего времени и для всех времен. Воспринимая и искусство и жизнь более здраво, чем его критики, как современные ему, так и будущие,— а они тем больше робели, чем больше проникалась запретами их культура,— он до конца жизни черпал из этих золотых россыпей своего искусства, испытывая от этого сатанинскую радость, очищая свой неистовый дух, освежая свой гений.

Перевод с английского М. ЛОРИЕ

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Среди писателей и ученых разных стран за последние годы усилились споры вокруг структурализма и возможностей структуральных методов для исследования искусства и других областей человеческой деятельности. Эти дискуссии, затрагивающие основные проблемы познания природы и общества, идут и в нашей стране.

Сегодня мы печатаем статью известного советского писателя и ученого В. Шкловского, посвященную критическому разбору работы американского ученого Р. Якобсона «Поэзия грамматики и грамматика поэзии», которая представляет собой одну из основных попыток применения структурального анализа к классическим образцам искусства.

В. ШКЛОВСКИЙ

«ПОЭЗИЯ ГРАММАТИКИ И ГРАММАТИКА ПОЭЗИИ»

1

Статья под таким названием, принадлежащая перу Романа Якобсона, напечатана в томе «Поэтика», изданном польской Академией наук в 1961 году (Варшава).

Роман Якобсон не только широко известный лингвист, но и человек, принимавший непосредственное участие в создании современной поэтики. Изучая проблему русского и чешского стиха, он решил многое в общих вопросах поэтики замечательно.

Кажется мне, что в новой статье Роман Якобсон работает как бы по инерции, изменяя выбор материала, но не всегда обогащая принципы анализа. Лингвистика наступает на поэтику, даже не проведя артиллерийского обстрела.

Приведу начало 1-й главы этой статьи — «Грамматический параллелизм»: «На склоне тридцатых годов редакторская работа над сочинениями Пушкина в чешском переводе наглядно показала мне, как стихи, думалось бы, тесно приближающиеся к тексту русского подлинника, к его образам и звуковому ладу, зачастую производят сокрушающее впечатление глубокого разрыва с оригиналом в силу неумения или ж невозможности воспроизвести грамматический строй переводимого стихотворения. Становилось все ясней: в поэзии Пушкина путеводная значимость морфологической и синтаксической ткани сплетается и соперничает с художественной ролью словесных тропов, нередко овладевая стихами и превращаясь в главного, даже единственного носителя их сокровенной символики» (стр. 397).

Параллелизм автор определяет так: это «...Взаимоотношение синтаксических, морфологических и лексических соответствий и расхождений, различные виды семантических сходств и смежностей, синонимических и антонимических построений, наконец, типы и функции «холостых строк» — все эти явления требуют систематического обследования» (стр. 400).

Сложность предложения объясняется сложностью утверждения. Автор хочет охватить все случаи параллелизма, начиная с простейших повторений. Он приводит пример, когда у «кольских лопарей два смежных лица совершают одинаковые действия и служат как бы стержнем для автоматического, бессюжетного нанизывания таких самодовлеющих парных формул:

Я — Катерина Васильевча, ты — Катерина Семеновна;
У меня кошелек с деньгами, у тебя кошелек с деньгами;
У меня сорочка узорчатая, у тебя сорочка узорчатая;
У меня сарафан с хазами, у тебя сарафан с хазами

и т. д.».

Это тавтологический параллелизм.

Далее приводятся примеры из текста знаменитого лубка о Фоме и Ереме.

Два брата или приятеля совершают одинаковые, но разно описанные действия. Мне кажется, что это случай параллелизма иронического, как бы нарушающий параллелизм смысловой. Здесь одинаковое, пользуясь синонимами, выдается за разное.

Роман Якобсон анализирует это так:

«Различие между сопоставляемыми выступлениями обоих братьев лишены значимости, эллиптическая фраза «Фома в дубник» вторит полной фразе «Ерема ушел в березник», оба героя одинаково бежали в лес, и если один из них предпочел березовую рощу, а другой — дубовую, то только потому, что Ерема и березник — ровно амфибрахии, а Фома и дубник—оба ямбы. Такие сказуемые, как «Ерема не докинул, Фома через перекинул», в свою очередь, оказываются, по сути дела, синонимами, сводясь к общему знаменателю — «не попал». В терминах синонимического параллелизма описаны не только братья, но и все, что их окружает: «Одна уточка белешенька, а другая-то что снег». Наконец, там, где синонимия спадает, вторгаются паронимические рифмы: «Сели они в *сани,* да поехали *сами*». (стр. 401).

Различие этого построения от обычного параллелизма, утверждающего одинаковость или сходство принципиально разного, мне кажется явным. Возьмем заглавие самой статьи из сборника «Поэтика» — «Поэзия грамматики и грамматика поэзии». Совпадение левой и правой части не полное — оно как бы зеркально.

Слово «поэзия» стоит в заглавии по краям, дважды повторенное слово «грамматика» — в разных падежах, посредине все разрезано словом «и».

«И» — слово разнопонимаемое, оно часто встречается в заглавиях научных произведений. Юрий Тынянов назвал тематический сборник статей «Архаисты и новаторы». Одно время он колебался и хотел дать название «Архаисты — новаторы», потом собирался написать специальную статью под названием «И».

Постараемся выяснить, что обозначает «и» в заглавиях типа «Шекспир и его время» или «Пушкин и Батюшков».

«И» — это часто эксплуатируемое короткое слово, обозначающее то соединение, то противопоставление, иногда одновременность, чаще — ничего.

Параллелизм заглавия обещает нам, что поэзия грамматики объясняет нам грамматику поэзии. Может быть, утверждается, что язык, его структура, рождает грамматику поэзии. Анализ дается на стихотворении. В стихотворениях выбираются такие, в которых строй, сопоставление слов как будто позволяет обходиться без так называемых троп.

В то же время не указываются, или может быть считается неважным, так называемые сюжетные построения, оперирующие событиями. Анализируемые элементы, кроме того, предполагаются существующими в одно время или вне времени, то есть скорее представляются нарисованными, чем сказанными.

2

Процесс создания литературного произведения монистичен по принципу, но вряд ли этот принцип осуществляется только грамматическими повторениями, хотя он и может их использовать.

Смысловые параллелизмы, сопоставления отдельных ступеней развития судеб одних и тех же героев мы встречаем в трагедиях Шекспира, в комедиях Мольера: они довольно часто оформляются как параллелизм истории господ и слуг.

Сны Анны Карениной — тоже пунктирный параллелизм ко всему роману, они не грамматичны, хотя изложены словами, имея в себе элементы и совпадения и несовпадения состояний.

Существует много параллелизмов и много метафор для изображения любви. Можно сравнить любовь с пламенем, а можно сравнить и часто сравнивают с топтанием травы, можно сравнить любящих с деревьями разных пород, можно усиливать сравнения тем, что деревья выросли на могиле любящих. Но Лермонтов перевел гейневское стихотворение, как бы не заметив, что в переводе пальма и сосна одного рода,— любовь исчезла, но осталась разлука, расстояние, неслитность пейзажа. Осталась тема одиночества, полного одиночества, вне любовной тоски.

Я думаю, что Лермонтов мог бы написать стихотворение так, чтобы сосна обратилась в кедр или в дуб, чтобы далекое дерево имело бы название мужского рода. Но он избрал иное противопоставление, написав стихотворение о другом.

Я говорю о несходстве сходного.

Несходство сходного — анализ сходного через несходное, сопоставление далекого, восприятие знакомого как вновь найденного, сдвиг, изменение мира через качество восприятия — основное качество искусства. Искусство не геометрично.

Геометрия имеет свое вдохновение, но она утверждает и хочет установить нечто единое, точное понимание, а искусство обычно устанавливает, что похожее не похоже, а если же все похоже, то, конечно, можно петь песню про Фому и Ерему, но она в репертуаре скоморохов единственная.

Песня кольских лопарей — это не песня про Фому и Ерему, эта песня имеет другую функцию.

«Ты — это я, я — это я, хотя одежда у нас обоих одинаковая». Песня лопаря, вероятно, говорит о замкнутом одиночестве человека.

Вот ты и я — у нас все одинаковое, вот мы едем вместе, но ты один, и я один. Соединяет нас только то, что я тебя вижу.

Я тебя не описываю, а перечисляю твои признаки.

Современная русская песня «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...» тоже содержит параллелизм, полностью выраженный, но она сюжетна, в ней поется: «И нельзя рябине к дубу перебраться».

Помню, как эту песню пел сине-седой и красивый, ныне покойный, русский писатель и плакал, когда пел.

Структура песни не лежит только в грамматическом ее построении и не в ее зрительном построении. Все это средства, которыми создают выход из одиночества.

Осознавая расстояние между собою и другими, человек узнает того, другого, или то, другое. Главное—он видит себя, видит в сравнении. Он как бы выходит из дома и оглядывается на светящиеся окна, а за окном находится он сам — обычный, себя не знавший.

Трудно писать статьи без терминологии.

Кажется мне, что перенесение законов грамматики на поэзию — это утверждение универсальности одной из структур, а это еще не доказано.

Теория языка, созданная в последней четверти века, точна и мужественна, но структуру языка она целиком пытается перенести на искусство. Поэма создается в сфере языка, но она — часть искусства и должна быть понятна на основании законов этого соотношения явлений. Структуры не должны заменять одна другую, она структура именно потому, что определенна.

Сходное в искусстве обычно оказывается различным. Мы часто обнаруживаем совпадение в разном, и тогда можно предположить, что это вызвано существованием и какого-то общего, более широки потребности такого построения и потребности изменения функции построения.

Существует, например, параллелизм Дон Кихота и Санчо Пансы: существует роман Филдинга «Том Джонс Найденыш», где герой имеет помощника-слугу, явно похожего на Санчо, кроме того, существует роман того же Филдинга «Джозеф Эндрус» — роман пародирует ричардсоновскую «Памелу»: мужчина поставлен в положение женщины, судьба горничной заменена судьбой лакея. Любовные перипетии принимают пародийный характер.

Одно и то же построение может быть осмыслено и как комическое и как драматическое.

Отождествление литературы с языком, вернее, отождествление законов их построений неправильно потому, что муза литературы имеет сестер со сходными нравами.

3

Существовала, например, еще недавно немая кинематография со своими законами. Перенесение на нее построения литературной терминологии неправильно.

Сейчас кинематография, как ребенок — за юбку матери, держится за экранизацию. Эта ошибка тяжела именно потому, что законы кино не совпадают с законами языка.

Более чем пятьдесят лет тому назад мы поняли, что «образ» не является главным признаком поэзии. Об этом мы писали в 1916 году. Роман Якобсон цитирует по этому поводу несколько запоздалую статью Вересаева, напечатанную в «Новом мире» в 1960 г. (посмертно) «Записи для себя»: «По свидетельству Вересаева, ему иногда казалось, что «образ — только суррогат настоящей поэзии». Так называемая «безóбразная поэзия», или «поэзия мысли», широко применяет «грамматическую фигуру» взамен подавляемых тропов» (стр. 404).

Прозаик, художник, переводчик В. В. Вересаев сделал несколько биографических монтажей: «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни», построение этих книг небрежно и безоговорочно. Вероятно, Р. Якобсон вкладывает в цитату свое чтение. Но ссылки лучше давать точно. Поэтому приведу отрывок из заметки Вересаева, упомянутой в статье Р. Якобсона.

Для заметки Вересаева типично то, что он в ней, на основании частного и неразработанного примера, дает широкое, но нерешительное обобщение, которое сделало его попутчиком автора разбираемой статьи.

«У Пушкина в вариантах к «Графу Нулину»:

Он весь кипит, как самовар...
Иль как отверстие вулкана,
Или... сравнений под рукой
У нас довольно — но сравнений
Не любит мой степенный гений,
Живей без них рассказ простой...

Действительно характерная особенность Пушкина — он не любит образов и сравнений. От этого он как-то особенно прост, и от этого особенно загадочна покоряющая его сила. Мне иногда кажется, что образ — только суррогат настоящей поэзии, что там, где у поэта не хватает сил просто выразить свою мысль, он прибегает к образу. Такой взгляд, конечно, ересь, и оспорить его нетрудно. Тогда, между прочим, похеривается вся восточная поэзия. Но несомненно, что образ дает особенный простор всякого рода вычурностям и кривляньям»*.

Выражение «вся восточная поэзия» очень неопределенно.

Кроме этой, так неточно названной поэзии, в литературу суррогатов попадает поэзия романтиков и народная поэзия.

В основном тексте, повторив имя героя, пародируемое римской трагической историей, Пушкин написал:

К Лукреции Тарквиний новый
Отправился, на все готовый...

Исторические пародийные параллели сменяются строками, которые смутили тогдашнюю критику. Граф Нулин крадется к Наталье Павловне, как «лукавый кот».

Таким образом, подлинный пушкинский текст наполнен пародийными параллелями и сравнениями, которые не были замечены Вересаевым и просто пропущены им в небрежной записи.

Исследователь поверил невнимательному

* В. Вересаев «Записи для себя». «Новый мир» № 1, 1960 г., стр. 156.

свидетелю и просто не вспомнил текста Пушкина.

Кроме того, у Пушкина в ненапечатанном варианте остались нескромные по тому времени строки:

Он весь кипит, как самовар,
Пока не отвернула крана
Хозяйка нежною рукой,
Иль как отверстие вулкана,
Или как море пред грозой,
Или... сравнений под рукой
У нас довольно...

Дальше цитата точна. Пропущенный кусок, по моему мнению, и заставил Пушкина отказаться от сравнения, после некоторого колебания; он хотел сохранить этот кусок, иронически характеризовать его тремя последними строками.

Сравнение изменяло смысл сцены расставания графа с Натальей Павловной.

Наталья Павловна встает:
«Пора, прощайте, ждут постели.
Приятный сон...» С досадой встав,
Полувлюбленный нежный граф
Целует руку ей — и что же?
Куда кокетство не ведет?
Проказница — прости ей, боже! —
Тихонько графу руку жмет.

«Пожатие руки» невольно связывалось с движением хозяйки, сидящей за чайным столом.

В целом виде построение дерзко.

Тут троп есть, но скрытый. «Поставленный самовар», он же «самовар кипящий» и «кран», в устном фольклоре иногда имел нескромное значение.

Пушкин его отверг, потому что основным сюжетом в поэме — любовная неудача графа Нулина, которого не надо было слишком оправдывать кокетством хозяйки.

Случайных попутчиков брать не следует. Замечания Р. Якобсона о пушкинской поэтике интересны, но они не покрывают всего арсенала средств пушкинской поэзии. «Пророк» весь составлен из сравнений. Так же построено описание наводнения в «Медном всаднике».

Пушкин пользовался переходящими тропами, переключающими смысл, как бы противоречивыми:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино,— печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.

«Смутное похмелье» разочарования не снято понятием о «старом вине», но облагорожено им, иначе оценено.

Кроме того, в современной поэзии Маяковский, Хлебников, Пастернак, Цветаева — поэты не восточные — часто строят стих на сюжетно развернутом образе. Все это заставляет относиться к вопросу серьезнее: не надо в предмете исследования видеть только то, что хочешь видеть.

Не случайно Р. Якобсон берет за основу анализ стихотворения «Я вас любил...».

Это стихотворение выдвигалось в анализе как «лирическое» и безóбразное уже шестьдесят лет тому назад знаменитым тогда исследователем Д. Н. Овсянико-Куликовским:

«...Прочтем теперь следующее стихотворение Пушкина:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим*.

Законченный лиризм настроения и выражения в этих чудных стихах не подлежит сомнению и воспринимается нами сразу, без всяких усилий... Но где же здесь образы? Их совсем нет, не только в смысле образов познавательных, но и вообще — в смысле отдельных, конкретных представлений.

Итак, подводя итог, мы скажем, чистая лирика (словесная) есть творчество, по существу своему *безóбразное*. И хотя нередко в ней и встречаются образы, но они не имеют познавательной силы, а потому и не могут быть приравниваемы к настоящим образам в художественном смысле»**.

Дальше анализ не шел. Он заключался в вычеркивании старых определений, а не в попытках понять, что именно «воспринимается нами сразу».

Придется цитировать Романа Якобсона длинно, анализ отягощен терминологией, но не будем перебивать исследования.

«Стихотворение поражает уже самым отбором грамматических форм. Оно содержит 47 слов, в том числе всего 29 флективных, а из них 14, т. е. почти половина, приходится на местоимения, 10 на глаголы и только пять остальных на существительные отвлеченного, умозрительного характера. Во всем произведении нет ни одного прилагательного, тогда как число наречий достигает десяти. Местоимения явственно противопоставлены остальным изменяемым частям речи, как насквозь грамматические, чисто реляционные слова, лишенные собственно лексического, материального значения. Все три действующих лица обозначены в стихотворении единственно местоимениями. *Я* in recto, а *вы* и *другой* in oblique. Стихотворение состоит из двух четверостиший перекрестной рифмовки. Местоимение первого лица, всегда занимая первый слог стиха, встречается, в общем, четыре раза — по одному случаю на каждое двустишие: в начальной и четвертой строке первого станса, в начальной и третьей второго. *Я* выступает здесь только в именительном падеже, только в роли подлежащего и притом только в сочетании с винительной формой—*вас*. Местоимение *вы*, появляющееся единственно в

* Даю подлинный текст Пушкина, так как у Д. Н. Овсянико-Куликовского стихи, очевидно, процитированы по памяти и с ошибками.

** Д. Н. Овсянико-Куликовский. «Теория поэзии и прозы» («Теория словесности»). Изд. 4-е. Петроград, 1917, стр. 49. Книга как учебник была допущена в средней школе и переиздавалась.

винительном и дательном (то есть в так называемых направленных падежах), фигурирует во всем тексте шесть раз, по одному случаю в каждом стихе, кроме второй строки обоих стансов, причем каждый раз в сочетании с каким-либо другим местоимением. Форма *вас,* прямое дополнение, всегда находится в зависимости (прямой или опосредствованной) от местоимения-подлежащего. Таковым в четырех примерах служит *я*, а в одном анафорическое *она,* то есть *любовь* со стороны первого лица, между тем как дательный *вам,* приходящий в конечном, синтаксически подчиненном стихе на смену прямому объекту *вас,* оказывается связан с новой местоименной формой — *другим,* и этот периферический падеж «творительный производитель действия» при равно периферической дательной форме... вводит в концовку заключительной строки третьего участника лирической драмы, противопоставленного номинативному *я,* с которого начинается вступительный стих» (стр. 405—406).

Кажется мне, что в результате анализа стихотворение не приблизилось к читателю, что его художественная форма не стала доступнее.

Интереснее и богаче замечание, сделанное в конце. Роман Якобсон отмечает: «Здесь Пушкин, непревзойденный мастер драматических коллизий, между глагольными видами избегает изъявительных форм совершенного вида, и единственное исключение — *любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем* — собственно, подтверждает правило, потому что окружающие служебные слова— *еще, быть может... не совсем*—сводят на нет фиктивную тему конца» (стр. 406).

Несомненно, правильно указано, что стихотворение кончается отрицанием и слова — *как дай вам бог* — говорят о наступлении невозможного. Лирический герой считает, что его любовь не может быть заменена другой, она выше всего, что случится с женщиной.

4

Говорят, что для того, чтобы быть ихтиологом, не надо быть рыбой, и для того, чтобы быть поваром, не надо сидеть в кастрюле.

Вторую часть моего утверждения я взял у Горького.

В кастрюле действительно жарко, но стихотворение тоже горячо.

Про себя я скажу, что я рыба-писатель, который разбирает литературу как искусство.

Мне кажется, что и здесь, у Пушкина, драматические коллизии происходят не между «глагольными видами». Кажется мне, что сюжетное завершение стихотворения прежде всего ходом своим отличается от остальных строк в стихотворении и выдохнуто одним дыханием. Кажется, что само слово *вас*, которое действительно все время сопутствует слову *я,* заключает в себе драматическую коллизию.

Пушкин обычно в стихах обращается к женщинам на «ты». Вспомним «Передо мной явилась ты...»

Оттенки местоимений Пушкин понимал как поэт. В одном его раннем стихотворении, названном «Она», идет диалог поэта с другом. Друг перечисляет имена возможных любимых и спрашивает:

Кому ж ты жертвуешь душой?
Ах, ей — «Ты скромен, друг сердечный!»

Стихотворение кончается так: поэт говорит, что он огорчен тем, что «Я *ей* не *он*».

«Он» стоит в ряду слов «я», «ты», «он». Но в то же время «он» — тот человек, о котором «она» думает постоянно.

Коллизия происходит в последнем стихотворении не между местоимениями, они только с печальной иронией выражают отношения. Тема стихотворения, ситуация его, говоря точнее, у Маяковского выражена так:

Больно?
Пусть...
Живешь и болью дорожась.

Как же построено стихотворение «Я вас любил...»?

Сказанное Р. Якобсоном верно как комментарий. Но важно для анализа и то, что любимая для поэта не *ты*, а *вы*; это *вас* могло быть отмечено в таком подробном разборе.

Поэт любил долго, но недолюбил до *ты*.

Дальше стихотворение относится к тем видам построения, когда через отрицание дается утверждение, а через смену утверждений дается время. Поэт любил долго — хотя это не сказано не только словом «долго»,— это сказано ступенями слов, выражающих смену отношений одной и той же непроходящей любви. Любовь ушла не в забвение, а в молчание.

Поэзия (и искусство вообще) любит неполные повторения, она их использует, как расточитель — деньги.

Стихотворение имеет свое время, свою длительность, и длительность в ритмическом произведении — ступени чувства — это и содержание и форма. Человек уходит, унося с собой свою любовь — без надежды, что любимая — *она* — будет счастлива.

Слова, конечно, не должны быть верблюдами, их не надо грузить лозунгами, но слова все же слуги поэта; они идут рядом с действием, они создают модель чувства, в которой легче анализировать свое счастье, а чаще — отчаяние.

Что же мы можем сказать о стихотворении «Я вас любил...» в целом?

Заменяет ли в этом стихотворении грамматика поэзии образную сторону?

Понятие «образ» вообще не точно и не может быть выяснено ссылкой на статью Вересаева. Само слово «образ» — метафора, и очень стертая; в разных случаях выражение это значит разное.

Можно ли сказать, что, кроме повторения грамматических структур, все остальные элементы оформления произведения для выявления его сущности в данном случае подавлены? Правда ли, что здесь нет тропа?

Мне кажется это неверным. Среди многочисленных тропов в старых поэтиках и ри-

ториках существовало понятие «литота» — умаление. Стихотворение в целом — развернутая литота.

Лирический герой — автор, «я» — говорит о себе сдержанно; он сдерживается всеми способами, он преуменьшает свое горе.

Он как бы не говорит, а проговаривается.

Элементы литоты есть, например, в «Шинели» Гоголя, потому что автор все время говорит как будто о пустяках, о мелочах, только в лирических отступлениях появляется намек на истинное значение того, что описано.

В стиле «Шинели» кажущееся заикание рассказчика выбрано как средство. Снаряд, выточенный на токарном станке, не является отражением токарного станка. Так, я отмечаю замечательную статью Эйхенбаума «Как сделана «Шинель».

Работа пользуется инструментом, преодолевая его.

Литота тоже не цель для создания произведения — это один из способов непрямого выражения, но термин здесь подчеркивает обобщение, повторяемость приема. Автор сдерживает себя. Все строки построены как сдержанный разговор о главном, «Я» много раз повторяет сам себя. Повторения разбиты в строки, связаны рифмами, разбиты на строфы и заключены упреком.

5

Кажется мне, что стихотворение «Я вас любил...» в статье Романа Якобсона анализировано как тень, а не как вещь. «И», которое он поставил в середине заглавия тезиса, им поставлено тоже неправильно. Ошибочна инерция неверного тезиса, что поэтика — раздел лингвистики.

Хозяин слов Пушкин умел прибегать к молчанию и к пропуску. Помните стихотворение:

Ненастный день потух; ненастной ночи
мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...

Это нужно, чтобы дать расстояние разлуки. Где-то

Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...

Вот время: по горе теперь идет она

К брегам, потопленным шумящими
волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...

Это ситуация стихотворения и начало конфликта.

Здесь тема не расстояние, не разлука, а ревность, и вот смотрим мы, как дана сперва уверенность в ее одиночестве, как это одиночество утверждено и опровергнуто. Не буду ломать стихотворения и приведу его вместе со всеми перебоями строк, которые работают не хуже, чем глагольные виды. Будем читать стихи — это расширяет грудь:

Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет,
не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей
белоснежных...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь...
я спокоен;
. . . . . .
Но если . . . . . .

Как наполнен пропуск!

Поэзия может многое сказать, даже передать, как человек задыхается. Слова — сигналы, но они сигнализируют не так, как семафоры. Они — путь переживания, а не только его терминологических обозначений.

6

Терминология необходима, и, может быть, я ей завидую, но она может обратиться в новую, техническую латынь, в которой новизна термина заменяет точность термина. Новизна заставляет предполагать, что за новым словом стоит какое-то уточнение явления, прежде не анализированного.

Роман Якобсон — большой ученый, объединивший работы де Сосюра, работы русского профессора Щербы, работы опоязовцев, начатые в 1915 году.

Роман Якобсон руководил московским лингвистическим кружком с интереснейшими учеными, в частности, с Григорием Винокуром. Потом перенес свою работу в Прагу; пражская лингвистическая школа на материале осознания языковых построений как структуры создала само понятие структуры как замкнутого построения, части которого объединены так, что целое может существовать, изменяя свое применение, и развиваться на основании своих в самой системе заложенных законов.

Структурализм родился в лингвистике. Та статья Романа Якобсона, о которой я сейчас говорю, содержит в себе, как мне кажется, некоторые инерционные моменты структурализма как явления, рожденного в анализе языка и пытающегося остаться в языке, то есть пытающегося перенести законы языковых структур на структуры других порядков.

Надо отличать генезис явления, то есть его происхождение, от значения явления.

Генезис иногда бывает только входом в страну новых отношений. Молодой Маяковский, кажется в 1912 году, говорил, что люди, гладящие сухих кошек сухой рукой, добивались рождения непонятных искр — это было электричество.

Янтарь и шерсть были прародиной электричества, но электричество бесконечно шире своего генезиса.

Кино родилось на наших глазах из соединения ящика-панорамщика, показывающего сменяющиеся картины, и волшебного фонаря. Третьим источником кино были картины, была живопись и иконопись, соединяющая на одной доске или холсте разные моменты события.

Но кино стало новым искусством. А Маяковский говорил, что для него кино «почти мировоззрение». Кино с телевидением изменили сознание человека и дали новую систему структурных отношений.

Генезис теории структурализма ясен. Методология была создана в лингвистике, но должно быть осознано рождение структурализма как общей системы.

Язык не единственная структурная область; обряды, игры, этикет и нравы, математика являются огромными областями, существующими структурально.

Мои работы в теории искусства были посвящены анализу сюжетов, анализу структур, составленных из событий — действий — происшествий. Не надо думать, что за обрядом, или за системой сигнализации, или за физическим построением, охватывающим связь явлений мира, лежат слова. Я приведу один пример.

К «Анне Карениной» Толстой предпослал эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам». Он хотел разрешить конфликт жизни Анны в плане религиозной структуры. Отмщение — не принадлежит обществу, кара заключена в самом преступлении. Но Толстой мыслил в структуре искусства. Точнее, он мыслил в структурах русской прозы, он ввел в роман и попытку Левина наладить другое хозяйство, создать возможность иной России, иного будущего, и тут же он захотел решить судьбу Анны.

Ни перерешить будущего, ни освободить Анну от смерти Толстой не смог. Анализы судьбы не изменяют будущего — они освещают будущее. Смерть Анны была намечена заранее, но не были известны причины смерти.

Анна Каренина по рождению Облонская, у нее есть брат — Стива Облонский, разоряющийся дворянин.

Роман сразу начинался с пробуждения Стивы после забавного сновидения.

Мужчина изменил женщине. Долли, жена Стивы, хочет уйти от него, но все домашние и дети стоят на стороне отца, а не матери.

Когда изменяет Анна, то ее выбрасывают из общества. Кульминация романа — афронт Анны: она пожелала поехать в театр, сесть в ложу, но женщины ушли из соседних лож.

Толстой о всем происходящем говорит словами анализа игры.

Отношения к Анне и к Вронскому различны. Вронский это не сразу понял: «Но он (Вронский.— *В. Ш.*) очень скоро заметил, что хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт для Анны. Как в игре в кошку-мышку, руки, поднятые для него, тотчас же опускались пред Анной» (Л. Толстой, т. 19, стр. 100).

Анна выброшена из общества. Не религия, а структура общества, в котором карается явно измена жены, но не измена мужа, структура старого общества тогдашней нравственности с точными правилами «игры» губит Анну. Она умирает, осознав перед смертью мертвенность структуры общества, распад логики структуры и силу, инерцию структуры.

«Я вас любил..» — стихотворение Пушкина о любви. Это признание человека, который как бы проговаривается, исповедуясь самому себе. Это иная, личная драма, драма любящего, стоящего перед той, которая его не любит.

Быть жестоким очень легко — надо только не любить. Когда-то я писал об этом.

7

Искусство сталкивает явления жизни, взламывает структуры, изменяет тональность изменения. Может быть, в структурах искусства предчувствуется то, что осуществляется в структурах общества. Личная любовь родилась в поэзии где-то в анализе судьбы Иакова, который четырнадцать лет работал на дядю, для того чтобы получить жену — дочь дяди, потому что любовь не терпит замены. Она развивалась в истории Меджнуна, который любил Лейлу.

Поэты по-разному анализировали эту новую для них структуру, передавая ее другим временам, может быть, они ее передали Шекспиру для того, чтобы рассказать, как столкнулись вражда родов с любовью тех, кто должен был ненавидеть друг друга.

Искусство создает ощущение, отмечает изменения смены. Язык помогает человеку оструктурить переживания. Язык помог человеку оструктурить культуру, создать системы, стоя на которых человек остается самим собой и принимает опыт прошлого. Он двигается, как бы стоя на неподвижном.

Представление о поэзии как об отражении грамматики не сделает поэтику математикой.

Повторяю: смысл геометрии в конечной однозначности ее выражения, смысл поэзии — многозначность, сдвиг, многоступенчатость и возвращение миру ощущения.

Превращение поэтики в грамматику — застенчивость и робость.

Шекспир, Достоевский, Блок, Маяковский, люди, которые недавно жили, и люди, которые сейчас живут, если они поэты, берут самую сущность жизни, топчут свою душу, чтобы она стала большой и красной, как знамя, или блестящей и крепкой, как крыло самолета.

Не надо выдавливать поэзию из жизни, потому что она нож для вскрытия, бурав, входящий в дерево, ракета, вонзающаяся в край космоса.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРТИНА АНДЕРСЕНА-НЕКСЕ

«ЭТОМУ МИРУ Я ОТДАЛ СЕРДЦЕ И РАЗУМ»

Мужественное и благородное лицо, огромная седая шевелюра... Замечательный датский писатель Мартин Андерсен-Нексе хорошо известен в нашей стране. Мы помним его книги и помним, что он сделал как коммунист для дела мира и социализма, для защиты социалистических завоеваний в Советском Союзе.

Нексе принадлежит к тем художникам, которым выпала нелегкая, но почетная доля литературных первопроходцев. Есть глубокий внутренний смысл в том, что только год отделяет столетний юбилей датского писателя от столетия со дня рождения Максима Горького. Оба писателя — каждый для своей страны — сказали новое слово в литературе XX века. В кругу первых, вставших с утренней зарей социалистического движения, положили они свои книги в фундамент здания, которое сегодня называется мировой литературой социалистического реализма.

Романы «Пелле-завоеватель», «Дитте — дитя человеческое», «Мортен Красный», неоднократно у нас издававшиеся, говорили о сложном и мучительном процессе высвобождения пролетария из цепей духовного гнета буржуазной цивилизации, его освобождения от сил и традиций социал-демократического политиканства, наконец, от неверия в собственные революционные силы.

Советские ученые глубоко исследовали живые социальные истоки творческого подвига Нексе, раскрыли тайну художественной новизны его произведений и показали путь Нексе к социалистическому реализму как проявление решающей закономерности в мировой литературе XX столетия. Это был прямой, «классический» путь. И сами произведения «Красного Мортена» стали в наши дни классикой социалистического реализма.

Мартин Андерсен-Нексе, один из основателей Коммунистической партии Дании, воспринимал коммунизм как реальный гуманизм. В социализме он видел воплощение человеческих чаяний и устремлений. «Я стал коммунистом из чувства чести, чувства достоинства...» * — писал он. Поэтому Советский Союз был для него «первым настоящим человеческим обществом» **. В статье, написанной для датского журнала «Нют ланд» и оза-

* М. Андерсен-Нексе. Собрание сочинений в 10 томах. М., ГИХЛ, 1954, т. 10, стр. 330.

** Там же, стр. 270.

главленной «Почему я друг Советского Союза» (1940), Нексе подчеркнул: «Да, немало есть в СССР того, чего, если ты человек, следует крепко держаться, в то время как старый мир вызывает в тебе все больший и больший протест» *.

Он был частым гостем нашей страны, и каждый его приезд вызывал к нему новую волну горячих чувств. Нексе по праву мог сказать в своей известной речи на пушкинском юбилее в Большом театре (1949): «Разрешите мне признаться вам, что я расцениваю как величайшее для себя счастье, что я в некотором роде усыновлен русским народом-пролетарием, авангардом человечества, который заменил лживый западноевропейский индивидуализм уважением к личности» **.

Он умел не только защищать наше государство от всевозможных нападок врагов, но щедро черпал из ответной любви к нему силы и вдохновение для своей творческой деятельности, своей уверенности в том, что социализм — будущее человечества. Он писал: «Каждая поездка в Советский Союз была для меня событием, обновлением души и сердца, каждый раз возвращался я укрепившимся в уверенности, что в один прекрасный день и Западная Европа созреет для социализма — наперекор всему».

«Красный викинг», как однажды назвал писателя Бела Иллеш, непоколебимо убежденный в том, что «старая эпоха кончилась» ***, он неизменно находился в гуще борьбы, в огне боев, в скитаниях. В Испании, Италии, Франции, Швейцарии и на Балканах его знали как революционера.

В 1940 г. он был заключен в тюрьму, а затем ему пришлось побывать и в гитлеровском концлагере. После второй мировой войны датское правительство начало постыдную травлю писателя-патриота, пустив в ход излюбленное обвинение в «предательстве национальных интересов» Писатель выехал вместе со своей супругой Иоганной Нексе в ГДР и до самой кончины в 1954 г. жил и работал в Дрездене.

Публицистика Нексе, вобравшая в себя огромный жизненный опыт, занимает важное место в его наследии. Расцвет ее падает на тридцатые годы. К тому же времени следует, очевидно, отнести и печатающуюся здесь (в отрывках) неоконченную статью Мартина Андерсена-Нексе «Пролетариат и искусство». Статья эта, нигде ранее не публиковавшаяся, любезно предоставлена редакции Отделом архивов Немецкой академии искусств в Берлине. Проблематика статьи нашла частичное отражение и в других эссе Нексе, например, таких, как «Почему я друг Советского Союза», «Мир и сотрудничество», «Влияние Ленина на творческие силы Запада». Она тесным образом связана со многими принципиально важными вопросами, которые волновали писателя на протяжении всей его жизни. Пролетариат вышел на авансцену истории. Кто такой пролетариат и что влечет за собой этот исторический факт? Как складываются отношения между рабочим классом и интеллигенцией? Что такое культура? В чем выражаются черты нового человека?

Идея солидарности — одна из заветных идей Нексе. Человечество после Октября, утверждает он, проникается новым духом солидарности, и это — наивысшее достижение прогресса человеческой культуры, вот почему солидарность непобедима.

---

* М. Андерсен-Нексе. Собрание сочинений в 10 томах, т. 10, стр. 270.

** Там же, стр. 337.

*** Там же, стр. 312.

Литературное наследие Мартина Андерсена-Нексе до конца не изучено, и здесь возможны еще новые находки. Писатель както жаловался, что его архивные материалы основательно потрепаны переездами и сильно пострадали во время фашистского вторжения *. Сейчас параллельно с архивом в Дании усилиями Иоганны Нексе создан архив в Дрездене. Микрофильм богатейшего литературного наследия Андерсена-Нексе недавно был передан в дар Институту мировой литературы им. А. М. Горького представителями Немецкой академии искусств в Берлине — писателем В. Герцфельде и д-ром У. Дитцелем. Драгоценный подарок был принят советскими учеными с чувством благодарности тем, кто прилагает усилия, чтобы сохранить для будущего документы борьбы и творческого труда Мартина Андерсена-Нексе.

Мы стоим на грани между старым и новым — эта мысль Нексе не раз звучала в его книгах. Писатель должен быть молодым, увлеченным, влюбленным во все красивое и молодое — об этом он тоже говорил на встречах с советскими литераторами. И хотя на портретах Нексе выглядит патриархом, его наследие обращено к новому, молодому, побеждающему миру человеческой солидарности, которому писатель отдал, говоря его словами, сердце и разум.

О. ЕГОРОВ

М. АНДЕРСЕН-НЕКСЕ

Из статьи «ПРОЛЕТАРИАТ И ИСКУССТВО»

Иван-бедняк, Ян-батрак и будущность человечества — ну и смешная же тема, воскликнули бы всего каких-нибудь пятьдесят лет назад. А ведь сегодня речь идет именно об этом: современный классово сознательный пролетарий отождествляет себя с самим человечеством, свои интересы с интересами прогресса. Не дерзость ли это, не мания ли величия, если самый ничтожный из всех, если Ян-батрак вдруг внезапно, словно королевский сын в сказке, появится среди действия и скажет, что будет руководить им? Может быть, пролетариат призван к этому? Видит перст провидения? Слышит призыв, не слышный другим, слышит г о л о с, заставляющий избранных выходить из строя вперед?

Когда-то это, вероятно, казалось смешным: мириады букашек, которые, соединив лохмотья своей нищеты, умножив свою бедность на миллионы, вознамерились сделать землю богаче, а жизнь прекраснее. Каким безумным должен был выглядеть в глазах империалистов и сверхчеловеков тот мир, будущее которого предсказывали эти букашки.

Но ход развития разрушает даже самые гордые построения ума: много ли уцелело сегодня от «непогрешимого» мира идей капитализма? Едва лишь в середине прошлого века буржуазия забыла, что обязана своим существованием французской революции и расселась на своем владетельном троне, будто она всегда сидела на нем и останется на нем на вечные времена,— как ее собственные чресла породили

* См. А. Дымшиц. Звенья памяти. Москва, 1969, стр. 257.

наследника. Самая жалкая частица всего механизма, раб машины, черный червь, который извлекает уголь из чрева земли, начали предсказывать новое время, несущее новое идейное содержание, время солидарности, когда люди не будут наносить друг другу нокауты, а будут дружно работать рука об руку. Новое они провозглашали не словом и писанием, но самой своей жизнью: они организовывались, поддерживали друг друга в беде и несчастьях, страдали от голода и безработицы ради общего дела.

Понять всю глубину идеализма, прочно объединявшего рабочих в пору, когда лозунг, освященный общепринятой высочайшей моралью, звучал: Вырвись вперед! Хватай кусок жирного пирога за счет других! — понять это может только тот, кто, сам сын рабочего, сидел за пустым столом, среди детей, смотрящих на отца, подвергнутого локауту, голодными просительными глазами.

Для нас, пролетариев, слово «солидарность» звучало естественно и просто уже тогда, когда мы услышали его впервые, но сравни его с лозунгом прошлого времени, манчестерским лозунгом, и оно расширится до значения нового взгляда на жизнь.

Пролетариат в целом и в основном осознал себя сегодня как класс, как низший класс. И более того: он горд быть низшим классом. Он ощущает себя носителем прогресса! Отсюда оптимизм широких масс именно сейчас, когда они, в дополнение ко всем прежним тяготам, вынуждены нести ужасные последствия мировой войны.

Мировая война затронула пролетариат тяжелее, чем все другие классы, ибо он наделен более высоким чувством ответственности перед действительностью, чем все иные общественные слои; эта мировая война заставила значительную часть остального человечества [...] ощупью искать такой взгляд на жизнь, который был бы прочнее прежнего, индивидуалистического!

Мировая война ничуть не привела нас к одичанию, напротив, она сделала нас более человечными; и каждый, кто серьезно стремится прожить жизнь в согласии с людьми, рано или поздно приходит к движению низшего класса общества. Лозунг пролетариата: сотрудничество, солидарность — приобрел сегодня жизнеутверждающий смысл и вырвался далеко за пределы его собственных рядов.

Да, конечно, но смогут ли они, стоящие в самом низу, они, составляющие низший слой, руководить и указывать путь в новую эпоху? Может ли необразованность и бедность создать более светлую и богатую действительность? Может ли доброе прийти из Назарета? Не просто ли это старая, слегка позолоченная заново сказка о младенце в яслях, который станет спасителем мира? Можно ли требовать от культуры, которая опирается на ученость и красоту, которая купается в роскоши, чтобы она искала обновления, встав под водительство труда и голой необразованности? И еще: в чем основа движения низшего класса, не есть ли оно от начала и до конца движение «материалистическое», своего рода дикарский танец живота вокруг зажаренного тельца, и движение, которое не имеет ничего общего ни с идеализмом, ни с религией? И последнее по очереди, но не по важности: не будет ли плоским существование, если победят пролетарские идеи с их нивелировкой? Человек массы! Человек толпы!

Вот как много доводов выдвигалось против пролетариата его противниками и теми людьми, что должны были бы стоять на его стороне, но которым мешает их чрезмерный эстетизм. Сам пролетариат с удивлением выслушал все это, кое-что понял, но это отскочило от его толстой кожи, от той здоровой кожи, которая составляет преимущество молодости перед тем, кто близок к концу. Умение обороняться никогда не было сильной стороной пролетариата, но его оборона попала в хорошие руки. Сама действительность позаботилась о ней.

Я пишу это не для того, чтобы защитить пролетариат или попросить за него извинения: в этом нет нужды, за ним право сегодняшнего дня и право будущего. Но статья о пролетариате, написанная пролетарием, в наше время приобретает черты символа веры.

Слово «материализм», которым клеймят пролетариат состоятельные слои общества, напоминает известную басню, где волк обзывает ягненка хищником. Обычно ведь не называют голодного, который хочет наесться досыта, «материалистом», так называют того, кто сыт, но кому все еще мало. Однако мы действительно начали

говорить о еде. Позор старой культуры в том, что она смогла с точностью до одного фунта взвесить солнце, луну и звезды, но не взвесила, сколько хлеба нужно голодным ртам. Пролетариат возвращает существованию его истинность, начиная все с начала всех начал — с хлеба. Как лживо звучал ответ на требование миллионов голодных: хлеба! — ответ сытых уст: не хлебом единым жив человек!

А мы говорим голодным: требуйте хлеба, хлеба и еще раз хлеба! И только тогда, когда хлеба будет достаточно, мы скажем: не хлебом единым жив человек,— и это не прозвучит больше преступлением против святого духа! Пролетариат создал такое определение хлеба насущного, рядом с которым бледнеет даже определение Лютера. На нас нападают из-за того, что в нашем взгляде на общество есть нечто утопическое. «Хлеб! — говорила жена высокопоставленного немецкого политика в самые голодные послевоенные годы,— почему рабочие все время кричат о хлебе? Пусть едят мясо!» Но между пролетариатом и хлебом существует некая таинственная связь; когда дома мы, дети, роняли на землю кусок хлеба, нас заставляли целовать его и просить прощения! Именно потому пролетариат сильнее всех остальных испытывает чувство голода — даже когда он сам не страдает от него — и стыдится за общество, повинное в голоде. Это чувство стыда — один из признаков его культуры, в котором — залог будущего; это чувство налагает на него, самого незначительного из всех, особую миссию. Кто еще так позаботится о новом дне, как не тот, кто больше всего страдает от старого?

Список пожеланий пролетариата к будущему больше, чем список какого-либо иного слоя общества; его определение хлеба насущного включает все — от земли до неба — и для всех! Он только не видит, зачем нужно превращаться в миллионера. И этим он также отличается от буржуа, который под словом «все» понимает жизненные блага; Ганс-бедняк видит в слове «все» право принадлежать ко всем, делить со всеми горе и радость.

[...] «Человек массы» наилучшим образом связан с индивидом — он признает права за индивидуальностью: он предоставляет ей весь бесконечный духовный мир, чтобы она могла в нем ориентироваться.

Заслуживает ли подобную хвалу прежнее, индивидуалистическое общество? Но ведь с позиций высокого эстетизма нам постоянно твердят, что, если мы уничтожим экономическое неравенство, вся действительность превратится в нечто серое, серое по серому.

Но вовсе не мы создали учение о безграничном праве одиночки развиваться за счет общества. Мы считаем, что это мораль хищников, и с ней мы должны бороться. Мы надеемся установить более человечные отношения к индивидууму, чем прежний так называемый индивидуализм.

Для него — там, где речь идет не о замаскированном эгоизме,— отдельная индивидуальность, достигшая своего высшего расцвета, есть цель и задача всего человечества. В глазах индивидуалиста человечество то же, что глина в руках скульптора — сырой материал, масса. Как сказано у Ибсена, масса — это сырье, из которого изготовляются люди.

Но мы не сырье ни для интеллектуальных гениев, ни для интеллектуальных бестий. Мы — это сердца и души, нам дороже всего у человека не мозг, а сердца и души. До сих пор разум приносил миру больше, чем любовь. Здесь отношения тоже были поставлены с ног на голову, и пролетариату придется поставить все на свои места, чтобы все могли принять участие в том, что происходит.

[...] Мы не требуем от отдельного человека ничего исключительного, только чтобы он, человек среди людей, наилучшим образом исполнял свои человеческие обязанности, вносил свой вклад в общее дело. Это определяет и наше отношение к искусству.

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР
НОВОГРУДСКИЙ

ОТКРЫТИЕ БОЕМ

Не так давно ушли в прошлое споры о том, способно ли документальное кино создать художественно полноценный образ человека, не ограничиваясь чисто внешней, эскизной фиксацией отдельных его черт. Может ли оно своими средствами обнаружить сложные связи человека и времени, проникнуть в сферу мыслей и чувств, вычертить психологически достоверный характер?

Вопросы эти были решены творческой практикой в пользу документального кино И в таком решении немалую роль сыграли работы Вальтера Хейновского и Герхарда Шоймана.

Имена эти оказались неразделимыми в истории экранной публицистики 60-х годов. И в свою очередь одна из важных глав этой истории теперь уже прочно связана с работами двух талантливых кинодокументалистов из Германской Демократической Республики.

Свой совместный путь в искусстве Хейновский и Шойман начали в 1964 году уже не юношами. За плечами у тридцатичетырехлетнего Герхарда Шоймана в ту пору был опыт работы над репортажем и интервью для радио, над проблемными телепередачами. Тридцатисемилетний Вальтер Хейновский стал известен сначала как редактор сатирического журнала «Уленшпигель», а затем — как автор острых телевизионных репортажей и публицистических киноленг (особую популярность приобрела его картина «Акция «Иот», построенная на впечатляющих документах о злодеяниях одного из гитлеровских вожаков).

Новую страницу их творческой биографии открыл первый совместный фильм Хейновского и Шоймана «О'кей», обладавший уже многими чертами того жанра образной публицистики, в котором с такой силой позднее проявилось редкостное дарование обоих режиссеров.

Основой картины стало киноинтервью с девушкой, вернувшейся в ГДР, в родные края из Западной Германии, куда она бежала в поисках «райской жизни». Это была ее исповедь о крушении иллюзий при столкновении с реальной действительностью чужого мира, где беглянке была уготована участь официантки в баре для американских военных...

Судьба и характер героини открывали возможности интересных образных обобщений. «Хотя речь шла о судьбе всего одной девушки,— говорил впоследствии Шойман,— мы на ее примере показывали, как формируют человеческую личность обстоятельства, в которые она попадает. Формируют или деформируют! Мы показали следы деформации, которой она подверглась и которые были отчетливо видны и в характере девушки, и во внешности, и в ее поведении...»

Картина «О'кей» была удачной попыткой постановки больших социально-психологических проблем современности посредством документального исследования духовного мира человека.

Зрительский успех фильма «О'кей» послужил для авторов толчком к новым, более значительным поискам.

В этих поисках и сложилось творческое содружество двух даровитых кинематографистов, столь непохожих друг на друга по внешнему складу и темпераменту.

Неисповедимы пути возникновения постоянных творческих коллективов! Как складываются и действуют писательские или режиссерские тандемы? Ильф и

Петров отшучивались от этого вопроса. Сергей и Георгий Васильевы, объявившие себя братьями, поровну делили тяготы и радости каждого этапа творческого труда. Иногда художники объединяются по принципу внутреннего сходства. Бывает обратное — люди несхожих творческих индивидуальностей оказываются необходимыми друг другу.

Конечно, Хейновскому и Шойману на любой пресс-конференции докучают просьбами рассказать, почему и как они работают вместе. Существует стандартный ответ: Хейновский будто бы сильнее по части визуальных качеств киноленты, а Шойман обладает способностями пытливого интервьюера. И творческие решения иногда рождаются в спорах между ними...

Возможно, все так и есть. Но более существенно, что оба понимают друг друга с полуслова. И еще важнее другое, самое главное, что определило творческие успехи блистательного режиссерского тандема: владеющее обоими единое ощущение внутренней задачи произведения... Ясное ощущение того, что каждый их фильм должен быть — и действительно становится — оружием.

Не случайно воинствующее, страстное искусство Хейновского и Шоймана развивается в ГДР, на самом переднем крае борьбы против сил неофашизма, милитаризма, реваншизма, ведущих свой пропагандистский натиск из Западного Берлина и Западной Германии. Ни на один день не утихают эти бои на экранах берлинских телевизоров.

Так в поисках острых, доходчивых, действенных форм кинопублицистики возникла знаменитая телевизионная лента, вошедшая в классику современного киноискусства... На экранах появился потрясший все человечество своей документальной достоверностью и силой художественного обобщения живой образ фашистского карателя, смеющегося палача Конго-Мюллера, имя которого стало уже нарицательным.

Картина «Смеющийся человек» широко известна. Не только она сама, но и книги о ней огромными тиражами разошлись по всему миру.

Это творческое открытие имеет предысторию, которая сама по себе примечательна.

Когда в конце 1964 года колонизаторы, встревоженные потерей барышей, которые им приносили природные ресурсы Конго, решили любой ценой подавить конголезское национально-освободительное движение, в Африку прибыл карательный отряд, составленный из наемников-европейцев и получивший название «Отряд 52».

«Командиром этого отряда был немец,— пишут Хейновский и Шойман.— Он носил самое немецкое из всех имен — Мюллер. И к тому же звали его Зигфрид. Как рассказывали, в кармане у него лежал западногерманский заграничный паспорт. И на своем мундире он носил «Железный крест», как подтвердили бесчисленные фотографии, которые появились в больших иллюстрированных еженедельниках. С этими фотографиями были связаны рассказы очевидцев, вскрывшие такие факты, которые казались невозможными после того, как люди узнали правду о фашистских концлагерях.

Благодаря Зигфриду Мюллеру и другим немцам сведения о непостижимых преступлениях вдруг снова стали «немецкой» темой. Если мы считаем себя ответственными за будущее немецкой нации, то мы должны чувствовать себя ответственными и за сегодняшние преступления, творимые немцами, даже если убийцы, по достоверным сведениям, все как один носят в карманах западногерманские документы.

Из таких соображений и возник план сделать обвинительный документальный фильм об этом отряде наемников. Началась одна из тех трудных, но увлекательных операций, с которыми всегда связана работа документалиста».

Итак, шел активный поиск документов. Помогали конголезские патриоты, участники освободительной борьбы: в киностудию поступали захваченные ими письма погибших западногерманских наемников и — самое драгоценное — фотоснимки, на которых сами каратели запечатлели свои преступления!

Из всего этого создавался короткометражный фильм «Отряд 52», который, независимо от неожиданного своего продолжения, мог бы принести (и впоследствии принес) славу его авторам. Но тут стало известно, что Мюллер возвращается из Конго в ФРГ. Неугомонные кинодокументалисты решили встретиться с ним лицом к лицу. Они спешили: обличительная лента «Отряд 52» через несколько дней уже должна была демонстрироваться на Лейпцигском международном кинофестивале... Вместе с оператором Петером Гельмихом они ринулись в западногерманский городок, где обитала жена Мюллера. Та охотно предоставила им по сходной цене выразительные фотоснимки и устроила встречу с ее мужем, обрадованным возможности выступить перед кинокамерой. Его не обманывали, не заверяли, что перед ним — представители буржуазного киномира. Просто Конго-Мюллеру не приходило в голову, что беседующие с ним «германские кинорепортеры» — его политические противники и что умело построенная беседа — не заурядное интервью, а своего рода психологическое исследование, больше того — следствие.

Почему же все-таки Мюллер был столь поразительно откровенен? Известный немецкий киновед Герман Херлинг-

---

АЛЕКСАНДР НОВОГРУДСКИЙ
ОТКРЫТИЕ БОЕМ

хауз дает тонкое и верное объяснение этому феномену:

«Мюллер и практически и теоретически поддерживал те принципы, которые десятки раз формулировались ведущими деятелями Западной Германии. Однако западногерманская цензура не допускала, чтобы общественность узнала об отношениях Мюллера с Францем-Иозефом Штраусом, с бундесвером и с высшими американскими офицерами. Вот почему он был так раздражен: интервью, которые он давал западногерманскому телевидению, подвергались купюрам.

Теперь он проникся уверенностью, что перед ним репортеры, которые хотят наверстать упущенное другими, которые поняли, что он, Мюллер, занимает вполне определенное место в политической системе Западной Германии, что он представляет собой олицетворение традиционно реваншистской и антикоммунистической политики Западной Германии. И когда Мюллер понял, что обоих репортеров интересовало именно это, он весь открылся перед ними».

Конечно, это так: перед кинокамерой Хейновского и Шоймана сидел персонаж, гордый своей миссией защитника «западной цивилизации» и готовый объявить об этом миру. Ландскнехт, желающий утвердить себя в качестве юберменша, сверхчеловека.

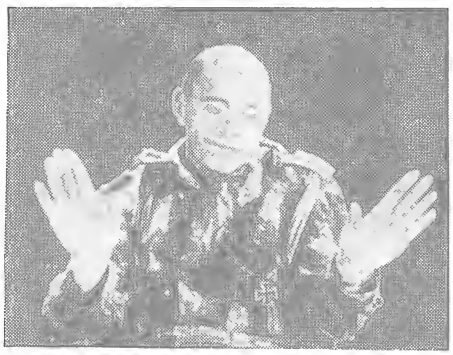
Но Хейновскому и Шойману вдвойне повезло. К политическим факторам добавлялись чисто психологические, на которых строится точно найденный «режиссерский контрапункт» их фильма: перед ними предстал убийца общительный и веселый...

Да, Конго-Мюллер весел и даже смешлив... Когда в перерыве между съемками кинематографисты обращают внимание на его тропические сапоги с толстой нейлоновой подошвой, он поясняет: «Если я этой подметкой двину в живот — вам сразу каюк!» — и сам от души хохочет.

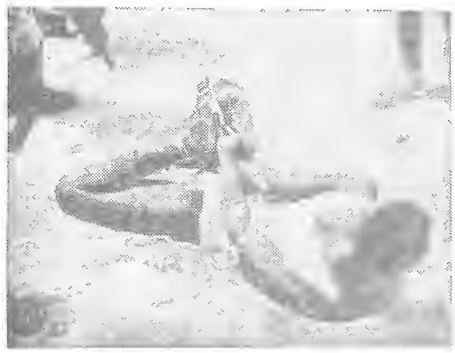
...Один за другим на пленке фиксировались кинокадры, ставшие потом хрестоматийными. Поразительные кадры, в которых философствующий убийца, потягивая из стакана пиво, излагает свои моральные взгляды и политические идеалы. И дело не только в его словах. Иногда поворот головы, едва уловимое движение мускулов лица, самодовольная ухмылка выражают еще больше, чем его горделивые речи, от которых кровь холодеет в жилах.

И вот на экране — то, что можно назвать психологическим крупным планом. Документальный кинопортрет, раскрывающий глубины человеческой психики. Художественный образ, в котором сугубо индивидуальная конкретность не стирает, а, напротив, острее выявляет черты типического характера, порожденного определенной социальной средой.

Фильм «Смеющийся человек» знаменовал становление нового жанра в документальном кино — жанра, развитием



«Смеющийся человек». Убийца философствует...



«Смеющийся человек».
Деяния Конго-Мюллеров.

которого мы во многом обязаны творчеству Хейновского и Шоймана, хотя в элементах своих он существовал гораздо раньше.

Сказав, что с выбором Конго-Мюллера как персонажа фильма авторам «повезло», я тем самым не хочу сводить эту находку к случайной удаче. Ни в малейшей степени.

В пору бурного распространения на Западе киноре портажных поисков в духе «синема верите» очень частыми стали малоплодотворные (а подчас и этически сомнительные) опыты ловли случайных объектов с помощью скрытой камеры или телеобъектива. Еще чаще своеобразным художественным приемом становилась стилизация под случайность, маскирующая авторские намерения...

Жан Руш выходил на улицы с кинокамерой и у первого встречного спрашивал: «Что есть счастье?» Одни прохожие отругивались, другие пытались отвечать. Отбор как будто бы проходил во время съемок. Несколько по-иному действовал Крис Маркер, когда бродил с кинокамерой по Парижу, чтобы снять «Прекрасный месяц май». Он рассказывал нам, сколько пленки было снято наугад, впустую, чтобы из десятков тысяч метров отобрать то, что нужно художнику. Отбор происходил в основном при монтаже.

Хейновский и Шойман — киномастера снайперского прицела. Они точно знают, кого и как и во имя чего будут снимать. Однако какой же для этого нужен предварительный поиск наиболее подходящего объекта, какой отбор до съемок фильма! Вот уж поистине: в грамм добыча — в год труды.

Разумеется, и в этом случае что-то менее важное из найденного потом отбрасывается в корзину у монтажного стола. Но в основном фильм делается точно по предварительному замыслу, и самый характер поиска изумляет своей целеустремленностью — в этом тоже важная отличительная черта творческого метода Хейновского и Шоймана.

Говоря о направленности поисков, я имею в виду не только громадный труд художников-документалистов по отысканию среди тысяч возможных того объекта — или, точнее, «субъекта-объекта», — который наиболее полно отвечал бы задаче задуманного ими фильма. Такой же целеустремленностью отличается творчество Хейновского и Шоймана и в поисках новых возможностей жанра, который сами они нарекли «художественным киноинтервью» (название, быть может, не очень удачное, но другое пока не придумано).

Речь идет, стало быть, об исследовании средствами документального кино сложнейшего духовного мира человека.

«Пилоты в пижамах».

Его характера, раскрывающегося не только в поступках или актах внешнего действия (что сохраняет первостепенную важность), но и в движениях мысли и чувства, выраженных в слове или жесте (что обретает в фильмах Хейновского и Шоймана особое значение).

Нетрудно заметить внутреннюю связь новаторских открытий Хейновского и Шоймана с художественной традицией выдающегося мастера революционного документального кино Дзиги Вертова. Ведь именно вертовские шедевры документального кинопортрета, как раз построенного на «самовыражении» героя, на его живой речи, на психологическом крупном плане,— такие, как рассказ бетонщицы о ее трудовом подвиге или монолог парашютистки,— впервые (еще в пору технического младенчества звукового кино) обнаружили возможности, заложенные в этом жанре... Возможности, к которым Вертов неоднократно возвращался в своих заметках и творческих планах... Уже тогда стало ясно, что документальная портретная киноминиатюра — не говоря уже о документальной киноповести — может обладать реалистической силой и емкостью произведения литературы или живописи.

В работах Хейновского и Шоймана человеческая мысль и чувство, выраженные в портрете и живой речи, становятся главным документальным материалом, предметом преимущественного внимания художников. Именно с помощью этого материала они трактуют важнейшие политические и моральные проблемы века.

Недаром программная статья Хейновского и Шоймана, в которой они излагают свои художественные принципы, так и озаглавлена: «Ad hominem — через человека».

Исходным пунктом этого творческого манифеста является мысль Маркса о том, что каждый человек представляет совокупность общественных отношений,— мысль, имеющая непреходящее значение для всего реалистического искусства.

«Нам думается,— пишут Хейновский и Шойман,— что говорящий человек, запечатленный кинокамерой и микрофоном, является прекрасным средством, чтобы выявить и раскрыть важные в социальном отношении тенденции времени — как в положительном, так и в отрицательном их смысле. Ибо говорящий человек, взгляды которого отражают объективно существующую действительность в субъективном преломлении, позволяет зрителю провести столь важный для познания процесс идентификации: хочет ли он быть таким или не хочет».

Вот тут-то и возникает архитрудная задача, которую ставят перед собой Хейновский и Шойман: необходимость отыскания того «самого выразительного индивидуума», в котором можно наилучшим образом раскрыть черты типического характера, поднимающегося до высоты образного обобщения. Интересно, что, думая об этом, Хейновский и Шойман обращаются к русской живописи, к ее опыту проникновения в тайники человеческой психологии:

«Нам было чрезвычайно интересно познакомиться с заметками великого

русского реалиста, который имел дело не с кинокамерой и микрофоном — этими несомненно самыми современными изобразительными средствами, — а с кистью и палитрой художника. Моделью для «Протодьякона» Ильи Репина был живший на самом деле чугуевский дьякон Иван Уланов, которого художник называет «экстрактом всех наших дьяконов», говоря о нем как о самом типичном и самом страшном среди всех дьяконов. Если бы мы, будучи современниками Репина, уже тогда, имея кинокамеру и микрофон, захотели бы изобразить социальную роль русского духовенства или же взаимоотношения между церковью и государством в дореволюционной России, нам пришлось бы затратить немало времени на поиски прототипа, подобного Ивану Уланову, и на беседу с ним».

Таковы разнообразные истоки правдивого, аналитичного, политически бескомпромиссного искусства Хейновского и Шоймана.

Обычно творческая практика опережает декларации, выражающие кредо художника. Так и манифест двух немецких киномастеров был не только их размышлением о том, куда двигаться дальше, но еще в большей мере — осмыслением пути уже пройденного...

На съемках фильма «Час духов». Вальтер Хейновский и Герхард Шойман с «колдуньей XX века».

Если фильм «Отряд 52» был как бы прологом к «Смеющемуся человеку», то своеобразным постскриптумом стала документальная лента «Бернд К., солдат Запада» — о драматической судьбе одного из молодых немцев, сражавшихся в Африке под командованием Конго-Мюллера и погибших за неправое дело.

Но подлинным продолжением фильма о Конго-Мюллере — и в плане совершенствования творческих принципов, и по развитию той же темы — стала вышедшая на экраны в 1968 году телевизионная лента «Пилоты в пижамах».

В отличие от монопортрета, каким был «Смеющийся человек», эта четырехсерийная картина («Да, сэр», «Хилтон-Ханой», «Работа» и «Громовержцы») представляет галерею образов американских пилотов, сбитых и взятых в плен вьетнамскими патриотами.

Каждый из них выступает перед кинокамерой и микрофоном добровольно. Никто не вынуждает их отвечать на вопросы авторов фильма. Идет не допрос, а беседа...

И снова перед зрителем раскрывается духовный, нравственный облик людей, чья мораль сформирована самой природой буржуазного мира... Казалось бы, заурядных людей, для которых, однако, массовые убийства женщин, детей и стариков, гангстерские акции, осуществляемые не с помощью кастета, а с применением многотонных бомб, стали обыкновенным занятием, делом привычным и естественным.

Как происходит такое одичание цивилизованного индивидуума? На этот вопрос отвечает целая серия психологических крупных планов, составляющих основу документального кинополотна, создание которого тоже стало мировой сенсацией.

«Смеющийся человек» и «Пилоты в пижамах» — классические примеры анатомирования психологии врага острым скальпелем документального кино. В обоих фильмах предметом исследования является характер современного империалистического конкистадора.

Несколько иная фигура стоит в центре еще одного примечательного фильма — «Час духов». Здесь дело не столько в обличении светской гадалки фрау Бухелы, не в анализе ее психологии, а в раскрытии духовного убожества, неуверенности в будущем, невежества высокопоставленных деятелей Западной Германии, приходящих за советом и предсказаниями к «колдунье XX века». Образ боннской пифии становится средством художественно-документального изображения интеллектуальной и нравственной атмосферы, в которой живет правящая олигархия буржуазного общества.

Но самым любимым фильмом Хейнов-

ского и Шоймана, по их признанию, остается кинопортрет человека нового мира — образное интервью с одним из ведущих ученых Германской Демократической Республики, профессором Максом Штеенбеком. Фильм «Тоска по будущему» раскрывает сложную диалектику души человеческой, показывая уход большого ученого от иллюзий «беспартийности» в науке к позициям активного борца за социализм.

С таким разнообразием характеров-типов связана широта палитры художников в пределах избранного ими, казалось бы, узкого жанра. Отсюда же и множественность методов исследования душевных качеств человека. Эти методы помогают добиваться небывалой силы самовыражения «субъекта-объекта» в документальном кино. И секрет этой силы в каждом случае иной.

Как во все переломные эпохи истории, в наше время бурное распространение получили сугубо «личностные» и вместе с тем документальные жанры литературы: книги-исповеди, воспоминания, мемуарные формы эпического повествования.

Исповедь? Элементы исповеди, вызванной раскаянием и стремлением поделиться своей душевной болью с окружающими, есть в картине «О'кей». И в «Тоске по будущему» тоже есть нечто от исповеди, здесь сопряженной с раздумьями о жизни современного мира. В «Смеющемся человеке» откровенность самовыражения определяется иными причинами: душевный эксгибиционизм Конго-Мюллера связан с теми же побуждениями, какие владели гитлеровскими палачами, охотно снимавшимися у виселиц с еще корчащимися телами их жертв. А фрау Бухела была готова на любую откровенность в порядке простейшей саморекламы.

Разные случаи диктовали и разные приемы исследования — от «психологической дуэли» с Конго-Мюллером или обитателями ханойского лагеря для военнопленных до совместного размышления, интимного диалога с персонажем фильма. Но во всех случаях решающее значение обретала способность кинодокументалистов углубиться в психологию партнера, возбудить токи понимания (вопреки поговорке: «понять» далеко не всегда означает «простить»).

Поэтому, на мой взгляд, Хейновский и Шойман выступают новаторами не только в сфере документального киноискусства, но и в сложной, мало изученной области социальной психологии.

Каждая их работа обретает характер тонкого, точно продуманного психологического теста. И важной стороной их творчества мне представляется умение заранее спланировать, найти, обдумать все подробности предстоящей исследовательской операции с учетом возможных неожиданностей... В этом тоже одна из особенностей их творческого метода: предварительные поиски маршрута каждого столь непростого путешествия в духовный мир человека.

Все это вместе взятое и придает каждой новой работе Хейновского и Шоймана характер открытия. Все это делает каждый новый их фильм острым, точно действующим оружием.

В военной практике известен термин «разведка боем»... Лучшие произведения Хейновского и Шоймана — больше чем обычная разведка нового. Не только разведка, но и открытие боем.

КАРЛОС БЕЙКЕР

ЖИЗНЬ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

Главы из книги*

В воскресенье 9 мая, после сорока пяти дней, проведенных в Испании, Эрнест прибыл в Париж. Вид у него был загорелый, здоровый. Репортерам он сказал, что не думал раньше, что война продлится так долго. Сказал, что возвращается в Соединенные Штаты, чтобы закончить работу над романом, первый вариант которого уже готов. После завершения этой работы и сдачи романа в печать он вернется в Испанию, где летом, по его мнению, развернется «большая маневренная война».

После интервью он провел в Париже четыре заполненных делами дня: совещался с Луисом Аракистайном о медицинском обслуживании республиканской армии, произнес речь в англо-американском пресс-клубе и еще одну — в книжном магазине Сильвии Бич, перед друзьями общества «Шекспир и Компания».** Он запинался и заикался, произнося обе эти речи, и у слушателей создалось впечатление, что он чувствовал себя не в своей тарелке. У Сильвии присутствовал Джойс, сидел в углу, подчеркнуто не интересуясь Испанией и политикой. Эрнест сообщил своим слушателям, что писать — очень трудная работа. Он никогда не бывал полностью удовлетворен своими книгами, разве что романом «И восходит солнце». Он говорил обо всем этом довольно сбивчиво и с явным облегчением перешел к чтению отрывков из рассказа «Отцы и дети».

18 мая он прибыл в Нью-Йорк на «Нормандии» с намерением отправиться в Ки-Уэст, забрать жену и детей и провести большую часть лета на Бимини, работая над текстом романа и занимаясь рыбной ловлей. Только два серьезных дела требовали его внимания. Во-первых, нужно было подготовить речь, которую он согласился произнести на Втором конгрессе американских писателей в Нью-Йорке, назначенном на самое начало июня. Во-вторых, «Испанская земля», которую предстояло теперь смонтировать и снабдить дикторским текстом и музыкой, а затем распространить, чтобы выполнить важнейшую задачу — собрать средства на санитарные машины для республиканцев. 2 июня, когда он работал и отдыхал на Бимини, Йорис Ивенс телеграфировал из Нью-Йорка, что президент Рузвельт и его супруга согласились посмотреть фильм в Белом доме в начале июля. Эта важнейшая встреча была организована Мартой Гелхорн, состоявшей в хороших отношениях с Элеонорой Рузвельт. Пока что Ивенс посылал дикторский текст на суд Эрнеста. «Наш народ,— говорилось там,— добился того, что имеет, путем демократических выборов. Теперь мы защищаем наши права. Мы вынуждены сражаться против военной клики и иностранной интервенции. В этой борьбе вся страна едина. Крестьяне лучше распоряжаются своей землей, чем прежние помещики. Они используют все возможности испанской земли». Вариант Хемингуэя содержал всего три фразы вместо шести у Йориса: «Права обрабатывать нашу землю мы добились путем демократических выборов. Теперь военные клики и помещики-абсентеисты напали на нас, чтобы отобрать нашу землю обратно. А мы сражаемся за право орошать и обрабатывать эту испанскую землю, которую аристократы оставляли пустующей для собственных развлечений». Как объяснение причин войны оба варианта страдали упрощенчеством. Но они очень сжато выражали основную идею фильма.

Продолжение. Начало в № 5.

* Печатаются в сокращении.

** См. «Праздник, который всегда с тобой».

Четвертого июня Эрнест улетел с Бимини на конгресс писателей. Когда он вошел в Карнеги-холл, заседание уже давно началось. Стоя за кулисами, он бормотал, что не умеет произносить речи. В громадном зале было жарко и накурено. Партер, все ложи и балконы были полны, присутствовало 3500 человек. Еще около тысячи человек не смогли попасть в зал. В напечатанных программах говорилось, что конгресс организован Лигой американских писателей, президентом которой был Дональд Огден Стюарт. Выступать, помимо Стюарта, должны были Эрл Браудер, секретарь Коммунистической партии США, Йорис Ивенс со своим все еще незаконченным фильмом и, наконец, Хемингуэй. Председательствовал Мак-Лиш.

Доклад Браудера был сдержанным и откровенным. Европейские диктаторы своими бомбами разрушили «башню из слоновой кости»; все писатели должны теперь обратиться к жизни простых людей, «источнику силы в искусстве». Ивенс сделал вступление к «Испанской земле», которая все еще не была озвучена. «Может быть, немного странно,— сказал он,— показывать на конгрессе писателей кинофильм, но мне кажется, что здесь это уместно... Фильм сделан на том фронте, на котором сегодня следует быть каждому честному писателю». Эрнест был одет слишком тепло для такой погоды и теребил свой галстук, как будто задыхался. Когда Мак-Лиш представил его, раздался гром аплодисментов. Стекла его очков запотели, загорелые щеки лоснились. Он резко поднялся и начал свои семиминутную речь, не дожидаясь, когда утихнет овация.

«Задача писателя неизменна,— сказал он.— Сам он меняется, но задача его остается той же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво, и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта... Настоящий хороший писатель будет признан почти при всякой из существующих форм правления, которая для него терпима. Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. Потому что фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами. Писатель, который не хочет лгать, не может жить и работать при фашизме».

Остальная часть речи не отличалась особой внутренней логикой. Но ее недостатки с лихвой окупались тем, что Хемингуэй вообще согласился выступить. Среди других, наблюдавших и слушавших с нескрываемым волнением, в зале находился Пол Ромэн, книготорговец из Мильвоки. «Это было великолепно,— рассказывал он,— как будто каждый заключил его в свои объятия, настоящего соратника... в борьбе против фашизма. Разве можно было потерпеть поражение в этой борьбе теперь, когда с нами Хемингуэй?» По залу катились волны аплодисментов, когда Эрнест, «возбужденный и мокрый от пота, скрылся за кулисами и больше не появился». Аудитория была покорена его очевидной искренностью и огромным личным обаянием.

Маневренная война, которую Эрнест предсказал на лето 1937 года, шла большей частью не так, как ему бы хотелось. За время его отсутствия ни одно из наступлений республиканцев не позволило снять осаду Мадрида и не помешало мятежникам захватить северные провинции. Наступление генерала Вальтера на Сеговийском фронте в конце мая началось хорошо, но затем выдохлось. 18 июня Франко захватил Бильбао. В кровопролитных боях под Брунете, происходивших в разгар мучительной июльской жары, республиканцы понесли большие потери. Басконские провинции были оставлены, а 14 августа, в тот самый день, когда Эрнест отплывал из Нью-Йорка, мятежники начали наступление на Сантандер.

В начале сентября Эрнест и Марта встретились как-то вечером с Гербертом Мэтьюзом в кафе Мира. Новости все еще были невеселые. Франко удерживал две трети Испании, со дня на день ожидалось новое наступление на Мадрид. Но когда они прибыли на Арагонский фронт, тучи как будто развеялись. Республиканское наступление южнее Сарагосы привело к взятию Бельчите. Они бродили по развалинам разрушенного города. От добровольцев Пятнадцатой интернациональной бригады Эрнест узнал, какой тактики они придерживались под Бельчите. Их командир, майор Роберт Мерримен, «прокладывал себе путь взрывами», несмотря на то, что был несколько раз ранен осколками ручных гранат, и не остановился, пока его люди не ворвались в собор. Эрнест тут же включил Мерримена в свою галерею героев.

Эрнест, Марта и Герберт Мэтьюз были первыми американскими корреспондентами, давшими полную информацию о положении в секторе Бельчите. Они карабкались по крутым горным тропам пешком и верхом, ехали по только что проложенным военным дорогам на грузовиках и в штабных машинах. Труднее всего приходилось с едой и ночлегом. Хлеб и вино давали им крестьяне, готовили на кострах. Спали в открытом грузовике, куда были положены матрацы и одеяла, полученные из Валенсии. На ночь машину ставили в крытых дворах, среди кур, коров, ослов и овец, и на рассвете их будило оглушительное мычание, блеяние, кудахтанье. В горах уже выпал снег, и в кузове грузовика гулял ледяной ветер. Марта переносила эти невзгоды со свойственной ей смелостью и апломбом. Много лет спустя Эрнест с похвалой вспоминал, как она держалась в те сентябрьские недели.

В Мадриде в конце сентября было гораздо тише, чем в апреле и мае. Осада продолжалась, и военные действия по-прежнему шли в Усере, Карабанчеле и Универ-

ситетском городке, но иногда за целый день ни один снаряд мятежников не прилетал из-за Каса-дель-Кампо. Эрнест и Марта перебрались в отель «Флорида». Кое-что еще переменилось. Летом Рубио Идальго перевел из Валенсии Констансию де ла Мора, которая заменила Ильзу Кульцар и Артуро Бареа в отделе цензуры. Узнав об этом, Эрнест покачал головой и поморщился. «Я, конечно, ничего не знаю,— сказал он,— но мне жаль. Не нравится мне эта история».

В начале октября Марта и Эрнест выехали с Мэтьюзом и Делмером на Брунетский фронт. Они смотрели с гор на солдат мятежников, шагающих по улицам, и были удивлены, что в городе не только мало разрушений, но и спокойно. Делмер установил на своем «форде» английский и американский флажки как знак нейтралитета. Это едва не стоило им жизни, когда они ехали на север к Вильянуэва-де-ла-Канада. Артиллеристы мятежников приняли «форд» за «какую-то важную штабную машину», и снаряды начали рваться прямо на дороге, по которой они ехали. «Снаряды, в общем, все похожи друг на друга,— писал Эрнест.— Если они в вас не попали, то не о чем писать, а если попали, то вам уже не приходится писать об этом». Все же Делмер осторожно привел машину домой через затемненные пригороды Мадрида. В небе ярко светили созвездия. Эрнест и Герберт Мэтьюз глядели на них с заднего сиденья, и Эрнест со знанием дела распространялся о навигации по звездам в южных широтах.

Его восторженное состояние все еще длилось, хотя было не так заметно, как весной. В его номер в отеле «Флорида» приходили отдохнуть отпускники из интернациональных бригад. Одним из них был Фил Детро, техасец выше шести футов ростом. Вернувшись в штаб 15-й бригады, он рассказывал чудеса о гостеприимстве Хемингуэя — горячая ванна, сыр, ветчина, спиртное, игра в кости, патефон... Эрнест часто встречался с молодыми американцами и в баре Чикоте, одном из своих любимых уголков на Гран-Виа. Другим его гостем был Фредди Келлер, коренастый, синеглазый парень, комиссар пулеметной роты Линкольна, незадолго до того отличившийся во время боев при Фуэнтес-дель-Эбро. Фред привел с собой грека Джонни Цанакиса, страстного антифашиста, работавшего в Греции в подполье. Фил Детро познакомил их с Хемингуэем, и они сразу же поладили.

Эрнест был все еще в Мадриде, когда в середине октября в Нью-Йорке вышел роман «Иметь и не иметь». По обыкновению, он озабоченно следил за тем, как книга расходится. Между 30 октября и 9 декабря он трижды телеграфировал Перкинсу. Уже в начале ноября тот мог сообщить, что продано 25 000 экземпляров и книга стоит на четвертом месте среди бестселлеров. Однако критика приняла ее отнюдь не безоговорочно. Кроненбергер считал, что книга путаная, или переходная, или и то и другое. Морган удался, и некоторые сцены великолепны, но где-то в середине книга распадается на части, и в ней есть «поразительные промахи с точки зрения профессионального мастерства». Дональд Адамс писал, что творчество Хемингуэя выглядит лучше без этой книги, которая, по его мнению, определенно уступает роману «Прощай, оружие!». Журнал «Тайм» поместил на обложке рисунок Уолдо Пирса, изображающий Эрнеста в тельняшке и кепке с длинным козырьком. В статье же говорилось, что метод Хемингуэя немного устарел, хотя мировоззрение его (под давлением и левых и правых в политике) стало более зрелым. Высказывалось предположение, что гражданская война в Испании способствовала пробуждению «его глубоко запрятанного социального сознания». В Англии отклики на книгу были несколько теплее. Обозреватель «Манчестер гардиан» был тронут отношениями между Гарри Морганом и его женой, но обвинял Хемингуэя в «несправедливых нападках на обеспеченных людей». «Таймс литерери саплемент» понравился немногословный диалог с подтекстом и волнующая фабула; недостатки книги рецензент объяснял тем, что у автора слишком узкая шкала ценностей.

В ответ на неблагоприятные суждения Эрнест, как всегда, закипел, взорвался и успокоился. Но он запомнил имена тех, кому не понравилась книга. Таких было достаточно много, чтобы оправдать выражение, которое он уже употреблял раньше (и будет употреблять вновь), когда его книга не получала всеобщего одобрения: опять, сказал он, какая-то «банда критиков» сговорилась «вытолкнуть его из писателей». Впрочем, книга была пройденным этапом, и он уже глубоко погрузился в новую. Все лето он думал о трехактной пьесе. Он хотел использовать в драматической форме материал, собранный им прошлой весной в многочисленных разговорах с республиканскими должностными лицами в Мадриде. До конца июля он думал написать о контрразведке длинный рассказ. В течение августа и сентября появились контуры драмы. Когда на фронтах наступило затишье, в связи с чем (говоря словами Джона Уилера) «отпала необходимость» в корреспонденциях для НАНА, Эрнест приступил к работе.

Он давно думал написать пьесу, но до сих пор создал в этом жанре только «Сегодня пятница» — безвкусную миниатюру на тему о распятии Христа. Еще в 1927 году он заводил разговор о пьесе с Перкинсом, сказал, что ничего не смыслит в работе для сцены, но, возможно, было бы интересно попробовать. Теперь, десять лет спустя, он был готов к этому. В конце октября он написал Полине, что пьеса закончена. 8 нояб-

ря она сообщила об этом Перкинсу. «Нью-Йорк таймс» тут же дала информацию, и заинтересовавшиеся театральные деятели начали изводить издательство Скрибнерса телефонными звонками, требуя подробностей. Но Макс Перкинс все еще не знал ни названия, ни содержания пьесы: ему было известно только, что она вчерне напечатана на машинке и лежит у Эрнеста в отеле «Флорида».

Тех, кому он показывал пьесу, вероятно, поразил ее автобиографический элемент. Эрнест доставил себе развлечение, наделив своего героя Филипа Ролингса некоторыми собственными привычками и чертами. У Ролингса были «широкие плечи и походка как у гориллы», он обычно не завтракал, читал все утренние газеты, любил сандвичи с мясными консервами и сырым луком, регулярно пил в баре Чикоте и уверял, что «не обязан, черт возьми, быть монахом». Его поведение в обществе включало алкоголь и потасовки, частые бессмысленные споры, упорное утверждение своего мужского «я» и решимость не поддаваться господству женщин. Короче говоря, образ Филипа Ролингса, корреспондента и негласного сотрудника контрразведки в осажденном Мадриде, был проекцией самого Эрнеста, основанной на его представлении о том, что значило бы для него действительно работать с человеком вроде Антонио, прототипом которого послужил тонкогубый Пепе Кинтанилья, возглавлявший мадридскую карательную службу. Со своей страстью к точному изображению он даже использовал в некоторых сценах обстановку комнаты, которую занимал тогда во «Флориде»,— кресла, обитые кретоном, высокий зеркальный шкаф, где хранились запасы еды, патефон с пластинками Шопена и даже горничную по имени Петра. Кроме того, поскольку он писал пьесу осенью, в ней упоминается недавний захват Астурии и идет разговор о предстоящей зиме.

Женщина-корреспондент в пьесе, Дороти Бриджес, несомненно похожа на Марту Гелхорн. Это высокая красивая блондинка с длинными стройными ногами, с изысканно культурным выговором и с дипломом об окончании колледжа. Как и Марта, она не выносит грязи, обожает наводить в комнатах уют и даже носит пелерину из чернобурых лисиц. Не имея внешнего сходства с Полиной, она представляла еще один шаг в постепенном отчуждении Эрнеста от второй жены, которое наметилось уже в «Снегах Килиманджаро». Когда Филип с издевкой перечисляет края, куда они могли бы поехать, мы узнаем те места, где Эрнест бывал с Полиной во Франции, в Кении и на Кубе. Все это теперь позади, говорит Филип: «Туда, куда я поеду теперь, я поеду один или с теми, кто едет туда за тем же, за чем и я». Он имел в виду места, куда ездил по работе и в обществе людей типа Макса, «товарища» с изуродованным лицом, который провел всю свою сознательную жизнь в борьбе против фашизма. Проститутка-марокканка Анита говорит Филипу, что он делает ошибку, водясь с той «большой блондинкой», Дороти Бриджес. Филип согласен, что она действительно «страшная эгоистка». Но, кроме того, она красивая, милая, привлекательная, даже «честная и храбрая». «Боюсь, что в этом-то вся беда,— говорит Филип Аните.— Мне ужасно хочется сделать колоссальную ошибку». Так мимоходом Эрнест давал в пьесе любопытную характеристику своего романа с Мартой Гелхорн.

[*После еще двух поездок в Испанию Хемингуэй в ноябре 1938 года окончательно вернулся в США.*]

«Сейчас мне надо писать,— объявил Эрнест.— Пока идет война, все время думаешь, что тебя, может быть, убьют, и ни о чем не заботишься. Но вот меня не убили и, значит, надо работать... жить гораздо труднее и сложнее, чем умереть, и писать все так же трудно, как и всегда... В рассказах о войне я стараюсь показать все стороны ее, подходя к ней честно и неторопливо и исследуя ее с разных точек зрения. Поэтому не считайте, что какой-нибудь рассказ выражает полностью мою точку зрения, все это гораздо сложнее. Мы знаем, что война — это зло. Однако иногда необходимо сражаться. Но все равно война — зло, и всякий, кто станет отрицать это,— лжец. Но очень сложно и трудно писать о ней правдиво... В Итальянскую кампанию, когда я был юнцом, я очень боялся. В Испании через несколько недель страха уже не было, и я был очень счастлив. Но для меня не понимать страха у других или отрицать, что он вообще существует, было бы плохо, особенно как для писателя. Просто я сейчас лучше понимаю все это. Если война начата, единственно, что важно,— это победить, а этого-то нам и не удалось. Но покудова к черту войну. Я хочу писать»*.

Помимо корреспонденций о мадридских шоферах и о старике у моста Ампоста, первым результатом военного опыта Эрнеста была серия коротких рассказов. В середине ноября, когда он был еще в Париже, в «Эсквайре» появилось «Разоблачение». Там рассказывалось об официанте в баре Чикоте, который распознал в одном посетителе шпиона мятежников и выдал его, позвонив в тайную полицию. Гингричу очень понравился также второй рассказ «Мотылек и танк», основанный, как и первый, на подлинном случае, происшедшем осенью 1937 года. Эрнест уже изложил его коротко в «Пятой колонне». Пьяный гражданин по имени Педро стал опрыскивать официантов в баре Чикоте из пульверизатора с одеколоном. Взбешенные солдаты сначала побили его, а затем застрелили. Когда Стейнбек прочитал рассказ в декабрьском номере «Эсквайра», он отозвался о нем как об одном из самых лучших рассказов всех вре-

* Из письма к И. А. Кашкину от 23 марта 1939 года.

мен. Увидеть в этом происшествии зерно рассказа было само по себе здорово, писал он Эрнесту, а написать его так превосходно было «почти что слишком».

В февральском номере «Эсквайра» вышел его рассказ «Ночь перед боем», который он послал Гингричу из Парижа в октябре. Он сочинил стихотворение в прозе «Американцам, павшим за Испанию» для опубликования в журнале «Нью мэссис». Отпечатанный им на машинке текст, как и рукопись «Испанской земли», он отдал для продажи с аукциона в фонд содействия бойцам бригады имени Линкольна. Он уже думал о сборнике рассказов, которым будет заниматься осенью 1939 года. Помимо тех, что вышли недавно в «Эсквайре» и «Космополитэне», он хотел написать еще три длинных рассказа. Два были связаны с Испанией, а третий — с одним старым рыбаком-кубинцем. Первый должен был называться «Усталость», в нем он хотел вернуться к битве под Теруэлем, во втором собирался описать штурм прохода в Сьерра-Гвадаррама отрядом польских улан. Третий, занимавший его больше всего, был задуман еще несколько лет назад. Набросок к нему «На синей воде» уже появился в «Эсквайре» за апрель 1936 года. То была повесть о престарелом профессионале-рыбаке из Касабланки, деревни с восточной стороны гаванского порта. Один в своей лодке, четыре дня и четыре ночи он боролся с огромным марлином только для того, чтобы потерять его из-за стаи акул, поскольку рыба была слишком большая, чтобы втащить ее в лодку. В рассказе должно было быть все, что говорил и думал старик за время своего долгого и одинокого сражения. Если рассказать как следует, думал Эрнест, это могло бы получиться «здорово», стать «гвоздем» новой книги. Он говорил, что в следующий приезд на Кубу постарается пойти на лодке со старым Карлосом Гутьерресом, чтобы все подробности в рассказе были достоверны.

На Кубу он выехал скоро, 14 февраля, и провел там месяц. Каждый день он работал с восьми до двух, потом играл в теннис, плавал или рыбачил. Он не написал ни одного из рассказов, предложенных Перкинсу. Вместо этого он закончил другой — «Под гребнем». Местом действия была суровая вершина горы в секторе Харамы, где Двенадцатая интернациональная бригада только что провела неудавшееся наступление.

Но главное, что Эрнесту удалось сделать на Кубе,— это начать работу над романом о гражданской войне в Испании. Работа эта, говорил он Перкинсу, настолько ответственна, что в ближайшее время он даже не надеется к ней приступить. В Париже в конце октября он упоминал, что закончил две главы какого-то романа. Но сам он считал, что по-настоящему начал работать с 1 марта 1939 года. За три недели он написал 15 000 слов. Ему казалось, что это в двадцать раз лучше, чем «Ночь перед боем», и, по мере того как он втягивался в работу, возбуждение его росло. Опять он после каждого рабочего дня испытывал знакомое чувство опустошенности и вместе с тем готовности с новой энергией взяться за работу на следующее утро.

Он вернулся в Ки-Уэст, главным образом для того, чтобы повидаться с Бэмби, который проводил там весенние школьные каникулы. К несчастью, светский сезон был в разгаре. Пока Эрнест был во Франции и в Испании, Полина обзавелась большим количеством новых друзей и теперь не проявляла желания прогнать их, чтобы он мог спокойно работать. Новая дорога вдоль островов, жаловался Эрнест, стала как бы молчаливым приглашением «каждому сукину сыну, который когда-то прочел хоть строчку» из Хемингуэя, заявиться в гости. В маленький домик возле плавательного бассейна, где Эрнест работал, постоянно доносились голоса. Когда его пригласили участвовать в состязаниях по ловле тунца, он отказался. Он рвался обратно на Кубу, к работе над романом. Теперь, чувствовал он, наступил момент, когда он должен написать «настоящую вещь».

10 апреля он отплыл в Гавану и вернулся к прежнему образу жизни — работал, пил, рыбачил, плавал и играл в теннис, только на этот раз к нему вскоре приехала Марта Гелхорн. Это была ее первая поездка на Кубу, и она была намерена там остаться. Эрнест обещал к ее приезду подыскать жилище. Но когда она нашла его в баре «Амбос мундос», то, хотя он, казалось, очень ей обрадовался, по части поисков дома не было предпринято ничего. Марта вскоре обнаружила старый помещичий дом под названием Финка-Вихия в деревне Сан-Франсиско-де-Паулу милях в пятнадцати от центра Гаваны. Имение принадлежало семье д'Орн и занимало вершину холма, откуда вдали виднелись море и город. Дом сильно обветшал, пропитался запахом сточных вод, и весь участок сдавался за сто долларов в месяц. Приехав туда с Мартой, Эрнест сразу помрачнел. Дом был в слишком плохом состоянии, слишком далеко от Гаваны и стоил слишком дорого. Он махнул рукой и отправился рыбачить. Но Марту убедили, что дом можно привести в порядок. В отсутствие Эрнеста она за свой счет наняла рабочих и прислугу и взялась за дело. Когда он вернулся, она показала ему результаты своих трудов. Дом ему так понравился, что он немедленно туда перебрался.

Приличия ради он по-прежнему указывал в качестве своего почтового адреса бар «Амбос мундос». Но к началу мая он начал упоминать в письмах Перкинсу «некое заведение на вершине холма», где всегда дул прохладный бриз. Его роман подвигался со скоростью от 700 до 1000 слов в день. Он говорил, что так увлечен работой, что иногда лишь в половине восьмого вечера вспоминает о своих обычных трех

стаканчиках виски перед обедом. Теперь он уверял, что книга будет готова в конце июля или начале августа. Все остальное казалось далеким и совершенно незначительным. Он не отрывался от своего дела, кроме как для рыбалки по уик-эндам, когда чувствовал себя уже до предела усталым.

Прошел месяц его пребывания на Кубе, но роман продолжал разрастаться. Когда в середине августа рукопись достигла 76 000 слов и логической паузы, Эрнест решил съездить на Запад.

Его прибытие на ранчо в Вайоминге совпало с началом войны в Европе. Почти всю ночь он не ложился спать, слушал новости по своему портативному приемнику. Война не была для него неожиданностью. Он уже шесть лет предсказывал ее и в печати и в частных разговорах. Но он испытывал нечто подобное тому, что испытал, когда началась гражданская война в Испании. Тогда тоже была в разгаре работа над романом и хотелось обязательно закончить его, прежде чем ехать на театр военных действий. Теперь все повторялось. Хотя в его письмах уже в начале сентября мельком говорилось о том, что в конце концов война от каждого потребует выполнения своего долга, сейчас он был не прочь собрать около себя детей и выжидать событий. Война в Европе, говорил он, продлится теперь много лет.

К концу октября он довел роман до главы 18-й. Пока что, писал он Перкинсу, в книге есть две чудесные женщины. Место действия — лагерь партизан-республиканцев в горах Сьерра-Гвадаррама к северо-западу от Мадрида. Он как раз начал работать над экскурсом в прошлое в виде сцен в отеле «Гэйлорд», штаб-квартире русских возле Прадо, где он так часто разговаривал с корреспондентом «Известий» Кольцовым*. Кольцов уже появился в книге, слабо замаскированный под Каркова. Фигурировал там и Валентино Гонсалес по прозвищу Эль Кампесино **, бывший сержант испанского Иностранного легиона; и Энрике Листер, галисийский каменотес, ставший солдатом; и Хуан Модесто из Андалусии; и Клебер, Лукач, Ганс Кале и Густаво Дуран — все высшие офицеры, с которыми Эрнест встречался весной 1937 года.

[В декабре 1939 года Хемингуэй снова на Кубе, в Финка-Вихия.]

Чтобы показать Перкинсу, каков уровень книги, Эрнест послал ему в январе два образчика — первые несколько абзацев и рассказ Пилар об избиении фашистов в родной деревне Пабло. Наступившие холода напомнили ему о старой привычке — писать, лежа в постели, чтобы быть в тепле. Таким путем он закончил главу 24-ю, хотя и говорил, что для соблюдения достоверности очень плохо, когда дрожишь от холода, а пишешь о жарком утре в июне 1937 года.

Он задумал сначала книгу гораздо короче той, что у него получалась. К концу главы 28-й он стал жаловаться, что нервы сдают от беспрерывной работы в течение многих месяцев. Но он знал, что не должен поддаваться панике и торопиться. Он писал Перкинсу, что если бы решил писать так неряшливо, как Синклер Льюис, то мог бы выдавать 5 000 слов в день из года в год. Его метод был противоположным: постоянный ежедневный контроль для того, чтобы избежать в дальнейшем полной переработки. Его работа, как он объяснял Чарльзу Скрибнеру,— болезнь, порок и одержимость. Чтобы быть счастливым, он должен писать, а это уже болезнь. Ему это нравится, значит болезнь оборачивается пороком. Поскольку он хочет писать лучше, чем когда-либо писал кто-либо другой, порок быстро становится одержимостью.

Чтобы поддерживать в себе веру в высокое качество своей работы, он продолжал показывать части романа многим близким друзьям: Йорису Ивенсу, Эстер Чемберс, Кристоферу Ла Фарджу, Отто Брюсу и, конечно, Максу Перкинсу. Они реагировали с таким воодушевлением, что он рискнул отдать свое детище на суд Бену Финни, которого он почитал как ветерана Корпуса морской пехоты и бесстрашного бобслеиста. Финни прочел все, что Эрнест успел написать, за один присест — с четырех часов дня до четырех часов ночи. Он уговаривал Эрнеста признаться, что тот сам пережил все происходящее в романе. «Нет, черт возьми,— сказал Эрнест, в высшей степени польщенный,— я это придумал». Несмотря на такие оценки, у него бывали минуты сомнения. Полина теперь так его ненавидит, говорил он, что не пожелала прочесть роман. Это безобразие, ведь она разбирается в литературе лучше, чем все те, кто его читал.

Но книга была еще далеко не закончена. В конце первой недели апреля он завершил главу 32-ю, двенадцатую из тех, что были написаны после возвращения из Сан-Велли. В одной из них великолепно изображены последние часы Эль Сордо на вершине холма. Другая содержит душераздирающий рассказ Марии о том, как ее насиловали фашистские солдаты.

Многие из друзей Эрнеста фигурировали в книге, одни под собственными именами, другие слегка замаскированные. В последнее время он переписывался с Густаво Дураном, республиканским командиром, который в 1939 году бежал в Лондон. Дуран выведен под собственным именем, так же как и Петра, горничная Эрнеста в отеле «Флорида». Генерал Лукач из Двенадцатой интернациональной бригады описан тщательно и любовно, так же как и польский генерал Кароль Сверчевский, известный

* М. Кольцов был корреспондентом газеты «Правда».
** По-испански — «крестьянин».

своим войскам как генерал Вальтер, а в романе — генерал Гольц. Журналист Кольцов рассхаживает по отелю «Гэйлорд» под именем Каркова. Мария, героиня романа, носит имя медицинской сестры, которую Эрнест встретил в Матаро весной 1938 года, хотя ее внешние данные, включая светлые волосы, «переливающиеся волной, точно пшеница под ветром», по-видимому,— тайная дань Марте Гелхорн. Роберт Джордан, преподаватель колледжа из Монтаны, во многом схож с мужественным майором Робертом Меррименом из Пятнадцатой интернациональной бригады, преподавателем экономики из Калифорнии. Однако Джордан, как и большинство главных героев в произведениях Эрнеста, наделен многими личными чертами и взглядами своего создателя. Родители Джордана явно списаны с доктора Хемингуэя и его супруги. Джордан-старший застрелился из револьвера «Смит-Вессон» времен Гражданской войны. Его сын размышляет о трусости отца («самое большое несчастье, какое может выпасть на долю человека») и об агрессивности матери («Потому что, не будь он трусом, он не сдал бы перед этой женщиной и не позволил бы ей заклевать себя»). Эрнест наделил Джордана даже одной из своих самых характерных черт — «красной, черной, смертоносной яростью, которая сеет насмешку и презрение так же широко и незаслуженно, как лесной пожар сеет гибель, а потом стихает, и в мыслях появляется та пустота, спокойствие, холодная ясность, какая бывает после близости с женщиной, которую не любишь».

К концу мая Эрнесту стало казаться, что окончание романа уже маячит где-то вдали, однако все еще в тумане, как небесный город. Словно возвещая конец света, обвалился потолок в гостиной, покрыв всю комнату пылью от штукатурки, которая под действием дождей превратилась в твердую белую корку.

Когда Марта в конце июня вернулась из Нью-Йорка вместе со своей матерью, Эрнест заверил ее, что доделать осталось самую малость. Вид у него был несколько одичавший, так как он поклялся не стричься, пока не закончит роман. Он рассказал, что во время взрыва моста волновался почти невыносимо. А потом почувствовал себя таким обессиленным и мертвым, как будто сам через все это прошел. Он уверял, что ему очень не хочется убивать своего героя, с которым он 17 месяцев не разлучался. Все же 1 июля он решил, что конец близок, и отправил Перкинсу телеграмму: «Мост взорван, кончаю последнюю главу». Теперь наконец можно было пойти в Гавану к парикмахеру.

Он шагал по тротуару в старом городе, когда вдруг увидел Джо Норта* и человека по имени Дуглас Джекобс, с которым встречался раньше. Издав победный клич, он заключил Норта в медвежьи объятия. Он заявил, что должен рассказать Джо все о своем новом романе, прежде чем тот прочитает его и рассердится. Договорились вместе позавтракать во «Флоридите». Несмотря на серьезные разногласия в политических взглядах между Нортом и Хемингуэем, завтрак прошел так хорошо, что в четыре часа они все еще были увлечены разговором. Неожиданно дверь бара отворилась, и появилась Марта. «Она была, совершенно очевидно, в ярости,— рассказывал Джекобс,— и не пыталась это скрыть». Оказывается, Эрнест обещал встретиться с ней и ее матерью в два часа. Он стал оправдываться, но она не слушала. «Ты можешь подводить меня,— кричала она,— но ты не смеешь поступать так с моей матерью». Эрнест уплатил по счету, извинился перед собеседниками и покорно пошел за ней.

Несмотря на торжественную стрижку, сорок третья, последняя, глава по-прежнему его беспокоила. К 13 июля Джордан лежал под деревом, наблюдая приближение фашистского лейтенанта Беррендо. Книга, безусловно, могла здесь и закончиться, но Эрнест был все еще чем-то неудовлетворен. Он провел последнюю неделю перед своим сорок первым днем рождения, сочиняя нечто вроде эпилога, две короткие главы, цель которых была — как можно тщательнее связать все концы. В одной главке Карков и генерал Гольц, встретившись после провала сеговийского наступления, вместе возвращаются на машине в Мадрид и говорят о Джордане — как он взорвал мост, а потом исчез. В заключительной главе Андрес пришел к покинутому лагерю Пабло и Пилар и постоял там, глядя на остатки моста в глубине ущелья. По-видимому, Эрнесту было необходимо написать эти куски, снимающие кульминацию, чтобы уяснить себе, что они и не нужны и не желательны.

Он еле дождался, пока рукопись перепечатают, и повез ее в Нью-Йорк. Восточное побережье США изнывало от июльского зноя, и в поезде было жарко, как в печке. При слабом освещении он работал в салон-вагоне над текстом, пока у него не отказали глаза. На Пенсильванском вокзале он выполз из поезда, чувствуя себя как «слепая сардина на консервном заводе». От отеля «Барклай», где он остановился, было всего несколько кварталов до издательства Скрибнерса, и он начал пересылать книгу с курьером по частям — по 200 страниц в день. Через несколько дней, зайдя к нему в отель, Боб Ван Гельдер из «Нью-Йорк таймс бук ревью» застал его в незастегнутой пижаме, в веселой компании. Одним из гостей был республиканский командир в эмиграции Густаво Дуран, недавно женившийся на американке по имени Бонте Кромптон и переехавший в Соединенные Штаты. Дуран вежливо слушал разговор между Хемингуэем и Ван Гельдером, а Эрнест время от времени переводил ему. Ког-

* Джозеф Норт — американский журналист, член коммунистической партии.

да Дуран вышел из комнаты, чтобы позвонить по телефону, Эрнест объяснил шепотом, что, работая над романом, он часто думал, как хорошо было бы кое о чем расспросить его. Но сейчас Дуран заверил его, что не сомневается — роман, в том виде, как он написан, в полном порядке. Прежде чем Дуран уехал к жене в Нью-Гэмпшир, Эрнест взял с него слово прочитать корректуру, чтобы проверить, нет ли ошибок в испанском языке. Эрнест заметил скромно, что он, конечно, не имел достаточных оснований писать книгу об Испании, об испанцах, о республиканском движении и о войне, и к тому же ему совестно просить Дурана, испанца и как-никак его, «черт возьми, героя», прочитать то, что он написал. Дуран согласился, отчасти из любопытства. Он был не в большом восторге от испанского языка Эрнеста, но самую книгу, с некоторыми оговорками, счел на удивление сильной.

26 августа Эрнест отправил из Гаваны авиапочтой корректуру первых 123 страниц книги. С необычной для него покорностью он пошел навстречу пожеланиям Перкинса и Скрибнерса и переписал некоторые места в книге, чтобы сделать любовные сцены более приемлемыми. Но он решительно возражал против их мнения, будто рассуждения Пилар о «запахе приближающейся смерти» безвкусны. Кусок этот, конечно, режет слух, сказал он, но вычеркнуть его равносильно тому, чтобы убрать из симфонического оркестра контрабас или гобой на том основании, что по отдельности они звучат неприятно. Отрывок предназначен вызывать неприятное чувство, но отнюдь не беспричинно: ему надо было донести до читателя грубую вульгарность цыган, которых он знал в Мадриде. Это очень своеобразный народ. Он не хотел их «причесывать», так же как раньше — мичиганских индейцев в рассказах о Нике Адамсе.

Наконец, и это было важнее всего, он решил снять свой эпилог. Первоначальным мотивом, по его словам, было желание, как у хорошего моряка, связать концы с концами и разложить все в порядке по ящичкам. Но теперь он понял: настоящий конец книги там, где Джордан лежит на усыпанной сосновыми иглами земле, точно так же, как лежал за шестьдесят восемь часов до того в первой фразе первой главы. И больше никакого обрамления роману не требуется.

Эрнест начал 1940 год с просьбы к Перкинсу об авансе еще на тысячу долларов под свой незаконченный роман. Перкинс согласился в надежде, что год будет удачный. Доход от пьесы Эрнеста, поставленной на Бродвее и делавшей хорошие сборы, и гонорар за роман должны были вместе превысить 600 долларов, заработанных им в 1939 году. Надежда Перкинса осуществилась в конце августа. Клуб лучшей книги месяца назвал «Колокол» лучшей книгой за октябрь и предложил первый выпуск тиражом в 100 000 экземпляров. Издательство Скрибнерса рассчитывало на такой же тираж своего обычного издания. Эрнест написал Арнольду Гингричу кислое письмо, подсчитывая, во что обошелся ему «По ком звонит колокол» — потеря одной жены и полутора лет жизни. Но он не пытался скрыть, что гордится романом, в котором не было ничего лишнего, который был единым целым, и «каждое слово зависело от всех других слов» с начала до конца, на протяжении сорока трех глав. Теперь он собирался на отдых в Сан-Велли с Мартой и с сыновьями, которых предстояло собрать из разных мест к началу сентября.

День выхода книги приближался, и Перкинс в многочисленных письмах оптимистически высказывался о том, как она будет принята. Но Эрнест слишком нервничал, чтобы ждать, когда почта доставит первые рецензии, и позвонил по телефону в Нью-Йорк Джею Аллену, чтобы тот прочитал некоторые из них вслух. Джей пытался возразить, что телефонный разговор обойдется слишком дорого, но Эрнесту это было безразлично. Он вел себя как маленький мальчик. Спрашивал: «Он правда это написал?» Уверял: «Как критик этот парень просто роет себе могилу». Ему понравилось замечание Джона Чемберлена, что роман обладает «живительной силой брэнди», и мнение Дональда Адамса, что это «самый полноценный, самый глубокий и самый правдивый» из романов Хемингуэя. Адамс считал, что сцены любви Джордана и Марии лучшие в американской литературе, значительно лучше, чем в «Прощай, оружие!», не говоря уже о «случайных совокуплениях» в «И восходит солнце». Боб Шервуд в журнале «Атлантик» назвал книгу «удивительной и прекрасной», отметил ее «силу и жестокость», но также и «щемящую нежность», доказывающую, что этот «замечательный писатель, в отличие от некоторых других замечательных американских писателей, способен на самокритику и на внутренний рост». Клифтон Фэдимен в «Нью-йоркере» тоже обратил внимание на момент роста: в книге, по его словам, проявился зрелый Хемингуэй, «чей голос впервые и еще не так отчетливо зазвучал в «Иметь и не иметь». В «Нэйшн» Маргарет Маршалл утверждала, что плохой привкус, оставшийся у читателей после «Пятой колонны», теперь исчез и что Хемингуэй поднялся на новую ступень в характеристиках, диалоге, напряженности повествования и сочувствии человеку, оказавшемуся перед лицом смерти. Пусть в романе не воплощено «глубокое социальное значение гражданской войны в Испании», но едва ли когда-нибудь еще будет написана такая яркая и волнующая история нескольких живых людей, участвовавших в этой войне.

Перевод с английского С. МИКОЯНА

(Продолжение следует)

Культура и современность

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

КТО ВЫБИРАЕТ АФРИКЕ ГЕРОЕВ?

«Анализ выступлений литературы, целей и поступков большинства из нас, гордых тем, что мы — африканская интеллигенция, обнаруживает печальную истину: факт нашей отчужденности... Настало, кажется, время остановить скрипучую машину африканского развития и задать себе вопрос — куда же мы идем?»

Это написал нигерийский литератор Джозеф Окпаку, главный редактор «Журнала новой африканской литературы и искусства», участвуя в дискуссии, начатой журналом «Африка рипорт», дискуссии на тему о том, на какой основе должна развиваться современная африканская культура и как она должна соотноситься с мировой культурой — и прежде всего с культурой западного мира, с культурой стран, переставших быть властителями Африки, но сохраняющих культурное господство над ней.

Окпаку назвал свою статью «Давайте осмелимся быть африканцами».

Почему же африканец не смеет быть самим собой?

По мнению Окпаку, из-за комплекса неполноценности, ощущения своей второсортности, некогда культивированных европейцами, а теперь самими африканцами. Имеется в виду не все население Черного континента, а интеллигенция, воспитывавшаяся на западный лад.

«Не стоит доказывать, что Запад всегда высокомерно относился к Африке — это очевидно,— пишет Окпаку.— Может быть, менее очевидны покровительственные, снисходительные модификации этого высокомерия, чаще всего проявляющиеся в разговорах в «защиту Африки». Сознательно или нет, большая часть так называемых интеллектуалов попалась на эту удочку и относится к Африке пренебрежительно. Свидетельства можно найти в нашей литературе, политике, науке, в наших языках, буквально во всем».

Общеизвестно, что комплекс неполноценности может выражаться не только в подобострастии, но и в надменности, и как раз в этом второй участник дискуссии, молодой угандийский литератор Табан ло Лийонг, обвиняет своих соотечественников, прежде всего молодежь.

В своей статье «Африканцы, работайте мозгами» Табан ло Лийонг пишет:

«Ну, конечно же, молодые африканцы слушают песни Мариам Макебы и барабаны Олатунджи, смотрят «Прощай, Африка» и другие фильмы, подогревающие в них злость, читают Киприана Эквенси и Чинуа Ачебе (в том случае, если они вообще читают беллетристику), хохочут, танцуют, пьют. Но очень редко находятся среди них читающие Гомера, Достоевского, Брехта или Сартра (вне учебных программ). У них не найти пластинок Баха, Бетховена, Чайковского, они не пойдут на моцартовского «Дон-Жуана», не пойдут на пьесу Олби или даже Шекспира; у них не найти репродукции Пикассо; их не затащить на лекцию по кибернетике или теории относительности».

Табан ло Лийонг приходит к заключению, что неприятие всего неафриканского оставляет молодежи «одни только националистические штампы негритюда и африканской личности и отторгает их от культуры других народов», а страдают от этого бойкота больше всего они сами.

К негритюду и его концепции оба участника дискуссии относятся одинаково отрицательно, хотя из полярно противоположных соображений.

Философско-эстетическая идея негритюда была наиболее четко сформулирована еще в 30-е годы поэтом Леопольдом Седаром Сенгором — нынешним президентом

Сенегала. Смысл ее — в упрощенном виде — в том, что африканец отличен от остального человечества (подразумевалось — белого человечества) мистически-эмоциональным восприятием мира, особенно отчетливо противолежащим рациональному миропониманию европейца.

Для Табана ло Лийонга негритюд — философское оправдание

«диктатуры невежества и мертвой старины, диктатуры пророков, вещающих на мертвых языках: диктатуры табу, ритуалов, богов с их правами и привилегиями».

Отказываясь считать негритюд философией, Табан ло Лийонг говорит о том, что в Африке вообще нет самобытных философских систем; он ссылается на это, как на дополнительное доказательство в пользу необходимости вырваться из рамок африканской замкнутости.

«Нам нужна философия,— продолжает он,— созвучная нашему времени— могучая философия, способная низвергнуть негритюд, апологеты которого тянут нас назад и ищут величие в бессилии. Никто не может отгородиться от XX века, связи которого бросают вызов границам и времени. Нашим детям не спрятаться в черепаший панцирь — им там будет тесно. Они сами выберут себе героев...»

Отношение Окпаку к негритюду гораздо сложней и противоречивей. Ему, как это ни странно, в негритюде недостает африканизма. Варьируя формулу Сартра «негритюд — антирасистский расизм», Окпаку пишет:

«Негритюд никогда не предназначался для африканцев; в этой концепции всегда незримо присутствовал белый и с ним велся диалог. Негритюдом Африка заявляет западному миру: вы говорите, будто мы хуже вас? Неверно. Мы, по меньшей мере, равны вам».

Окпаку прав, когда утверждает, что негритюд — это доктрина интеллектуалов.

«А что говорит эта доктрина миллионам людей, в жизни не слыхавших ни о негритюде, ни о «белотюде»?» — спрашивает он.

Окпаку прав и в том, что негритюд возник только как реакция на определенное отношение Запада к Африке. Вне этого нет никакого негритюда.

Западное отношение к Африке остается фактом, от которого никуда не денешься, фактом остается и существование мировых связей — политических и экономических,— а культурные связи в конечном итоге определяются именно ими. Когда Окпаку переходит к размышлениям о будущем африканской культуры и, в частности, о воздействии, которое неизбежно окажет на нее технический прогресс, с ним происходит нечто парадоксальное: он, только что отвергавший негритюд, покорно повторяет все его основные тезисы. От изменения фразеологии идея национальной исключительности не меняется.

Ни Табан ло Лийонг, который жаждет технического прогресса, ни Джозеф Окпаку, который со вздохом приемлет его, не хотят, чтобы этот прогресс обесчеловечил человека Африки по образу и подобию человека сегодняшнего Запада, сделал его дыркой в перфорированной ленте ЭВМ.

Табан ло Лийонг полон оптимизма и смутно-радужных надежд на то, что энергия освобожденных континентов поможет человечеству решить эту трудную проблему. Если что и страшит Табана ло Лийонга, так это не новое, а старое.

В противоположность Табану ло Лийонгу, Окпаку боится нового, хоть и понимает его неотвратимость. Он уверяет, будто с незапамятных времен Африка предпочитала гуманизм техническому и материальному прогрессу, как будто одно неизбежно исключает другое. Убедив себя в том, что подлинная человечность несовместима с сытостью и удобствами, Окпаку, которому из моделей прогресса, видимо, известна только западная, отказывается принять ее. Он пишет:

«Если западный мир, где человек смятенно замер в полушаге от самоуничтожения, и есть та цель, к которой мы так рвемся, то зачем нам это нужно? Я не хочу сказать, что Африка может обойтись без технического развития... Но культурное развитие — и не с оглядкой на Запад, а само по себе — важнее для народа, чем техническое. Техника просто делает жизнь удобней, а культура — сама жизнь... Если же технический прогресс несовместим с нашим гуманизмом, забудем о техническом прогрессе».

Гуманизм представляется Окпаку африканской монополией, а народу, отчужденность от которого его мучает, он предлагает иллюзорный выбор между комфортабельными небоскребами и, как ехидно говорит Табан ло Лийонг, «биением его сердец и барабанов».

Вопрос об отношении к техническому прогрессу, а следовательно и к развитию культуры, имеет и другую сторону. Он ставит интеллигенцию перед серьезным выбором критериев оценки как культурного наследия прошлого, так и современной литературы и искусства.

Никто из африканских литераторов не хочет покровительственного к себе отношения, но к диалогу с внешним миром на равных они подходят опять-таки с противоположных позиций.

Многие африканские писатели — Льюис Нкози в том числе — требуют, чтобы литературу Африки оценивали критическими стандартами мировой литературы. Его точку зрения разделяет и Табан ло Лийонг, который пишет:

> «Чтобы правильно оценить нашу собственную культуру, мы должны применить к ней глобальные мерки».

Окпаку решительно возражает против этого:

> «Африканское искусство, литература и даже политика смогут оцениваться исключительно африканскими стандартами. Если эта оценка доказывает их несостоятельность — значит, они не состоялись».

Видимо, истина где-то посередине. Художественное произведение, которое принимает тот или иной народ, потому что оно выражает его чаяния, приемлемо и для других народов. Национальное и интернациональное значение литературы в идеале совпадает.

Джозеф Окпаку справедливо связывает трудности, испытываемые африканской литературой на пути ее становления, с существующей издательской политикой. Однако, к сожалению, он не может не только изменить существующее положение вещей, но даже наметить пути к его изменению.

Понятно, что Лондон отбирал и будет отбирать книги для издания по своему вкусу — и в своих интересах; понятно, что с помощью mass media в Африку поставляют суррогат культуры — ее уже нельзя назвать западной, потому что в наши дни этот суррогат становится супранациональным; понятно, наконец, и желание африканской интеллигенции дать своему народу подлинную культуру, но... Но в Африке много языков и мало грамотных, и есть там страны, еще вообще не обладающие письменностью, как, скажем, Мали или Конго; в Африке очень невелики издательские возможности, а политическая независимость многих африканских стран привела к парадоксу — сейчас развитием культуры занимается не больше людей, а меньше, потому что африканская интеллигенция количественно малочисленна и ее едва хватило на укомплектование государственного аппарата.

Нельзя не согласиться с Окпаку, когда он утверждает, что только «причастившись нашей собственной культуры и народа, мы можем стать действительно значимы для внешнего мира». Но приобщение к национальному представляется ему единственным условием плодотворного развития африканской культуры. Отгораживаясь от мировой культуры, он, в сущности, пытается вырастить эмбриона в колбе, а это еще никому не удавалось.

Табан ло Лийонг в отличие от Окпаку сознает и всю невозможность и ненужность строительства «китайской стены» вокруг Африки. Однако и ему порою недостает чувства реальности. Он — за интернационализм, не считающийся ни с какими границами — в том числе и с границами возможностей сегодняшней действительности и человека, детерминированного ею.

Табан ло Лийонг нетерпеливо требует включения африканской культуры (а может быть, культур Африки?) в глобальный контекст, требует немедленной выработки планетарного мышления у африканцев.

> «Разве не существует сегодня только одно единство, имя которому XX век? — запальчиво спрашивает он.— Или вы согласитесь с этим, или вам придется заново карабкаться по ступеням культурной эволюции! Работайте мозгами, африканцы, во славу человеческого разума. Если ваш африканизм не способен к восприятию нового, если ваша эволюция завершена — значит, вы стали черепахами из пословицы: они даже в урожайный год едят немного, потому что панцирь не дает. Мир невероятно разнообразен, и либо мы войдем в него, либо мы присягнем на верность невежеству, голоду, нищете».

Почему Африка должна бояться брать на Западе то, что ей необходимо для культурного развития, задает вопрос Табан ло Лийонг. Ведь взяла же она

> «...сосиски, которые мы охотно едим, автомобили, которые кое-кто из нас имеет, телефильмы, которые мы смотрим. И еще — язык, на котором мы говорим».

И который, добавим мы, так надежно отгораживает африканского писателя от своего читателя, соединяя его с мировым. Кто же читает ту литературу, о которой столько спорят?

Табан ло Лийонг рассчитывает на студентов, обучающихся за границей,— вот они вернутся на родину и станут просвещенными, разборчивыми читателями африканской литературы, потому что пока

> «основная причина невысоких художественных достоинств многих произведений африканской литературы... в том, что читатель, которому она предназначена, не достигает литературного уровня. Любой поэт, состряпавший стишата по ста-

рым рецептам негритюда, может рассчитывать на аудиторию, как и любой драматург, который умеет насмешить публику. Большего не требуется. Если же, за отсутствием африканской традиции, драматург посмеет подражать греческой, то немедленно поднимается крик: «Это не африканское!» Но ведь современные формы драматургии и романа действительно родились не в Африке... Тот, кто намерен создавать или развивать национальную культуру, должен хорошо знать основы мировой культуры».

Джозеф Окпаку, напротив, считает, что беда не в отсутствии читателя, а в отсутствии писателя, который работал бы для Африки, вместо того чтобы старательно нравиться Западу:

«В наших ученых трудах и художественных произведениях мы не обращаемся к африканцам, а задушевно нашептываем что-то в микрофоны Западного мира. Африка для нас — лишь пестрый балаган ярмарочного зазывалы. Пытаясь оправдаться, мы говорим, что африканцы слишком необразованны, чтобы нас понять, что в Африке еще нет читательской аудитории. Позволительно спросить: какой прок от нашей эрудиции и таланта, если мы не способны выполнить своей главной задачи — наладить общение с собственным народом? И еще я спрашиваю: кто же будет писать для тебя, Африка?»

Спор между Джозефом Окпаку и Табаном ло Лийонгом — это прежде всего спор между сторонниками и противниками культурного изоляционизма. И в этом споре Табан ло Лийонг впадает в одну крайность, а Джозеф Окпаку в другую. Пожалуй, правильнее всего будет извлечь рациональное зерно из мыслей обоих спорящих. У ло Лийонга это идея международной общности культуры, у Окпаку — это идея национальной самобытности культуры. И, по существу, спорить надо не о том, чему следует отдать предпочтение — национальному или интернациональному, а о том, что именно нужно Африке завтрашнего дня из ее богатой традиции и что ей следует взять на Западе (кстати, почему непременно на Западе?). Можно спорить и о том, как достичь органического синтеза культур в произведениях искусства, как научить людей распознавать псевдокультуру и что противопоставить агрессии второсортности.

Что же касается книг для Африки, то они уже написаны, они пишутся сейчас, будут писаться и дальше. Африке принадлежит все лучшее, что создано человечеством,— от наскальных изображений до шедевра, который завтра понесет в редакцию молодой никому не известный автор. Долг творческой интеллигенции — и прежде всего африканской — в том, чтобы помочь Африке поскорее овладеть всем, что принадлежит ей по праву.

М. САЛГАНИК

АМФЕТАМИН — ПОЭЗИЯ — «ТОЛПА»

Гашиш, марихуана, амфетамин... Героин, декседрин, ЛСД... В последние годы названия этих и других сильно действующих «галлюциногенных» средств перекочевали со страниц медицинских справочников на первые полосы авангардистских художественных журналов многих стран. Рядом с традиционными для такого рода изданий полупорнографическими снимками (не так давно в американском журнале «Эвергин» можно было, например, полюбоваться Сальвадором Дали, посыпающим из мешка фасолью обнаженную победительницу конкурса красоты) замелькали репродукции картин, созданных под действием опиумного опьянения, и стихи, написанные в перерывах между инъекциями морфина. В серых порошках вдруг открыли чуть ли не безграничные возможности расширения художественного диапазона.

Призыв расширять границы реального опыта употреблением наркотических средств нашел благодатную почву среди части американских художников и литераторов. Пророк декседриновой эстетики Уильям Берроуз из никому не ведомого второразрядного литератора превратился в одну из самых модных фигур на американском Парнасе. Роберт Крили, поэт, привлекший к себе внимание в 60-е годы, говорил, что ЛСД помогает ему «избавиться от страхов, неуверенности, ощущения затерянности и бесконечной изолированности от мира». Аллен Гинзберг принялся всерьез уверять, что амфетамин «придает вещам особую метафизическую окраску», и ошарашил своих поклонников признанием, что многие стихи он писал в состоянии наркотического возбуждения. Наконец, заговорили уже о «революции», произведенной наркотиками в современном художественном сознании. Тот же Аллен Гинзберг, призывая поэтов стремиться к синтетическому образу, объемлющему мир во всем его многообразии, создал попутно настоящий панегирик марихуане и героину, объявив их лучшим средством прикоснуться к «космической благодати» и достичь той степени отрешенности от суеты повседневного, когда поэт «словно смотрит на мир оттуда, где пребывает душа после смерти». Без экспериментирования с сознанием, без постижения всех, порою самых неожиданных физических и психиче-

ских ощущений нет поэзии, писал Гинзберг. А наркотики, по его словам, дают возможность проникнуть в область «подсознательной информации».

Последние книги Гинзберга свидетельствуют, сколь скудны практические результаты «экспериментов с сознанием». Печально наблюдать у этого, несомненно, одаренного поэта усиливающееся стремление к нарочитой зашифрованности стихотворений, стилистической и языковой усложненности, граничащей с косноязычием, да и к грубому натурализму — тоже одному из следствий поэтики, которая считает основным условием творчества состояние наркотической аффектации.

Стоит ли удивляться, что «подсознательная информация» оказывается чрезвычайно далека от сферы общечеловеческого сознания.

В том, что американский поэт и читатель в множестве случаев словно бы обитают в разных временных, интеллектуальных и психологических измерениях, нет случайности. Славословия в честь столь благотворных для «расширения сознания» наркотических инъекций у поэтов американского авангарда — не столько призыв бежать от тягостной действительности в мир недолговечных воздушных замков и золотых снов, сколько декларация вполне определенного художественного принципа. В его основе — лишь модифицированное согласно духу времени стремление к совершенной изоляции мира поэтического от мира обыденного, от идей и представлений рядового читателя. Поскольку читатель воспитан на эрзацкультуре, рассуждают приверженцы такой поэзии, он не способен постичь ценности истинной культуры и в силу этого лишен каких бы то ни было прав соучастия в творческом процессе. Даже когда поэты авангарда касаются тем, полных живого значения для самого широкого круга американцев, хотя бы темы Вьетнама, первым условием состоятельности произведения у них по-прежнему остается его некоммуникабельность, зашифрованность, «отчуждение» от читателя. Призывы стимулировать творческий акт наркотиками, собственно, преследуют цель оправдать то положение, при котором только «посвященным» да еще профессиональным филологам, обладающим навыками дешифровки поэтических текстов, открыт доступ в созданный поэтом мир. Начав с вызывающих сочувствие лозунгов противодействия «массовой культуре», авангард пришел к полной герметизации искусства, в результате чего между поэзией, где течения авангарда особенно сильны,— и читателем, требующим — и в этом его можно понять,— чтобы поэт разговаривал с ним не на профессиональном жаргоне, а на обычном языке, образовался бросающийся в глаза разрыв.

Опасности такой ситуации были уловлены наиболее проницательными американскими критиками да и самими поэтами, например, Робертом Лоуэллом, который несколько лет назад, когда эпоха наркотических озарений была еще впереди, предупреждал о том, что

> «возникло расхождение между поэтическим творчеством и культурой. Писательство превратилось в слишком специальную область, которой недоступно широкое воспроизведение действительного опыта. Оно стало ремеслом, чистым ремеслом, и ему необходимы радикальные средства, чтобы прорваться к жизни».

В последнее время, когда становится все меньше поэтов, умеющих писать стихи, которые не требовали бы пространных разъяснений в прозе, отмеченное Лоуэллом противоречие между культурой, являющейся общественным достоянием, и поэтическим творчеством, имеющим для большинства поэтов сугубо индивидуальную ценность, стало в Америке предметом самых горячих обсуждений. Ежеквартальник «Пэрис ревью» поместил недавно интервью с Робертом Крили и представляющим самое старшее поколение американских поэтов Конрадом Эйкеном; главным в обоих выступлениях оказался вопрос о том, нуждается ли американская поэзия в поисках путей к широким кругам читателей.

За плечами Конрада Эйкена пятьдесят с лишним лет работы. Теперь, когда один за другим ушли Роберт Фрост, Томас Элиот, Карл Сэндберг, он остался едва ли не «последним из могикан» замечательной эпохи в истории американской поэзии, так называемого «поэтического ренессанса» 10-х годов, когда создали лучшие свои книги еще и такие мастера, как Эдвин Арлингтон Робинсон, Эдгар Ли Мастерс, Вэчел Линдсей. Собственно, спор о назначении поэзии, о том, имеет ли она только эстетическую ценность или достоинства ее измеряются также и критерием общественной значимости, завязался еще в те годы. Это был спор между Эзрой Паундом, который в 1914 году провозгласил в качестве исходного тезиса своей поэтики, что

> «художник не находится в зависимости от толпы своих слушателей. Толпа — это плотные миазмы, отбросы, навоз, сдабривающий почву, на которой произрастает древо искусств»,

и поэтами-реалистами, позиция которых была афористически выражена Робертом Фростом:

> «Законченное стихотворение — то, в котором чувство облеклось в мысль, а мысль нашла слово. Если бы мне пришлось давать определение поэзии, я бы определил ее так: поэзия — это слова, ставшие делами».

Вновь разгоревшийся сегодня спор затрагивает, конечно, не только проблему взаимоотношений художника и публики, и уж тем более не вопрос о роли наркотиков в

творческом акте. (Эйкен по этому поводу заметил, что он пробовал курить гашиш, когда нынешних сторонников наркотического стихотворства еще не было на свете, но быстро убедился, что к поэзии ни гашиш, ни опиум отношения не имеют.) Речь идет о большем — о том, как художник доносит до своих «слушателей» постигнутую им правду, да и что такое правда в поэзии: верное ли отображение, угадывание того, что ощущают как истину «слушатели», или какая-то еще никем не угаданная и не понимаемая «слушателями» истина, открытая художником и ждущая годами — может быть, и десятилетиями — того часа, когда она станет истиной не только для художника, но и для третируемой Паундом (и его многочисленными последователями) «толпы». В этом споре Эйкен всегда занимал промежуточную позицию, и на вопрос интервьюировавшего его журналиста «Пэрис ревью», в чем видит Эйкен «сверхзадачу» современного поэта, он ответил:

«Я рассматриваю себя просто... как учителя, как проповедника, как человека, в поэтической форме знакомящего публику с *новостями* мира; я имею в виду полученное новое знание... Я много раз говорил: поскольку поэзия — высшая форма человеческой речи, она способна не только воспринимать и хранить, но в конечном счете также и наиболее эффективно выражать все, что открывается поэту в мире или в самом себе. Она во все времена будет усваивать то, что мы узнаем, и трансформировать усвоенное, и возвеличивать наше знание. Это всегда было и всегда будет назначением поэзии».

Отсюда, конечно, еще очень далеко до осуществления фростовского требования, чтобы поэтическое слово становилось в конечном счете делом. Однако на фоне демонстративного отказа многих современных американских поэтов хоть как-то считаться с реальной жизнью, идеями и представлениями «толпы» позиции Эйкена, который говорит о поэзии как о «единственной все еще жизнеспособной и действенной религии» в обществе, построенном на принципиальном обособлении человека от человека, представляется гораздо более близкой к Фросту, чем к Паунду; она продиктована все-таки поисками контактов со «слушателями», с эстетическим сознанием читателя. Речь идет не о простой доступности поэтического текста; стихи самого Эйкена отнюдь не рассчитаны на легкое чтение. Речь идет о том, что поэт живет в коллективе людей и его работа потеряет смысл, если «личностное» в его творчестве полностью вытеснит общечеловеческое.

Означает ли это, что художник лишь тогда может считать свою миссию выполненной, когда его произведения находят широкий непосредственный отклик? По Эйкену — необязательно. В этом он прав. Подлинно новаторский эксперимент в поэзии может быть не понят и не оценен по достоинству; важно, чтобы он помогал глубже проникнуть в ткань составляющих мир явлений, и тогда рано или поздно работа поэта получит настоящее признание.

«Если сегодня кому-то удается сделать пусть небольшое, но истинное открытие, возможно, значение этого успеха поначалу постигнут очень немногие; но важно, чтобы открытие было подлинным и прекрасным, и тогда оно проложит себе дорогу и станет неотъемлемой частью мира нашего сознания. И в этом смысле каждый шаг вперед — это движение к огромной аудитории, работа для того, чтобы человек стал лучше».

Когда вопрос о взаимоотношениях поэта и его «возможных читателей» был задан Роберту Крили, кстати, всячески афиширующему свое пристрастие к галлюциногенным средствам, тот ответил недвусмысленно, что коммуникативная функция — отнюдь не единственное и не главное достояние поэтического искусства.

«Мне было бы весьма приятно узнать, что кто-то, читая мои стихи, испытал такие же чувства, какие испытывал я, сочиняя их,— сказал Крили.—...Это соображение, однако, не может быть определяющим в моем творчестве. Конечно, потом, уже написав стихи, я могу изводить себя сомнениями относительно того, прочтет ли их кто-нибудь. Но важной роли это для меня никогда не играло. Я бы не сказал, что мне важна коммуникативность в том смысле, что я хочу сказать что-то в стихе другому. Принимаясь писать, я говорю что-то самому себе; любопытно, что это оказываются вещи, о которых я до этого не подозревал».

Сказано, во всяком случае, со всей определенностью; надо добавить, что позиция Крили весьма созвучна настроениям значительной части молодых американских поэтов. Ссылаясь на эстетический авторитет Паунда, они утверждают, что поэт свободен от каких бы то ни было обязательств по отношению к своей аудитории. Джон Эшбери, глава недавно сформировавшейся нью-йоркской поэтической школы, исповедующей принципы крайнего модернизма, следующим образом излагает основное «теоретическое» положение этой группы поэтов:

«Прежде всего мы пришли к полному соглашению на тот счет, что у нас не должно быть никакой программы, что стихотворение, каким мы хотим его видеть, должно позволять нам выразить все, что мы узнаем как опыт. Не может быть и речи ни о каких ограничениях, ни о какой программированной упорядоченности».

Если хаос провозглашается высшим мерилом поэзии, трудно удивляться тому, что американские поэты и их читатели словно говорят на разных языках. Отказ от «программированной упорядоченности» означает не только полную анархию в тематике, но и декларацию права поэта не считаться ни с образным строем стиха, ни с законами ритмики, ни даже с языковыми нормами. В таких условиях «опыт» поэта и опыт читателя, даже допуская, что в первооснове они совпадают, оказываются, когда читатель знакомится с поэтическим осмыслением этого опыта, вещами совершенно несовместимыми. Многих это заставляет задуматься над самой возможностью существования поэзии под подобными знаменами — многих, но не самих поэтов авангарда, стремящихся придать разрыву между поэтом и читателем видимость естественно вытекающей из специфики искусства закономерности. В крайней форме эта тенденция была выражена художником-авангардистом Францем Кляйном, которого с сочувствием цитирует Крили:

«Послушайте, если я буду изображать то, что знаете вы, вам будет просто скучно... Если я изображу то, что знаю я сам, скучно будет мне. Поэтому я изображаю то, чего я не знаю».

Призывы к «бессознательному творчеству» на Западе отнюдь не новость. Пафос Крили — тоже война против «программной поэзии». Его можно было бы понять и поддержать, если бы это была борьба против заданности, против плохой поэзии, прикрывающей художественную беспомощность внешней злободневностью тематики. Однако для Крили и его сторонников главное не в этом. Главное — доказать недоказуемое: полную автономию поэзии как искусства, право поэта заниматься в творчестве выражением только самого себя, молчаливо и не очень скромно допуская, что его собственный опыт непременно имеет или будет иметь общечеловеческое значение.

«В литературе,— пишет Крили,— для меня всегда самым важным было понять, что я сам чувствую, что занимает меня как «субъекта», в особенности — найти способ выразить свои чувства в творчестве. Так что выбор темы у меня происходит совершенно бессознательно».

Пусть даже так, но несут ли стихотворения, созданные на основе таких установок, хотя бы минимум общезначимой эстетической информации? Способен ли даже очень искушенный в новейшей американской поэзии читатель проследить, пусть в самых общих, самых грубых очертаниях, движение поэтического образа, если он рожден, по признанию Крили, каким-то далеко не всегда ясным самому поэту, таящимся в глубинах его подсознания ощущением или обрывками картин, явившихся после нескольких затяжек марихуаной, если образ произвольно возникает и столь же произвольно обрывается, пройдя через весьма разнородные ассоциативные ряды? Не таится ли в самих эстетических принципах Крили опасность полной изоляции поэзии от жизни, превращения поэзии в своего рода закодированный язык, понятный лишь очень и очень немногим, быть может, только самому поэту, а возможно, не совсем понятный и ему самому? Последнее обстоятельство, однако, Крили нисколько не смущает. Свой метод он отстаивает весьма запальчиво:

«Я понятия не имею ни о каких «темах» в поэзии; если они и нужны, то для того лишь, чтобы облегчить работу составителям библиотечных каталогов. У поэзии есть области, к которым она постоянно обращается, есть некое устойчивое содержание, проявляющееся в ней вольно или невольно, подчас безотчетно для самого поэта...— война, любовь мужчин и женщин, дружба, уход за землей. Но я не думаю, чтобы и такого рода «темы» могли служить показателем достоинства стихотворения или его общественной полезности».

Слов нет, тот факт, что один поэт написал стихотворение против войны во Вьетнаме, а другой воспел рассвет на океанском берегу, еще вовсе не свидетельствует, что произведение первого поэта эстетически превосходит произведение второго, хотя критерий гражданственности поэзии остается в силе и сегодня. Но даже если судить о поэзии с позиций сугубо эстетических (а любой иной подход для Крили, разумеется, исключен), предлагаемый им путь никак нельзя признать плодотворным. Подхватив у Аллена Гинзберга мысль о том, что призвание поэзии — расширять духовные горизонты, способствовать становлению «нового сознания», Крили делает отсюда не только некоторые, мягко говоря, сомнительные выводы практического характера (о том, например, что духовные горизонты поэта радикально расширяются от употребления наркотиков), но и совсем уж неправомерное «теоретическое» заключение, согласно которому поэт должен стремиться лишь к тому, чтобы развить в себе способность давать отчетливые определения своим потаенным и достаточно смутным ощущениям, «а остальное все приложится».

«Самое главное, что я хочу сказать в своем творчестве,— сам факт, что я пишу. Творчество для меня основной способ определения вещей. И когда я пишу, передо мной и стоит эта задача — дать определения тому, с чем я сталкиваюсь и что я не могу ни понять, ни предощутить, пока не начну писать».

Неизвестно, входило ли в намерения Крили полемизировать со своим предшественником на страницах «Пэрис ревью», но в выступлениях Крили и Эйкена трудно не

заметить внутренней полемики. Это знаменательно. Спор, начавшийся еще в эпоху далекого «поэтического ренессанса», разгорелся теперь с новой силой и, по всей вероятности, прекратится не завтра. Вопрос о границах связи между поэтом и читателем приобрел сейчас в американской поэзии особенную остроту и повлек за собой дискуссию о проблемах более широких; собственно, на повестке дня оказалось само будущее поэзии, которое Эйкен видит в ее органическом единстве с непосредственной жизнью, а Крили — в растущей от нее изоляции.

На моем веку, сказал однажды Фрост, было много поэтических экспериментов.

> «Пытались, например, писать стихи без знаков препинания. Их пытались писать без заглавных букв. Их писали, обходясь без образов, не считая самых внешних наблюдений... Писали стихи без содержания, называя это чистой поэзией. Писали стихи, не умея их писать... Случается иногда, что люди слишком хотят не походить на других... Любопытно, что придает им уверенность в том, что их непохожесть не является следствием болезненности, стремления быть не как все, что она полноценна и разумна?» И говоря потом о вещах, «которых никогда нельзя забывать», Фрост назвал среди них и «необходимость помнить о человеке — страшиться, что люди не поймут нас и мы окажемся отрезанными от них».

Быть может, время убедит Крили и его сторонников, что совет Фроста был дан не впустую.

А. ЗВЕРЕВ

Хулио Гонсалес. Крестьянка из Монсеррата. 1937. *(Испания).*

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО *За рубежом*

«НЕТ!» ФАШИЗМУ

Иллюстрации данного номера взяты из недавно выпущенной в свет антологии «Искусство в сопротивлении. Живопись. Графика. Скульптура. 1922—1945», любезно предоставленной в распоряжение редакции издательством «Кунст» (Дрезден). В книгу вошло около 600 репродукций работ художников-антифашистов Аргентины, Бельгии, Болгарии, Дании, Германии, Финляндии, Франции, Голландии, Италии, Японии, Югославии, Мексики, Норвегии, Австрии, Польши, Румынии, Швеции, Швейцарии, Советского Союза, Испании, Чехословакии, Венгрии, США.*

* Kunst im Widerstand. Malerei. Grafik. Plastik. 1922 bis 1945. Dresden, Verlag der Kunst, 1968.

Выпуск такой антологии — не дань истории, полагают издатели: фашизм не умер, он меняет подчас окраску и формы — но его человеконенавистническая сущность остается прежней.

Среди представленных в книге художников есть и выдающиеся мастера, чьи имена известны всему миру, есть и безвестные самоучки. Многие работы публикуются впервые.

Антифашистское искусство создавалось в эмиграции и концлагерях, в подполье и на оккупированных территориях. Его творцами были не только коммунисты, но и люди самых различных политических убеждений, разных творческих принципов, остро осознавшие необходимость борьбы и протеста против фашистского варварства и вандализма как глубокую внутреннюю потребность и моральный долг.

Материал для книги был прислан искусствоведами разных стран, и, собранный в одну впечатляющую антологию, он еще раз убедительно показал: антифашистское искусство — не легенда, не миф. И сегодня, когда нацистские преступники снова поднимают головы, угрожая миру атомной смертью, оно не потеряло своей актуальности, оно существует и продолжает свою борьбу.

Э. ВЕНГЕРОВА

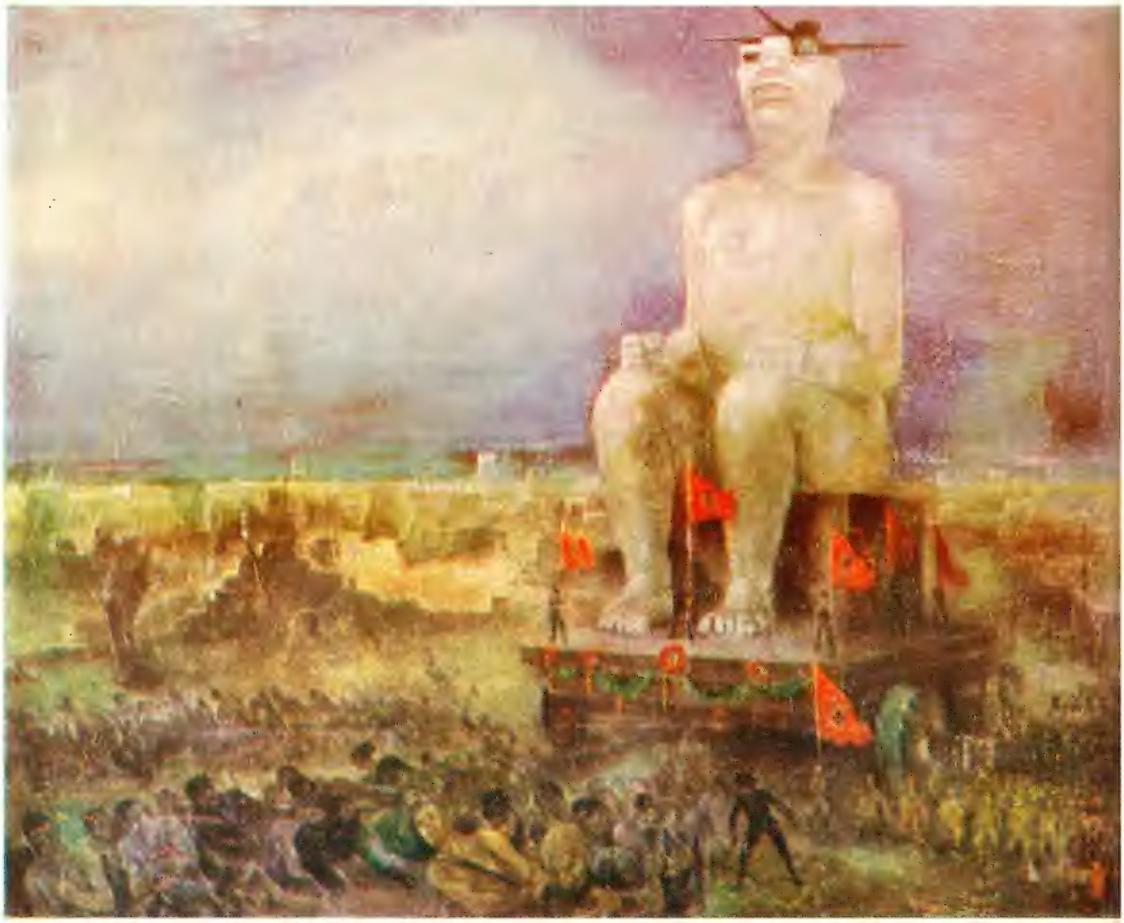
Кете Кольвиц. Жалоба. 1938—1939. *(Германия).*

Ганс Грундиг.
Геббельсовская пропаганда. 1936. *(Германия).*

Фриц Шульце.
Прогулка
в тюремном дворе. 1934.
(Германия).

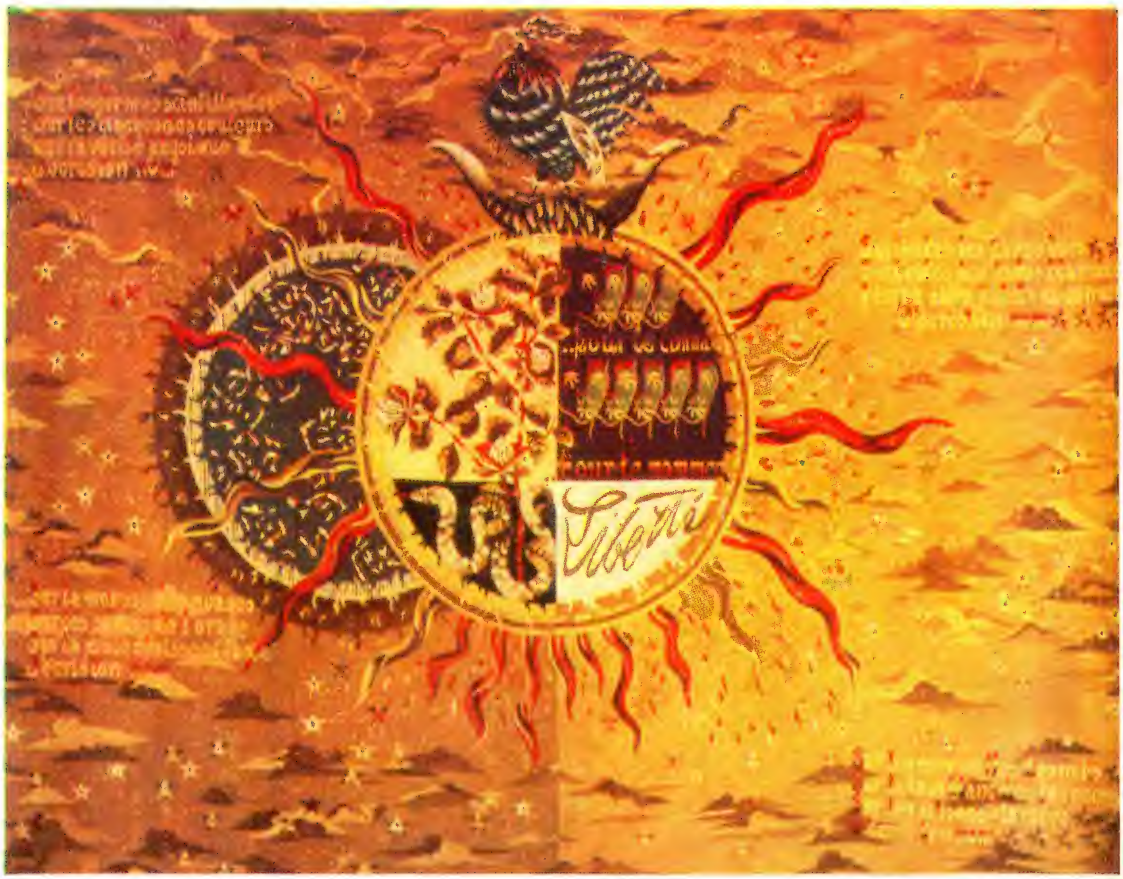
Рокуэлл Кент. Германия превыше всего. *(США).*

Георг Гросс. Столпы общества. 1926. *(Германия).*



Магнус Целлер. Гитлеровское государство. 1938—1939. *(Германия).*

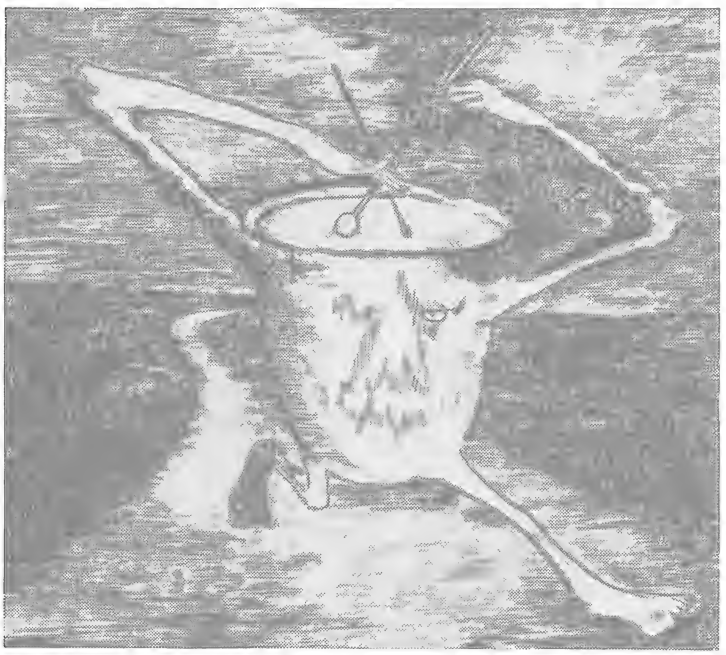
Ренато Гуттузо. Распятие. 1942. *(Италия).*



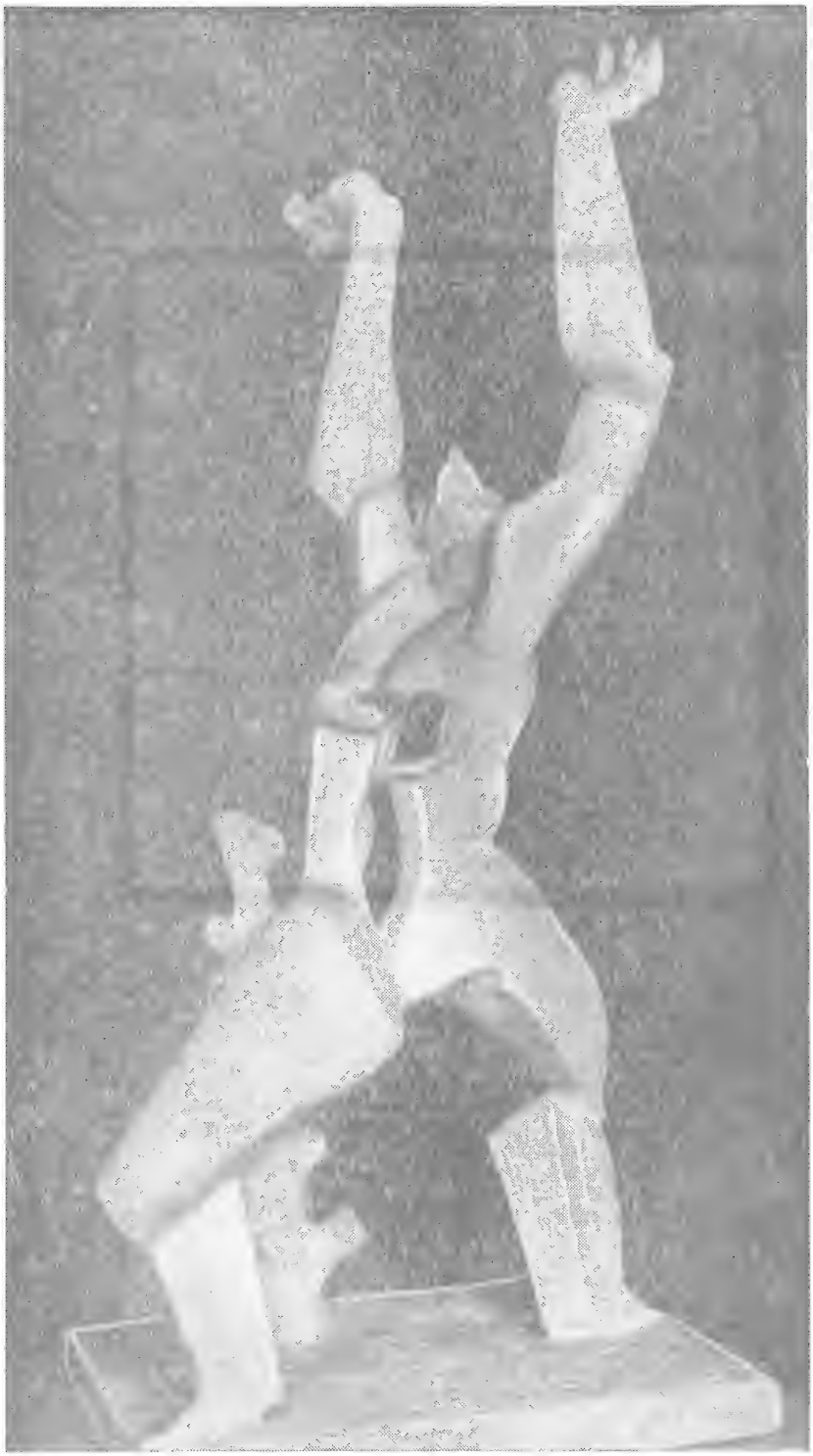
Жан Люрса. Свобода. 1943. *(Франция).*

Аладар Фаркаш. Фашизм. 1943. *(Венгрия)*.

Генри Мур. Бомбоубежище. 1941. *(Англия).*



Ганс Грундиг. Барабан. 1936. *(Германия).*



Осип Цадкин. Разрушенный город. 1943. *(Франция).*

Памяти Бориса Сергеевича РЮРИКОВА

21 мая умер Борис Сергеевич Рюриков, выдающийся советский критик и литературовед, главный редактор «Иностранной литературы», дорогой и близкий наш старший друг и товарищ.

Невосполнимую утрату понесла советская культура. В полном расцвете творческих и душевных сил ушел из жизни честнейший критик-коммунист, талантливый организатор литературного партийного дела, человек безукоризненной принципиальности и порядочности.

Всего лишь полтора месяца назад мы поздравляли тяжело больного Бориса Сергеевича с шестидесятилетием и до последнего дня надеялись, что его железная воля сломит тяжкий недуг...

Сейчас, в первые часы после того, как пришла горестная весть, мы, его товарищи по работе, снова перечитываем строки юбилейных посланий — адресов, телеграмм, писем, вплоть до сегодняшнего дня продолжавших приходить — домой и в редакцию — на имя Бориса Сергеевича Рюрикова.

В этих строках — глубокое уважение к человеку, отдавшему жизнь Родине, советской литературе, борьбе за торжество великих идей марксизма-ленинизма.

«Читатель хорошо знает Вас как превосходного исследователя русских революционных демократов и других корифеев литературы прошлого,— говорится в приветствии Секретариата Правления СП СССР,— ценит в Вас остро современного критика и темпераментного публициста. Обширную эрудицию

в отечественной и зарубежной литературах, в философии и эстетике Вы счастливо сочетаете с редким и ярким дарованием теоретика искусства...

Вы внесли значительный вклад в понимание ряда важных теоретических проблем — партийности и народности, принципов социалистического реализма в литературе и искусстве. Творческое применение марксистско-ленинской методологии, лучшие качества партийного литератора, которыми Вы щедро наделены, и страстность полемиста, неутомимого в разоблачении буржуазной идеологии, определяют высокий уровень Ваших книг и критических статей...

Широко известна и Ваша большая общественная деятельность яркого пропагандиста советской литературы за рубежом, много сделавшего для укрепления дружбы и сотрудничества передовых писателей разных стран и континентов...»

Академия общественных наук, профессором которой Б. С. Рюриков был длительное время, пишет в своем поздравлении:

«Юношей Вы принимали участие в строительстве Сталинградского тракторного завода. В дни Великой Отечественной войны Вы защищали Родину от фашистских захватчиков, прошли с Советской Армией суровый боевой путь от Москвы до стен рейхстага.

Какую бы работу Вам ни поручала партия, Вы всегда вносили в нее партийную страстность, свойственную Вам, человеку большой души и таланта. Ваша работа в аппарате ЦК КПСС, в редакциях «Правды», «Литературной газеты» и журнала «Проблемы мира и социализма» была пронизана борьбой за претворение в жизнь ленинских принципов политики партии в области литературы и искусства. Под Вашим руководством журнал «Иностранная литература» сплотил вокруг себя прогрессивных писателей мира...»

«Под Вашим непосредственным руководством подготовлены специалисты, молодые ученые, которые выполняют ответственную работу в области литературы и искусства, достойно продолжают дело своего учителя».

«О чем бы ни шла речь в Ваших работах, читатель без труда отличает Вас как критика, глубоко вдумчивого, умеющего поверять современность историей, движимого чувством высокого назначения искусства. Вы помогли нам по-новому прочитать многих писателей и прошлого и современности». (Из приветствия журнала «Вопросы литературы».)

«Коммунисты, трудящиеся района знают Вас как талантливого журналиста, критика, ученого. Ваши труды помогают районной партийной организации в коммунистическом воспитании трудящихся». (Из приветствия Москворецкого РК КПСС и Исполкома районного Совета депутатов трудящихся.)

Шлют телеграммы издательства, журналы, газеты, литературные коллективы. Пишут земляки-горьковчане, в среде которых прошла юность, вспоминают, как «наставлял нас, многогрешных в литературных подвигах»,—пишут однополчане по 17-й Горьковской Краснознаменной стрелковой дивизии, родившейся в 1918 году.

Пишет боевой товарищ фронтовых лет: «Ты, Борис Сергеевич... внес свой большой вклад в дело борьбы и победы советского народа... Уйдя из рядов армии, ты продолжаешь быть образцовым солдатом партии на важнейшем фронте идеологической борьбы, и в этой борьбе ты опять находишься в передовых рядах».

Писатели Якутии в телеграмме вспоминают о вдумчивом внимании Б. С. Рюрикова к сложным проблемам развития якутской литературы, благодарят за участие в воспитании якутских литературоведческих кадров.

Новых успехов в борьбе за коммунистическую культуру желает болгарский академик Тодор Павлов.

Председатель Союза болгарских писателей Георгий Джагаров приветствует «выдающегося литературоведа и теоретика, неутомимого борца за торжество социалистического реализма в литературе», говорит об «огромной деятельности,

полной партийной страсти и пламенной самоотверженности...»

Мы все, кто трудился бок о бок с Борисом Сергеевичем Рюриковым, свидетельствуем: в юбилейных строках этих нет юбилейных преувеличений — они оплачены высокой неразменной валютой судьбы «правофлангового», жизнью коммуниста, прожитой на одном дыхании.

Смысл таких дат, как шестидесятилетие, для товарищей юбиляра воистину состоит в том, что они получают возможность сказать Человеку — СПАСИБО! Слова благодарности, признания, уважения — в десятках телеграмм, подписанных такими именами, как Константин Федин, Леонид Леонов, Николай Тихонов, Вадим Кожевников, Константин Симонов, Микола Бажан и многие, многие другие.

Торопливые эти строки пишутся вечером, можно сказать «в машину» — номер уже печатается.

Сегодня еще не измерить масштабы нашей утраты, не выразить в словах. Мы прощаемся навсегда с дорогим Борисом Сергеевичем. Почти половина жизни журнала — пора его зрелости — связана с именем Бориса Сергеевича Рюрикова.

Борис Сергеевич любил журнал — к дому на Пятницкой из самых экзотических уголков планеты все эти годы неизменно устремлялись помыслы его души. Каждый день редакционной жизни мы ощущали его опыт журналиста-бойца, талант редактора, энергию сердечности и тепла — сквозь требовательность, сдержанность, порой строгость.

Как печально, что никогда не услышит Борис Сергеевич сказанные нами в полный голос слова нашей признательности и благодарности ему. В дни юбилея мы смогли только коротко сказать о том, как уважаем и любим его, да сочинить нечто шутливое вместо длинного адреса — редактор наш знал толк в шутке.

И все же мы надеемся, что кое о чем он догадывался при жизни. О том, как он всегда был нужен всем нам, инолитовцам, о том, как многому учили нас его каждодневный беспримерный подвиг труженика, его скромность, требовательность, отзывчивость. О том, как необходимы нам его широта взгляда, прямота, доброжелательство. О том, наконец, что мы постараемся сберечь добрые традиции любимого им журнала и коллектива, где он оставил часть своей души.

Прощайте, наш дорогой Борис Сергеевич, низкий поклон Вам, мы никогда Вас не забудем.

Коллектив редакции

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ВОСПРЯНУВШИЕ СЛОВА

Миклош Радноти. Стихи. Перевод с венгерского. Составление и редактирование переводов А. Кун. Предисловие Е. Малыхиной. Комментарии Фанни Радноти. Москва, «Художественная литература», 1968. 199 стр.

Есть предание, что великий венгерский поэт-революционер Шандор Петёфи, раненный в битве, очнулся в тот миг, когда враги сваливали тела побежденных в братскую могилу.

— Я Петёфи, я живой...— успел он сказать.

— Ну так сдохни! — было ему ответом.

Его потомок и соотечественник Миклош Радноти уже знал, на что может рассчитывать поэт в развернувшейся с тридцатых годов битве с фашизмом:

...подозренья осторожный взор
меня казнит; он правильно заметил:
поэт, я годен только на костер
за то, что правды я свидетель.

за то, что знаю я, что зелен стебелек,
бел снег, и красен мак,
и кровь, красна, струится,

и буду я убит за то, что не жесток,
и потому, что сам я не убийца!

(Надпись на экземпляре «Крутой дороги». Перевод Л. Мартынова)

Недаром одним из первых преступлений испанских фалангистов была расправа со «свидетелем правды» — Федерико Гарсиа Лоркой, глубоко потрясшая Миклоша Радноти.

В борьбе с фашизмом настоящий поэт порой рискует погибнуть первым смертью пограничника, который зорко берег человеческие права, свободу, истинное значение слов, чтобы, как сказал Радноти, «страх не закоптил слова коричневым горючим газом», чтобы белое оставалось белым, а черное — черным.

Ведь все: поля, окраина, могила —
все призывает с твоего холста:

будь зорок, человек, приглядывайся к миру!
. . . . . .

...В этом трудном мире
живи и думай, что ты должен сделать,
чтоб мир наш стал иным!

(«Итак, не вынесли...» Перевод Д. Самойлова)

Эти слова, посвященные памяти выдающегося пролетарского художника Иштвана Деши Хубера, прекрасно выражают взгляд Радноти на искусство (вдова поэта вспоминает, как он с шутливой гордостью говорил, что здесь содержится «поэтическое резюме марксизма-ленинизма»).

Автор взволнованного и содержательного предисловия к книге Е. Малыхина правильно отмечает, что уже в сравнительно ранних стихах поэта «угадывается не просто радость и не просто восторг молодого жизнелюбивого существа, но и что-то большее — протест против темных сил, против дремлющей где-то угрозы этому прекрасно-

му естественному мироощущению человека, в его гармоническом слиянии со вселенной...»

Действительно, «утро солнцеглазое», когда голос поэта, кажется, «купается в лучах, как птаха в сверкающей на солнце луже», это не просто удачные сравнения, которые, как писал Радноти позже, «качались... на пенистом гребне размеров». Это присяга на верность жизни, небесной синеве, которую уже жадно «съедает» туча близящейся войны

В «Переменчивом пейзаже» на смену картине, простой и милой, как детский рисунок («Дождь протопотал по нежным рощам... и по склонам неба укатился гром»), приходит иная — «след собачьих лап, как траурная вязь... словно цепь, которая сплетает сиплый страх деревьев, ветра, птиц»,— и эта картина подготавливает появление жандармов.

Радноти с понятным трагизмом воспринимает гибель Испанской республики, драму Герники, дни, когда выли сирены и — часто! — молчала совесть.

На сей земле я жил во дни, когда
исподличался человек настолько,
что убивал не только по приказу,
а добровольно и со сладострастьем,
творец злых грез, сам отданный
во власть им.

(«Отрывок». Перевод Л. Мартынова)

Он провел конец своей жизни в фашистских «трудовых лагерях», «за забором, отороченным проволокой»:

Как без знаков во мгле я пишу это
стихотворенье,
строчку под строчкой тесня, так же слепо я
существую,
гусеницей по бумаге ползу — а фонарик и
книги отнял конвой...

(«Седьмая эклога». Перевод Д. Самойлова)

Его убили, заставив перед этим вырыть себе могилу, и когда тело поэта было найдено, у него в кармане оказалась записная книжка со стихами. Но если бы даже она совсем истлела — эти «гусеницы» стершихся, неровных строк давно уже превратились в ярчайшие, трепещущие всеми красками жизни образы, в стихи, унесенные на волю товарищами поэта, которым посчастливилось уцелеть.

Я не знаю, есть ли в Венгрии памятник Радноти и нужен ли он. «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм»,— сказал Маяковский.

«...У кладки новых стен мои слова воспрянут»,— верил Радноти. И они впитались в его родную землю, как пролитая им кровь, взошли цветами, обернулись «златыми шариками» цыплят, шелестом листьев и голосами «подросших мальчишек и девчонок».

А после этой маленькой, любовно составленной и изданной книги стихов Миклоша Радноти и многие русские читатели благоговейно примут, по выражению Блока, в пантеон своей души достойного собрата Шандора Петёфи, Эндре Ади и Аттилы Йожефа.

А. ТУРКОВ

ЦВЕТ КРОВИ И НАДЕЖДЫ

Айрис Мэрдок. Алое и зеленое. Перевод с английского М. Лорие. Предисловие В. Скороденко. Москва, «Прогресс», 1968. 287 стр.

В 1966 году советские читатели впервые познакомились с творчеством одной из самых оригинальных и значительных писательниц современной Англии Айрис Мэрдок: в издательстве «Прогресс» был издан первый ее роман «Под сетью» * (1954). Вышедший недавно перевод более позднего ее произведения — «Алое и зеленое» (1965) — значительно расширяет представление о многогранном даровании этой писательницы и о ее сложном творческом пути.

Айрис Мэрдок — философ по образованию и профессии (она довольно долго преподавала историю философии в Оксфордском университете). Английская критика чаще всего рассматривает ее художественное творчество в контексте экзистенциалистских учений, перекличку с которыми обнаруживает во многих ее книгах.

Действительно, ощущение безнадежной разобщенности людей, бессилия их сознательной воли перед стихийной властью «судьбы» и иррациональности того выбора, который они делают в решающие моменты жизни, находясь «под сетью» обстоятельств**, составляет основу большинства ее произведений. Но отношение самой Мэрдок к этим мотивам, сближающим ее с модернистской литературой, поражает парадоксальной противоречивостью. В одних романах — как, например, «Под сетью» — она придает традиционно модернистской теме безысходного одиночества и «некоммуникабельности» людей столь юмористический оборот, что горечь идейных предпосылок, скрытых в подтексте, растворяется в неподдельном комизме сюжета. В иных, безусловно трагических романах Мэрдок улавливается субъективная ироническая ноткa; писательница словно задается вопросом: насколько доверчивы ее читатели и согласятся ли они до самого конца принимать всерьез все это хаотическое смешение непознанных или полупознанных роковых тайн, извращений, инцеста, колдовства, преступлений и т. д. Иногда же — как, например, в таком романе, как «Отрезанная голова»,— все повествование кажется прямой и откровенной пародией на традиционные «общие места» модернистского романа.

«Алое и зеленое» резко выделяется среди других произведений Мэрдок и подлинным, непадуманным драматизмом, и прозрачностью, ясностью повествования. Ни один из романов писательницы не был столь жизненным и значительным по своему общественному историческому смыслу.

* Рецензия на этот роман была опубликована в «Иностранной литературе» № 8 за 1966 г.

** Именно таков смысл заглавия первого романа Мэрдок.

Ирландка по происхождению, Айрис Мэрдок пишет здесь об одном из самых трагических событий в истории своей страны — о так называемом «Пасхальном восстании» 1916 года в Дублине, которое было потоплено в крови английским империализмом и тем не менее послужило началом новых битв, в результате которых возникло самостоятельное ирландское государство (хотя и не такое, о каком мечтали многие вожди апрельских боев 1916 года).

Для Айрис Мэрдок «Пасхальное восстание» — не страница из учебника истории, а нечто очень личное, духовно близкое ей. Ее родители были очевидцами этих дней; многое известно и памятно ей, родившейся три года спустя, и по устной семейной традиции. Отсюда, может быть, чувство особой, лирической сопричастности автора к происходящим и ожидаемым событиям, которое не покидает нас при чтении романа.

Айрис Мэрдок не ставит себе задачей написать социально-исторический роман из революционного прошлого своей родины. Она не вдается в анализ подготовки восстания, противоречий между его участниками, причин его поражения — хотя внимательный читатель может уловить многое, относящееся к этому, и в репликах, и в характеристиках действующих лиц. По замыслу Мэрдок, «Пасхальное восстание», началом которого заканчивается основное действие романа, должно все время присутствовать в сознании читателя. «Судьба» или «рок» других ее романов здесь принимает живой облик подлинной истории. Подавляющее большинство персонажей (за исключением повстанца Пата Дюмэя и его братишки Кэтела) еще не знают, что ждет их в остающиеся дни и часы. Они заняты своими каждодневными заботами. Но между тем на них неотвратимо надвигаются события, «грозную красоту» которых воспел великий ирландский поэт Йитс. Эти события оборвут жизнь одних и навсегда сохранятся в сознании тех, кто останется в живых.

Отсюда и заглавие романа. Алое — цвет крови, пролитой героями восстания; зеленое — национальный цвет Ирландии, «зеленого острова», но вместе с тем и символический цвет надежды.

Мэрдок с таким лирическим проникновением пишет об ирландской земле, что кажется, будто Ирландия живет и действует в этом романе наравне с людьми, возвышаясь над ними, то вдохновляя, то утешая их.

Как пишет В. Скороденко в предисловии к роману, «в «географическом атласе» английской литературы рядом с неповторимыми образами Дублина, созданными Джойсом и О'Кейси, «появился новый город» — Дублин Мэрдок. Во многих других, более «темных», символически зашифрованных романах (как, например, «Бегство от чародея», «Единорог» и др.), редкая сила живой пластической изобразительности, присущая дарованию Мэрдок, вступала в противоречие с надуманной, искусственной схемой произведения. Здесь, в «Алом и зеленом», нет этого разрыва. Читателю запомнятся пейзажи «зеленого острова» — трава, седая от утренней росы, воздух, напоенный мелкими, едва заметными каплями дождя, перламутрово-серые облака, туманы, сквозь которые внезапно проступают очертания холмов, и море, неумолчно бьющееся о прибрежные скалы.

Этот светлый, а вместе с тем зыбкий и тревожный фон изменчивых апрельских дней отбрасывает отблеск на группу юных героев романа. Среди них — молодой офицер британской армии Эндрю Чейс-Уайт, наивно и самоуверенно мечтающий о счастливом супружестве со своей невестой, Франсис Беллмен, внезапно отвергающей его предложение. Ему противостоит его двоюродный брат Пат Дюмэй, тайный избранник Франсис, не скрывающий презрения к английскому мундиру кузена; пылкий поборник ирландской независимости, он поглощен подготовкой восстания, где его ждет смерть. А рядом с ними сама Франсис — сдержанная, тихая, но полная скрытой энергии девушка, смелая в мыслях и решениях.

Эта группа молодежи заслоняет и оттесняет на задний план книги фигуры, написанные так же живо, но уже тронутые тлением, напоминающие более или менее традиционных персонажей модернистского романа. Таковы стареющая, но еще обворожительная тетушка Милли, чья ненасытная чувственность требует все новых жертв, или отчим Пата Дюмэя, жалкий старик Барнабас, снедаемый мучительным сознанием собственной неполноценности. Они тоже занимают свое место в романе, но не ими определяется его суть.

Хотя действие «Алого и зеленого» происходит более полувека тому назад, роман этот чрезвычайно современен. Речь идет в нем не только о разбитых мечтах юности, о несбывшихся надеждах; в нем резче и определеннее, чем где-либо еще в творчестве Мэрдок, выдвигаются проблемы долга и от-

ветственности. Вот отрывок из разговора Франсис Беллмен, еще только вступающей в жизнь, с ее дядей, старым чудаком Барнабасом.

«Вдруг она заговорила:

— Не понимаю, как все это не взлетит на воздух.

— Что именно?

— Ну, не знаю... общество, вообще все. Почему бедняки нас терпят? Почему люди идут сражаться в этой дурацкой, отвратительной войне? Почему они не скажут: нет, нет, нет?

— Я с тобой согласен, Франсис. Просто диву даешься, с чем только люди не мирятся. Но они чувствуют свое бессилие. Что они могут? Что можем мы все?

— Люди не должны чувствовать свое бессилие. Что-то надо делать».

Во всем этом диалоге и особенно в этом страстном и негодующем «нет, нет, нет» юной Франсис нельзя не почувствовать отголосков нашей современности, переклички с настроениями сегодняшней студенческой молодежи Запада, превосходно известными писательнице. В протесте Франсис, считающей, что общество, допускающее социальную несправедливость, «нужно взорвать, камня на камне от него не оставить», есть много наивного, стихийно-анархического, но он подкупает своей искренностью.

Книга завершается эпилогом, переносящим действие на двадцать два года вперед, в 1938 год. «Пасхальное восстание» 1916 года стало полузабытой героической легендой.

В Испании близится к трагическому концу борьба республиканцев против франкистских мятежников, поддерживаемых международной реакцией. Человечество стоит уже на пороге второй мировой войны.

В это время мы снова встречаемся с Франсис — женой самодовольного английского обывателя-дельца и матерью беспокойного «длинноногого» сына, чей лучший друг уже уехал сражаться за Испанскую республику против фашистов и который сам мечтает последовать за ним. Все содержание эпилога по видимости — краткий разговор за утренним завтраком между тремя членами семьи.

Но эта маленькая бытовая сценка в изображении Айрис Мэрдок проникнута таким острым ощущением живой диалектики истории и таким язвительным презрением автора к сторонникам политики «невмешательства», что могла бы с честью занять место в любом из лучших социальных романов в английской литературе XX века.

Муж Франсис — «он был не злой человек, но очень любил пошутить» — подсмеивается над письмом, полученным ею от ирландских родных, а заодно — и над событиями 1916 года, которые кажутся ему столь же незначительными, как и то, что происходит в эти дни в Испании. «Бури в стакане воды,— сказал муж.— Кто сейчас помнит про шестнадцатый год?.. Через двадцать лет то же будет и с этими испанскими событиями, которые тебя так занимают. Герника, Ирунья, Толедо, Теруэль. Никто их не запомнит». А в ответ на возражение сына: «Не согласен... Эти названия войдут в историю Европы»,— его отец с самоуверенностью пошляка безапелляционно заявляет: «Никакой истории Европы не существует... Малым странам нужно закрывать лавочку, и чем скорее они это поймут, тем лучше».

Но едва хозяин дома успевает захлопнуть за собой парадную дверь, как мать и сын, словно заговорщики, возвращаются все к той же, заветной теме. «А я считаю, что шестнадцатый год — это было замечательно,— сказал сын.— Это было напоминание о том, что людей нельзя без конца держать в рабстве... Свобода — в самой природе человека, она не может исчезнуть с лица земли. Подробности борьбы мы, может быть, и забываем, но борьба продолжается, и люди должны быть готовы вернуться к забытым подробностям. А когда настает очередь какой-нибудь страны, пусть и маленькой, восстать против своих тиранов, она представляет угнетенные народы всего мира».

После выхода в свет «Алого и зеленого» прошло уже четыре года. Айрис Мэрдок написала еще несколько романов, из которых ни один не продолжает этой героической гражданской темы. Но как бы ни развивалось далее творчество писательницы, в «Алом и зеленом» запечатлена одна из замечательных и неожиданных его граней. Этот роман показывает, сколько ярких, еще невоплощенных возможностей скрывается в противоречивом даровании Айрис Мэрдок.

А. ЕЛИСТРАТОВА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В ОЖИДАНИИ

Punyakante Wijenaike. The Waiting Earth. Colombo, The Colombo Apothecaries, Co Ltd.

«С тех пор как он себя помнил, он завидовал людям, у которых была земля. Земля, ее так много, она везде; куда ни посмотришь — земля: зеленые расстилающиеся поля, джунгли и даже за далекими холмами тоже земля. Но чужая. А ему нужна была не просто земля, а такой хороший квадратный кусок, акра два с небольшим, чтоб он мог называть ее своей, как тот, кто унаследовал землю от отца, а отец — от своего отца. И земля нужна была вот в этой деревне, где он родился, чтоб чувствовать — рожден на этой земле».

Это говорит Поди Синго из романа «Земля в ожидании».

«Земля в ожидании» — первый роман цейлонской писательницы Пуньяканте Видженаике, до этого известной своими новеллами, которые переводились и на русский

язык*. Писательница — сейчас она живет в Коломбо — выросла в поместье, и хотя ей, дочери богатого землевладельца, никогда не приходилось самой жить в беспросветной деревенской нищете, она имела возможность близко наблюдать эту жизнь.

Живописны цейлонские деревни — чистенькие бамбуковые плетушки, один-два беленых домика под черепицей того же цвета, что красноватая земля, горячая даже на вид, кокосовые пальмы, высоко над землей взорвавшиеся бронзовым салютом, и рисовые поля — зелеными разлившимися реками. Рай, тропическая идиллия, широкоэкранное кино.

Земля — единственный смысл жизни батрака Поди Синго из маленькой цейлонской деревни. Пуньяканте Видженаике не случайно нигде не упоминает названия деревни, не говорит нам даже, где она. Просто деревня, их тысячи на Цейлоне, миллион, может быть, в Азии. Самый важный человек в деревне — староста, он ведет дела с государством, и трудно понять эти важные дела. В деревне есть чайная, ее хозяин содержит и мелочную лавочку. Он — тоже непростой человек, и зовет его деревня не по имени, а уважительно — Хозяин. Впрочем, так зовут владельцев чайных во всех деревнях. В деревне есть маленькая молельня, при ней — священнослужитель, который может составить гороскоп младенцу или изгнать злого духа из односельчанина.

Злых духов в деревне много. Они вполне реальны — особенно для женщин,— они путаются под ногами, путаются в дела людей, всегда готовы наделать бед, поэтому их лучше остерегаться. И вся жизнь деревни, и каждый шаг каждого из ее жителей регулируются зависимостью от этой злобной силы.

В деревне есть и злодеи — Раппиэль Аппу и его друзья, которые явно не боятся ни бога, ни черта. Никто не знает, чем они занимаются, но их независимое поведение, их насмешливость, их уверенность в себе настораживают деревню. Женщины шепчутся об их распутстве, об их таинственных делах; мужчины слушают. Поди Синго однажды встретился с Раппиэлем Аппу у колодца, после того как вся деревня помогала богатому крестьянину убрать урожай, и Раппиэль Аппу предложил Поди Синго поделить рис между сельчанами — безлунной ночью. Сама мысль о том, чтобы украсть, приводит в смятение Поди Синго, хотя в принципе он готов согласиться, что рис принадлежит тем, кто его вырастил и кто в нем нуждается,— он просто не способен на насилие. Землю можно или унаследовать, или купить — третьего не дано.

Пуньяканте Видженаике всячески старается бесстрастно описывать деревенскую жизнь — только жизненная правда, как она есть, и больше ничего. Но для Видженаике нет одной правды — их всегда несколько, и наитруднейший выбор не между правдой и ложью — это легче,— а между двумя правдами. Пуньяканте Видженаике, сознательно ли, нет ли, выбирает правду покорности обстоятельствам, безропотности — и безнадежности.

Все ее герои, которые пытаются хоть как-то взбунтоваться, хоть даже помечтать о чем-то, хоть в чем-то проявить свободную волю, или становятся носителями зла, или гибнут от неумолимости обстоятельств. Греческая трагедия, где могучий рев страстей низведен до всхлипываний.

...Однажды утром в деревенскую чайную приносят газету, и в ней говорится, что правительство Цейлона начинает осваивать новые земли в далеких джунглях. Крестьянин может получить там землю во владение, и, пока он ее возделывает, земля принадлежит ему.

Поди Синго даже не дослушал споры односельчан — взял метлу и начал старательно подметать двор чайной: Хозяин что-нибудь даст за уборку, а земля человеку нужна только в той деревне, где он родился. Для таких, как Поди Синго, даже желанные перемены допустимы только в рамках привычного. Новое — страшит.

В отчаянии говорит Поди Синго Раппиэлю Аппу:

— Кусок земли, в который глубоко уходят корни. Кусок земли, чтоб все, что он родит, было моим по праву.

— Так возьми ее! — отвечает Раппиэль Аппу.— За землю надо бороться!

Раппиэль Аппу объясняет, что вся земля в деревне принадлежит одному человеку, который живет далеко в городе и вот уже с десяток лет вообще не показывается в деревне, а крестьяне только арендуют ее. Раппиэль Аппу уверяет, что если написать письмо большому «государственному начальнику», то можно добиться, чтоб землю

* См. журнал «Иностранная литература» № 6 за 1964 г. и сборник «Третья женщина», вышедший в Ташкенте в 1966 г.

в деревне разделили по количеству ртов... Поди Синго немеет от счастья, он верит, и не верит, и снова готов поверить: ведь Раппиэль Аппу должен знать, о чем он говорит,— не зря же у него такая дурная слава.

После того как Раппиэль Аппу пообещал Поди Синго, что у него будет земля — нужно только молчать и ждать,— Поди Синго становится его добровольным рабом. Нужно ждать? Долготерпение—единственное, в чем не испытывают недостатка герои Пуньяканте Видженаике.

Ожидание земли меняет всю жизнь Поди Синго — он начинает ощущать себя человеком, который активно воздействовал на течение жизни не только собственной, но и жизни своих сыновей — ведь им предстоит унаследовать землю. Он просит священника составить гороскопы своих сыновей. Прекрасная деталь — их немало в романе, и они дают точное представление о цейлонском деревенском быте: чтобы составить гороскоп, нужно знать час и миг рождения человека. По-своему заботясь о будущем детей, Селлохами во время родов посылает к соседям за будильником — их всего два или три в деревне.

По гороскопам выходит, что один из близнецов преуспеет в науках, поэтому Поди Синго начинает интересоваться строительством новой школы. Ее строит вся деревня, все женщины плетут из пальмовых листьев крышу для школы. Наконец приезжает и учитель. С недоверчивым восторгом смотрит на него Поди Синго — совсем еще молодой человек, на вид такой же, как все, он, однако, хранит в себе невероятную ученость и способен дать его сыновьям то, чего никогда не было у их отца. Учиться начинают не только мальчики, но и дочь — упрямая Изабелла, вопреки протестам матери, которая хорошо знает назначение женщины в жизни и понимает, что не школа подготовит ее к роли покорной жены.

Изабелла становится первой ученицей, и учитель начинает давать хорошенькой девочке книги про любовь. В них написано, что не все женщины так безответны и смиренны, как ее мать; в них говорится, что есть мужчины, одержимые не разговорами о земле, а красивой любовью к женщинам, так похожим по описаниям на нее, на Изабеллу! Приходит время, когда Изабелла не может и думать о жизни в деревне.

Деревенский учитель начинает восприниматься ею как олицетворение всего книжного, всего недостижимо прекрасного... Откуда знать Изабелле, что с ней происходит трагедия миллионов ее современников — необратимо меняется общественный уклад, в котором было строго регламентировано не только место каждого, но был даже ограничен предел мечтаний человека. Ему на смену приходит нечто, именуемое неясным словом «демократия» — равные возможности для всех, но — без способов их осуществления. У Изабеллы только потребности выше, чем у ее матери, возможности удовлетворить их пока что равны для этих двух поколений.

Изменились представления о жизни у Упасены — одного из близнецов,— он тоже ненавидит землю, деревню, семью. Упасена гордится дружбой с независимым Раппиэлем Аппу — потом выяснится, что Раппиэль Аппу гнал самогон, а мальчишка помогал ему. Упасена мечтал о городской жизни, и его мечта сбывается, но в город ему приходится бежать, скрываясь от полиции...

Неторопливое повествование набирает скорость. Бездетная жена Раппиэля Аппу распускает по деревне грязную сплетню о Селлохами, к ней радостно присоединяется завистливая жена Хозяина. Деревня верит сплетне и отворачивается от Селлохами и от ее детей. Слухи доходят и до Поди Синго. Ему нетрудно поверить, что Селлохами виновата перед ним — зачем ей любить безземельного бедняка?

Изабелла беременна, а учитель, вместо того чтобы увезти ее в беззаботный мир прочитанных книг, уезжает сам. Изабелла бросается в деревенский колодец.

Поди Синго бежит к старосте, но тот не может сказать, скоро ли разделят землю, Раппиэль Аппу исчезает из деревни — его ищет полиция...

И тут впервые проявляет себя Пиясена — второй из близнецов, на которого Поди Синго никогда не возлагал своих надежд. Пиясена вырос настоящим крестьянином, с такой же страстью к земле, как у отца. Он уговаривает Поди Синго взять участок в джунглях и начать жизнь заново. Селлохами, верная и покорная, поедет за Поди Синго, куда он ей велит.

Покорность и беспредельное терпение еще раз помогут героям Пуньяканте Видженаике, помогут им выжить. Земля, которая ждала так долго, дождалась своих хозяев, однако и на новом месте все начнется сызнова. Селлохами будет беречь каждую рисинку, Поди Синго будет всего страшиться. Наверно, даже больше прежнего. А вот молодой хозяин земли, как он себя поведет? Пуньяканте Видженаике не дает ответа на этот вопрос. Бунт всех героев «Земли в ожидании» кончается для них плохо, но стремление к перемене неодолимо.

М. С.

ИТАК — АФРИКАНСКИЙ АНТИМИФ?

Yambo Ouologuem. Le devoir de violence. Roman. Paris, Editions du Seuil, 1968.

Бесполезно искать на карте Африки границы феодального государства Накем и современной республики Накем-Зиуко или пытаться найти в африканской истории следы династии Саифов. Названия и имена в романе малийского писателя Ямбо Уологема выдуманы. История

государства Накем — это обобщенная история Африки, а династия Саифов и великолепно вылепленный характер Саифа бен Исаака эль Хейта — обобщенный образ африканской реакции. Образ явно полемический. Ибо эта жестокая книга, полная иронии, сарказма и горечи, может быть понята только как полемика и разоблачение. Это *африканский антимиф*. И он противопоставлен всем африканским и европейским романтизациям Африки, ее истории, «ее великим цивилизациям», всем вариантам негритюда.

«Долг насилия» — книга резкого, озлобленного и, я бы сказала, измученного ума. За ее сарказмами, за ее кажущимся цинизмом — глубокая боль африканца, ищущего в прошлом объяснения, почему «Африка плохо начала» *.

Всего лет 10—12 назад, в праздничной атмосфере ожидаемой или только что полученной независимости, в расцвете идей негритюда, звучали слова о великом наследии Африки, о гуманизме древних негро-африканских государств. Происходила реабилитация континента после веков унижения, реабилитация истории африканских народов после стольких ее извращений. Но в этом процессе часто возникала и ложная романтизация африканского средневекового феодализма. И, что в данном случае еще важнее,— романтизация консервативных и реакционных сил современной Африки.

Книга Уологема написана в совершенно иной обстановке, когда уже накоплен почти десятилетний опыт самостоятельного развития,— теперь, когда военные перевороты, когда военные диктатуры стали в странах Тропической Африки повседневным явлением.

Каковы бы ни были политические взгляды Уологема, но роман его, сдирающий романтические покровы с африканской истории, объективно воспринимается как удар по реакционным, антинародным, феодальным силам не только прошлых веков, но и нашего времени.

«Долг насилия» — первый роман Уологема, 28-летнего историка и социолога. И он менее всего похож на первую книгу начинающего романиста. Для африканской литературы необычен его стиль: блестящий, иронический, тяготеющий к резким характеристикам, к жестоким, предельным образам и ситуациям, остающимся, однако, в границах реалистической прозы.

Роман и построен необычно. Его первые главы стилизованы под арабские исторические хроники. Это история средневекового государства Накем, которое, вобрав различные племена, протянулось от Атлантики через огромные пространства Западного Судана. Династия Саифов приняла Ислам, и Уологем иронически пересыпает описания диких зверств арабскими изречениями и восхвалениями Аллаха. Уже до расцвета европейской работорговли в феодальном Накеме процветало рабство, и отнюдь не только «домашнее» — рабов продавали на Восток. В противовес ряду историков, Уологем не подчеркивает черт патриархальности в африканском феодализме и его отличия от феодализма Европы. Века династии Саифов — это века зверств, кошмара, когда властители и феодалы («знатная сволочь»), стравливая племена и обращая пленников в рабство, доводили их до отупения и вырождения. За одним «справедливым» Саифом (намек на Сундиату?) следовала вереница извергов или ничтожных властителей, которые убивали друг друга в дворцовых распрях, подкупали знать рабами и подавляли террором малейшие попытки бунта. История Накема — это апофеоз «Насилия». «Власть глотала жизни, как удав». Заживо погребенные, сожженные на кострах, задушенные дети, беременные женщины со вспоротыми животами — то, что сейчас назвали бы геноцидом. XVI—XVIII века, когда работорговля принимает широчайшие масштабы, поставляя рабов на плантации Америки и на Восток, предстают в романе как образ кровавого хаоса. Европейцы, покупатели живого товара, и африканская знать, его продавцы, превратили Африку в огромный невольничий рынок. Разбужены все низменные инстинкты. Даже крестьяне приучаются к насилиям над пленными: пытают, кастрируют, сжигают их. Те, кто сами ежеминутно могут стать пленниками и рабами, становятся садистами.

К концу XIX века ослабленное племенными распрями государство Накем распадается и не может уже противостоять армиям Франции. В эти годы появляется на сцене главный герой романа Саиф бен Исаак эль Хейт, умный, коварный политик, который после военного поражения начинает иную, тайную и хитрую войну против французских властей колонии. И если эти власти думали, что они используют Саифа, то Уологем хочет доказать обратное — что феодальная знать в гораздо большей мере использовала французов, уничтожая их губернаторов и офицеров, сжигая церкви миссионеров и их библии, продолжая уже тайно работорговлю, готовя свои кадры будущих политиков и депутатов. Свой неоспоримый талант садиста и убийцы Саиф направляет и против французов и против народа. На его гербе вполне мог бы быть девиз «Коварство» и изображение змеи. Ибо хотя его оружие — и отрава, и пули, и нож, но именно убийство змеей доведено Саифом до уровня искусства. Политик и диктатор, игрок и садист, убийца и работорговец Саиф — один из самых интересных характеров, созданных африканскими писателями. Воплощение африканского феодализма, он омерзителен, но по-своему впечатляющ. И именно он — на авансцене романа.

В этой связи можно понять, почему книга Уологема так щедро насыщена эротикой, притом преимущественно садистской и извращенной. Едва ли это сделано только в поисках читательского успеха. Эротические эпизоды органически входят во всю атмос-

* Название известной книги французского экономиста Рене Дюмона.

феру книги, атмосферу насилия, садизма, террора и унижения.

На авансцене — Саиф. Но на другом полюсе те, кого автор называет «la négraille» (презрительный термин белых расистов, употребляемый Уологемом с новой интонацией—глубокой боли и сострадания). Африканские низы, народ, в романе безмолвствуют. Они всегда — жертвы. Проданные в рабство в чужие страны. Превращенные в рабов — дворню саифов. Вынужденные стать его наемными убийцами, чтобы потом, разумеется, быть убитыми самим Саифом. Но предельно выразительный образ нашел Уологем в «зомби» — оживших мертвецах, превращенных наркотиками даже не в рабов, но в работающих полуживотных. В книге Уологема нет и намека на демократическую деревенскую общину, историческую роль которой подчеркивали публицисты негритюда. Нет в романе и народных борцов против колониализма. Но среди моря крови и грязи светлым пятном выделяется любовь раба и рабыни, чистая и ясная идиллия двух простых и добрых людей. Правда, после долгих лет брака и она кончается страшно — гибелью обоих и почти всех их детей. Но эти народные характеры говорят о существующих, хотя бы в возможности, духовных богатствах народа.

Об интеллектуальных же возможностях народа говорит парадоксальная судьба сына этой четы рабов, Раймона Кассуми, становящегося депутатом. Блестящая и страшная судьба «побеленного негра», талантливого интеллигента, представляющего «первое поколение африканской элиты». Креатура Саифа, который сделал из раба депутата, Кассуми наивно полагал себя «хозяином хозяина». Но в действительности он упал до «раба рабов». «Позолоченная проституция»,— зло бросает Уологем по адресу новоиспеченного в 1947 году депутата. Но образ Кассуми не только шарж, он трагичен и тревожен. И судьба ученого раба Саифа заставляет о многом задуматься.

От трагедии к фарсу Уологем переходит, пожалуй, только там, где он говорит об африканском искусстве. В полемике с идеологами негритюда он вводит издевательский образ немецкого этнографа Шробениуса, приезжающего еще в 1910 году к Саифу, чтобы скупить «тонны старого дерева». Шарж не столько на знаменитого ученого Фробениуса, сколько на европейских этнографов, по словам Уологема, «слюнявящих» африканское искусство, охваченных манией «возродить африканский мир, уже не соответствующий ничему реальному». В поисках метафизического смысла Шробениус записывает все, что выдумывает для него Саиф, и создает миф о насквозь религиозном искусстве и о гуманизме древних империй Африки, никогда не знавших насилия. Они расстаются, вполне довольные друг другом, Шробениус, увозящий тонны «искусства», чтобы продать их во все музеи Европы, и Саиф, получивший два кило золота. Практичный Саиф тут же организует производство псевдостаринных масок, погружая их года на два в болото. Так рождается торговля идеологией на взаимовыгодных началах. Конечно, это шарж, показывающий всю меру иронии, с которой молодые африканские интеллигенты относятся к чрезмерной и не всегда бескорыстной восторженности иностранных этнографов.

Разумеется, Уологем в своих деромантизациях не только полемичен, но и односторонен. Конечно, лучше всего было бы увидеть африканское прошлое во всей его сложности, противоречивой диалектике, во всей игре света и тени. Но если в романтизациях историка и социолога Шейха Анта Диопа при некоторой односторонности была своя правда, так и в деромантизациях Уологема наряду с односторонностью есть своя трезвая и горькая правда. И было бы жаль, если б роман дал кому-нибудь повод привлечь его как доказательство того, что в неудачах и трудностях молодых государств повинны сами африканцы, «не готовые к независимости», и только они. Подчеркнув преступления африканской реакции, историк отнюдь не снимает этим ответственности с колонизаторов.

В кратком же эпилоге с ироническим заголовком «Заря» история уступает место метафизике. Возникает символ Игры. Аббат Анри, праведник, апостол любви к людям, и властитель Саиф играют в шахматы, а между ними катается по столу бамбук с гадюкой, предназначенный для Анри. Но он знает это. И Саиф, понимая, что Анри знает, отменяет убийство. Остается игра. И философский диалог. История Накема, пропитанная насилием, здесь вырастает уже в символ не африканской истории, но Истории, как таковой. Природа не абсурдна — размышляет Саиф,— она просто существует. Абсурдна жизнь людей, то есть история. Но если человек вынужден жить в истории, то история — вся — в политике. «Мы разорваны политикой. Невозможны ни солидарность, ни чистота»,— возражает он Анри. «Судьба прощает грешников, что для нее скучная невинность никогда не грешивших?» Саиф, философ и практик насилия, поднимается здесь автором до своеобразного мрачного величия, и ассоциации ведут читателя к Борджиа или Яго, к «Государю» Макиавелли. Ибо, если история лишь кровавая игра, то Коварство входит в законы этой игры. И обреченный Историей на игру Саиф как бы поднимается здесь автором внезапно над добром и злом, он — вне осуждения или оправданий. Более того, аббат Анри с его деятельной любовью к людям и Саиф странным образом становятся близки друг к другу. Они связаны воедино игрой.

Об этом говорит и притча, рассказанная Анри. Есть китайская игра: двух птиц связывают длинной веревкой и отпускают. Обезумев, птицы рвутся в разные стороны, летят, дергаются, опутываются веревкой,

теряют перья, пока не задушат или не заклюют друг друга. «Человечество подобно этим птицам. Мы все жертвы такой игры. Разделены, но связаны насильно...»

В последних строках романа уже открыто перекинут мост к событиям наших дней: «Саиф, три миллиона раз оплаканный, непрерывно возрождается из горячего пепла более тридцати африканских республик».

На мой взгляд, метафизика эпилога не вполне согласуется с самой книгой, гораздо более резкой и ясной. Мы знали, что трагедии молодых африканских государств связаны с недавним колониальным прошлым. Но не только с ним — говорит нам книга Уологема. Корни этих трагедий уходят в глубь веков. Африка получила в наследство и традиции феодальных владык, развращенных неограниченной властью, и традиции народов, деформированных веками рабства.

«Долг насилия»... Долг, навязанный Историей людям власти, политикам XVI или XX века? Видимо, таков смысл заглавия. Но если веками острие насилия обращалось против народов, то не может ли ныне эта «négraille», истерзанная чужими и своими угнетателями, взять наконец свою судьбу в свои руки?

Думается, что читатель, ошеломленный жестокой книгой Уологема, не может не задать себе этот вопрос.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ТРАГИЧЕСКИЙ ФАРС

Mordecai Richler. Cocksure. London, Weidenfeld and Nicolson, 1968.

Представьте себе обычную, традиционную клоунаду на арене цирка. Гримасы, прыжки, двусмысленные жесты, оплеухи, затрещины... Публика хохочет. Клоуны падают, но почему-то необычно долго не поднимаются. Зрители аплодируют — актеры недвижимы. И вот уже первые ряды, не успев отсмеяться, оцепенели от ужаса: клоуны мертвы.

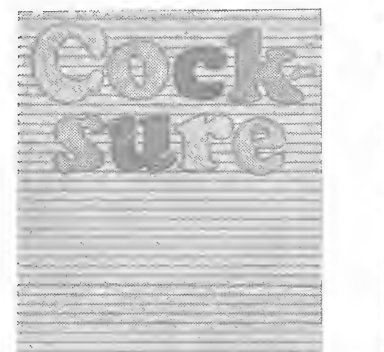
Таково, приблизительно, впечатление от рассказов и повестей известного канадского писателя-сатирика Мордекая Ричлера. Клоунада, буффонада, стремительный каскад трюков — и, подготовленный исподволь, но все же неожиданный, переход к трагической реальности. Так в особом, своеобразном виде предстает в повестях М. Ричлера «этот безумный, безумный, безумный мир» — тема, неисчерпаемая для современных художников Запада, в особенности для сатириков и юмористов.

В новой повести М. Ричлера «Фанфароны» действие разыгрывается в сферах «интеллектуальных», в «авангарде» безумного мира, производящем его духовные ценности. Но это не только сатира на интеллектуальных снобов или индустрию культуры. Конкретное с самого начала выступает у Ричлера как часть общего. И хотя герой повести, солидный сотрудник солидного издательства Мортимер Гриффин, вполне жизненный, правдоподобный, психологически убедительный современный интеллигент, или «интеллектуал», он в то же время совершенно естественно становится центральной фигурой сатирико-философского плана повести — нормальный человек в безумном мире.

Мортимер Гриффин — не «простак», не условный дикарь, не пришелец с другой планеты. Он нормальный человек, в самом прямом, буквальном смысле слова, нормальный физически и нравственно. Но именно нормальность ставит его в положение исключительности. Это парадоксальное противоречие начинается уже с внешности. Правильное, красивое лицо Гриффина вызывает насмешки и неодобрительные замечания. Его называют положительным, как реклама страховой компании. Нравы и обычаи безумного мира требуют, чтобы на лице человека были видны следы пороков или, на худой конец, хотя бы физические недостатки. Человек, лишенный такого рода примет, выглядит необычно, странно, не так, как следует. И Мортимер Гриффин искренне огорчен этим и тяготится своей внешностью.

Но физическое переходит в нравственное. Мортимер испытывает свойственное нормальному человеку отвращение к противоестественному. Модный кинофильм о гомосексуалистах вызывает у него неукротимую тошноту. А публика — публика аплодирует стоя! Реакция нормального человека выглядит странной, редкостной, необычной.

Сын Гриффина учится в аристократической модернизированной школе. В полном соответствии с духом времени главное внимание здесь уделяется «сексуальному образованию». На рождественском вечере для родителей дети демонстрируют свои успехи



в постановке пьесы маркиза де Сада «Философия будуара». Мортимер Гриффин ошеломлен, возмущен, испуган — но большинство пап и мам в восторге! И снова нормальный человек оказывается особенным, не таким, «как все». В безумном мире нормальное становится не только неинтересным, старомодным, отсталым, но необычным, редким, в конечном счете — ненормальным.

Гриффин любит жену и не чувствует ни малейшего желания развлекаться на стороне. Это тоже несбычно и странно. Причем уже не только в том кругу «культурных» снобов, с которыми постоянно соприкасается Мортимер. С тем, что он аутсайдер в этой среде, он кое-как примиряется. Но его ужасает, что даже в баре, куда он заходит каждый день, при его появлении все подтягиваются, застегиваются на все пуговицы, перестают рассказывать анекдоты и «свободно выражаться». И он начинает притворяться пьяницей, распутником, любителем порнографии. За эту попытку приспособиться к общепринятому, псевдонормальному Гриффин расплачивается разрушением семьи.

Однако и это еще только подступы к центральному конфликту. Естественные для героя повести нормы порядочности, справедливости, совести делают неизбежным его прямое столкновение с бесчеловечным безумным миром.

Лондонское издательство, в котором работает Гриффин, переходит в руки всесильного голливудского магната Создателя звезд. В международную «империю бизнеса», принадлежащую Создателю звезд, помимо кино- и телекомпаний, газет и книжных издательств, входят авиалинии, нефтеочистительные заводы, алмазные копи, игорные дома и притоны. По своему могуществу он уступает разве что господу богу. Зловещая фигура Создателя звезд — несомненная удача писателя В этом гротескно-символическом образе как бы сконцентрирована вся извращенность, все зло современного буржуазного мира.

В целой серии сцен, иронически-фантастических, приобретающих символическое значение, представлен процесс изготовления кинозвезд. Искусственно сделанные кинозвезды кричат от боли и страха, когда из них выпускают воздух, чтобы запереть в ящик до следующего фильма. Создатель звезд достигает неслыханного долголетия с помощью пересадки органов, отнятых у здоровых людей. Путем ряда сложных операций он превратился в двуполое существо, чтобы самостоятельно произвести потомство и ни с кем не делить свое бессмертие...

Этот модернизированный «Князь тьмы» решает соблазнить героя. Он предлагает ему пост директора издательства. Но это значит стать соучастником преступлений «империи». Мортимер Гриффин вначале подозревает, затем точно удостоверяется, что в сферу деятельности компании входят запланированные, хладнокровные убийства. Например, издается книга о давно забытой киноактрисе или малоизвестном политическом деятеле. Как обеспечить рекламу и спрос? Элементарно просто — за несколько дней до выхода книги в свет ее герои внезапно умирают. Эту часть работы выполняет специальный западногерманский филиал фирмы, состоящий из бывших нацистов и эсэсовцев.

Гриффин нерешителен тогда, когда он не уверен, на чьей стороне правда. Но на войне он заслужил орден за храбрость. Это, по Ричлеру,— естественное поведение для нормального человека. Есть предел его уступкам «безумию», есть рубеж, на котором он остановится и окажет сопротивление.

Оставив знакомому издателю маленького журнала детальное и точное описание преступлений компании, Мортимер Гриффин заявляет Создателю звезд о своем отказе. Он рассчитывает, что, если с ним «что-нибудь случится», правда о Создателе звезд и его империи будет раскрыта. Но дом Гриффина уже окружен, а убийства, совершаемые компанией, как известно, не оставляют следов... И заранее ясно, что так же бесследно исчезнет завещание Мортимера Гриффина: издатель хотел бы выполнить свое обещание и опубликовать рукопись, но боится судебного преследования «за клевету».

Так кончается конфликт нормального человека с безумным миром. И конец этот закономерен и неотвратим, ибо, если предопределено столкновение разума и безумия, человечности и бесчеловечности, то, по Ричлеру, так же предопределено поражение добродетели и торжество порока. Отсюда жестокий сарказм и горький скепсис писателя, чрезмерная широта иронии, неоправданное нагромождение клоунады и фарса. Фарсовые моменты нередко приобретают самодовлеющее значение, затемняя основное сатирическое содержание повести.

Глубокий пессимизм Ричлера сближает его с американской школой «черного юмора». Но значительно больше точек соприкосновения у него с сатирой, в традиционном понимании этого слова. Уже само противопоставление безумного и нормального в повести Ричлера противоречит нигилистической концепции мира, из которой исключаются какие бы то ни было твердые критерии. Еще более важно, что нормальное и безумное раскрывается в повести как нравственное и безнравственное. Причем, если добро у Ричлера социально абстрактно, зло — вполне конкретно. При всей широте иронии и скепсиса Ричлера, он умеет указать главного носителя зла: безумный мир у него в конечном счете — империя бизнеса.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

«ГАМЛЕТ, ПОЛНЫЙ СИЛ»

Широкий резонанс в печати получила новая постановка пьесы «Гамлет», недавно осуществленная Тони Ричардсоном. Для постановки шекспировской пьесы этот известный режиссер арендовал Раунд Хауз — бывшее паровозное депо, помещение, по мнению критиков, «минимально приспособленное для постановок». В театральной программе, выпущенной перед премьерой, содержался манифест Тони Ричардсона, провозгласившего «окончательное и бесповоротное уничтожение просцениума и связанных с ним традиций». Отказ от привычной сцены Ричардсон считает необходимым для создания естественного контакта между зрителями и актерами. В Раунд Хауз сцена расположена посреди зрительного зала; актеры входят и покидают ее, проходя сквозь ряды зрителей.

Ричардсон рассчитывает со временем создать принципиально новый тип театра. Режиссер хочет привлечь новую аудиторию, главным образом молодежь, предпочитающую театру пока что кино и «поп-искусст-

Большим творческим успехом известной киноактрисы Ванессы Редгрейв считает английская критика исполнение ею заглавной роли в фильме о жизни знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан. «Ванесса Редгрейв даже в танцах смогла правдиво передать величие Айседоры Дункан, ее одухотворенность, рождавшую вдохновение»,— пишет рецензент газеты «Морнинг стар». Фильм «Айседора» снят режиссером Карелом Рейцем.
На снимке: Ванесса Редгрейв в роли Айседоры.

(Газета «Таймс»)

Марианна Фейсфул (Офелия) и Николь Уильямсон (Гамлет) в сцене из спектакля, поставленного Тони Ричардсоном в Раунд Хауз.

(Еженедельник «Обзёрвер»)

во». Поэтому в его театре очень немного дорогих мест; билеты на спектакли в Раунд Хауз стоят не дороже пачки сигарет. Кстати, вопреки традиции, прессе пришлось заплатить за билеты на премьеру — обстоятельство, отмеченное всеми рецензентами...

Как отмечает обозреватель газеты «Морнинг стар», перемены коснулись также шекспировского текста в его сценической интерпретации. Роль Призрака короля — отца Гамлета — «заменена» стереофоническим эффектом. Та же печальная участь, по словам обозревателя, постигла и благородного Фортинбраса, от которого остался «звон шпор». Актеры, исполняющие ведущие роли, говорят на сцене с акцентами, свойственными различным графствам Англии, что также считается нарушением традиции.

Таким образом, далеко не все в постановке Тони Ричардсона принимается безоговорочно. Тем не менее критики единодушно высоко оценили игру актеров, сосредоточив основное внимание на трактовке роли Гамлета в исполнении Николя Уильямсона. Наиболее полно общее мнение выразил обозреватель газеты «Таймс» Ирвинг Уордл, озаглавивший свою статью «Гамлет, полный сил»: «Наш ведущий актер выдержал испытание ролью Гамлета. Он не только блестяще справился с ней, но дал ей оригинальную трактовку; это первый актер, которому удалось избавиться от влияния Гилгуда. Он не старается играть принца, не подчеркивает гамлетовских сомнений, не смущается своим северным акцентом — вы скажете, что он отбросил в роли главное, но спектакль электризует, снова и снова — словно впервые — вы слушаете знакомый текст».

БОЛГАРИЯ

Фестивали юмора в Габрово стали традиционным веселым праздником жителей этого города. Уже не в первый раз у габровцев гостят шотландцы из города Абердина, где любители юмора также устраивают празднества. На недавнем фестивале в Габрово два самых остроумных шотландца получили в качестве премий туристские путевки в Болгарию.
На снимке: знаменитая габровская черная кошка, которая разрешает обрезать себе хвост (габровцы шутят, что, опасаясь выстудить зимой жилище, они обрубают хвосты своим кошкам — так те быстрее проходят в дверь). Снимок заимствован из английской газеты «Морнинг стар».

БРАЗИЛИЯ

УСПЕХ РУССКОЙ КЛАССИКИ

На одной из оживленных улиц Рио-де-Жанейро находится театр «Ипанема». В составе его труппы — в основном молодые актеры. Когда коллектив только начинал свою творческую работу, главной его заботой был выбор пьесы для дебюта. От этого во многом зависела вся дальнейшая судьба актеров и театра.

После долгих дискуссий для премьеры была выбрана пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад». Успех спектакля превзошел все ожидания.

В бразильских театрах не принято давать один и тот же спектакль два дня подряд. Однако «Вишневый сад» нарушил эту традицию — пьеса с успехом была повторена и на следующий вечер.

Окрыленные успехом актеры театра «Ипанема» стали готовить новую постановку. Они показали инсценировку «Записок сумасшедшего» по Н. В. Гоголю — также с успехом. За ней последовала инсценировка романа Максима Горького «Мать». Так театр «Ипанема» познакомил бразильских зрителей с широкой панорамой жизни дореволюционной России, отраженной в известных классических произведениях («Иностранная литература» коротко сообщила об этих спектаклях в № 4 за 1969 г. в разделе «На всех языках»).

Интерес к русской и советской драматургии, как отмечает печать, очень велик в странах Латинской Америки. На сценах Аргентины и Венесуэлы, Чили и Перу идут популярные пьесы русских драматургов. Чеховская «Чайка» вызывает неизменный интерес зрителей в театре «Тетрильо» в Буэнос-Айресе. Венесуэльцы неоднократно видели пьесу Тургенева «Нахлебник».

В Мексике «Вишневый сад» Чехова был поставлен на сцене театра Хименеса Руэды. Рецензент журнала «Тьемпо», высоко оценивая спектакль и работу режиссера, писал: «Режиссеру удалось добиться от каждого актера предельно выразительной трактовки создаваемых образов. И в этом следует искать причину успеха пьесы «Вишневый сад». Свидетельство успеха — бурные овации зрителей и неизменные вызовы актеров после каждого спектакля».

ДРВ

«ОГОНЬ»

Кинематографистами ДРВ создан новый художественный фильм «Огонь», посвященный борьбе южновьетнамского народа против американо-сайгонского режима. Режиссер фильма Фам Ван Хоа так коротко охарактеризовал его: «Когда в мирную вьетнамскую деревню врывается враг, его встречает огонь ненависти всего народа — в этом и заключается главная идея нашего фильма».

«Огонь» — седьмая самостоятельная работа главного оператора фильма Нгуен Куанг Туана, выпускника Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве.

В роли главной героини фильма — шестнадцатилетней партизанской связной — выступила молодая актриса Э Бан Кун, уроженка Южного Вьетнама.

ГОЛЛАНДИЯ

«ГОД ЭРАЗМА»

Много лет ученые ведут спор вокруг даты рождения Эразма Роттердамского. Русские исследователи долгое время считали годом его рождения 1466, кубинские — 1467, а голландские ученые — 1469 год. Точной даты рождения до сих пор установить не удалось, но голландские ученые считают, что они ближе всего к истине.

По решению ЮНЕСКО 500-летие со дня рождения Эразма отмечается в этом году. «1969 год объявлен в Роттердаме «годом Эразма»,— рассказал представителям печати заведующий отделом искусства роттердамского муниципалитета Хэт ван Горком. Муниципалитет разработал программу мероприятий, связанных с юбилеем. В центральном городском музее будет открыта большая выставка «Эразм и его эпоха». На выставке будут представлены редкие издания трудов Эразма, рукописи, уникальные портреты.

В середине октября намечено созвать Международный конгресс историков, посвященный творчеству Эразма.

«Мы надеемся,— сказал далее Хэт ван Горком,—что в нем примут участие ученые многих стран мира, в том числе — историки Советского Союза. Решено также подготовить и выпустить в свет полное собрание произведений Эразма.

Конечно, нынешний Роттердам — это современный, промышленный город, совсем не похожий на тот средневековый город, в котором 500 лет назад родился Эразм,— продолжал ван Горком.— Наши художники, архитекторы, историки решили воспроизвести на одной из площадей средневековый городской квартал таким, каким он был в эпоху Эразма. Если вы приедете летом в Роттердам, то сможете совершить увлекательное путешествие в средневековье: бродячие артисты покажут свое искусство, в старинном гостином дворе можно будет распить бутылку бургундского вина, которое, по преданию, любил Эразм, уличные торговцы предложат прохожим вафли, выпеченные по рецептам средневековых кулинаров...»

В центре Роттердама, рядом со старинной церковью святого Лаврентия, стоит памятник Эразму Роттердамскому. По старинному поверью, в те минуты, когда бьют куранты, Эразм переворачивает каменные страницы книги, над которой он склонился. У памятника всегда много детей — они ждут боя часов, хотят увидеть «живого Эразма».

В этой легенде — большой символический смысл. Для роттердамцев Эразм — не далекое прошлое, воплощенное в камне; они ценят его книги, особенно «Похвалу глупости». Эразм живет среди своих сограждан, пользуется их уважением и любовью. Поэтому с таким энтузиазмом, как сообщает печать, готовятся роттердамцы к юбилею великого гуманиста. Вместе с ними эту дату будут широко отмечать во всем мире.

ГРЕЦИЯ

ПИСАТЕЛЬ ОБВИНЯЕТ

Как сообщает печать, решением министерства внутренних дел Греции лишена гражданства еще одна группа демократов, и среди них—писатель Мицос Александропулос. В интервью, опубликованных кипрской газетой «Харавги» и выходящей в Париже греческой газетой «Элефтери патрида», Мицос Александропулос подчеркнул, что эта акция хунты, равно как и вся ее деятельность, противозаконны. Писатель отметил далее, что указ о лишении его гражданства — не первая репрессивная мера по отношению к нему. В список запрещенных книг, опубликованных сразу же после переворота, были занесены и его произведения.

Александропулосу было предъявлено обвинение в

антигосударственной деятельности, так как он выступал в печати против диктатуры «черных полковников» и говорил о тяжелом уроне, который был нанесен греческой культуре фашистским переворотом 21 апреля 1967 года.

Комментируя это обвинение, Александропулос сказал: «Как человек, политические суждения и выводы которого находятся в непосредственной зависимости от процессов, происходящих ныне в нашей культуре, я не могу оставаться равнодушным перед фактом упадка духовной жизни Греции, вызванного фашистской диктатурой, и не могу не считать себя непримиримым ее врагом. Указ о лишении меня гражданства я расцениваю как одно из проявлений тех оргий мракобесия, которым предается жалкий режим хунты».

«ПЕРЕВОД М. А.»

Выходящая на Кипре газета «Харавги» рассказала недавно о новом акте произвола цензуры в Греции. Афинское издательство «Фекси», подготовившее серию произведений античной классики в переводах на новогреческий язык, запросило разрешение цензуры на эту публикацию и неожиданно получило отказ. Причиной послужило то обстоятельство, что переводчик «Просительниц» Эсхила, «Электры» Софокла, а также комедий Аристофана «Осы», «Всадники» и «Ахарняне» — выдающийся греческий критик-марксист и поэт Маркос Авгерис. Разрешение на выпуск серии было получено лишь тогда, когда издатель согласился не указывать фамилии переводчика. На изданиях этой серии будут фигурировать лишь инициалы Маркоса Авгериса: «Перевод М. А.»

ГДР

«БУРИДАНОВ ОСЕЛ»

Свой новый роман писатель Гюнтер де Бруин назвал «Буриданов осел». Герой романа — Карл Эрп, руководитель одной из крупных библиотек Берлина, человек лет сорока,— полюбил молодую практикантку фрейлейн Бродер. Он уходит к ней, оставив жену Элизабет и детей. Однако трудности быта, неудобства, с которыми Эрп столкнулся после налаженной жизни в собственном доме, пугают его. Самоотверженно любящая Эрпа фрейлейн Бродер добивается назначения в сельскую местность, надеясь уехать с ним и спасти их любовь. Но Эрп возвращается к жене, умевшей создать ему удобную, спокойную жизнь. Однако изменилась и Элизабет — ей не нужен больше этот чужой человек, она пускает его в дом только ради детей...

Таков несложный, на первый взгляд, сюжет романа. Но в пределах этой, казалось бы сугубо личной, истории Карла Эрпа и двух женщин, между которыми он должен сделать свой выбор, истории «буриданова осла и двух охапок сена», как пишет рецензент «Литератур-69», писателю удалось создать подлинную картину жизни своих современников.

«Конфликт, много раз отраженный в мировой литературе, обрел у Гюнтера де Бруина новые формы,— отмечает рецензент.— Он развивается на новой почве — в социалистической Германии; его герои — люди нашего времени, их чувства, мысли, действия понятны и близки нам». Большой заслугой писателя автор рецензии считает очень удачные образы женщин — умных, сердечных, энергичных. Рядом с главными женскими фигурами Карл Эрп особенно проигрывает — нерешительный, эгоистичный, думающий прежде всего о своих удобствах в жизни. «Такие женские образы в нашей прозаической литературе пока еще редкость, поэтому встреча с ними вдвойне радостна»,— пишет далее рецензент. Роман этот одновременно и серьезное и занимательное чтение. Написанный с приветливой иронией, столь свойственной Гюнтеру де Бруину, он ставит важные вопросы о морали людей, об их отношениях к обществу и между собой, отмечает рецензент.

Телевидение ГДР показало телевизионную постановку по роману И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». В сцене из спектакля, воспроизводимой здесь, заняты актеры Фридель Новак и Отто Маллис.

(Журнал «Цейт им бильд»)

ФРГ

ГАЗЕТА ПРОЩАЕТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Почти 14 лет подряд выходила одна из популярнейших еженедельных газет Западной Германии «Ди андере цейтунг». Недавно в газете появилось извещение о том, что она прекращает существование. В специаль-

ном обращении редакции к читателям говорится: «За все время существования нашей газеты постоянно росли ее расходы, и даже неуклонное увеличение тиража не может сейчас обеспечить ее дальнейший выпуск. Любая реклама — главный источник финансирования коммерческой прессы — всегда была закрыта для нас. Мы не могли обеспечить даже дорогостоящую рекламу для нашей собственной газеты. «Ди андере цейтунг» не нравилась предпринимателям, она не служила их интересам, поэтому она подвергалась настоящему бойкоту рекламодателей. Кроме того, монополии и политические силы оказывали влияние на продажу и распространение газеты, всячески затрудняя их».

Рядом с редакционным обращением помещена статья члена редколлегии газеты Герхарда Глайсберга, где он выражает сожаление по поводу «недостаточной сплоченности левых сил в ФРГ». «В течение 14 лет мы помогали активизации политического мышления в стране,—пишет Глайсберг.— Мы помогали людям осознавать нашу действительность, чтобы добиться возможности объединенными усилиями изменить ее».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА ГАНСА ФИРЦЛАФА

В ганноверском клубе «Вольтер» состоялась выставка политических рисунков 47-летнего западногерманского художника Ганса Фирцлафа. По словам рецензента газеты «Дейче фольксцейтунг», произведения художника проникнуты решительным протестом против политики войны и реванша, против эксплуатации — в прошлом и настоящем. В рисунках Фирцлафа, писал он далее, находят отражение все злободневные проблемы современности— война во Вьетнаме, политический террор, монополизация прессы, правый радикализм.

Буржуазная пресса редко печатает рисунки Ганса Фирцлафа (у художника их насчитывается более сорока тысяч), и потому он еще мало известен широкой общественности.

Здесь воспроизводится рисунок Ганса Фирцлафа «Песнь бомбардировщика».

«НАЦИОНАЛЬ-ФИЛЬМ» ИДЕТ НА ШТУРМ

В апреле 1967 года в торговый реестр города Мюнхена была занесена фирма «Националь-фильм» с первоначальным основным капиталом в 20 тысяч западногерманских марок. Директором фирмы стал строительный подрядчик Карл Поллак, его партнерами — известный неонацист издатель Гельмут Кемптер и журналист Вольфганг Менцель.

Прошел год, прежде чем руководство «Национальфильма» раскрыло свои истинные планы. Директор фирмы Поллак дал интервью газете национал-демократической партии «Дейче нахрихтен», в котором без обиняков заявил, что в фильмах, которые намеревается ставить «Националь-фильм», будет преобладать «тема, которая до сих пор не находила должного воплощения: успешные действия немецкого солдата-фронтовика». Позднее западногерманский пресс-бюллетень «Фильм-динст» прямо писал, что «Националь-фильм» намерена выпускать «фильмы об эсэсовских войсках и действиях немецких солдат против партизан в период второй мировой войны».

Демократический еженедельник «Татзахен», характеризуя деятельность фирмы, писал, что ее продукция будет «нашпигована»

Ганс Фирцлаф. «Песнь бомбардировщика».
(Газета «Дейче фольксцейтунг»)

нацистскими бреднями. Действительно, даже короткий перечень фильмов, готовых к серийному производству, весьма красноречив: «Полковник штурмовой авиации Рудель» (об одном из асов «люфтваффе»), «Мы сражались над Валеттой» (о разбойничьем нападении с воздуха на Мальту в 1941—1942 годах), «Судьба немцев — 1945 год...»

Недавно владельцы «Националь-фильма» обратились через правую западногерманскую газету «Дейче вохенцейтунг», как они это назвали, «К друзьям добротного фильма» с призывом помочь финансировать деятельность фирмы, поскольку их цель, по их собственному выражению, «создать как для немецкого, так и для зарубежного зрителя объективную и правдивую картину Германии».

Как отмечает демократическая печать, деятельность «Националь-фильма» пользуется покровительством боннских властей. «Старые и новые фашисты,— писал еженедельник «Татзахен»,— начали штурм западногерманского кинематографа».

ДАНИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН МАРТИНА АНДЕРСЕНА-НЕКСЕ

Издательство «Сириус» выпустило недавно книгу литературоведа Бёрге Хаумана, в которой рассказывается об одной интересной находке, сделанной им в архиве Мартина Андерсена-Нексе, 100-летие которого отмечается в июне нынешнего года. Книга Хаумана носит название «Из записок молодого человека. Мартин Андерсен-Нексе — первая проба пера в жанре романа».

Занимаясь по поручению Копенгагенской королевской библиотеки описью литературного архива Нексе, Хауман обнаружил фрагмент его никогда ранее не публиковавшегося романа.

«Искупление»—это название, написанное на грубой оберточной бумаге, в которой находилась рукопись, поначалу навело Хаумана на мысль, что речь идет о раннем произведении Нексе, изданном в 1899 году. Однако, познакомившись с содержанием романа, Хауман понял, что перед ним доселе не известное произведение раннего Мартина Андерсена-Нексе. Вначале Нексе озаглавил свой роман «Записки молодого человека», потом изменил его на «Искупление». Судя по титульному листу, рукопись побывала в руках директора издательства «Гюльдендаль». Его рукой на титульном листе написаны имя и адрес Нексе. По этому адресу, очевидно, издатель и возвратил рукопись автору.

Роман построен в форме дневника и переписки двух влюбленных — датчанина и американки.

Писатель использовал отдельные фрагменты романа в своих более поздних произведениях, например, в новелле «Исповедь», изданной в 1946 году и вызвавшей большой интерес читателей и критики. Хауману удалось также установить, что роман «Искупление» был написан Нексе во время одной из его поездок в Италию, где молодой писатель отдыхал и лечился. В рукопись включены некоторые из путевых заметок писателя, которые впоследствии вышли отдельной книгой под названием «Путевые наброски».

ИЗРАИЛЬ

ПОЭТ, ВЫСТУПАЮЩИЙ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Недавно в Израиле вышел сборник стихов молодого поэта Арье Декера под названием «Деревья возрождаются, пройдя сквозь смерть». Об этом сообщил прогрессивный журнал «Аль-Джадид», издающийся на арабском языке в г. Хайфа. В нем опубликованы три стихотворения из этого сборника в переводе с иврита.

В стихотворении «1966—1967», которым открывается подборка, звучит протест против войны во Вьетнаме. В стихотворении «После полуночи» автору видятся тысячи юношей, которые «не смогут мечтать этой ночью» о встрече со своими девушками, ибо «мертвые не мечтают». Зловещий образ войны, заслонившей собой солнце, небо, звездные ночи и море, «шептавшее тайны любви», нарисован также в стихотворении «И была война».

ИТАЛИЯ

«ЛИТЕРАТУРА В ЛЕТАРГИЧЕСКОМ СНЕ»

Так названа статья журналиста и литературного критика Андреа Барбато, опубликованная недавно в еженедельнике «Эспрессо». Подзаголовок гласит: «После нескольких лет кажущегося расцвета литературы люди перестали читать, издатели — печатать, писатели — писать».

Автор статьи посетил многие книжные магазины в Риме и отметил, что отделы новинок художественной литературы, как правило, пустуют, хотя горы книг и толпы читателей были в отделах исторической, экономической, философской, социологической и другой литературы. В известном туринском издательстве «Эйнауди» ему рассказали, что впервые за много лет у них нет плана издания художественной литературы и нет самих рукописей. «Писатели больше не пишут хороших романов,— заявил журналисту один из руководителей издательства.— Нам приходится заменять их рассказами, но в этом случае большие тиражи и быстрый читательский успех почти невозможны».

«Многие писатели,— продолжал Андреа Барбато,— признают наличие кризисных явлений в итальянской литературе наших дней, хотя и объясняют это по-разному... В литературных журналах художественные произведения занимают все меньше места, в них начинает преобладать очерковая

литература. Дискуссии, столь популярные в Италии, проходят все более вяло и ведутся в основном о книгах неxудожественных. Читатели не интересуются, как раньше, планами любимого писателя. Эпоха больших и быстро расходящихся тиражей прошла. Литературные конкурсы агонизируют, один за другим прекращают свое существование литературные еженедельники.

Что же изменилось? Вкусы, общество, времена, рынок или сама литература?..»

Автор статьи склоняется к выводу, что времена романа прошли. Однако сама жизнь опровергает такой вывод Барбато. В миланском издательстве «Мондадори», например, Барбато сообщили, как он сам об этом пишет, что в скором времени выйдет в свет роман Д'Арриго «Вечерние события», Баккелли подготовил к изданию роман «Афродита» о жизни моряков портового города Таранто, пишут романы Пьовене, Бенедетти, Бонфанти и Буцати. Пробуют свои силы и менее известные, молодые авторы.

Многие критики, откликнувшиеся на статью Барбато, отмечали, что автор тонко подметил некоторые кризисные явления в современной итальянской литературе, но далеко не все разделяют его точку зрения на настоящее и будущее романа.

НА ЭКРАНЕ — «ЛЮБОВНИЦА ГРАМИНЬИ»

Внимание кинокритики привлечено к фильму Карло Лидзани «Любовница Граминьи» — первому (и несомненно успешному) опыту совместного итало-болгарского производства. В основе сюжета фильма — один из рассказов писателя конца XIX—начала XX века Джованни Верги о судьбах гарибальдийцев. К этому сюжету обращался еще в начале 40-х годов Лукино Висконти, но фашистская цензура воспротивилась осуществлению его замысла.

Действие фильма происходит около ста лет назад на Сицилии. По острову только что прошел Гарибальди и зажег в сердцах крестьян надежду на лучшее будущее. Но прибывшие на Сицилию правительственные войска «восстановили порядок» и начали преследовать «бандитов» — вчерашних гарибальдийцев, сражавшихся за освобождение острова от Бурбонов.

Джан Мария Волонте и Стефания Сандрелли в фильме «Любовница Граминьи».

(Газета «Унита»)

...Бывший гарибальдиец Граминья восстает против произвола помещиков-баронов, призывает батраков к мятежу и мстит тем, кто преследовал отца и его самого. Граминье помогает полюбившая его крестьянская девушка Джемма. Их попытки поднять крестьян на борьбу против местного барона Нардо сначала терпят неудачу, но затем деревенская беднота занимает помещичьи земли и батраки расправляются с притеснявшим их бароном. Когда же приходят солдаты, Граминья, чтобы спасти крестьян, принимает всю ответственность за мятеж и смерть барона на себя и гибнет...

Критики подчеркивают, что Карло Лидзани сумел сделать фильм в лучших традициях неореалистической школы. Психологически сложный центральный образ Граминьи создан Джаном Марией Волонте (авторы рецензий выражают сожаление, что Волонте после завершения этого фильма выразил намерение окончательно уйти из кино на театральную сцену). В роли Джеммы снималась популярная актриса Стефания Сандрелли. Наряду с итальянцами в фильме заняты болгарские актеры Эмилия Радева, Стоянка Мутафова, Иван Пенков и другие.

Фильм — цветной, широкоформатный, снимался в Болгарии.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ СКАЗКИ РОДАРИ

Известный в стране и за рубежом детский писатель

Джанни Родари был очень обрадован, когда государственная организация по производству документальных фильмов «Люче» («Свет») решила поставить по его произведению фильм, специально предназначенный для юных зрителей. Для экранизации была избрана одна из последних книг Родари — «Торт в небе». Сценарий по этой книге был заказан Чечилии Манджини и Лино Дель Фра, ставить фильм должен режиссер Лино Дель Фра. Казалось бы, все в порядке, и дети вскоре получат фильм-сказку. При почти полном отсутствии в Италии детского кино создание фильма по сказке Родари приобретало значение важного события в культурной жизни страны.

Однако все неожиданно затормозилось, и «Торт в небе» никак не может начать свою жизнь на экране. Разные ведомства уже целый год ссылаются на отсутствие необходимых финансовых средств, хотя деньги на производство других фильмов находятся. Более того, предусмотрены специальные государственные ассигнования на постановку фильмов для детей, которые не используются.

Корреспондент римской газеты «Паэзе сера» с возмущением пишет об этих искусственных проволочках и объясняет их истинную подоплеку: некогда пытались замалчивать творчество Родари из-за его демократической направленности (успех и слава пришли к писателю из Советского Союза и других социалистических стран); ныне по той же причине пытаются помешать созданию фильма по произведению Родари. К тому же и режиссер фильма Дель Фра — тоже человек прогрессивных убеждений. По мнению корреспондента, политическая цензура продолжает действовать в Италии, и находится она — несмотря на участие социалистов в правительственных организациях по делам кино — по-прежнему в руках клерикалов.

МЕКСИКА

СМЕРТЬ ТРАВЕНА

В Мехико на 79 году жизни скончался писатель, известный под фамилией Травен. Автор нескольких романов, переведенных на 32 языка, он долгое время был загадкой для современников (о нем см. «Иностранную литературу» № 8, 1961 и № 2, 1967).

Много лет шел спор о том, кто он и к литературе какой страны отнести его творчество. Сейчас стало известно его завещание, составленное незадолго до смерти. В завещании подтверждается, что настоящее имя Травена — Травен Торсвен Кровес, что родился он в 1890 году в Чикаго. В 1951 году Травен принял гражданство Мексики. Все свои рукописи, архивы, а также права на их издание, на театральные, телевизионные постановки и экранизации своих произведений Травен завещал жене. Ей же принадлежит право публикации материалов из его биографии.

«Во всех своих произведениях Травен всегда обращался к социальным темам,— сказано в некрологе, помещенном в газете «Берлинер цейтунг».— Он был защитником угнетенных индейцев, он симпатизировал эксплуатируемым и отверженным мексиканцам».

Как сообщил мексиканский журналист, корреспондент информационного агентства АДН Луис Суарес, при кремации Травена присутствовали видные деятели культуры Мексики, в том числе Давид Альфаро Сикейрос.

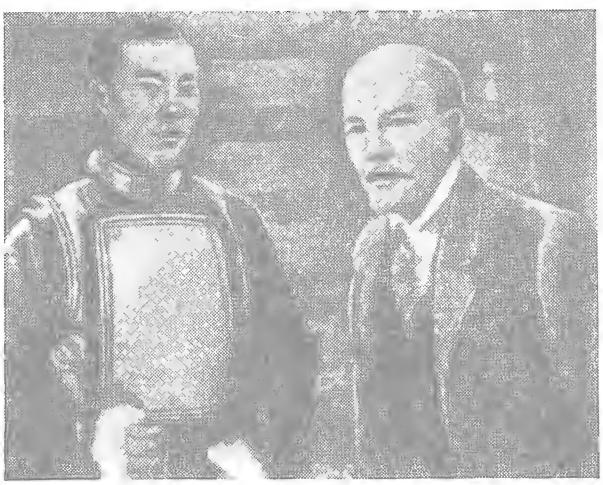
МОНГОЛИЯ

КОГДА РЕШАЛАСЬ СУДЬБА РЕВОЛЮЦИИ

На экраны страны вышел новый историко-революционный фильм «Утро», поставленный режиссером Д. Жигжидом по сценарию лауреатов Государственной премии Ч. Чимида и Л. Вангана. В фильме воссозданы бурные события 1921—1923 годов в Монголии, когда силам народной революции, возглавлявшимся народно-революционной партией, противостояли многочисленные враги: недобитые белогвардейцы во главе с бароном Унгерном, внутренняя контрреволюция. Положение осложнялось тем, что большинство населения страны было религиозным

Ю. Каюров в роли Ленина и Ц. Дашнамжил в роли Сухэ-Батора в фильме «Утро».

(Газета «Новости Монголии»)



и верило Богдыхану, «живому богу» Монголии, единоначальному правителю страны. К тому же не все сторонники революции считали необходимым обращаться за помощью к Советской России. Эта драматическая ситуация и использована создателями фильма.

В тех исторических условиях, пишет рецензент газеты «Новости Монголии», ориентация руководителей народно - революционной партии на республику Советов была единственным спасением монгольской народной революции. Выдающуюся роль в этом сыграл Сухэ-Батор. Постепенно в фильме выкристаллизовывается одна из главных идей — нерушимость монголо-советской дружбы, обеспечившей монгольскому народу свободу и независимость.

Центральный эпизод фильма — историческая встреча Сухэ-Батора и Ленина в Москве в октябре 1921 года: «В крепком рукопожатии встретились руки Ильича и Сухэ-Батора,— пишет рецензент.— Свидетель этого — сама история. Ничто и никогда не разожмет эти руки. Никогда!»

Роль В. И. Ленина в фильме исполняет известный советский актер Ю. Каюров, Сухэ-Батора — монгольский актер Ц. Дашнамжил.

ОАР

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ПИСАТЕЛИ

Журналист Салех Гоудат встретился с несколькими видными писателями и поэтами ОАР и попросил их рассказать для читателей еженедельника «Аль-Мусаввар», что они написали в 1968 году и над чем работают сейчас.

Первым, у кого Гоудат взял интервью, был маститый прозаик и драматург Тауфик аль-Хаким. Его ответ несколько обескуражил журналиста: «Ничего не написал и ни над чем не работаю». Далее писатель пояснил, что события июньской войны 1967 года привели к таким резким переменам в жизни страны и в сознании арабов, что писать по-старому уже невозможно. Писателям ОАР нужно время, чтобы осмыслить все эти перемены, прежде чем они смогут отразить их в своих новых произведениях.

Другой крупнейший египетский писатель Нагиб Махфуз заявил в беседе с Гоудатом, что пишет исключительно короткие рассказы и одноактные пьесы, которые печатались в газете «Аль-Ахрам». По словам Махфуза, ему сейчас трудно взяться за большое произведение, «требующее уверенности и спокойствия». На вопрос журналиста, какое из своих произведений, написанных в последний период, он считает лучшим, Махфуз ответил, что, по его мнению,— это рассказ «Под навесом», так как «он глубже других выразил наши чувства в связи с событиями, начавшимися в злополучный день 5 июня».

Затем Гоудат взял интервью у прозаиков Абд ар-Рахмана аш-Шаркави, Юсуфа ас-Сибаи, Луиса Авада и Абд аль-Хамида ас-Саххара, а также поэтов Ахмада Рами, Махмуда Хасана Исмаила и Азиза Абазы. Июньская война и нынешняя напряженная обстановка на Ближнем Востоке так или иначе отразились на творческих планах этих писателей. Однако, по словам журналиста, никто из них не пал духом. Они работают над новыми повестями, романами, поэмами, литературоведческими и историческими исследованиями.

ПОЛЬША

«ЛИТЕРАТУРА И РАБОЧИЙ КЛАСС»

Одну из важнейших тем современной польской литературы затронул в статье под таким названием публицист Веслав Адамский. Статья опубликована в молодежном журнале «Вспулчесность», в ней, в частности, говорится:

«Литература — центральный участок культурного фронта и один из главных факторов, формирующих общественное сознание, играющий важную роль в области идеологии. Поэтому партия и государственное руководство придают огромное значение вопросам литературы, постоянно заботясь об ее облике.

В условиях строительства социализма все наши начинания, в том числе и в области художественного творчества, призваны служить интересам трудящихся, и в первую очередь их авангарда — рабочего класса.

Вполне понятно, что жизнь рабочего класса должна найти достойное отражение в художественном творчестве, в литературе.

Рабочий класс — это с точки зрения социологии самая интересная категория современного общества, особенно в наших условиях. В нем происходят важнейшие преобразования в сфере политического сознания, нравов, психологии. Эти проблемы должны найти отражение в литературе, они достойны пера самых талантливых писателей. Из этой сокровищницы художники и писатели могут черпать богатый материал...

Тесная и постоянно укрепляющаяся связь писателей с рабочим классом — не пустая фраза. В ней заинтересованы рабочие, которые, будучи участниками социалистического строительства, хотят влиять на облик и характер нашей литературы, и в то же время она еще нужнее писателям, которые не могут творить в вакууме и своими произведениями хотят влиять на условия, в которых рождается социалистическое сознание...»

«ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ»

Такое название будет носить новый польский художественный фильм, который снимает в настоящее время режиссер Лех Лорентович. Фильм расскажет о событиях зимы 1940 года в горной местности — Подгале.

Кадр из фильма «Олимпийский огонь».
(Еженедельник «Фильм»)

Герои фильма — гурали, польские патриоты, которые знают родные горы, с детства ходят в них на лыжах и теперь, когда пришли черные дни оккупации, участвуют в движении Сопротивления. Гурали-спортсмены осуществляли переброску через горы тайной корреспонденции, помогали переходить границу тем, кто не мог оставаться на оккупированной территории или был нужен в другом месте.

Немецкие фашисты задумали создать в этих местностях «особые» районы, предоставив гуралям видимость автономии, наделив их «исключительными правами» и привилегиями. Однако гурали остались верны своей родине — Польше.

«Год 1940-й был Олимпийским годом,— пишет в репортаже о съемках фильма из Закопане журналистка Эльжбета Смолень-Василевская.— Само название подчеркивает этот факт, вызывает символические ассоциации. Правда, олимпийский огонь в тот год не вспыхнул, но те, кто принимал бы участие в Олимпиаде, на деле доказали свои патриотические и гуманистические взгляды». Многие гурали-спортсмены, участвовавшие в движении Сопротивления, в том числе женщины, которые могли бы быть участниками Олимпийских игр, отдали свои жизни в борьбе против гитлеровцев.

В основу фильма положены подлинные исторические факты. В главных ролях снимаются Ванда Нейман, Станислав Нивинский, Ежи Йогалла и другие.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЮБИЛЕЮ КОПЕРНИКА

Общественность Польши готовится в 1973 году отметить 500-летие со дня рождения великого польского ученого Николая Коперника. В решении Всепольского комитета Фронта единства народа о подготовке к юбилею отмечалось, что «перед всеми комитетами Фронта, общественными организациями, научными и культурными обществами стоят важные задачи популяризировать наследие великого сына польского народа, его патриотические идеи, выдающееся значение его научной теории». Там же содержался призыв к польским ученым, художникам, творческим работникам «всесторонне освещать наследие Николая Коперника, противостоять фальсификации истории реакционными учеными, националистами и реваншистами из Федеративной Республики Германии».

Польские ученые готовят к юбилею новые работы и монографии о великом астрономе. Печать сообщает, что на родине Коперника — в Торуни — решено издавать новую научно-популярную книжную серию «Библиотека Коперника». Недавно увидела свет первая публикация этой серии — книга профессора Кароля Гурского «Дом и семейный круг Николая Коперника». Автор полемизирует с западногерманской историографией, пытающейся поставить под сомнение польское происхождение Коперника. На основе документированных фактов он показывает несостоятельность выдвинутых недавно на Западе новых теорий о месте погребения Коперника, а также о месте его рождения. Профессор Гурский рассказывает в своей книге о родителях Коперника, о его родном доме, о школе, в которой учился будущий ученый, о городе, каким он был в то время; анализирует влияние окружения на научную деятельность и зарождение теории Коперника.

Коперник всегда оставался верен Польше, пишет профессор Гурский. Доказательство тому — вся его жизнь.

РУМЫНИЯ

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ СЦЕНАХ

Произведения классиков мировой драматургии, включая Чехова, Горького, Гоголя, а также мастеров советской драматургии — Арбузова, Розова, Володина, Зорина, Шварца, Аксенова,— постоянно присутствуют в репертуаре румынских театров. В последнем сезоне, как сообщает печать, были поставлены: «Коллеги» — в Брашове, «Мой бедный Марат»—в Галаце, «Голый король» — в Араде, «Старшая сестра» — в Сибиу, «Варшавская мелодия» — в Бухаресте, «Свадьба на всю Европу» — в Турде, «Выпускной бал» — в Клуже.

На сценах румынских те-

атров ставятся также произведения драматургов других социалистических стран: П. Карваша (Чехословакия), С. Мрожека (Польша), Е. Иллеша (Венгрия), Б. Брехта (ГДР), а также немецкого драматурга Г. Кайзера.

СИРИЯ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Как сообщает арабская пресса, министерство культуры Сирии приступило к изданию журнала для детей под названием «Усама» — по имени популярного героя детских сказок.

США

«ПРОЩАЙТЕ, УИЛЬЯМ СТАЙРОН...»

Когда кинопродюсер Дэвид Волпер и режиссер Норман Джюисон решили создать фильм «Признания Ната Тернера» по одноименному роману Уильяма Стайрона, это вызвало широкую волну протеста со стороны негритянских писателей, историков, общественных деятелей и артистов. Группа видных негритянских деятелей потребовала от продюсера и режиссера поставить правдивый фильм о Нате Тернере, основанный на реальных исторических фактах.

В конце концов кинофирма «Твентис сенчури фокс», продюсер и режиссер решили, что фильм будет называться «Нат Тернер», а не «Признания Ната Тернера». Фирма решила также, что в основу сценария должны быть положены подлинные исторические материалы, а не роман Стайрона.

Газета «Дейли уорлд» в статье, озаглавленной «Прощайте, Уильям Стайрон», цитирует заявление негритянских деятелей, в котором говорится: «Волипер и Джюисон заверили нас в том, что в фильме будет дан положительный образ Ната Тернера; он будет показан как подлинный негритянский революционер. Из сценария будут начисто исключены эпизоды, в которых негры-рабы насилуют белых женщин и где негры изображены предателями восстания. Исключены будут и всяческие «сексуальные инциденты» и намеки на гомосексуализм, являющиеся плодом фантазии Стайрона».

Вице-президент фирмы «Твентис сенчури фокс» Ричард Занук официально подтвердил в печати, что картина будет называться «Нат Тернер», и объявил, что главная роль будет исполнена известным негритянским артистом Джеймсом Эрлом Джонсом, с успехом выступавшим на Бродвее в пьесе Говарда Секлера «Великая надежда белых» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 3, 1969).

ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР: ЕСЛИ ДЕЛО ДОЙДЕТ ДО СХВАТКИ...

Роман Джозефа Хеллера «Уловка-22» стал в США бестселлером. Писатель переработал свое произведение в пьесу «Мы бомбили Нью-Хейвен», которая пользуется успехом у многих американских зрителей. Произведения Джозефа Хеллера проникнуты ненавистью к милитаризму, к иесправедливой войне во Вьетнаме, в них резко критикуется «американский образ жизни».

Газета «Нью-Йорк таймс» поместила беседу своего театрального рецензента с автором этой антивоенной пьесы. Джозеф Хеллер сказал: «Противоречия между богатыми и бедными в США сейчас более остры, чем когда бы то ни было. Создается впечатление, будто правительство ведет войну против своего народа... Если раскол в обществе приведет к схватке на баррикадах, я, несмотря на свою принадлежность к среднему классу, не смогу быть вместе с армией, полицией, торговой палатой. Я буду сражаться на стороне негров, на стороне бедняков, на стороне по-боевому настроенных студентов».

Писатель выразил озабоченность по поводу морального кризиса американского общества, всепроникающей коррупции, отказа от гуманистических идеалов. «Общество, которое бросает в тюрьму известного спортсмена Кассиуса Клея и крупного ученого доктора Бенджамена Спока,— заявил в заключение Хеллер,— далеко не то общество, которому можно было бы с легким сердцем поклясться в верности».

Грабитель: Не в руки, болван! Переведи их на мой счет
(Газета «Нью-Йорк таймс»)

«КОЛАМБИА БРОДКАСТИНГ СИСТЕМ» ПРОТИВ ПРОГРЕССИВНЫХ АРТИСТОВ

Третий год на американских телеэкранах с успехом идет воскресная музыкально-сатирическая программа братьев Смазерс. В нынешнем году руководители компании «Коламбиа бродкастинг систем» поторопились объявить, что готовы подписать контракт с Томом и Диком Смазерсами на следующий год. Однако, по всей вероятности, этот контракт не будет заключен.

Братья Смазерс заявили недавно представителям печати, что «Коламбиа бродкастинг систем» в течение длительного времени диктовала состав участников передач.

Факты таковы: в прошлом году администрация помешала участию в программе братьев Смазерс известного певца, исполнителя антивоенных и народных песен Пита Сигера. А недавно было объявлено о выступлении в этой передаче другой известной певицы, протестующей против войны во Вьетнаме,— Джоан Баэз. К великому разочарованию телезрителей, в назначенное воскресенье Баэз не выступила.

Режиссер и участник программы Том Смазерс сообщил корреспондентам, что выступление Джоан Баэз было записано на пленку и должно было быть включено в передачу, однако редакторы телекомпании воспротивились этому. Дело в том, что Джоан исполнила антивоенную песню, посвященную своему мужу, Дэвиду Харвису, студенту Калифорнийского университета, который в прошлом году был приговорен к тюремному заключению за обращение к американской молодежи с призывом отказываться от службы в армии США, ведущей грязную войну против вьетнамского народа.

Братья Смазерс выразили свой протест по поводу произвола администрации «Коламбиа бродкастинг систем» и отказались возобновить с ней контракт.

ДИРИЖЕР БЕЗ ПУЛЬТА

В начале нынешнего года в известном нью-йоркском концертном зале Карнегихолл была открыта выставка негритянского дирижера Эверета Ли: там были представлены дипломы, почетные грамоты, лауреатские свидетельства, вырезки из газет и журналов с похвальными отзывами прессы на концерты симфонических оркестров под его управлением.

Более десяти лет назад сорокалетний музыкант покинул США: он не мог найти применение своим дирижерским способностям на родине. В Америке Эверет Ли должен был довольствоваться положением рядового музыканта и концертмейстера в музыкальных театрах. В Европе же он сразу приобрел известность. Под его управлением выступали знаменитые симфонические оркестры, в последнее время Эверет Ли возглавлял симфонический оркестр в Норчёпинге (Швеция).

Но дирижера тянуло на родину. Вернувшись в Америку, Эверет Ли при содействии Леопольда Стоковского дал в Нью-Йорке два концерта. Под его управлением были исполнены сложнейшие симфонические произведения; его искусство пришлось по душе американским слушателям. После концерта Леопольд Стоковский заявил: «Эверет Ли вполне достоин занять пост дирижера большого симфонического оркестра». Итак, казалось бы, мечта артиста сбывается. Ведь в США вакантны пульты трех симфонических оркестров: в Вашингтоне, Цинциннати и Денвере. Однако меценаты, от которых зависит судьба музыканта в Соединенных Штатах, не спешат предложить работу этому большому мастеру только потому, что Эверет Ли — негр.

СУДАН

«КОГДА УЕЗЖАЮТ НА СЕВЕР»

Каирский еженедельник «Аль-Мусаввар» опубликовал статью критика Раги ан-Наккаша «Новый крупный талант на небосклоне арабской романистики», в которой анализируется первый роман «Когда уезжают на Север» суданского писателя ат-Тейиба Салеха (род. в 1929 г.).

Действие романа развертывается в начале нынешнего века. Главный герой произведения — суданец по имени Мустафа Саид, попадающий в Лондон из самого сердца Черной Африки. Судьба, казалось бы, улыбается талантливому юноше. Он получает образование, становится видным ученым-экономистом, прекрасно разбирается в искусстве и литературе. Однако личная жизнь Мустафы складывается трагически. Его брак с молодой англичанкой превращается в жестокую пытку. В конце концов Мустафа, доведенный до исступления, убивает ее.

Отбыв длительный срок тюремного заключения, герой романа возвращается в Судан и поселяется в одной из деревень. Там он обретает долгожданный душевный покой, женившись на простой суданской девушке.

По мнению Раги ан-Наккаша, в этом произведении удачно сочетаются достоинства традиционного и современного романа, уделяется значительное внимание «изображению богатого внутреннего мира человека». Арабский язык у писателя, по словам критика, достигает «высшей степени чистоты и изящества».

ФИНЛЯНДИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ СУДЬБЫ»

Книга Пааво Ринтала под таким названием обратила на себя внимание читателей и критики. В книге собраны рассказы почти 80 ленинградцев о блокаде их родного города, приводятся дневники и письма людей, переживших блокаду. Ринтала сам побывал в местах исторических событий, познакомился с людьми, защищавшими Ленинград, изучал историю войны

по немецким и финским архивам. В книге приводится весьма характерная цитата из высказывания Гитлера в Мюнхене в декабре 1941 года о судьбе, уготованной им Ленинграду и ленинградцам: «...Они умрут в Ленинграде от голода! (Аплодисменты.) Если немецкая армия смогла дойти до стен Ленинграда, она определенно способна пройти оставшиеся 10 километров! (Аплодисменты.) Но я не хочу жертвовать кровью ни одного немецкого солдата из-за этих людей, которые и так умрут...»

Но, пишет Ринтала, несмотря на голод, бомбардировки, смерть, ленинградцы выстояли. В книге приводится такой факт: в феврале 1942 года в Ленинград попали три американских летчика. Когда они узнали, что в городе работали театры, они не поверили: «Балет? Здесь, в Ленинграде? Этого не может быть!..»

Но это было правдой. «Ленинград выдержал, а осаждающие погибли»,—пишет автор.

Пааво Ринтала много внимания уделяет детям. Первая глава книги называется «Моим детям». «В тех учебниках истории, которые вы читаете в школах, ничего не говорится о детях,— пишет автор.— Там рассказывается о королях, о государственных деятелях и войнах. В них приводятся даты, содержатся сведения о захватах и оккупациях стран и объектов, важных в стратегическом и политическом отношениях. Но в них ничего нет о детях...»

Ринтала не забыл этого, отмечает финская критика. Он познакомил читателей с маленькими Алексеем, Валей, Ириной и Людмилой, рассказал, о чем они думают, чем увлекаются. И он сделал это с мыслью о том, что ужасы войны не должны повториться.

ФРАНЦИЯ

В ПАРИЖЕ И ВНЕ ПАРИЖА

Новая пьеса Артюра Адамова «Off limits («Вход воспрещен»), поставленная одновременно во Франции в «Театр де ля коммюн» в Обервилье (рабочий пригород Парижа) и в Италии — в Миланском «Пикколо театро», вызвала резкие нападки реакционной прессы (о пьесе см. сообщения в «Иностранной литературе» № 2, 1968 и № 1, 1969). В пьесе Адамова, по отзывам рецензентов демократической печати, содержится страстный протест против американской агрессии во Вьетнаме, а также разоблачение... «американского образа жизни».

Одно из главных действующих лиц в пьесе — американский телепродюсер Хэмфри, который благоденствует в Нью-Йорке.

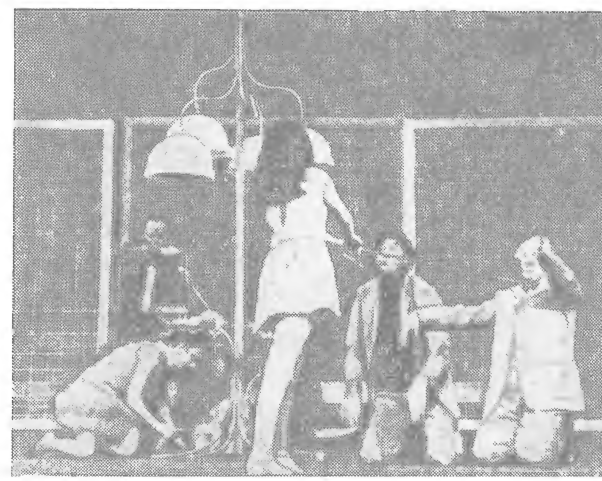
Хэмфри в пьесе противостоит Джим — простой американский парень, выступающий против вьетнамской войны; его протест, в частности, выражается в том, что он публично уничтожает свою учетную военную карточку. Стремясь покинуть пределы США, чтобы избежать судебного преследования, Джим трагически погибает вместе со своей невестой Салли на границе с Мексикой...

Постановка пьесы, осуществленная Габриэлем Гарраном в «Театр де ля коммюн» в Обервилье, по отзывам рецензентов прогрессивных органов печати, подчеркивает политический смысл пьесы и выдержана в реалистических тонах. На заднем плане — нью-йоркские небоскребы, на переднем — четыре типично американские квартиры, а также студия телевидения. «Театр в Обервилье создает политически точный образ империалистической Америки, раздираемой противоречиями, осаждаемой изнутри антивоенными и антирасистскими силами»,— пишет обозреватель газеты «Юманите».

Постановка Клауса Михаэля Грюбера в миланском «Пикколо театро» подчеркивает символический смысл пьесы, отмечает тот же обозреватель. Декорации испанского художника Арройо изображают палубу корабля, где вместо мечты высится огромная статуя Свободы на фоне синего неба... С точки зрения обозревателя «Юманите», недостаток постановки Грюбера заключается в отсутствии политического анализа современного положения в США, необходимого для правильного понимания пьесы Адамова. Кроме того, обозреватель «Юманите» считает неправильным то, что в постановке «Пикколо театро» ощущается влияние театра

Сцена из постановки «Off limits» в «Театр де ля коммюн» в Обервилье.

(Еженедельник «Леттр франсэз»)



абсурда, с которым драматург полемизирует в своем предисловии к пьесе.

«Юманите» публикует беседу Артюра Адамова с театроведом Филиппом Мардалем и режиссером Габриэлем Гарраном о постановке «Off limits» в «Театр де ля коммюн» в Обервилье.

Филипп Мардаль: «Ваши политические противники упрекают Вас, Артюр Адамов, в том, что Вы создали карикатуру на Америку. Что Вы об этом думаете?»

Адамов: «Это обвинение недобросовестно и позорно. Я показал две Америки: ненавистную, принижающую человека, попирающую человеческое достоинство и ту Америку, которая не может больше вынести такое и пытается избавиться от этого любым способом... Я выступаю против той отвратительной Америки, которую отчаянно защищает правая пресса. Ее нападки на меня не случайны: конечно, пьеса касается и положения в Европе — все между собой связано».

Габриэль Гарран: «Вся постановка нацелена на критику различных форм бегства от действительности (наркотики, алкоголь, пустые фразы и т. д.)».

НОВОЕ ОБ АНРИ БАРБЮСЕ

Журнал «Эроп» выпустил специальный номер, посвященный Анри Барбюсу. Председатель общества «Друзья Барбюса» Пьер Параф рассказывает в нем о том, как ныне чтут во Франции память писателя: его именем называют улицы, открыт музей Барбюса в Омоне, его творчеству посвящаются лекции, исследования, выходят в свет новые издания его книг. «Он остается человеком, который сумел и посмел сказать правду о войне,— пишет Пьер Параф.— Пятидесятилетняя годовщина окончания первой мировой войны, исполнившаяся в 1968 г., новым светом озарила величие жизни и творчества Анри Барбюса».

Пьер Параф, так же как и Жак Мейер в опубликованном в этом номере исследовании о книге Барбюса «Огонь», подчеркивают огромное значение творчества и общественной деятельности писателя для развития революционного сознания масс, для борьбы против милитаризма и фашизма.

«Пролетариями войны» называет Барбюс солдат сражающихся армий. «Мятеж человека против несчастий человечества», по словам Жака Мейера, привел Барбюса к созданию движения «Кларте» и к вступлению в коммунистическую партию.

Далее Жак Мейер подробно пересказывает историю издания романа «Огонь», анализирует и сравнивает текст публикаций в «Эвр» с более поздним ее изданием, рассказывает о том, какую борьбу вел Барбюс с цензурой. Мейер напоминает обстоятельства присуждения Барбюсу Гонкуровской премии за роман «Огонь», показывая значение этого факта, как проявление широкого общественного признания заслуг писателя вопреки кампании травли и клеветы, которой встретила книгу Барбюса правая националистическая пресса.

В номере напечатаны отрывки из еще не опубликованных рукописей Барбюса — две сцены из третьей книги его цикла об Иисусе, которая называется «Иисус против бога». Здесь же впервые опубликовано стихотворение Барбюса из одного варианта рукописи романа «Ад».

«Эроп» публикует основные даты жизни Анри Барбюса, библиографию произведений писателя и посвященных ему работ.

ЯПОНИЯ

ФИЛЬМ ОБ ОКИНАВЕ

Группа молодых японских кинематографистов создает документальный фильм «Остров Окинава». По словам режиссера фильма Иоти Адзума, его создатели хотят показать быт жителей Окинавы, раскрыть причины того, почему они так настойчиво борются за воссоединение острова со своей родиной.

Два месяца съемочная группа колесила по Окинаве, стараясь запечатлеть все беды населения, которое вот уже 24 года страдает от того, что на острове расположены американские базы.

Ранним утром гул гигантских бомбардировщиков «Б-52» будит местное население. Особенно тяжко жителям поселка Кадэна и других деревень, расположенных по соседству с крупнейшей на Окинаве базой Кадэна; отсюда «Б-52» регулярно летают во Вьетнам.

...Оператор показывает, как через небольшие промежутки времени взлетают и садятся гигантские бомбардировщики. Наглухо закрыты окна и двери школ — так тщетно пытаются спастись от невыносимого гула реактивных двигателей; поверх воды в деревенских колодцах плавает керосин, проникший туда сквозь почву с военных баз; на полях сахарного тростника установлены управляемые снаряды...

Американское военное командование пыталось помешать съемкам, опасаясь, что фильм о бедственном положении жителей Окинавы приведет к усилению борьбы японцев за возвращение этого острова. Однако молодые патриоты сумели завершить работу над фильмом, и вскоре он выйдет на экраны Японии.

Авторы этого номера

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ — ERNESTO CARDENAL (род. в 1925 г.).

Никарагуанский поэт, священник. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Час 0» («La hora 0», 1960), «Эпиграммы» («Epigramas», 1961), «Псалмы» («Salmos», 1964), «Гетсемани, Кентукки» («Gethsemani Kÿ», 1964), «Сомнительный пролив» («El estrecho dudoso», 1967) и др.

Публикуемые в этом номере стихи поэта взяты из сборника «Стихи Эрнесто Карденаля» («Poemas de Ernesto Cardenal», 1967) и из латиноамериканских журналов.

■

ДЭВИД ХАЛБЕРСТЭМ — DAVID HALBERSTAM.

Американский писатель и журналист. По окончании Гарвардского университета сотрудничал в газете «Нэшвил Теннессиен» и опубликовал роман «Благороднейший римлянин» («The Noblest Roman»). Затем работал в иностранном отделе газеты «Нью-Йорк таймс», в качестве ее корреспондента выезжал в африканские страны, а также во Вьетнам. За очерки и репортажи об этих поездках получил премию Пулитцера в 1964 году. Теперь Дэвид Халберстэм сотрудничает в журнале «Харперс мэгэзин». Книга очерков о Вьетнаме «В болоте» («The Making of a Quagmire», 1965) принесла ему широкую известность.

Роман «Один очень жаркий день» («One Very Hot Day»), который публикуется в этом номере, вышел в 1967 году и долгое время был в списке бестселлеров.

■

ДЖОВАННИ АРПИНО — GIOVANNI ARPINO (род. в 1927 г.).

Итальянский прозаик и поэт. Свой первый роман «Ты был счастлив, Джованни» («Sei stato felice, Giovanni») опубликовал в 1952 году. С тех пор Дж. Арпино написал несколько романов, в том числе «Годы зрелости» («Gli anni del giudizio», 1958), «Туча гнева» («Una nuvola d'ira», 1961), в которых проявилось большое знание автором жизни рабочих Северной Италии (писатель родился в Пьемонте в рабочей семье), «Молодая монахиня» («La suora giovane», 1959), «Преступление во имя чести» («Un delitto d'onore», 1961), «Погибшая душа» («Un anima persa», 1966) и др. Перу Дж. Арпино принадлежит также несколько сборников стихов, рассказов и книг для детей.

Роман «Тень от холмов» («L'ombra delle colline», 1964), который мы предлагаем вниманию читателей в этом номере, был отмечен одной из наиболее значительных литературных премий Италии — «Стрега».

■

ЛЕОПОЛЬД ЛЕВИН — LEOPOLD LEWIN (род. в 1910 г.).

Польский поэт и переводчик. Начал печататься в 1929 году. Первый сборник стихов «Рубка леса» («Wyrąb lasu») появился в 1931 году. Известны его книги стихов «Сны о возвращении» («Sny o powrocie»,

1948), «Избранное» («Poezje wybrane», 1956), «Новые стихи» («Nowe wiersze», 1961). В антологиях и отдельных изданиях в Польше опубликованы его переводы произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Есенина, Твардовского, Симонова, Коласа, Рыльского, Леонидзе.

ФЭН ЮНЬ.

Современный китайский писатель. Рассказ «Мост шириной в бревно» («Думуцзо») был напечатан в 1967 году в газете «Мэнгусяоси бао», издаваемой в Улан-Баторе на китайском языке, а также в монгольском литературном ежемесячнике «Цог».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 04559. Сдано в производство 3/IV-69 г. Подписано к печати 12/V-69 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. листов 28,00. Зак. 1209.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394